

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

N *MIR* Y

5

2003

5

МИР

НОВОБЫИ

2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА «НОВЫЙ МИР»

ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

ЮРИЙ БУЙДА. Кёнигсберг (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА. Предзимнее укрывание роз (стихи);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;

ГЕОРГИЙ КАЛИНИН. Пробуждение (рассказы);

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ. Цикада в горсти (стихи);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Заболоцкий и Пастернак (эссе);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Белый дом без политики (повесть);

АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. Реабилитация, или Письма из Испании;

ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);

ОЛЬГА НОВИКОВА. Женщина с ее проектами; Питер и поэт (из цикла «Вымыслы»);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;

(См. на обороте)

МАРИНА ПАЛЕЙ. **Вода и пламень** (рассказ);
ВИКТОР ПАНОВ. **И там жили** (из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);
ЕЛЕНА РАБИЦОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);
РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батарейках** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»**;
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Бабушкин спирт** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);
АНТОН УТКИН. **Новый роман**;
НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ. **Стихи** (из наследия);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ГУСТАВ ШПЕТ. **«Я пишу как эхо Другого...»** (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Новая повесть**;
КИРИЛЛ ЯКИМЕЦ. **Окно в Америку** (эссе);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ТАТЬЯНЫ МИЛОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНУ ШВАРЦ, статьи, обзоры, эссе СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почта-тамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2003. Пресса России». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на второе полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходиться за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4)

или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5 (937)

Май, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛЕНА ШВАРЦ — Невы пустые рукава, стихи	7
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Третье дыхание, повесть	14
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — На обратном пути, стихи	68
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ — Танк, повесть	74
ВЛАДИМИР КОРОБОВ — Последняя свеча, стихи	103
АНДРЕЙ ВОЛОС — Путевка на целину (1954), рассказ	106
СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ — Коробочки с пеплом, стихи	119

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ — Четвертая сила	122
-------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ТАБУ И АНТИТАБУ В КУЛЬТУРЕ И НРАВАХ. Никита Елисеев. Эротиссимо; Кирилл Анкудинов. Степень разрешения; Алексей Гостев. Тринадцать тезисов о «порче нравов»	133
--	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Теленовости	152
------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Константин Азадовский. О жертве и милости	167
Ирина Роднянская. Оглашенная в Лавре	171
Алла Латынина. Таинственность будничной жизни	177
Павел Белицкий. Хрестоматия нового барокко	179
Владимир Губайловский. Чудесная несвобода	183

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА	187
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	193
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	199
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	202

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	207
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	210
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО,
ОЛЬГУ СЕДАКОВУ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАРИНУ ВИШНЕВЕЦКУЮ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
БОЛЬШОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА,
УЧРЕЖДЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ АРС'С И РОСБАНКОМ,
И С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
ПРЕМИИ ИМЕНИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА,
УЧРЕЖДЕННОЙ ЖУРНАЛОМ «ЗНАМЯ» И ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
«ЭКСМО-ПРЕСС»!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ЕЛЕНА ШВАРЦ



НЕВЫ ПУСТЫЕ РУКАВА

Ангел-хранитель

Мук моих зритель,
Ангел-хранитель,
Ты ведь устал.
Сколько смятенья,
Сколько сомненья,
Слез наводненье —
Ты их считал.

Бедный мой, белый,
Весь как в снегу,
Ты мне поможешь.
Тебе — не смогу.

Скоро расстанемся.
Бедный мой, что ж!
Ты среди смертных
За гробом пойдешь.

Луна и даоский мудрец

Во вдохновении пьяном
Танцует в выси Луна.
Пахнет она
Несвежим бельем и тимьяном.
Все же нежна.

В болотистом мелком пруду
Болеет она чесоткой,
Пахнет китайской водкой,
Мучима, будто в аду,
Смертью короткой.

Из грязи быстро идет
И вешается на ветке,
Над пропастью вздернутой ветке,
Как покаянья плод.

Пьяный мудрец:

Это была не Луна,
 Это был перевод
 Луны на грубый наш план,
 Из водопада миров
 Принес ее ураган.

* *
 *

Тебе, Творец, Тебе, Тебе,
 Тебе, Земли вдовцу,
 Тебе — огню или воде,
 Птенцу или Отцу —
 С кем говорю я в длинном сне,
 Шепчу или кричу,
 Не знаю, как другим, а мне
 Сей мир не по плечу.
 Тебе, с кем мы всегда вдвоем,
 Разбившись и звеня,
 Скажу — укрой своим крылом,
 Укрой крылом меня.

Психогеография

1

И я когда бреду по граду,
 в нем сею то, что сердцу ближе, —
 горсть океана, чуть Дуная,
 тоска и юность, клоч Парижа.

Моя тоска течет в Фонтанку,
 и та становится темней,
 я вытекаю из Невы,
 мою сестру зовут Ижора.

Вот гроб стеклянный на пути —
 туманный, ломкий — в красной маске
 высокомерный в нем студент.
 А солнце в волнах пишет по-арабски.

Гора хрустальная возносится
 над Петроградом, а под ним
 пещеры, Синай отчаянья, Египет —
 в них человек неопалим —

В огне лдяном Невы сгорает,
 в своих страданиях нетленный,
 меняя психогеографию
 Ингерманландии, Вселенной.

2

Эй, облака, айда, братва, —
в Невы пустые рукава —
насыпьте ватными комками,
рассыпьте пышными грядами,
как зеркала над островами.
Голландию сюда тащил
зеленый кот и супостат
за краснокирпичные ляжки,
да не донес.
Она распалась по дороге,
скользнет едва, лежит у врат.
И Грецию сюда несли...
И всякий, всякий, кто здесь жил,
пространство изнутри давил,
растягивал,
и множество как бы матрешек
почти прозрачных
град вместил.

3

(ветренный солнечный день на Фонтанке)

Землетрясенье поколений
мне замечать и видеть лень,
когда уносит пароходы
в каленье солнечное день.

И солнце ветром тож уносит,
но в воду сыплется, звеня.
Сквозь какие века
опьянешь меня,
вся ломаясь, виляя, река.

С мармеладной слоистой густою волной,
с золотой сединой...
О русалка, аорта, Фонтанка!
Только больше аорта,
кормящая сердце водой,
и скотом своих волн в перебранке.

**Елка с игрушкой,
Игрушка с елкой**

Как ниткой навощенною,
Игрушка с елкой связана,
Как смочены смолой они,
Как спутаны хвоей —
Так я к Тебе прикована,
Приклеена навек.

В глухую ночь последнюю
Тускнеет шарик елочный,
Закапанный свечой.

И в эту ночь так жалобно
Звенят игрушки смутные,
Зеленой тьмой окутаны,
А елка долу клонится,
И грех их разлучить.
На петельке игрушкиной
Висит обломок хвоистый
Куриной лапой, мертв.

На год игрушку в гроб кладут,
А елку — в серый снег.
Так с сердцем разлучается
И с Богом человек.

Под тучами

День волооких туч,
Набитых синим пухом,
Промчался, будто луч,
Ворча громами глухо.
Стремительные, синие,
К цветам припадая в полях, —
Как бархатные акулы
С большими глазами в боках.
Я, глядя в них с травы, была
Жемчужиной, на дне лежащей,
Из-под воздушного стекла
Сияньем жалобно кричащей.

Чайка — казачья лодка и птица

А. Миронову.

Ходит чайка вверх по горю —
Ветер гонит — не кружа,
И, дошедши до границы,
Замирает — вся дрожа.
Ходит чайка вниз по горю,
До водоворота сердца, —
Там и тонет, превращая
Белый парус в белый мак.
Хоть и тонет, но всплывает
И бежит опять к границе,
Чтобы там, кружась и тая,
Взрезать воздух визгом птицы.

* *
*

Когда с наклонной высоты
Скользит, мерцающая, ночь,
Шепни, ужели видишь ты
Свою смешную дочь?

Она на ветер кинет все,
 Что дарит ей судьба,
 И волосы ее белы,
 Она дика, груба.
 Она и нищим подает,
 И нищий ей подаст,
 И в небе скошенном и злом
 Все ищет кроткий взгляд.

В парадной

(люди семидесятых 19 века)

Несмачный тихий разговор,
 но приговор как будто в нем.
 В подъезде ждут кого-то двое.
 Взлет спички... бледные подглазья...
 Шпики ль, убийцы — скажешь разве.
 Что ж — поколенья молотьба —
 У нас у всех дурна судьба.

Тут дворничиха из ворот
 Ведро несет с густым гнильем,
 Горят глаза пустым огнем,
 Прошла и смысла молодцов,
 Подрезала как бы жнивье,
 Они под мышкой у нее.
 Блаженная постигла участь
 В горячей впадине, где, мучась,
 Как две пиявки — волоски
 Висят навек, от неги корчась.

Снег в Венеции

Венецианская снежинка
 Невзрачна, широка, легка.
 Платочки носовые марьонеток
 Зимы полощет тонкая рука,
 Вода текучая глотает
 Замерзшую — как рыба рыбу —
 Тленна.
 Зима в Венеции мгновенна,
 Не смерть еще — замерзшая вода,
 И солнце Адриатики восходит,
 Поеживаясь в корке изо льда.
 Но там, где солнце засыпает,
 К утру растает.
 А в сумерки — в окне, в глухой стене,
 Вздыхаясь над станками мерно,
 Носки круглые балерин
 Щекочут воздух влажный, нервный.
 С венецианского вокзала
 Все поезда уходят в воду,
 И море плавно расступилось
 Как бы у ног босых народа.
 И, кутаясь в платок снеговой,
 Из-под воды глядит, жива,
 Лдяных колец сломав оковы,
 Дожа сонная вдова.

Зимняя Флоренция с холма

Отцу Георгию Блатинскому.

Дождь Флоренцию лупит
 Зимнюю, безутешную,
 Но над ней возвышается купол —
 Цвета счастья нездешнего.
 Битый город дрожит внизу
 Расколотым антрацитом.
 Богами и Музой,
 Как бабушка, нежно-забытый,
 Но теплится в мокрой каменоломне
 Фиалковое сиянье,
 Под терракотой ребристой фиала —
 Перевернутой чашею упованья.

У Пантеона

Площадь, там, где Пантеона
 Лиловеет круглый бок
 Как гиганта мощный череп,
 Как мигреновый висок.
 Где мулаты разносили
 Розы мокрые и сок —
 Там на дельфинят лукавых
 Я смотрела и ушла
 В сумрак странный Пантеона,
 Прямо вглубь его чела.

Неба тихое кипенье
 В смутном солнце января —
 Надо мною голубела
 Пантеонова дыра,
 Будто голый глаз циклопа,
 Днем он синий, вечерами
 Он туманится, ночами
 Звезд толчет седой песок.
 Уходила, и у входа
 Нищий кутался в платок.
 А слоненка Барберини
 Полдень оседлал, жесток,
 Будто гнал его трофеем
 На потеху римских зим,
 И в мгновенном просветленьи
 Назвала его благим —
 Это равнодушие Рима
 Ко всему, что не есть Рим.

Надежда

В золотой маске спит Франческа,
Черная на ней одежда,
Как будто утром карнавал,
И теплится во мне надежда,
Что он уже начнется скоро,
Нет к празднику у нас убора.
Какое ждет нас удивленье,
Ведь мы не верим в Воскресенье.

Златая маска испарится,
И нежное лицо простое
Под ней проснется,
Плотью солнца
Оденется и загорится.
Франческа, та не удивится...
Но жди — еще глухая ночь,
И спи пока в своем соборе,
И мы уснем. Но вскоре, вскоре...



ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

*

ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ

Повесть

Глава 1

Я забыл: пузыри на лужах — это к долгому дождю или к короткому? Криво отражая окна, кружатся возле люка. Но все равно — к короткому или длинному, вечно стоять под аркой не удастся, надо идти домой. Я гляжу на наши окна. Лишь у отца окно светится: все пишет свое «последнее сказанье», как, усмехаясь, говорит он... но мне туда, в темноту, где ждет меня все... все, что я заслужил. Весь ужас. Вперед!

Теперь еще какая-то «острая стадия» наступила у нее! Значит, все, что было до этого, «тупой» можно назвать? Последняя шутка твоя — кстати, неудачная. Иди. Прошел через мокрый, хлюпающий двор, воткнул ключ-пластинку, открыл железную дверь. На темной лестнице жадно втянул запах — будто запах может чем-то утешить. Глупая надежда. Обычно пахнет. Хорошо, что не пахнет бедой — гарью, например. Но беда не обязательно пахнет. Так что — хватит принохиваться. Иди. Все возможные задержки ты использовал уже, скоро все увидишь сам, все успехи за неделю, пока не было тебя.

А вдруг все нормально? А? Любимая моя французская пословица: «Никогда не бывает так хорошо — и так плохо, как ждешь». Но это больше во Франции, наверно. Последнее время мне стало казаться, что так плохо, как ждешь, все же бывает. Особенно у нас. Уж у меня — так точно. Особенно — с ее помощью. Жди беды — и не ошибешься... Готовь амбар под новый кошмар. Пословица средней полосы и Северо-Запада... Шутка вскользь. Хватит тебе изгаляться на лестнице: у тебя, между прочим, квартира тут. В божжи не удастся выбиться в ближайшее время — пока что это только мечта. Отворяй ворота! Дверь со скрипом отъехала. Темнота — и вновь втянул запахи. Вся надежда на нос — вдруг он подарит что-то? Глаза пусть пока отдыхают — им много работы предстоит. Уши тоже не радуют — зловещая тишина. Горелым попахивает — но, слава богу, не пепелищем, а сгоревшей едой. Это уже — родное!!! Эйфелеву башню из сумки достал — как-никак из Парижа приехал! — но это, похоже, тут никого не волнует... засунь ее куда-нибудь!

По коридору тихо пошел. Полоска света под дверью отца. Но — пока не надо туда, с ним мы окончательно запутаемся. Давайте — по одному? Медленно, со скрипом, дверь в спальню открыл... Спящая жена — лучший подарок, тогда бы и я рухнул, до утра. Но — подарки кончились. Нету ее! Впрочем — мысли запрыгали, — одеяло откинута, синее в лунном свете пододеяльник, как сугроб. Значит, все же ложилась? Потом — встала и

Попов Валерий Георгиевич родился в 1939 году в Казани. В 1963 году закончил Ленинградский электротехнический институт, в 1970-м — сценарный факультет ВГИКа. Печатается с 1965 года, автор многих книг. Живет в Петербурге. Лауреат премий «Золотой Остап», «Северная Пальмира», имени С. Довлатова. Постоянный автор «Нового мира».

ушла? Вопрос: когда это было? Сегодня, вчера, сразу после моего отъезда? Отец вряд ли даст четкий ответ: удивится, потом как бы задумается — на это много времени уйдет, он не любит спешить вообще, а тут, может быть, следует поторопиться.

Говорила, давно уже: «Когда я пойму, Венчик, что я совсем уже в тягость тебе, я уйду. Уйду — и не вернусь. А тебе скажу, что в магазин пошла. А денежки оставлю, оставлю — вот сюда положу!» — кивала своей головкой-огуречиком. Сбылось? К выходу метнулся, остановился, решил все-таки на кухню глянуть... Стоит! Ореол луны вокруг ее головы, потом вдруг дым ее окутал. Стоит! И как всегда в последнее время, смотрит *туда* — в абсолютно темное окошко напротив: там, по ее мнению, я все свое время провожу, даже когда в Париже. Реальное пребывание мое — скрипнул половицей — похоже, мало волнует ее, хоть развались я тут реально на части — будет смотреть *туда!* Там я *жутко* себя веду — как ей, видимо, хочется. Под это дело можно и пить — уважительная причина. Удобную наблюдательную точку подобрала — не отходя от холодильника. Правда, когда я несколько ее бутылок разбил, стала выбирать более потаенные ниши, но сюжеты черпает — только в окне. Так удобнее ей. Главное — быстро. Считала информацию, налила — хлоп! Даже если это не просто окно, даже если — Вселенский компьютер, все равно нет там столько на меня, чтобы ей так уж горевать, а главное — столько пить!

Стоял, скрипел полом. Похоже — во плоти я ее несколько не интересую. Пока весь дым не развеялся — ни разу не обернулась. Уйти? Глубокий, освежающий сон? Но тут медленно повернулась она... Все ясно. Ледяной, ненавидящий взгляд — вот негодяй, только что выползший отсюда... там действительно когда-то молодая дворничиха жила. И что? Сколько ни объяснял ей, поначалу шутливо... все внимание ее на этом окошке сосредоточилось! Главное — чтобы не выходя из кухни. Когда-то мы еще весело с ней говорили, и сейчас так же пытался... «Пойми — женщины без высшего образования вообще почему-то не видят меня. Не считают за человека! Странно, но факт!» Не проходило уже это! Тяжелый взгляд... «Значит, зато с высшим образованием — все в порядке?» Тьфу!

Стояли молча, смотрели.

— Скажи мне... ну зачем ты пьешь? — Вопрос этот от частого употребления стерся, блекло прозвучал. Ответ был не менее традиционен.

— А ты... зачем был там? — махнула синеньким пальчиком за тоненькое плечико.

Все! Глубокий, освежающий сон! Пошел рухнул. Закрыв глаза.

Воспоминание первое.

Сияющий зал ресторана «Европейской», прекрасный витраж над оркестром — Аполлон мчится на тройке в розовых облаках. На сцене — наш общий любимец, красавец усач Саня Колпашников с оркестром. И — общий пляс. Но смотрят все на нее, как она пляшет — легко, чуть дурачась, сияя. И все мы счастливы: ну что может взять нас, веселых, красивых, и — юных, но уже — знаменитых, любимых всеми тут, даже милиционерами?

Приплясывая, она движется к выходу. Танец обрывается. Мы падаем к столу.

— Ну и девушка у вас! — восхищенно говорит элегантная дама, «замеченная» общим восторженным танцем к нашему столу, — такую скинь с десятого этажа — отряхнетя, пойдет!

Тогда казалось, что все мы бессмертны! В зале вдруг появляется гардеробщик Михеич, наш преданный друг — не поленился на протезе подняться сюда:

— Нонку там замели!

О господи! Сердце уже предчувствовало это.

Оказалось — спускаясь с мраморной лестницы, загремела с нее, смела нескольких японцев с дорогой фотоаппаратурой — вот и они тут же, в пикете под лестницей стоят, продолжая, впрочем, вежливо улыбаться.

— Аккуратней, ребята, надо! — говорит нам опер Коля, наш друг. — Ведь интуристовская все же гостиница — надо понимать!

Пока все еще мирно, но... В глазах ее уже набирается та муть, которая теперь все загородила!

— Найн! — вдруг почему-то по-немецки произносит она (видно, в полной уже почти отключке решив, раз ресторан интуристовский, немку изображать?).

Коля смотрит на меня вопросительно: мы друзья или нет?

— Что вы от меня хотите? — вдруг на чисто русском, но надменно произносит она.

— Что она... огрести хочет? — В Коле тут закипает профессиональная злость. Он отрывисто набирает номер, ждет. Ситуация выходит из-под контроля.

— Найн! — Наша красавица вдруг жмет тоненьким пальчиком на рычаг.

— Ну все! Нарисуем тебе! — звереет Коля (да и я, честно говоря, тоже). Коля выводит слово «Протокол».

— Найн! — произносит она с холодной улыбкой и размазывает чернила. Все!

— Ну, ты по максимуму получишь, как Муму! — восклицает Коля.

Это она умела уже тогда!

Воспоминание второе.

Праздник закончился. Все, отплясав, делом занялись. Лишь она гуляет! Преуспевающие наши друзья интересуются ею все более отрывисто, лицемерно восхищаются: «Молодец! Поддерживает боевой дух!» Но лучше бы она его не поддерживала, дороговато это уже обходится — и ей, и мне!

Тягостная ночь уже на середине — а ее все нет. Внизу хлопает дверка такси, я вздрагиваю, по этому лихому звуку чую сразу все. Теперь (с тоской сжимаюсь под одеялом) надо ждать продолжения... как долго она по лестнице идет! Тягуче скрипит входная дверь... в руках людей трезвых она так долго не скрипит. В отчаянии я приподнимаюсь — встать? Потом снова падаю: может, обойдется? На работу ведь завтра — и ей, и мне!

— Вен-чен-ко! — звонкий ее голосок (дурацкое прозвище придумала). — Смотри, кого я привела!

Представляю!

— Сейчас, сейчас! — бодро откликаюсь.

«Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» Сам же когда-то это начертал! Теперь — отвечаем. Волокем эту фразу — хотя уже тяжело!

Воспоминание третье.

Юбилей. Серебряная наша свадьба — двадцать пять лет, хотя серебра еще нет ни в волосах, ни в карманах. Ахинея — есть, уже неуместная в нашем возрасте, все более раздражающая!.. а серебра — нет. И что-то надо с ахинеей делать — утянет на дно. Может быть, подскажут друзья: на юбилей-то они точно явятся — быть может, в последний раз! Все-таки не полное я фуфло, выпустил за эти десятилетия немало книг, в настоящий момент проживаю в Доме творчества писателей в Комарове! «Формально все нормально», как говорили мы с ней. Но держаться уже нету сил! Приехала она в Дом творчества уже сильно подшофе — другой она просто и не бывала теперь. И эту встречу, на которую я еще надеюсь, завалит, как заваливает теперь все, — и друзья разъедутся, оскорбленные или — еще хуже — снисходительно посмеиваясь: «Ну, эти как всегда!.. супруга, как всегда, упруга!..» Но встречу уже не отменить. На что я, идиот, надеюсь, на какую подмогу?

Ну что же — надо идти! Поднял ее, поправил одежды, повел через холл Дома творчества... Позор!

Сели в автобус. Молча, чтобы не тратить последних сил, дотащились до Репина. Ослепительно улыбаясь, вошли в гостиницу «Репинская», где нас радостно встретили уже слегка потертые, но все еще эlegantные друзья. Мы опять все вместе, а значит, все хорошо, как раньше! Смутный отрезок (длинной в двадцать пять лет) можно забыть, вернуться в яркую молодость.

Правда, юбилей тот, помню, пришлось на очередной провал экономики, как раз была пора дефицита, так что праздничный стол в конце зала слегка удивлял: белый, жирный соленый палтус — и густое, сладкое темно-красное вино. Но и мы — уже не прежние! Или как? С каждым глотком молодость вроде возвращалась, мы отплясывали наш твист, который и музыканты (наши ровесники) тоже любили... но она двигалась все неуверенней, плюхнулась мимо стула — и это на виду у всех! Когда-то это было весело, но сейчас! Эх! Я поднял ее на стул, глядел в ее ледяные, отсутствующие очи... Зачем мы затеяли этот юбилей? Я придвинулся к ней, обнял за плечи, нежно шепнул: «А ведь ты загубила мне жизнь!»

В суровом ее лице ничто не дрогнуло. Даже не повернувшись ко мне, она наполнила свой фужер густым красным вином. Сейчас хрипло произнесет: «Так давай же выпьем за это?» Не угадал! Так и не повернувшись, небрежным жестом через плечо, словно помой, плеснула мне в харю вином! И что — харя! Главное — белый ангорский свитер, на юбилей впервые его надел, сам себе его в Риге купил — не она же! Все! Пропал свитерок! Весь залит красным! Уж не она будет его отстирывать! Все я! Быстро посыпать солью его — или дать сдачи?.. предпочел соль. Стал осыпать свитер солью под ее презрительным взглядом... надо бы заорать или лучше бы — зарыдать! Но все время делишки отвлекают. Сколько ж я сэкономил слез! Трагедия моя еще и в том, что даже не могу дать волю эмоциям, поскольку поддержание порядка — тоже на мне! Улыбаясь, кинулся в танец: «Господа, господа!» Под презрительным взглядом ее — праздник дотянул, временами цепеняя у зеркала: «Все! Пропал свитерок!»

Но чувств своих полностью не смог задушить, поэтому, когда прозвучал вальс-финал, и официальная часть была, так сказать, закончена, и мы высыпали, приплясывая, на темное шоссе, окаймленное белым пушистым снегом, и друзья, радостно гомоня, уехали, — тут я дал себе волю! Вернее, попытался себе ее дать... но дал — ей! Поскольку — лишь размахнулся — тут же получил четко костлявым ее кулачком в нос! Кровь хлынула на многострадальный свитер. «Проклятье! — мелькнуло в сознании. — Теперь уж его точно не отстирать!» Кровь с вином — коктейль замечательный. И соли, чтобы посыпать, нет — если не считать той, которую машины перемешивают с грязью на дороге. Мы перешли на ту сторону и там дрались, хотя «дрались» — это сказано слишком обобщенно. «Вес мухи» против «веса быка!» Легко представить, на чьей стороне были симпатии толпы! Она приплясывала, зверски ощерясь (кой-какие зубы у нее тогда еще были), и неожиданно ударяла мне то в губы, то в нос — сама же, будучи маленького роста, была практически недосыгаема для моих кулаков. Народ буквально неистовствовал! Все ставки были сделаны на нее! Свитер не отстирать уже никогда! Представьте мое отчаяние: кто же из нас прав? Судя по народу — целиком она! А что же я? Сколько раз я делал для нее хорошее — спасал, вытягивал, а теперь она бьет — и все ликуют. Так как же тогда надо жить? Попробуй разгадай душу народа! Сойдешь с ума! Этого не случилось лишь потому, что подошел автобус, временно все прикрыл, как занавес в бурной пьесе. В автобусе, стиснутые людьми, азартно болеющими за нее, мы не смогли, однако, продолжать эту столь полюбившуюся им драку — только плевались. Юбилейный праздник, в общем-то, удался — в основном, правда, для зрителей. Потом мы вывалились на шоссе, у белеющего во тьме залива, и мне пришлось толкать ее вверх, в ледяную

гору, по улице Кавалерийской, ведущей к Дому творчества, — для драки не было рук, так что драки опять не было — может, сказывалось отсутствие болельщиков, нездорового угара? Добравшись наконец до номера, мы рухнули спать, и во сне злоба и отчаяние как-то выветрились, все вылетело, видно, в форточку, открытую в чистый сосновый лес.

— Вен-чик! — утром послышался ее звонкий голосок.

— ...Ну что? — Я согнулся у раковины над свитером, пытаюсь отстирать... Пропала вещь!

— А пив-ко есть у нас? — С подушки смотрело ее свежее, выпавшееся, веселое личико. Ну что делать с ней?

Я выдержал паузу... сколько смог... но смог я недолго.

— ...Е-есть!

— Так дай же его скорее мне! — сияя, воскликнула она.

Значит, могли мы с ней добывать благодать и в такой ситуации? Значит, объединяло что-то нас и помимо пива? Видать... Кончилось?

Я лежал с закрытыми глазами... долго еще там она? Наконец гулко хлопнула форточка. Пауза. Зашелестели шаги. Я сдвинул веки еще плотнее. Не хочу! Шаги ее рядом со мною затихли... Глядит? Сейчас, наверное, зарежет! Ну и пусть!

Упала рядом со мной, со вздохом прижалась. Едкие слезы — ее или мои? — защипали скулы. Потом — отпихнулась ладошками, встала и ушла.

Глава 2

Ночью разбудил меня громкий звонок. Вскочил, заметался в темноте, пытаюсь понять, где я. Если в гостинице — то где здесь телефон? Потом понял, что дома, и нашел аппарат.

— Алло.

— Ты дома? — после паузы хриплый, обиженный голос дочери.

— Я?.. Да.

— Приехал?

— ...Вроде.

— А почему не позвонил?

Отбился:

— А почему ты так поздно звонишь?

— Я? Поздно? Половины одиннадцатого еще нет.

— Как? — глянул на часы. — Да... Действительно.

Измученный перелетом, а также теплым приемом, рухнул, уснул. Поэтому кажется, что сейчас глубокая ночь.

— Да... Так и чего ты звонишь?

— ...Мне не нравится мать!

— Но матерей, знаешь, не выбирают, — попытался все в шутку перевести.

— Напрасно смеешься — все очень серьезно! — Настя одернула меня.

Помолчал, осознавая серьезность.

— Ей уже слышались голоса. Теперь добавились зрительные галлюцинации. Все это время она уверена была, что ты не во Франции, а в окошке напротив сидишь! Видела там тебя!

— Да... От такого варианта, особенно по сравнению с Парижем, в вос-торг не могу прийти. Насколько я знаю — там нежилой фонд?

Пытался еще удержаться за легкомысленный тон. Может, так все оно и рассосется?

— Ее надо срочно в больницу! Пока... разрушения личности, как я надеюсь, обратимы еще!

— В больницу? В... эту?

— Ну а в какую еще?

Наслаждается своей решительностью? А ты со своей мягкостью куда все привел? Настя права — с каждой неделей тут хуже. И — тебя за это

надо благодарить. Ее в ту клинику определили еще когда? Но ты — проявил мягкость. Зато — целое лето ей подарил. Подзагорела, окрепла. И?

— Да. Ты, пожалуй, права. Надо подумать.

— Не думать надо, а действовать. Ты помнишь — там мой приятель работает, Стас Николаев? Он ждет. У тебя есть его телефон?

— Но сейчас-то, наверно, он спит? — пытался все же концовку смягчить улыбкой.

— Ну, сейчас, может, и спит. — Дочурка наконец-то смягчилась, улыбнулась. — Но завтра утром ты ему позвони.

— Слушаюсь! — вытянулся у аппарата. Аккуратненько трубку положил. Потом на жену поглядел, мирно спящую. Ну просто ангел. Так бы и всегда!

Конечно, все мои поблажки ей губительны — но с другой стороны, кроме этих поблажек, какие еще радости жизни остались у нее? Бутылки, по углам запрятанные? В них давно уже не праздник, а чистый ужас разлит. А праздник — лишь я могу ей устроить. Чем-то надо радовать ее? Показывать, что жизнь еще не кончена?

Этой весной у нее глюки начались — стала слышать вдруг, как я разговариваю под нашей аркой, причем — с бабой. И о любви! Странное вообще место для подобных дел — под нашими окнами... Но ей — удобнее так. Да и дело вообще-то малопочтенное, учитывая возраст наш: за шестьдесят! Бреду, увы, не прикажешь! Встречала слезами меня:

— Ну что?.. Наговорился?

— Ну слушай... Ни с кем я не говорил!

Галлюцинации — убедительней жизни. По ночам разговоры мои слышала, даже когда я рядом с ней спал. Это ей несущественным уже казалось: притворяется! В конце концов появился этот Стас Николаев, Настин дружок. Приговор произнес: немедленно! Пока еще можно те голоса заглушить.

Сходили тогда с ней на собеседование, в дом скорби. Печальное зрелище. Вышли — пока?

— По-моему, нормально, — бодро заговорил я, — и врачи люди приятные, и... обитатели мне, в общем, понравились. Видела — там один по мобильнику говорил? Привилегированное местечко!

Не разделяла мой восторг, слезы глотала.

Потом был последний день перед ее уходом. Собирались вяло. Главное, не сказать бы — «сбираться»... как говорила ее мать... что как раз в подобном заведении дни закончила. И тут мне Саша Рубашкин позвонил, прямо из Литфонда, сказал, что дача освобождается и что если я приду сразу, то она — моя! Сбежал, вернулся.

— Порядок! — жене бодро сказал. — Сходишь на месяцок в больницу, а оттуда — на дачу. Запахи!.. представляешь? Все лето там проживем!

В слезках на ее ресницах засверкали огоньки. Обрадовалась.

— Давай, — расщедрился я, — на рынок сейчас с тобой сходим, одежду на лето купим тебе.

— Давай! — радостно встала. Как легко праздник-то ей устроить!

А когда летние свои увидит одежды!.. легче ей будет уже в больницу идти. Представлять уже можно, в *чем* она станет по заливу гулять!

На Апраксин рынок ее повел, где, раскинувшись на раскладушках, сиял и пах секунд хэнд. Вполне удачные вещи попадались там!.. особенно для дачи. А в тот день нам особенно везло, отличную летнюю одежду мы ей нашли — легкое платье цвета хаки, белые шорты, сандалии с веревочной подошвой. Хоть сейчас на курорт! Неужто это Бог нам с насмешкой подал перед заточением ее в темницу? Не может быть. Было тепло, с луж на асфальте пар поднимался и поднимал наш дух. Умели в счастье жить, пропуская беды, забывая про них... а что, если попробовать еще раз? Ведь явный шанс нам подкидывают — даже глупый поймет. Остановились вдруг, глянули в глаза. Совпадение полное. Поняли, ничего еще не сказав.

— А можно я не пойду в больницу, а? — проговорила она. — Я справлюсь, справлюсь! Честно говорю! — для убедительности кивала продолговатой своей головкой.

Я смотрел на нее. Так легко сделать ее сейчас счастливой, неужто я скажу — «нет»? Что думать тут? Теплая площадь с паром над лужами — или затхлый больничный коридор?

— А давай! — махнул рукой я.

Неприятности никуда не денутся — а пока... Мы поцеловались. Стояли, несчастные, в теплом пару. Что — лучше бы этого не было? Ну уж нет! Только это и запоминается в жизни. А что всех нас ждет печальная участь — ясно и так. Но лучше — не сразу! И лето — жаркое вышло, и она действительно не пила, и все вокруг на дачах любили ее, часа два в магазин ходила — у всех калиток останавливали ее. Летний рай.

Но сейчас-то уже осень. Все беды вернулись. И тоже, выходит, окрепли? Раньше она голоса только слышала — теперь добавился видеоряд. Теперь она меня еще видит, напротив в окне, в какой-то «мыльной опере», в запутанных отношениях. Якобы я сижу с какой-то бабой на подоконнике (отличное место!) и восклицаю, хватаясь за виски: «Это ужасно, ужасно!» Я?! Хотя бы книги мои уважила: где-нибудь у меня написана подобная чушь? Двадцать книг выпущено, и такого — нигде! Наплевать ей теперь на это. У бреда — свой вкус, и чем хуже, тем лучше, тем чаще можно водку хлестать!.. Но было же — лето? Или я и с этим был не прав? Может, ее бы уже вылечили? А это мы проверим сейчас. Осень — время тоскливое, можно и в больницу пойти. А может, утром опять выход придумается, как тогда? Но тогда — лето начиналось. А теперь — кончилось. Дождь по железу гремит. Встал, на кухню пошел. Пока чисто поле боя, надо диверсию совершить какую-нибудь. Заглянул в ее шкафчик, в углу. Батарея бутылок. Последняя — чуть начатая. С отчаянием в умывальник вылил ее. Вот так вот! И шкафчик к холодильнику придвинул, чтоб дверку не открыть.

Слишком часто идет этот сон, и всегда почему-то поутру. Что я обменялся почему-то на другую квартиру и просыпаюсь — явственно просыпаюсь — в унылой, другой. Вместо своих высоких окон с отчаянием вижу перед собою какие-то мутные «бычьи пузыри», за тощими стенками с драчными обоями слышу соседей: кто-то кран на общей кухне открыл, радио дребезжит... Одно ясно — это из-за нее, связано с нею. Беда — она затопляет все, прежнего не оставляет. Долгое отчаяние. И удивительная достоверность. Сдираю клочки обоев, от них — сухое белое облачко, собираю острые куски отлупившейся белой краски меж окнами. Это не сон! И последним усилием как-то выдергиваю себя оттуда, пролетаю через какую-то тьму и открываю глаза. Высокие сводчатые окна, красивый потолок. Господи — я дома у себя! Какое счастье! Значит, беда только маячит, но еще не пришла. Счастливое это пробуждение подарено еще раз. Сладкое оцепенение, наполнение сначала звуками нашего двора — тихого, солнечного, высокого. И первый — я уже привык — звук: поскребыванье какой-то пустой коробочки по шершавому асфальту, кто-то осторожно ее волокет — сам примерно такого же размера, как и она. Алчный карлик — так я его назвал. Звук этот не нарушает тишину, наоборот, как-то ее подчеркивает, обрисовывает ее своды, размеры двора. И после этого — опять тишина, самая сладкая, самая драгоценная — до первого гулкового хлопка автомобильной дверцы. Столько счастья — а я еще не вставал. Вот бы и дальше так день пошел! С этой мечтой я обычно задремываю, и следующие звуки блаженства — мерное поскрипывание пола в коридоре под шагами отца, тихое, деликатное бряканье посуды на кухне: жена уже что-то делает... будем думать еще десять минут, пока готовит завтрак. Но ухо уже различает каждый звук — недолго тебе осталось отлеживаться: к блаженным звукам добавляются тревожные. Стук дверки о холодильник — специально подви-

нул, с натугой, холодильник к пустому шкафчику, где она выпивон свой таила, — теперь из-за близости холодильника его дверку не открыть — но уже бьется, пытается. Долгая пауза, мучительное размышление. Нет, не о завтраке она думает! И во дворе уже — бой, бомжи грохочут баками, опрокидывая их, разбрасывают требуху по двору в надежде найти там жемчужные зерна. Блаженство кончилось, надо вставать. Но вставать надо бодро — с любой минуты, в принципе, можно начать новую, счастливую жизнь — все зависит от слова, которым начнешь. Закидываю ноги к подбородку, выпрыгиваю с тахты. «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» На кухню иду.

А вот и любимая!

Острый подбородок ее высунулся вперед, крупно дрожит. Ходуном ходят большие пальцы. Глаза ее полны слез, глубокими вздохами она удерживает их. В общем — идиллия.

— Мо-р-нинг! — бодро произношу я.

— ...морнинг, — тихо отвечает она, но смотрит мимо.

Разблюдовка ясна: зачем я испортил ей день, порушив маленькую ее тайну, сделав невозможным открывание заветной дверцы? Что она плохого мне сделала? Да практически ничего — если не считать того, что полностью разрушила наши жизни — и свою, и мою, а теперь добивает нашу, совместную. Сколько это можно терпеть? Но стоит ли начинать с этой темы утро? Тем более — отец уже нетерпеливо полом скрипит, и ему кушать нашу драму на завтрак неинтересно, ему геркулесовую кашу подай! Может, вспомнит хотя бы он, что я из Парижу накануне приехал? Задаст вопрос. А я на него отвечу. И так, слово за слово, и выстроится день? На фиг я, как таежный следопыт Дерсу Узала, с утра к разным подозрительным шорохам прислушиваюсь? Плевать мне на них! Даже демонстративно из кухни в кабинет свой ушел — пусть все само собой катится! Легче надо! Как французские товарищи: «Где ваша жена?» — «Ха-ха-ха, она в больнице!» Когда-то я так умел. Даже когда сам в больницу попал, не терялся. «Где ты так загорел?» — все потом удивлялись. «В больнице!» — искренне отвечал. Но никто не верил. В больнице, честно, у большого окна в конце длинного коридора, кое-кого обняв, шурился на солнце. И загорел. Теперь — даже из Парижа бледный вернулся. Тупо сидючи за столом, ждал, когда из кухни любимый возглас услышу:

— Все гэ!

Так раньше радостно докладывала она — «все готово»!.. Тишина. Не удержался, пошел. Тем более и отец своими скрипами в коридоре меня извел. Не может потерпеть?

— Дай намажу! — выдернул из ее дрожащих рук нож. С этими ее дрожаниями завтрак не настанет никогда! Да-а... теперь губы ее стали дрожать. Свои глупые надежды на счастье оставь навсегда! И даже — на элементарный порядок и какой-то покой: кроме корок от сыра, ничего в холодильнике нет. Так она тебя ждала-встречала — хотя денег оставил ей миллион!

Спокойно, улыбайся. Это же твой батя пришел, свесил свой огромный сияющий кумпол через порог — то ли здороваясь с тобой, то ли приглядываясь.

— Сейчас, батя!.. Ну ладно — садись!

Гонять еще по коридорам его, в девяносто два года, как-то нехорошо. Он-то не виноват: честно овдовев, продал свою квартиру, переехал к нам. «Завтрак как трагедия» — тема не его диссертации, он всю свою жизнь лекцией больше увлекался, кормил сперва всю страну, теперь — нас. Поэтому и не будем отвлекать в сторону его с капитальной дороги в мелкие тупики. Поставил кашу перед ним, к жене повернулся.

— Да у тебя же газ опять не горит! — не удержался, рывкнул на нее. И тут же исправился: — Вот спички проклятые! Кто выпускает их только? А-а!

Хабаровская фабрика! Ну, тогда все ясно — пока едут, обсыпятся! — весело шлепнул ее по спине, она робко улыбнулась: «Спасибо».

Может, вылезем? Но тут батя вступил. Аккуратно кашу доел, отодвинул плошку, губы утер.

— Хоть и не хочется поднимать эту тему...

Ну так и не поднимай!

— ...но все же придется!

Зачем? Раз я уже вернулся и пытаюсь как-то раз наладить жизнь — зачем делать заявления, тем более если не хочется?.. Назло?

— ...должен сделать заявление! — упрямо повторил.

Ясно — уже из чистого упрямства, чтобы продемонстрировать, что он еще кремень, а мы все — тряпочки рваные, не годимся никуда.

— За все время твоего отсутствия...

Чайник поставил перед ним! Пей, отец, чай и не круши нашу зыбкую платформу!.. Помолчал, потрогал ладонью чайник, удовлетворенно кивнул, однако продолжил:

— ...за все время твоего отсутствия... она ни разу не давала мне есть!

Гордо выпрямился: мне рот не заткнешь! Нонна стояла у раковины, ложка в ее руке колотилась о чашку... Договорил-таки!

— Ну зачем, отец, сейчас-то вспоминать?

— Я только констатирую факт! — проскрипел упрямо.

«Не все факты обязательно констатировать!» — неоднократно ему говорил. Но... в девяносто два я тоже, наверное, буду за своим питанием так же следить.

Ну что? А я-то мечтал поделиться парижскими впечатлениями! Никто и не вспомнил о них. Губы Нонны тряслись.

— Я что... ни разу не кормила тебя?

— Нет! — Он вскинул подбородок.

Мне, может, уйти? Мне кажется, они мало интересуются мной, тем, что я сейчас ощущаю. Ощущаю себя булыжником, который они швыряют друг в друга.

— Ни разу? — Она яростно сощурилась.

— Ни разу! — Отец даже топнул ногой. — И ты, Валерий, учти: если ты опять уедешь — я не останусь здесь!

— И уходи! — Нонна швырнула в гулкую раковину ложку, ушла. Батя, что интересно, спокойно налил себе чаю. Порой, даже в минуту отчаяния, восхищаюсь им.

— Сахару дай, — приказал мне сурово, указав пальцем на сахарницу.

Протянул ему ее.

— Спасибо.— Батя кивнул.

Отец, шумно прихлебывая, пьет чай. Нонна, наверное, плачет.

Так начался трудовой день.

Глава 3

Отец прошел мимо меня с длинной оглушительной трелью в портках: поел, стало быть, все-таки хорошо, одобрил появление сына в своеобразной манере — тут, стало быть, можно быть спокойным.

Займемся инвентаризацией. Парижские сыры. Эйфелева башня в натуральную величину. Сейчас это явно не прозвучит: у бати вызовет осуждение (бросил отца), у Нонны, наверное, ярость: «Хватит врать, ни в каком Париже ты не был!» Спрятать все это? Но обидно как-то. Все-таки в Париже я был и блестящий доклад, говорят, произнес, на стыке этики с экономикой... Лишь здесь я не нужен никому. Положим в кладовку — до лучших времен. Которые вряд ли наступят. Со скрипом дверь в кладовку открыл. Когда-то я просыпался, аж в глубокой ночи, от этого скрипа. Одно время свой выпивон она в кладовке скрывала, справедливо полагая,

что в этом хаосе какая-то сотня бутылок ее останется незамеченной, но потом они стали падать на голову, как только дверь открывал. Из-за избытка тары пункт этот пришлось закрыть. Теперь я свое тут спрячу — она сюда не сунется, здесь она уже была. Со слезами дары свои прятал! Обрадовать хотел, но, чувствую, кроме обид и оскорблений, ничего не буду иметь. Пусть Лев Толстой за ними присматривает — белеет тут его бюст. Друзья как-то в шутку приволокли, какое-то время честно я на рабочем столе его держал, но яростное его выражение достало меня: работаем как можем, нечего так глядеть! Сослал его в кладовку, хотя и уважаю; вот сейчас исполняю низкий поклон. Пожалуй, спрячу даже все в него (внутри у него полость) — доверяю ему самое мое ценное на сегодняшний день! И прикрыл бережно дверку.

И вздрогнул воровато: Нонна, улыбаясь, из комнаты шла! Как ни в чем не бывало, будто трагический завтрак приснился мне. За это я ее и люблю: зла не помнит. Особенно — своего.

— Ну что, Веча, кормить мне тебя? — ласково спросила.

Я, конечно, растрогался — но вроде бы накормила уже? Сыт, можно сказать! Снова батю приглашать, все по новой? Хватит пока.

Просветлению ее я-то рад, но лучше не напрягать ситуацию, на прочность не пробовать ее. Вот стоим, радостно улыбаясь, — и хорошо.

— Спасибо, я не хочу.

— Ну так отца тогда надо кормить! — помрачнела.

И отца она уже «накормила!» Поспала, забыв все плохое? Вот и хорошо.

— Мы тут поели, пока ты спала, — сказал осторожно. Не дай бог — обидится: «Вот и живите без меня!» Но она — рассмеялась:

— Ой, как хорошо-то! А то я иду, думаю: чем же вас кормить? — Она дурашливо нахмурила лоб, прижала указательный палец к носу.

«Раньше надо было думать!» — мог рявкнуть я, но опустил эту возможность: пусть всегда сияет и не думает ни о чем. А если задумается — быть беде. Чуть было не задумалась: вовремя остановил.

— Ты не волнуйся — все хорошо! — обнял ее костлявые плечики.

— Пра-д-ва? — подняв глазки, робко проговорила она.

— Ну! — воскликнул я.

Если она помнит «наши слова» («пра-д-ва» вместо «правда», например) — то удержу ее на плаву. Слово — самый прочный канат.

Мимо прошел отец, одобрительно попукивая. Идиллия!

В руках он торжественно нес трехлитровую пластиковую банку с золотистой жидкостью — почему-то любил выносить ее, чтобы все видели. Когда не было сбора публики — выжидал, держа ее у себя в спальне. Дошел до туалета, громко зашелкнулся. Оттуда донеслась знакомая трель. Мы с Нонной переглянулись, засмеялись: вся семья в сборе, функционирует нормально!

Потом мы звонко поцеловались, и я пошел в кабинет — записать эту идиллию, но не успел еще записать, как она развеялась: донесли с кухни отчаянные стоны жены и какой-то стук, словно форточка колотилась под ветром, — но вскоре слух уловил некоторую ритмию, означающую участие человека. Пытался не отвлекаться, но как тут не отвлечешься: имеет место продолжение кошмара! Нонна бьется, как птичка, пытаясь открыть дверку шкафчика с жилой влагой, которую, кстати, я вылил вчера, да еще зачем-то придвинул холодильник к шкафчику, чтобы дверка не открывалась. Садист!

Надо как-то смягчить все. Купить ей выпить? Ну нет! Опять я окажусь в непотребном виде в том окне-телевизоре напротив, вызывая ненависть: такой «благодарности» от нее мне не надо, я ее не заслужил, и как-то не жажду. Надо отвлечь ее куда-то, где этих ужасов нет. Давай сочиняй рай, писака, а старческое свое бессилие подальше засунь.

— Ну чего? — Потирая ладошки, словно чуя что-то вкусненькое, я вышел на кухню.

Нонна рывком вытащила себя из узкой щели между шкафчиком и холодильником, видно, пыталась бессильными своими ручонками раздвинуть их. Неужто такая отчаянная жажда? Вот она, расплата за веселую жизнь, которую я воспевал так упорно! Я воспевал — а страдает она. А веселились-то вместе — вместе и отвечать. Хотя — что мои моральные муки по сравнению с ее физическими, а точнее — химическими!

Что слова могут? Но другого средства у меня нет. Пока мы говорим с ней наши слова («пра-д-ва», к примеру), мы еще вместе, веревка не оборвалась. Оборвется — и Нонна полетит в бездну, из которой ее мне уже не достать. Ну! Открывай рот! Или только для посторонних ты сочинишь что-то утешительное, а как беда близко подошла — не способен?

«Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга» — осталось только для постороннего использования, а мы — не выдержали? Я оглядел поле боя, понял, что повергло ее в такое отчаяние, требующее немедленного выпивания: на столе была местами прожженная гладильная доска, рядом сипел паром утюг. Натюрморт простенький, но для нее — страшный. Душевная слабость ее достигла предела: раньше все было ей интересно и легко, все в доме сияло, теперь ей в тягость любое усилие. Сразу — отчаяние, и тут же — в шкафчик. Холодильник не сдвинуть ей — долго ей мучиться с этой дверцей, думая, что там что-то есть! Ну и пусть лучше *это* думает!

С веревок, протянутых в кухне, свисала, как летящий дракон, полузасохшая простыня — предстоящая битва и угнетала Нонну.

— Ишь ты, чудовище какое! — Я сорвал простыню с веревки, кинул на доску, топя утюгом, начал небрежно гладить, чтоб не подумал никто, что у нас тут какие-то трудности!

— Конец по полу волочится... грязный будет! — робко показала пальчиком она, слегка смущенная.

— Ну и что? Пр-ростыня и должна быть гр-рязная! Пр-равиль-на?

— Пр-равильно! — подтвердила она.

— И отлично! Вот так вот! — Я небрежно швырнул «растоптанного дракона» в кладовку (он плавно и нежно опустился на бюст Толстого), потом воинственно огляделся: ну кто еще мешает нам жить? Никто больше не признался... Дальше что? Надо развивать успех, пусть даже такой, не давать ей горюниться, падать духом.

— Смотри — погода отличная!

Сам вовсе не был в этом уверен.

— ...пойдем?!

— ...Куда? — устало проговорила она.

Да уж не в пивную же!

— Ну... просто так... погуляем!

— ...А, — без выражения проговорила она и, помолчав, кивнула в сторону отцовского кабинета. — Тогда и этого надо брать... а то сидит целые дни, даже фортку не открывает!

Все-таки как-то они заботились друг о друге, пока я там где-то блистал, и в ссорах их больше человеческого, чем в докладах моих на тему этики.

— Ну давай... — произнес я неуверенно. Прогулочка будет еще та! «В одну телегу впрясть не можно коня и трепетную лань!» Вознице — то есть мне — нелегко придется. Тебе вообще придется нелегко — легко, как это ни прискорбно, тебе, наверно, не будет уже никогда. Тяжелей — будет! И, глядишь, еще эту прогулку вспоминать будешь как рай!

— А? — Отец ошарашенно поднял лицо от книги: почти ложится на страницу, когда читает. — Гулять?! — С вожделем поглядел на книгу. — ...Ну давай.

Тоже, видимо, жертвует собой. Да и Нонна идеей не горит — одну туфлю надела, другую держит в руке и, прислонясь к стенке, откинув в от-

чаянии голову, закрыв глаза, сидит на маленьком стульчике в прихожей. Мне больше всех, что ли, нужно? Мне — только и гулять: три книги не успеваю закончить, мне бы сидеть и сидеть — а уж никак не гулять в рабочее время, ублажая ближних, которые не хотят сами себя в порядок привести!

Мы вышли из двора, пересекли Невский, косо освещенный. Ч-черт! Вроде бы самое красивое место на земле — плавный изгиб улицы к величественной арке Главного штаба, — но все раскопано, перерыто, ржавые трубы, идти надо по грубо сколоченным, шатающимся мосткам — бурная подготовка к юбилею города, даже еще более, наверно, мучительная, чем будет сам юбилей!

Отец, стойчески улыбаясь — мол, я терпелив, все снесу, — при этом специально, похоже, раскачивал хлипкие перила, демонстрируя, как все нынче плохо. Нонна застыла в злобе, не глядела на меня — мол, если хочешь меня мучить, так мучай хотя бы дома, а не у всех на глазах.

Страдалица! Один я тут счастливчик: угомоню их (что, наверно, не раньше полуночи будет), потом только сяду за стол! Счастливчик.

Мы на четвереньках почти выкарабкались на площадь. И тут разрыто! С какой-то подозрительной энергией копают — плиты на площади, недавно совсем торжественно уложенные, выворочены, валяются (как недостойные, видимо, юбилея), земля разрыта вглубь метра на три! Гулять придется, как на Курской дуге на следующий день после танкового сражения!

Нонна уже с открытой ненавистью глянула на меня. Я что — специально? Только природу, слава богу, не удалось им охватить ремонтом — солнце сияет, как и при Карло Росси! После утреннего заморозка Александрейский столп в сизом инее, но с солнечной стороны — гладкий, оттаявший, с легким паром.

— Гляди, как интересно! — отцу-натуралисту на столп показал: надо же и для него постараться.

Озабоченно сморщась, отец увлеченно рванулся туда — еле я изловил его на краю провала, вывел на правильный путь. Тоже уже легкий стал, почти как Нонна, — но в каждом еще уйма страстей, порой безумных! Так что твои страсти, если они у тебя остались, задвинь и забудь!

Особенно рвали меня мои ближние, когда ступили мы на твердую почву, вылезли в Александровский сад. Тут, на садовых дорожках, каждый мог показать, на что способен, — отец ступал медленно, вдумчиво, время от времени, как истинный натуралист, вдруг цепко хватал желтый лист на ветке, подтягивал к глазам, потом вдруг резко отпускал ветвь, чем-то недовольный; Нонна резко убегала вперед, рассыпая на ветру искры с сигареты, потом разгневанно прибежала назад, кидала взгляды: сколько будет еще длиться эта пытка? Лишь я, умиротворенный, шел абсолютно счастливый: что может быть лучше прогулки золотой осенью в чудном старом саду! Только вот Адмиралтейство, включая шпиль и «кораблик негасимый» на нем, почему-то заколотили фанерой, что-то там делают.

— Да-а, — горестно вздохнул отец, взирая на это.

Я, что ли, тут виноват? Упрек явно мне предназначен!.. Но все равно — не бессмысленная прогулка: хоть какой-то живой румянец появился у них. Я, правда, в результате молчаливым осуждением был награжден: домой шли не разговаривая, так и вошли. Мое терпение, кстати, тоже не безгранично: как бы я кого-то не осудил!

— Ну что — жрать подавать? — произнесла она уже вполне злобно.

— Да! — рявкнул я, не сдержав себя, и ушел в кабинет — зафиксировать эту выдающуюся прогулку: кому еще на свете удастся такое совершить?

Быль прерван громким бряканьем посуды, слегка, мне кажется, раздраженным. Прежнее ее звонкое, радостное: «Все гэ!» — отошло, видимо, вместе с нашим счастьем! А ты, сволочь, все пишешь, все записываешь и за это надеешься бабки получить?!. Ну а на что же еще надеяться?

— Иди, — отрывисто бросила она, мелькнув в дверях.

От такого приглашения аппетит как-то пропал — отца надо более радужно пригласить: найти силы.

Вошел в тесную комнатушку его (надо признать, тут Нонна права, довольно плохо проветренную), положил руку ему на плечо. Он своей лапой (гораздо больше моей) прикрыл мою, слегка сжал. Сочувствует?

— Пойдем поедим... что ли! — проговорил я.

Отчаянному моему «что ли» вскользь усмехнулся: понимает все. А еще бы ему не понимать, раз он в самой гуще стоит!.. а за эту его мнимую отстраненность я благодарен, надо сказать: не хватает еще, чтобы и он рвал душу, как я, от чего ужасы бы только удвоились. Пусть отдыхает, якобы в стороне. С небольшим усилием он поднялся, и мы пошли унылой чередой по коридору на кухню.

Нонна стукнула тарелкой перед отцом — явно уже не дружественно. Повторяется! К обеду силы ее абсолютно кончаются — побеждает Зеленый змий. Глаза ее подозрительно блестят — хотя что тут подозрительного? Все ясно, наоборот! Дверки «заветного шкафчика» приоткрыты. Все-таки умудрилась забраться туда? Но я же собственноручно все вылил! Значит, не все?.. А, пропади оно пропадом! Есть же у жизни конец? Вот он и глянул. И спокойно это прими по возможности — это, говорят, гораздо хуже бывает. А тут — тихо-мирно, все свои!.. Вот то-то и обидно, что от своих гибель пришла! Но, наверное, чаще так и бывает — посторонних хлопотно привлекать. Все верно.

Неприятная, надо сказать, у отца привычка: сгибаться, сморщившись, над тарелкой и глядеть на содержимое так, словно какашку тут ему подали, а не еду! Не понимает, что Нонна на срыве, не обязательно тут претензии предъявлять! Хозяйство так все равно не поднимешь, а ее можно в больничку загнать... Хотя этого вроде все равно не избежать.

Поковырялся отец — и брезгливо, величественно тарелку отодвинул: царственный жест!

Солнце сделало круг и кухню озаряло сейчас отраженным светом от окон напротив.

— Не будешь? — Нонна произнесла.

— Не-а! — как-то даже легкомысленно ответил отец.

Нонна смотрела на него налитыми своими глазами, потом взяла тарелку, повернулась с ней к мусорному ведру: недружественный жест!

— Постой! — вскричал я. — Зачем же выбрасывать?

— Ты, что ли, доешь? — проговорила она презрительно.

Да. Я доем! Доем, выблюю — и снова доем! Она злобно сгрэбла зеленые шарики с отцовской тарелки на мою. У меня и своих хватало. Да-а. Я повел носом, стараясь незаметно... Да-а. Пахнет так, как порой в комнате отца перед проветриванием. Не та ли это долма (фарш в виноградных листьях), что я перед Парижем купил? Долма допарижская! Может, она в холодильнике держала ее? Да нет. Судя по запаху — вне! Холодильник ей нужен для более важных дел! Помню, она перед отъездом как раз потчевала меня этим — кстати, еще враждебнее, чем сейчас. Сберегла, стало быть, и враждебность, и долму. Лишь долму слегка подгноила — и вот теперь подает.

«Ты, Нонна, гений гниений!» — весело говорил ей, пока было еще веселье. Но сейчас комплимент этот удержал при себе: нечего баловать ее — и так разбаловалась!

Молча стал есть. Из пищевода пошла встречная волна — но я властно ее подавил, пропихнув две долмы, потом еще и еще! Есть источник раздражения — уничтожим его! Оставим чистый стол — и никаких раздражений! Улыбка легкой отрыжкой перекинулась, но взял себя в руки, улыбкою ослепил.

— Кончилась? Жалко. А ты что ж не ешь?

— Не хочу! — она ответила мрачно.

Если это отравление — то слишком грубо обставленное. Впрочем, тонкости давно уже не волнуют ее.

Отец еще посидел, тронул своей большой ладонью чайник, убедился, что он холоден как лед, и поднялся.

— Спасибо, Нонна, тебе! Будь здорова! — произнес он с едва заметной иронией.

— И тебе на здоровье! — с насмешкой более заметной отвечала она.

Когда-то этот ритуал держал нас так же, как «доброе утро» перед завтраком. Теперь все вкус отравы приобрело, как та долма, что я только что докушал. Батя хоть жизнь свою сберег, а я для сохранения мира в семье своей рискую, получив лишь насмешку бати и презрение жены.

Посидел, лучезарно улыбаясь. Нонна мрачные, нетерпеливые взгляды кидала — мешал я, видимо, тут какой-то созидательной деятельности!

— Ну, спасибо тебе! — Я наконец поднялся.

Ирония непрочитанной осталась — какие-то другие эмоции вызвал. Ушел.

За письменным столом сразу почувял легкое недомогание: по животу волны шли, снизу вверх, заканчиваясь во рту, где я гигантским усилием их тормозил. Они могли и подальше заканчиваться — в унитазе или, например, на полу, но я их удерживал, нанося, видимо, здоровью непоправимый вред. Организм хочет от чего-то избавиться, а я не даю: звуки рвоты, мне кажется, могут нарушить наш хрупкий покой! Потом появилось какое-то странное восприятие всего, словно я на все это, в том числе на себя, откуда-то издалеча, чуть не из космоса смотрю. Знакомое ощущение, еще с детства: такое было, когда я скарлатиной начал заболеть, едва не сведшей меня, кстати, в могилу. Пора? Тогда были вызваны врачи, что сейчас, я чувствую, неуместно. Зато — мгновенное решение всех проблем! Моих, во всяком случае. А они пусть свои решают.

Я, казалось мне, далеко улетел. Комната уже каким-то далеким воспоминанием казалась. И вдруг телефон зазвонил — далеко, глухо. Не может быть, что это меня! Такого давно уже в этой комнате нету. Но кто-то звонит и звонит. Все еще пытается дозвониться. Видно, любит меня. До трубки дотянулся. Рука моя страшно длинной показалась. Потом долго — наверное, час — трубку нес к своему уху. Точнее — к тому облаку, что осталось от моей головы.

— Алло! — Слово это, оказывается, помнил.

— Ты там спишь, что ли? — голос Кузи.

Ага, сплю. Вечным сном. Но — пришлось возвращаться. Вспомнил дальним краем сознания, что Кузя просто так не звонит. Слово его теперь — на вес валюты. Стоит реинкарнироваться.

— Да нет. Слушаю тебя! — произнес я.

Кузя раньше довольно скромно стоял. Единственный его печатный труд — брошюра «Гуси в Англии», но эти гуси неожиданно высоко его вознесли: член всяческих международных комиссий, определяющих, кого из наших брать на мировой уровень. В Париж, конечно, он своеобразно меня пригласил. Вместо себя. Аккурат одиннадцатого сентября мне позвонил, когда весь мир смотрел, как «боинги» в небоскребы врезаются. Но говорил так, словно он единственный в мире об этом не знал. Мол, не хочу ли я тут в Париж *слетать*. У него самого, к сожалению, «руки не доходят». А у меня как раз такое положение дома было... что руки за все хватались. Погибну? И хорошо! Вылетел. И вышло удачно. Другой возможности у меня не было в мировую элиту влететь, а так — уже заторчал в их компьютерах... Если Кузя меня с корнем не вырвет.

А может, снова какая катастрофа, не дай бог, и он опять меня вместо себя посылает? Пушечное, точней, самолетное мясо? Но счас я и на это готов пойти!

— В Африку не хочешь слетать? — небрежно проговорил Кузя.

Я поглядел на мокрое царство за окном... Хочу ли я в Африку!

— Это в связи с Парижем, что ли? — уже как бывалый международный волк просек я.

— Ну! Компашка та же самая! — лихо произнес он. Будто мы с компашкой той лихо кутили. Этого не замечал. — Ну, там больше — этический будет уклон. Моральное осуждение нефти, загрязняющей не только физическую, но и духовную сферу. Расскажешь что-нибудь в масть.

Крупным международным экспертом становилось по этике и эстетике.

— Ясно! — усмехнулся я. — Какой-нибудь нефтяной магнат отмыться хочет нашими слезами.

— Точно! — хохотнул Кузя. — Умеешь ты это... влепить! Поэтому и ценю тебя. И посылаю.

А эти как останутся тут — без этики моей и эстетики?

— Вообще-то Африка меньше других, мне кажется, нефтью загрязнена, — пробормотал я.

— Ну, — усмехнулся он, — тут этика захромала твоя. Неловко даже как-то. Тот, кто любит ездить в Париж, и в Африку должен любить ездить.

— Вообще-то да... А когда надо?

— Во вторник в Москве, в той же конторе. Вношу?

— Спасибо тебе.

Кормилец! Это я уже потом произнес, бросив трубку. Я еще за Париж его не поблагодарил (подарю ему Эйфелеву башню), а он мне уже Африку на подносе дает. На деньги, в Париже сэкономленные (как это ни кошунственно звучит), месяц можно прожить (не в Париже, разумеется), а на полном отказе от восточных нег и африканских страстей, глядишь, и переживаем. А они тут пока помяются чуток. С голоду не умрут — денег оставлю. А дальше уж их дело. Если с ума окончательно не сходить — жить можно. К батю надо зайти. Вдохнуть бодрости. То ли самому вдохнуть, то ли вдохнуть в него. Вошел в его комнатку, снова руку ему на плечо положил. Он в этот раз как-то вяло прореагировал.

— Ладно, отец, — пробормотал я, — сейчас... Нонна немножко успокоится, и мы с тобой в харчевню какую-нибудь сходим поедим.

Батя похлопал теплой ладонью по моей руке. Тут вдруг распахнулась дверь и явилась Нонна: волосы растрепаны, глаза горят, выпяченная вперед челюсть крупно дрожит.

— Так, да? Для чего это я должна успокоиться? Что вы задумали тут?

Сейчас вцепится!

— Да Нонна, ты что? Ты и так спокойна. Ты не поняла. Просто хотим с отцом в какую-нибудь харчевню сходить. Раз ты есть не хочешь. А то я уезжаю скоро тут...

Мимоходом сообщил главное.

— ...надо, чтобы он на всякий случай знал... где подхарчиться. И все! — Я глянул весело.

— Когда ты уезжаешь? — пробормотала она, опускаясь на стул.

— Да через неделю примерно, — беззаботно сообщил я. — Продержитесь?

Нет ответа...

Так что же? Не ехать? А что же осталось мне? Сумасшедший дом? Альтернатива — могила. Еще одной порции протухшей долмы, как сегодня, не выдержу. Сомру. Перед глазами плывет все, двоится. А так, может, спасусь?

Все! Захотят выжить — выживут. Денег оставлю им. Тут новая волна рвоты поднялась во мне. Печатаю шаг, четко прошел в уборную, уверенно сблевал. С прежней жизнью покончено!

И вот настал вечер отъезда. За окнами — тьма. И лампочки светят тускло. На столе — французские сыры.

— ...Вот так, — заканчивал я тяжелую беседу. — Забыла фактически ты меня — какой я есть на самом деле. Не нужен я больше тебе... в конкретном виде!

— Да что ты, Веча! — Она подняла глаза. — Да я за тебя... кому хочешь горло перегрызу!

— ...Мне, например, — я усмехнулся.

— Да что ты, Веча! — закричала она.

Мы обнялись, и снова чьи-то слезы — то ли мои, то ли ее — щипали скулы.

Потом — уже из Москвы ей звонил.

— Ну как ты? — спросил.

— А я тут умираю, Венчик, — тихо произнесла.

— Ну-ну! — грозно пресек эти настроения.

Молчит. Плачет? Во как кончается жизнь.

— Так что... в Африку мне не ехать?

— Ну почему, Венчик? Ты поезжай! Если ты хочешь — ты поезжай!

«Хочешь» немножко не то слово.

— ...а я уж тут... — Снова умолкла.

— Отлично! Договорились! — на бодрой ноте закончил я.

А то если начнешь таять, растаешь до конца.

Глава 4

Когда я летал за границу в советские времена, рядом сидели только проверенные товарищи: вдумчивые, интеллигентные, многие — в очках, большинство — в бородах. Сейчас — с ужасом оглядел салон: какое-то ПТУ на взлете! Дикая публика. По-моему, даже не понимают, куда летят. Сосед мой, бритоголовый крепыш, посетив туалет, на место к себе пролез прямо по моим плечам, в грязных кроссовках.

— Э! А поаккуратней нельзя?

— А по рылу, батя? — сипло произнес он.

Да, трудно жить в новых условиях! Перед моим отъездом Кузя сказал:

— Там еще один тип от нас будет... Ну, ты поймешь!

Вроде я понял!

— ...ты постарайся как-то... уравновесить его!

Ну и работа пошла! Таких вот «уравновешивать»? «Уравновесишь» его! Вскоре он захрапел — и даже солнце Африки, ворвавшись в иллюминатор, не разбудило его: таким и солнце до фонаря.

Поэтому я был потрясен, когда в Каире, на пленарном заседании, посвященном альтернативному топливу, после того как я прочел свое эссе «Сучья» (как костер из сучьев под окнами больницы спас меня), тип этот кинулся ко мне:

— Во где встретились-то! Я ж тоже на сучьях торчу!

Потом нас на пирамиды возили — такая жара, что я только высунулся из автобуса кондиционированного — и обжегся буквально и сразу обратно залез. Смотрел через стекло, как полицейские в черном, с белыми нарукавниками гоняют какого-то всадника без лицензии, кидая камни в него. Тот ловко уворачивался, сползал набок с лошади (другую лошадь держа под уздцы), хватал с земли камни и в полицейских швырял. И одновременно к туристам подсакивал, предлагая их прокатить — под градом камней. Полицейские отступили вроде — потом вдруг на белых верблюдах появились, стали дикого того всадника теснить. Господи! — с тоской смотрел я на них: мало мне своих тревог, еще эти добавим?

Тут Боб, мой друг-крепыш, влез в автобус.

— Вообще какой-то отвязанный народ! — кивнул через окно на дикого всадника, который, прорвавшись через полицейских на верблюдах, пожилую японку на лошадь посадил. Коллеги наши послушно в пирамиду

лезли, в гигантский этот гроб, а мы с Бобом снова вместе оказались, не захотели «гробиться». Ночью в притон какой-то пошли. Был там полумрак — а танец живота, дребезжа монетками на талии, исполнял почему-то мужик, что нам не понравилось.

Потом нас всех на море отвезли.

Утром лежал я перед отелем, на плотном песке, и глядел, как смуглый смотритель пляжа кормил ибисов (аистов по-нашему). Белого и черного. Как ангелы, они хлопали крыльями за его спиной, а он входил в прозрачную воду на тонких ногах (таких же почти, как у птиц) и, наткнув на крючок какую-то крошку, кидал леску, свернувшуюся кольцами, и почти сразу выдергивал. И в воздухе мелькал серебристый язычок — пойманная рыбка. Он отцеплял ее от крючка, брал в темный кулак с желтой ладошкой, заводил его за спину и разжимал. Один ибис — строго по очереди — делал грациозный шаг и склевывал рыбку.

До бесконечности нельзя на это смотреть — надо идти звонить.

Ну и мороз, кондиционированный, в этой будке, в знойной-то Африке!
— Алло! Алло!.. Отец?

Чье-то сиплое дыхание... На грани вымирания они, что ли?

— Алло... — голос отца, но абсолютно безжизненный.

— Ну как вы там?

Пауза. А вдруг все нормально у них? Делает жизнь подарки? Нет? Что он молчит так долго? Тут каждый вздох — цент!

— ...Плохо, — чуть слышно произнес он. — Ты когда приедешь?

А сам он пытался что-то улучшить? Он мужик или нет? Или главное для него — «сына порадовать»: мол, бросил ты нас!

— Что значит «плохо»? — домогался я. — Как Нонна?

— Нонна... не поднимается, — вяло ответил.

— Что значит — не поднимается?! — орал я.

— Что ты орешь. Приезжай и посмотри, что это значит.

— Так Насте позвони! — закричал я.

— ...Хорошо, — абсолютно безжизненно ответил. Потом вдруг слегка оживился: — Так Настя тут.

— Тут? Так чего ж ты?! — (На хрена мы тут деньги роняем?) — Давай ее!

После долгой паузы трубка брякнула. Хорошо, что не на рычаг ее положил! Удалился с задумчивой трелью в штанах. Хорошая слышимость!

— ...Алло! — трубка наполнил наконец мощный голос дочурки.

— Здорово! — жизнерадостно произнес я. Раз дезертировал — то надо уж изобразить радости Африки. — Ну как там у вас?

— У нас все плохо! — (Хоть бы голос убавила — зачем вещать на весь мир?) — Мамулька полностью вырубилась: уверена почему-то, что ни в какой не Африке ты, а в квартире напротив. Выбегает, орет! Пришлось Стаса вызвать!

— ...из больницы, что ли?

— Ну а откуда ж еще?!

Тоже, похоже, не совсем уравновешенна!

— Говорит — срочно надо ее...

— В больницу?

— Ну... — Настя понизила голос: — Она рядом тут...

— Вен-чик? — вдруг донесся голосок Нонны. — Так дайте же его мне!

— Лежи! — рывкнула Настя. — ...Она под капельницей у нас.

Господи!

— Ну ты не волнуйся, отец! — заговорила Настя наконец бодро. — Лекарства закуплены, делаем все... Ну, дать трубку ей? Только недолго!

Долго я и сам не смогу.

— Вен-чик, — ее голосок, — ...как я рада-то!

— И я рад.

Ажно вспотел в этой морозной будке.

— Ты когда прие-н-дешь?

С нашими буквами говорит!

— Скоро уже!

Всех отравил уже своей ложью!

— Ну, держитесь там! — выкрикнул я.

Обрыв связи. Пять минут, мною заказанных, истекли. Из холодной будки вывалился в теплый, уютный холл. Солидные, благополучные люди, медовый трубочный дым. Упал в кресло. Посидел. Потом вышел на жару. Тупо смотрел: перед сухою канавой яркий арабский бульдозер, разрисованный цветными буквами-червячками... Веселый народ!

Потом я потел в тесной многонациональной толпе в сердце пустыни, перед шатром кочевым, делил общий восторг, наблюдая, как мамаша в парандже жарит на верблюжьих какашках (альтернативное топливо) темные лепешки и дает их чумазому ребенку. И нам надо так!

Глава 5

— Какая там Старая Русса! Мы еще Деменск не проехали! — Боб небрежно, одним пальчиком, рулил.

Сблизились мы с ним! Как я прочел на том конгрессе эссе «Сучья» — так он и не отходит от меня.

— Так я ж на эти сучья жизнь положил. Я ж на Севере служил — так там все реки сплавные сучьями забиты, гниют! Еще в армии — я механик был — такую печку соорудил, прессованными таблетками из опилок топили! Наш зампотех полка Кулибиным меня называл!

И на конгрессе он всем навязывал свою печку — но весьма прохладный встретил прием. Сблизились мы на сучьях с ним — и не надо смеяться. За грубой внешностью у него нежная скрывалась душа!.. Иногда, правда, и грубая внешность свое брала. Переночевали мы в Москве, в гостинице, чтобы «с ранья», как он выразился, стартовать. Переночевали весьма своеобразно. Он позвал меня вечером в отельный кабак — я, му-чась, отказался. Решил в номере остаться, считал — не вправе кутить. Решил домой лучше позвонить — но так и не решился номер набрать: зачем размениваться — уж лучше всю прелесть сразу! Трус!

Зато Боб себя доблестно показал. Когда я, час примерно промаявшись, все же пошел в кабак — застал там потрясающую картину. Вела туда изогнутая мраморная лестница, на второй этаж, и вся она была усеяна поверженными телами! Некоторые, постанывая, ползли вверх, видимо, не считая еще битву законченной, большинство, постанывая, ползли вниз, видимо, вполне уже удовлетворенные битвой. На верхней площадке, как памятник, возвышался Боб — грудь его дышала привольно, глаза сияли. Из одежды на нем кроме брюк остались только крахмальные манжеты. Грудь рубахи свисала вниз, как фартук, так же и спина. Тем не менее он был полностью счастлив. Некоторые из поверженных, изрыгая проклятья, все же доползали, но обессиленно замирали у его ног. Рядом с ним, почтительно скручивая ему руки, стояли метрдотель и милиционер.

«Он сказал: „Мне морда твоя не нравится!“» — пояснял Боб причину конфликта. Кто именно «он» — в этом сплетении тел определить вряд ли было возможно. Интересно: если оскорбил его кто-то один, откуда же столько поверженных? Милиционер задал ему этот вопрос, и Боб снисходительно пояснил:

— Набежали.

Метрдотель спросил у него — как же он один справился с такой уймой народу?

— У нас в Старой Руссе все такие! — победно выкатив грудь, пояснил Боб.

— Надо будет отпуск там провести! — не без юмора произнес мильтон.

Похоже, нас отпустили.

— Ты когда домой собираешься? — поинтересовался страж.

— Завтра, — ответил Боб.

— Давай тогда пораньше. Счастливо тебе.

В фойе Боб усмехнулся, оглядев свое отражение.

— Да-а... вообще-то морда на любителя!

Мы забрали его джип со стоянки рано утром — но не потому, как сказал Боб, что мы кого-то боялись, а потому, что «дел куча». Надеюсь, не такого рода «куча мала», что была на лестнице? А впрочем — пускай! В моем состоянии все казалось благом! Как учил меня мой отец: «Лучший отдых — смена работы». Я бы сказал: «Лучший отдых — это смена ужаса». Чужой ужас — не твой. Все, что хочешь, покажется развлечением по сравнению с тем, что меня дома ждет. И этот путь — последний, может быть, отдых, доставшийся мне. И я смотрел в упоении: золотые перелески, холмы, прелыми листьями пахнет. Дышится, кстати, гораздо слаще, чем в Африке. А ты думал — как?

— А это «самоварная дорога» зовется у нас, — улыбается Боб.

Мы едем вдоль двухэтажных бревенчатых домов, солнце, вставая, взблескивает в промежутках. Вдоль шоссе стоят столики, лучи протыкают золотом дым из самоварных труб. Машины останавливаются, владельцы самых «крутых» тачек, выставив на родную землю ботинок от Версаче, лакоматся шанежками, хохочут вместе с задорными старушками. Единение народа. Счастье, покой. Вот бы тут и остаться!.. но тогда не будут тебя уважать, те же бабки над тобой посмеются — тут уважают тех, кто спешит. Мы тоже проводим тут минуту — но какую сладкую — и трогаемся. Ехать бы так и ехать! Ми-ро-неги! Ми-ро-нушки! Яжелбицы! Деменск!

— Тут и начинал я! — Боб умильно озирает избушки. — Бабки пижму для меня собирали, а я сушил и платил им впервые нормально — за сколько лет! В любую избу тут найду — сразу в баньку!

Тело сладострастно начинает ломить — а может, действительно? Но Боб расхлябанности моей не признает — подает, наоборот, пример деловитости.

— А проблему твою решим! — произносит он строго.

...на пьянке в сердце Африки я все ему рассказал.

— Мама у меня тут раньше работала, — указывает на домики в долине. — В Стране дураков... свозили их со всего Союза. Разбежались нынче все... в Думе заседают!

Политическая эта бестактность коробит меня — но где они, политкорректные? Он же меня везет. Все поезда в Питер оказались оккупированы футбольными фанатами: без него бы я пропал.

— Так что тема знакома. Упакуем старушку твою! — Боб обнадежил. Такая деловитость пугает — но твоя «корректность» к чему привела?.. Скоро увижу!

— Тут вот хутор у меня был — восстановил мельницу, гончарные мастерские. У меня — одного — официальный самогонный аппарат был! Иностранцы балдели!.. Пожгли! — сообщает Боб.

— ...Иностранцы?

— Ха! — произносит Боб горько. — Иностранцев, автобусы их, от шоссе девчонки верхом сопровождали, в длинных платьях, вуалях, дворянки как бы! Иностранцы...

— Понятно.

— Ну, ты понял уже? Нормальный был бизнес — но кто ж у нас терпит его?

От родных мест, похоже, у него осталась лишь горечь. В столь молодом возрасте — ему двадцать шесть — столько уже разочарований! Не думай, что ты один страдаешь... утонченная душа!

— О! Вот же мельница! — восклицаю я.

Боб скорбно кивает — но скорости не снижает: на сантименты нет времени у него! А вон и «как бы дворянки!» Несколько дам в развевающихся длинных платьях скачут наискосок.

— Это так уже... привидения! — безжалостно усмехается Боб.

Одна из них — с золотыми веснушками — догоняет нас, из последних сил лошади скачет вровень, глаза ее зеленые полны слез! Боб, не выпуская руля, протягивает ей купюру — но она вместо того, чтобы схватить ее, гордо натягивает поводья — и на прекрасной белой лошади остается вдали, постепенно уменьшаясь. Жестоко!.. но, видимо, надо так? Мне б так решать проблемы — не увязал бы в дерьме. Но молчать тоже трудно — не позволяет душа.

— Младшая жена? — оборачиваясь к почти исчезнувшей амазонке, улыбаюсь я.

— Моя младшая жена еще не родилась! — произносит Боб твердо.

Осталась позади идиллия, мы съезжаем с последнего холма, теперь до самого Питера будет все ровно...

И вот уже — как быстро замелькало все! — сталинское ретро Московского проспекта, раздолбанная, но людная Сенная — и уже сверкают, выбивая слезы, плавный изгиб Мойки, поднебесный купол Исаакия. На роскошную Большую Морскую. Вычурные фасады банков. Шикарные витрины. А вот и арка моя, «черная дыра»!

— Стоп, — произношу я.

— Ну, хоп! — произносит Боб, мы лихо шлепаем ладошками, ладонь в ладонь (последняя моя лихость?). И я вылезаю. Дальше, родной мой, бегом.

В арке едко пахнет мочой — даже заслезились глаза. Привыкай к отчаянью. Железная дверь почему-то цела. А ты бы хотел, чтобы все рухнуло, как твоя жизнь? Не много ли хочешь? «Всему остальному» плевать, что там у тебя. «Все остальное» живо еще! Сам справляйся. Железная дверь тут ни при чем! Моя дверь, кстати, тоже цела. Чуть выпала по краям штукатурка, а так... Отпер. Дверь со скрипом отъехала. Вдохнул. Запах — самая быстрая информация. Затхлость. Сладкая вонь лекарств. Запах беды. Ты не ошибся — попал по адресу. Заходи!.. А может, еще ничего страшного?.. Заткнись!

За поворотом коридора попался отец. Даже не попытался изобразить радость встречи. Лишь отступил быстро с дороги, аж распластавшись по стене, — мол, быстрее, быстрее! Уже даже так? А ты все еще не готов? Кто-то должен тебе все устроить? Проходи в комнату! Прохожу...

Повел медленно дверь. Здесь запах погуще. Открыл. Нонна лежала, скрючившись на диванчике, страдальчески зажмурясь, почему-то накрытая пальто. Я осторожно приблизился. Наверное, она почуяла тень на лице и сморщилась еще отчаянней. Замучили ее? Вот ты и тут! И никуда больше отсюда не выйдешь: сама собой с протяжным скрипом закрылась дверь. «Нонна!» Я качнул ее за плечо. Она так легко — даже страшно — качнулась. Родные тонкие косточки. Тела не осталось совсем. Она разлепила один глаз, другой так и остался слипшимся.

— Венчик! — прохрипела она.

Попыталась привстать, но локоть сорвался и голова плюхнулась с размаху назад. Господи! Но почему, если болезнь, то и наволочка рваная! Несчастье не щадит ничего. Чтобы поцеловать ее — встал на колени. И — как ни странно — почувствовал покой и даже блаженство: я здесь! Сухая ее ладошка гладила меня по волосам... Счастье? Дунуло в форточку... отворилась дверь? Нонна быстро села, второпях даже стукнув меня лбом. Господи, как сухая кожа обтянула ее лицо! Один ее глаз нелепо выкатился, другой почти залип.

— Венечка! Спаси меня! — прошептала она испуганно.

Я обернулся. В двери, подбоченясь, стояла Настя и худой белокурый парень. Я почувствовал, как Нонна дрожит.

— Погодите! — с отчаянием произнес я.

— Здравствуй, отец! — произнесла Настя с обидой. Вот, мол, отцовская благодарность за двухнедельный ад! И грохнула дверью.

Теперь горе уже с двух сторон! Но — сперва сюда повернемся. Я все-таки усадил ее, придерживая за спину, другой рукой глядя по тоненьким сухим волосикам на прямой пробор.

— Все, все! — приговаривал. — Теперь все будет хорошо! Теперь я уже тут, и мы все сделаем как надо! — (Я почувствовал, что она дрогнула.) — Верней, все как ты захочешь! — поправил я. — Что ты сейчас хочешь сильней всего? — (Тут она, наоборот, оцепенела.) — Давай! Ну скажи. И мы это сделаем. Ну? — уже шутливо-ласково встряхивал ее, пытаясь заглянуть в глаза. Долго тут ее мучили — надо как-то подбодрить, чтобы жизнь в ней хоть чуть-чуть пробудилась.

— Я хочу... погулять, — произнесла она тихо, последнее слово — чуть слышно. Бойтся? Не выпускали ее? И форточку не открывали? Две недели подряд?

— Конечно! Какие проблемы! — воскликнул я.

Я вернулся — и теперь нормальная, разумная жизнь здесь пойдет! Законопатили ее тут — так и здоровый не выдержит. Сейчас мы с ней прогуляемся — и она оживет. От сознания все идет — а особенно в таком деле. Ведь — тьфу, тьфу, тьфу — все сейчас здоровое у нее. Кроме сознания. А оно из слов состоит! Подменим слова, вернем любимые наши, веселые — и прежнюю жизнь вернем. Ведь «формально все нормально», как шутили мы. Деньги привез. Накупим всего, а глядя на вкусные вещи, кто не будет рад? На самом деле все просто. Счастье — когда я тут — легко сделать.

Пойду скажу им, что мы уходим... но скоро придем. Ясно — и Насте тяжело. И с ней поговорю. Всех тут расколдую!

— Сейчас, — улыбнулся Нонне, бережно положил ее на подушку. Вышел. Перед кухней глубоко вдохнул: входим в атмосферу высокой плотности.

— Мы прогуляемся? — легкомысленно свесившись за порог (мол, даже входить для такой мелочи не стоит), произнес я.

Настя и гость глянули друг на друга, тяжко вздохнули. Мол, столько трудов, а теперь этот игрунчик все испортит — видимо, поездка в Африку окончательно ослабила его мозг!

— Отец! — произнесла Настя трагическим басом. — Врубись наконец! Пойми, что мать серьезно больна! Стас как специалист находит ее состояние очень тяжелым. Настаивает на немедленной госпитализации.

— А может... я как-то попробую... тут?

— Что — тут? — заговорил Стас. — У нее острейший алкогольный психоз. Весьма опасный. В том числе — и для окружающих! Настя говорит — она слышала голоса? Вы поймите — этот голос... ей все, что угодно, может приказать, вплоть... — Он поглядел в угол, где у нас висели кухонные ножи. Настя, кивнув, собрала их в свою торбу.

— Ну говори, отец! Она слышит голоса?

Да не только голоса она слышит... А кое-что еще видит! Сказать? И этим ее погубить? Диагноз — и за решетку?

— Голоса? — произнес я удивленно.

— Прекрати, отец! — Настя жახнула по столу, заходила по комнате. — Ты бы тут посидел!

Я тут уже... посидел! В том числе — и благодаря Насте! Так что!.. Но надо же Нонне сделать хоть какое-то облегчение!.. Тем более что скоро, видно, ее придется упечь. Но счастливой, хотя бы на час, надо сделать ее? А то — отчаяние и отчаяние подряд! Кто это выдержит?

— Но от часовой прогулки на свежем воздухе, надеюсь, не будет беды?

— Но учтите — малейшая доза алкоголя ее убьет! Мы закачали в нее довольно серьезные лекарства...

— Я вижу!

— Пошли, Стас! — Настя нервно направилась к выходу.

— ...Спасибо тебе! — произнес я.

— Пожалуйста, — холодно проговорила она. — Список лекарств — на столе!

В комнате дочь стала сворачивать свои вещи — и слезы блеснули у нее. Я открыл рот, чтобы сказать ей... но тут Нонна громко застонала в спальне. Все — уже не до разговоров, надо идти.

— Ну... расскажи мне... что тут делать, — попросил Настю.

Вздыхнула.

— ...Через час у нее лекарства. Вот лежат. Следи, чтобы проглотила, а то она любит прятать их. — Ну... — Мы глядели друг на друга. Тут в дверях засветился лысый кумпол отца. Как всегда, вовремя! Тяжелая ситуация еще тяжелей, когда смотрят на нее — вот так, с прищуром. Всю жизнь он злаки изучал — теперь изучает нас.

— Кстати, — прохрипел он. — Я за лекарства ей заплатил. Пять тыщ.

— Тебе прям сейчас надо? — обернулся я.

Ничего не ответив, он повернулся, зашаркал к уборной. И он обиделся? Начал я хорошо: всех уже обидел, Нонне ничем не помог.

— И не гуляй, ради бога, с ней, — устало произнесла Настя. — Все заканчивается истерикой — почему ей нельзя выпить? И затащить ее домой — целое дело... Это она для тебя уже стонет! — усмехнулась дочь. — При мне помалкивала! — Настя рванулась было туда, навести порядок, но остановилась. — Ну все. Поехала отдыхать. Держись, отец. Вот телефон Стаса тебе.

Они вышли. Я медленно закрыл дверь. Теперь все это мое. Под стоны супруги — теперь это от меня никуда не уйдет, можно не торопиться, я отслюнил пять тысяч (разменял часть валюты в Москве), отнес бате. Тот растроганно похлопал меня по руке, взял банкноты.

— Нет, если надо — пожалуйста, — сказал он, — но пусть у меня лежат. Спокойней мне: если пойдет, то на дело. Не просто так!

«Просто так» уже, наверное, ничего не будет. На кухне бумажку взял. Расписание ужасов. В восемнадцать ноль-ноль — галаперидол. Ее матери давали. «Успокаивает» так, что не пошевелиться! Высыпал несколько штук на ладонь... Невзрачные на вид, крохотные таблетушки. Был, помню, такой журнал «Химия и жизнь». Да, химия больших успехов достигла, чем «и жизнь»! Глянул на часы: без пяти восемнадцать. Теперь и ты будешь жить по расписанию. Иди!

Нонна встретила меня, неожиданно — одетая и даже причесанная.

— Венчик! Не давай мне этих таблеток — прошу тебя! Видишь, что они со мной сделали? — (Один глаз не открывается, другой вылез.) — Я буду хорошая. Обещаю тебе! Просто тебя не было и я переживала. А теперь все будет хорошо! Пр-равильна? — бодро, как прежде, воскликнула она.

— Пр-равильна! — бодро, как и прежде, откликнулся я.

Глава 6

Проснулся я оттого, что гулко хлопнула форточка. Приподнял голову. Нонны нет. Курит? Пейзаж за окном: луна, летящая в облаках, как ядро. На кухню пришепал. Нет! В кладовку распахнута дверь. Щелкнул выключателем. Бюст Льва Толстого навзничь опрокинут, бесценные мои дары, что я под ним до времени скрывал, на полу валяются, как не имеющие смысла, — и Эйфелева башня, и французские сыры. А я-то вез! Другое ископа. Понятно что! В кабинет свой метнулся: ящик стола выдвинут, бу-

мажник вывернут, валяется сверху. Да, сомнамбулы действуют четко! Все мои африканские сбережения, предназначенные для спокойной жизни в умеренном климате, улетучились с ней: это выходная дверь вместе с форточкой хлопнула. Вот тебе и слезы в обнимку, и жаркий шепот! Дурак!

«Сколько злобы в этом маленьком тельце» — такая шутливая у нас была присказка. Теперь сбылась!

С болью дыша, сверзился с лестницы. Через двор, озираясь: может, она где-то здесь? Как же! Под аркой выскочил на улицу, на углу стоял, вглядываясь во тьму. Через квартал — тьма подсвечена красной вывеской «Лицей». По-моему, это что-то дорогостоящее? Но деньги-то у нее теперь есть! Что ей цены? Это я притоны Африки обходил стороной — а ей нет преград! Ну все! Устрою! Двинулся туда. Какая-то старуха, изможденная, растрепанная, шла, сдуваемая ветром. Господи! Так это же она! Если бы раньше, в молодости, кто бы мне такое показал — я бы умер. А теперь — почти спокоен. Кинулся к ней. За тощие плечи схватил. Медленно подняла глаза — стеклянные, абсолютно бездонные, не видящие меня. Тряс ее, голова моталась, но взгляд ее не менялся и явно обозначал: «Ни-кого со мной нету, я од-на! Что-то мешает мне двигаться, но это уй-дет!» Такую вот богатую информацию получил от нее. Не зря бегал! Поверх мятой ночной рубашки надето пальто. Карманы обшмонал — ни копейки.

— Где деньги? — тряс ее. Бесполезно. Во взгляде лишь надменности добавлялось: «Что это? Кто это встал на моем пути?»

Господи! Я же о нормальной жизни мечтал! Рядом с нашей аркой большая витрина: пышная дубленка под руку идет с отличным пальто. «Вот, — говорил ей, — это мы с тобой идем!» — «В прошлом?» — грустно усмехалась. «Нет. В будущем!» — отвечал. Но будущее — другим оказалось. Все убила она! За стакан водки все отдала! Заметил вдруг плотно сжатый синеватый ее кулачок — жадно ухватился, стал пальчики разжимать. Какой-то смятый фантик изъял. Расправил: сто долларов.

— А остальные где?!

Не отвечала. Лишь все большей ненавистью наливался ее взгляд: комсомолка в лапах гестапо! Тряс ее. Вот что она сделала со мной! Веселым некогда человеком!.. Как зиму теперь проживем? Холодно уже. Луна в облаках. Возбуждение сменилось унынием. Надо помирать. А — на что? С новым порывом ярости до пивной ее доволоч. За дверью амбал светился, почему-то в ливрее. Элитное место! Попроше не могла найти, чтобы мне не комплексовать, не унижаться? А?.. На милость ее ты напрасно надеешься! Это не жена уже. Это — враг.

Лакей почему-то грубо себя повел — сначала вообще не хотел открывать, отмахивался пренебрежительно. Потом, когда увидел, что я дверь с корнем вырываю, открыл, но узкую щелочку. Не пролезть нам нынче в красивую жизнь!

— Что еще надо?

Значит, что-то было уже? Может, деньги удастся отбить? — жалкая надежда взметнулась.

— Простите... она заходила к вам?

— Заходила? — неожиданно тонким голосом произнес. — Так кто ж пустит ее?

Драка тут не спасет! И на его — да и на любой взгляд — зрелище жалкое. Правильно, что не пустил. Но где ж деньги?

— Пойдите! — всунул в щель ботинок. — А деньги она, извините, давала?

— Да показывала стольник баксов! Но такую и за тыщу нельзя пускать! Я задрожал.

— Между прочим... у нее высшее образование!

— У меня тоже, — сказал он равнодушно. — И что? Полицию вызвать?

— Так денег вы... не брали у нее? — совсем уже униженно бормотал. Что она сделала со мной! Пластаюсь перед надменным швейцаром.

— Послал ее... — Тут что-то человеческое трепыхнулось в нем. — В смысле — в ночной ларек. Но тут как раз вы появились.

Нормальный парень! Это только она...

— Спасибо вам!

Дверь захлопнулась. Стояли с ней на ветру. Вот она, наша с ней действительность! И не будет другой. В этой надо... как-то себя вести.

Обнял за плечи ее, осторожно к дому повел — пусть швейцар учится, что *всегда* надо нежным быть. Пусть видит, что не все еще выгорело в нас.

Дома я, конечно, обшмонал ее, нарушил слегка ту идиллию, что на улице представлял. Бесплезно! Несчастья она исполняет до конца!

— Зачем ты пьешь? — проговорил как положено.

— А ты зачем... был там? — пальчиком на окно мотнула, что напротив. Темное, как всегда. Опять я был «там»? А где-нибудь, интересно, я бываю еще? Ну все. Три часа ночи уже. Думаю, даже она в ближайшее время никаких ужасов не способна совершить. Но ошибся. Пихнул ее на кровать. Наискосок плюхнулась. Ничего. Годится! Для тех, кто последние деньги из дома уносит, очень даже неплохой ночлег. Почти сразу же безмятежно захрапела. Глубокий, освежающий сон!

...Но не таким уж он освежающим вышел. Проснулся от какого-то тихого, монотонного лязганья. Взметнулся, привычно уже. «Медицинская тревога!» Она сидела у меня на койке в ногах и точила большой узбекский сувенирный нож о белую пиалу. Мои любимые вещи. Чуть смерть не принял от них!

— Зарезать меня хочешь?! — закричал я.

— Себя! — завизжала она.

Вывинтил из ее пальцев ножик, вытащил пиалу. Обнял за плечи, к ее кровати отвел. Обмякла, не сопротивлялась. Только какая-то очень горячая была.

— Веч! Мне страшно! Кто-то чужой поселился в меня! Что делать, Веч?

Сама же «чужого» этого подселила! Но что теперь говорить? Стоя на коленях у кровати, гладил ее по голове. Уснула тихо. Но это уже, надеюсь, вся ее программа на сегодняшнюю ночь? Уснул — но как бы все вокруг видя. Во всяком случае, видел, как рассвело. Бледные окна напротив засветились сквозь туман. Скоро я снова «там окажусь!» Не угомонится. Надо Стасу звонить. Хотя еще рано, наверное. Телефон дал служебный, видимо? Может, домашний у Насти спросить? Да нет, пусть уж она отдыхает. Страдания все переведем на себя. Походил по квартире, все более светлеющий. Поглядывал на часы. Полдевятого уже. Наверное, можно? Психиатры, наверное, рано заступают?

Слушал гудки с колотящимся сердцем.

— А Станислава Петровича можно?

— А Станислав Петрович ушел уже. Сегодня он в ночь дежурил. Пол-часа как ушел.

Как раз — когда ты маялся, не решался. Никак не врубишься ты, что совсем новая жизнь у тебя. И прежний облик — приятного человека, соблюдающего приятности, — забудь. Выть будешь по телефону по ночам, и все за это ненавидеть тебя будут! Прежнего симпатягу — забудь. Неприятная пошла жизнь, с неприятными отношениями. «Третье дыхание» мучительным будет! Знай!.. И это все она сделала, такая маленькая, невидимая под одеялом почти! Блеснули узоры на коже — поглядел на них с кротким вздохом. Такая роскошь — с ума сойти — мне в сердце должна была вонзиться! На место отнес! Прилег на минутку и снова как-то прозрачно заснул, видя эту же комнату... чуть-чуть разве другую. И самое важное упустил — проснулся от бряканья. Утро уже!

Быстро на кухню пошел. Она, сладостно чмокая, прищурил глаза, пила чай... но что-то быстро убрала в хлебницу!

— Что там у тебя?

Поглядела лукаво, потом открыла хлебницу, смущенно сияя, вытащила огромный, на полбатона, бутерброд с джемом.

— ...Захотелось, Веч!

Так бы и жить!

— А! Сделай и мне!

Сидели, чавкая. И еще какое-то нетерпение подмывало ее — весело, загадочно поглядывала на меня.

Ну, с ней просто запаришься! — подумал я радостно. То так, то так!

— Веч! — мечтательно проговорила она. — ...Какой сон мне снил-сы!

Она была так счастлива, что я почти забыл даже, какой мне «снился сон». В раю оказались! Отлично же сидим!

— Рассказать? — спросила, сияя.

От волнения не мог ничего выговорить, только кивнул. Вдруг так и продержимся? Хорошо б!

— Ну... — Она смущенно потупилась, потом выпрямилась. — Как будто я приезжаю в какой-то южный город — весь в зелени, цветах. Понимаю, что это Ровно, где дядя Саша, когда я была еще маленькая, начальником станции служил. Но и где-то помню, что на самом-то деле Ровно, особенно возле станции, вовсе не такое... Но кто-то специально мне сделал хорошо! И это я понимаю — и от этого счастье совсем какое-то... безграничное. И вот — оборвалось бряканье. Остановился вагон. Тишина. Солнце. И я так в блаженстве лежу, сладко потягиваясь, потому что знаю, что дядя Саша самый главный тут и меня любит, поэтому можно не вставать, понежиться. Тишина. Солнце. И никого. Счастье. Потом зеркальная дверь отъезжает — «зайчики» пробежали по купе, — и входит дядя Саша, седой, в белом кителе, с ним какие-то начальники — тоже в белом все и красавцы.

— Вставай! — дядя Саша улыбается. «Не хочу-у-у!» — потягиваюсь.

— Ну, тогда, — его заместитель, красавец, говорит, — мы будем на вас брызгать!

Все улыбаются, и появляется пиала...

Пиала — я знаю откуда.

И все они окунают в нее свои пальцы и брызгают в меня. Золотые капли летят. Я смеюсь, отмахиваюсь. И просыпаюсь... Что это, Веч?

Может, это прощанье со счастьем? Вслух я этого не сказал. Мы смотрели друг на друга. Резко как-то ворвался телефон.

— Не надо, а? — вдруг проговорила она.

Вздыхнув, я взял.

— Вы меня разыскивали? Что-то случилось? — строго и как-то больно громко, на всю квартиру, проговорил Стас. Нонна застыла.

— Э-э-э... — Никогда еще не было мне так неловко излагать при ней, хотя звонки неудобные бывали.

— Опять обострение? — жестко произнес он.

— Да, да! — радостно вскричал я, словно сообщая о чем-то приятном. О неприятном при ней не могу говорить! Раздирали меня в разные стороны он и она!

— И что вы решили делать?

Хоть бы потише говорил!

— С кем ты разговариваешь? — нахмурилась она.

— Да так! — Я махнул рукой. Вряд ли Стасу понравится такое отношение. А без него — вспомнил я ночь — не обойтись.

— Хотелось бы... э-э-э... встретиться, — мямлил я.

— Привозите ее сюда! — проговорил Стас жестко. — Дома это все бесполезно.

Нонна все поняла. Руки ее дрожали — особенно большие пальцы ходили ходуном.

— Веча! Ну что я такого сделала? Я тебе рассказала сон!

Ну вот и хорошо. И пора проснуться! — заводил себя я. Лепит какую-то чушь про раннее детство. А сейчас возраст немножко другой!

— Когда можно подъехать? — прямо спросил я.

Место уже знакомое: теща померла там. Надоело кривляться. У меня тоже нервы есть!

— Собирайся!

— Куда? — Теперь и лицо ее дрожало.

— В больницу! Здесь ты всех сведешь с ума... включая себя.

— Я... не пойду! Не пойду! Убей лучше меня здесь! — Она схватила узбекский ножик. — Или я тебя убью!

Улыбаясь, я выставил руку.

— Немножко погоди... А... извините — вы машину не пришлете? Состояние... не совсем транспортбельное, — сообщил в трубку я.

За тещей присылали!

— Это я слышу, — сухо сказал Стас. — Но, к сожалению, транспортом не располагаем. Время приемки — до двенадцати. Жду вас!

Убежала куда-то. Теперь ищи! Дрожала в кладовке, вместе с ножом.

— Я не поеду, Веча. Не подходи!

Я сел за стол, уронив лицо на ладони. Ведь не может же быть, чтоб ужас конца не имел! Попробую друга Кузю подключить к этому счастью. Занято! Хорошо устроился.

Строго глянув, прошел мимо отец. Видимо, рассчитывает на завтрак. Оптимист. Твердокаменный оптимист, я бы отметил. И в аду потребует завтрак. «А?.. Что?!. Почему это — нельзя?» Брякнул задвижкой ванной. Водные процедуры? Это умно. Но боюсь, что сегодня будет не совсем обыкновенный день.

— Алло! — Кузя наконец прорезался.

— Салют! — весело произнес я. Нельзя отпугивать. — Ты прокатиться не хочешь сейчас?

Самое мерзкое — не в самом отчаянии, а в том, что его надо скрывать!

— На чем прокатиться?

— А на авто!

— Странная у тебя какая-то игривость с утра! И куда ж?

Нелегко игривость эта дается!

— А... Надо женку в больницу отвезти! — произнес легкомысленно.

Долгая пауза. Давал, видимо, понять. Судя по длительности — много чего. И прежде всего давал понять неуместность такого тона! В следующий раз буду рыдать. Тогда-то он точно испугается и сбежит. А сейчас, что ли, не точно? Если б хотел — таких пауз бы не устраивал!

— Извини... но она — согласна?

Вон какую высокую ноту взял! Решил отказать не просто так, а по причине своего благородства. Умно.

— Ты же знаешь конвенцию... За которую и мы с тобой, кстати, сражались: в психушку нельзя сажать без согласия клиента. Кроме... — Кузя произнес.

— Кроме? — спросил.

— ...Ну, я не помню, старик!

Измотал я его с утра непомерными своими требованиями: конвенцию наизусть знать... Но главное он четко усвоил. И я за это стоял. В общечеловеческом смысле! Но — не в таком!

Объяснить ему разницу? Впрочем, понял бы, если хотел!

— Ну, извини. Подзабыл немножко. Подучу, созвонимся. Извини.

Трубку положил.

Я на часы глянул. Пешком не дойдем. А в транспорте будет за всех цепляться — боюсь, что не хватит моих сил.

Бобу, может, звонить? Его вроде бы принципы не мучают в такой степени, как интеллигента Кузю, — боюсь, что многие в таких конкретных делах услугами беспринципных пользуются, не то замучаешься.

— На связи! — Голос Боба совсем рядом возник.

— Хелло! Это я. Твой тренер по этике.

— А-а.

— Встретиться хотелось бы...

— Голяк лепишь. Что надо-то?

— Да тут... женку в больницу закинуть!

Тут какой-то нарастающий грохот в трубке нас перебил.

— Что это? — закричал я.

— Сукодробилка врубилась! — заорал он ликующе. — Приезжай! Напишешь — денег дам!

— Позвоню. — Я положил трубку и с гулких просторов вернулся в свою тесную квартирку. Да. Это не его масштаб. Это — твой масштаб. Ты и действуй. Никто не сделает вместо тебя. И желательно — в темпе. Как правильно тот же Кузя говорит, лучше сразу действовать жестко, чтобы потом не пришлось действовать жестоко. Вот только боюсь, что стадию жесткости я давно пропустил — осталась только стадия жестокости.

В кладовке не оказалось ее! Убежала? Но я не слышал, чтобы хлопала дверь! Но она могла и не хлопать. На бегу в спальню заглянул — и затормозил резко: она плашмя на кровати лежала. Вытер пот. И душу вдруг защемило. И облегчение, и жалость, и любовь: не оказывает яростного сопротивления! Она вообще, бедная, на сопротивление не способна.

— Собирайся, — мягко ей сказал.

Хорошо, что как бы в шутку «собирайся» не произнес. Так мать ее говорила, что в свое время (или с опозданием даже) «сбиралась» по тому же маршруту, что Нонна теперь. Лучше не напоминать.

— Вставай, — качнул ее за плечо. Стадия мягкости. Которая, увы, несколько затянулась — и вот к чему привела.

Тут, как всегда вовремя, раздался уверенный скрип половиц: Командор приближается. Отец на пороге возник, свесив большую лысую голову в комнату, пылливо, как настоящий исследователь, изучая ситуацию. Но сейчас исследователи не нужны. Нужны исполнители — хоть чего-нибудь.

— Утро доброе! — произнес благожелательно.

Кривым кивком я этот факт подтвердил.

— А завтракать мы будем сегодня? — поинтересовался он.

Правильно! Всякие мелкие происшествия не должны сказываться на пищеварении. Тут он прав — и этим и крепок. Это вот только меня всякие мелкие происшествия доконали.

— Ближе к вечеру! — довольно резко сказал и добавил ласково: — Хорошо?

Усмехнулся как не очень удачной шутке и медленно — так он ходит — приблизился. Господи! Если посылаешь несчастья — то зачем их еще и нагружать дополнительным багажом?

— У меня к тебе разговор, — словно не замечая ситуации, доверительно произнес. А зачем ему замечать посторонние ситуации? Он прав. Ему, в девяносто два года свои, дела соблюсти — нелегкая задача. Свои бы путь разглядеть! Понимаю.

— Ты к зубному меня не можешь сегодня отвести? — сморщился вопросительно, глядел мне в глаза.

На Нонну, распростертую на кровати, я указал:

— По одному, ладно?

Довольно твердо это сказал. Но в мягкости — утонешь и не сделаешь ничего.

Некоторое время он еще постоял, усмехаясь, — показывая, что мой отказ не унижил его, да и не мог унижить, — потом с громким хрустом могу-

чего костяка медленно развернулся — и половицы тяжко заскрипели под ним... Несколько позже, батя! Хорошо?

Зато Нонна — ну просто ангел мой — со вздохом уселась, потерла си-неватыми кулачками красные глазки и на ножки встала. Нижнюю челюсть, дрожащую, прихватила верхними зубками, немногочисленными уже. Несколько раз вдохнула глубоко, на самом краю удерживая слезы.

— Ну хорошо, Венчик, — мужественно произнесла, — если ты хочешь, чтобы я скорее ушла, — я уйду. Хорошо.

Обнял ее:

— Да не хочу я, чтоб ты скорее ушла! Хочу, наоборот, чтоб ты скорее вернулась!

Постояли, обнявшись, потом она отпихнулась кулачками, обошла меня. Трагическая версия ей ближе. И, может, — верней? Не будем размышлять об этом — размышлять будем потом, когда что-то хоть сделаем.

На кухню ее застал. Глянула грустно: теперь каждой минутой ее буду прекрывать?

— Чайку? — бодро потер ладошки.

Счастливая, кивнула. Но для счастья уже мало у нас резервов — она не запасла: заварки нет ни в чайнике, ни в буфете. В наши годы от одних только вдохов-выдохов счастья не почувствуешь, надо что-то более капитальное иметь!.. не имеем.

А впустую улыбаться... только морщины гонять! Вот так. Сел за стол мрачно. У нее слезы закапали в чашку с кипятком. Не хочу кипятка! Она вытащила какой-то жалкий пакетик на тесемочке, стала окунать. Из него вдруг темно-фиолетовое облако поперло. Смородиною запахло. Молча вдыхали. Господи! Вот — хорошая сейчас, а ее в психушку надо волочь. Но когда она ножом начнет размахивать — этого ждуть? Сейчас надо!

— Скус-на! — сладко сощурившись, проговорила она.

Я поглядел на ходики. Над засохшими бутербродами с сыром (сколько уж они пролежали тут у нее?) какая-то сонная муха прожужжала, Нонна помахала над сыром рукой. Может, последний раз это? Поднялась.

— Халат берем? — бодро крикнул из ванной. Ответа нет. Лицо ее сморщилось беззвучным плачем — и я с удовольствием бы заплакал, но этой роскоши мне, увы, не видать! Мой удел — жалкая бодрость.

В уборной теперь защелкнулась! В отчаянии глянул на часы. Потом шкаф распахнул, стал в сумку метать ее лифчики, трусы, полотенца! У нее — возвышенные страдания на горшке, а мелочевой — уж мне заниматься! Она бы в больницу меня собрала? Как же! Мои болезни никого не волнуют, мое дело — обслуживать всех! Ага: полблока сигарет!

— Опаздываем!

Дернул в уборную дверь.

— Чего тебе? — дрожащий ее голосок послышался.

Злодей и в уборной не позволяет посидеть.

— Надо мне! — ответил грубо-добродушно. Такая вот мягкая версия — мол, не в спешке вовсе дело, а не терпится мне самому! Последний, пожалуй, мягкий подарок, который могу ей в этой спешке преподнести.

Задвижка щелкнула. Поддалась она. Сердце сжалось: как легко ее победить. Еще несколько таких же «побед» — и меня тоже можно будет госпитализировать! Только вот кто сумку мне соберет?!

Ей сумку ее показывать, наверно, не надо — тяжело будет ей. Грузи давай. В ванную метнулся, расплющив пальцем нос, думал — так-так, так... Паста, зубная щетка... Наверно, шампунь. Я его люблю — но уж ладно! Вдруг почему-то в кафельную стенку его метнул, пластмассовый флакон отпружинил. Говорил же: истерика — недоступная роскошь для тебя. Теперь надо лезть под ванну, вытягивать тот флакон. Тяжелее же делаешь!.. Но какую-то роскошь могу я позволить себе?

В прихожей пальто ее не оказалось: ни пальто, ни Нонны. Ушла? Тут я разорвался, привычно уже, — одна половина на лестницу ринулась, дру-

гая назад. Нонна, в шапке и пальто, на кухне сидела, разглядывала клеенкин узор.

— Насмотришься еще, увидишь! — добродушно проворчал. То, в чем не был сам до конца уверен. Глянула, со слезой, на сумку в моих руках. Сама могла бы собрать — для слез, может, меньше времени бы осталось!

— Пошли!

Остановилась. В комнатку поглядела, косо освещенную последним лучом.

Помню, как мы в Венгрии были с ней. Прелестная поездка! Венгры тогда любили меня, и она была еще веселая и красивая. В отеле у нас комната была — солнечная, тихая, напротив — костел, звон оттуда летел. Вся жизнь еще была впереди, неприятностей всех и тени еще не было — но как грустно было ту комнатку покидать: часть жизни исчезала навеки. Мне приходилось — тогда уже — толстокожего изображать: что за слезы, мол, мы же из маленького городка в Будапешт едем!

— Прощай, комнатка! — сквозь слезы улыбаясь, помахала ладошкой.

Чувствительность ее тогда прелестной казалась, за это я ее и любил. И осталась такой — только не радость мы уже вдыхаем, а больничный аромат.

«Прощай, комнатка!» — чуть было не напомнил ей. Но с комнаткой, где вся жизнь прошла, тяжелей прощаться. Скомкать это надо! За рукав ее потянул.

— Прощай, комнатка! — сказала дрожащим голосом и ладошкой махнула. Помни! А думал — ты один? Вместе все прожили.

А может, тут продержимся?.. Так! Еще кто-то нужен, чтобы *меня* вести? Такого рядом не видно. Придется самому.

Тяжелую сумку (что я там напихал?) повесил на шею, руки протянул к ней.

— Ну, пошли? Быстрей уйдем — быстрее вернемся!

Она почти безучастно позволила проволочь себя через двор, потом — через улицу, но вдруг на углу она ухватилась за поручень у витрины, с отчаянием глядела на наш дом.

— Веч! Ну не отдавай меня! Я буду хорошая — обещаю тебе!

— Да не волнуйся ты... Вернешься!

Поручень не отпустила. С отчаянием — сам почти стонал! — отколу-пывал по одному ее побелевшие пальчики. Оторвал — и дальше она уже не сопротивлялась.

...Всю жизнь мы с ней потратили на то, чтобы выбраться с унылых пустырей в центр, — и вот ржавый троллейбус волочет нас обратно, скрипит: «Не задавайся! Знай свое место. Сюда вот, сюда!»

Из роскоши тут только старое кладбище — а дальше уже совсем безнадега идет. Да и какая может быть «надега» за кладбищем?

Серые сплошные бетонные заборы, заштрихованные дождем. Проломы замотаны колючей проволокой. Когда-то каждый день с ней так ездили на работу, жизнь безнадежной казалась. Вырвались-таки! И — назад? Ей спасибо! Сидит вздыхает — будто я в этом виноват!

Улица Чугунная! Суровые места. Улица Хрустальная — без всяких, впрочем, признаков хрусталя. Величественные своды троллейбусного парка — тут заканчивается городское движение и вообще, видимо, все. Но нам, что характерно, дальше надо. Не думал раньше, что за концом жизни что-то есть. Придется заинтересоваться. Вон даже какие-то светящиеся окошки подвешены вдали. Но нормально уже туда не попасть. Дождь нас мочит на пустыре, а она даже и прятаться не пытается, мокнет насквозь. Мол, ты хотел этого — смотри. Дождя я не заказывал! А тут уже и не твоя зона — это ты там где-то мог диктовать: то царство разрушилось. А здесь — бегать будешь и почитать за огромное счастье, когда транспорт какой-нибудь тебя подберет. И за концом жизни что-то есть. Третье дыхание... но уже сбивчивое, увы! Что есть, глотай — раз вовремя не остановился,

осваивай, гляди во все глаза: все это, можно сказать, для тебя дополнительный подарок. И тут из-за какого-то мертвого угла вдруг драненький автобусик вывернул, с каким-то удивительным номером: 84-А! За отчаянием — только хохот и остается: 84-А! Надо же!

Залезли. Тепло, уютно, тускло — и даже люди переговариваются. И какие-то окна снова пошли, потом — какие-то темные небоскребы без окон — элеватор, что ль? Чувства, выходит, не умерли — и здесь реагируем еще.

А больница — это ж вообще старинная усадьба, с колоннами, полукруглый дом, высокие ступеньки. Аллея могучих кленов, ровные стриженные кусты. Багровые листья, как сердца, на могучих ветках — но многие уже слетели, наткнулись на острые пики кустов. Поднялись с ней на ступеньки. Постояли на крыльце. Вдохнули сладкий гниlostный запах. За весь путь впервые поглядели друг другу в глаза.

— Вот и все, Венчик! — проговорила она.

Вышел довольно быстро — не очень уютно было там. Стоял на аллее, смотрел на остриженные сучья, сваленные под фонарем. Вдруг увидел, что кора на них вся в мелких белых точках. Птички накакали. Надо будет Бобу сказать! — оживился. Да вряд ли кому еще понадобятся твои наблюдения.

На пустой темной улице стоял. Вспомнил вдруг, как отец ее, чопорный красавец инжэнэр, говорил удивленно:

— Вы позволяете Нонне уволиться с завода? Но куда же она пойдет?

А я тогда наглый был. Думал: какой еще завод, батя, когда весь мир валяется у наших ног! С усмешкой сказал ему:

— Не волнуйтесь так! За жизнь Нонны я полностью отвечаю!

...Отвечил!

Помню, как ликовала она, кружилась, пела, тоненькие ручки подняв: «Там де-вушка пляшет кра-сивая! Краси-вая! Счастли-вая! Там девушка пляшет краси-вая! Счастли-ва-я!»

Глава 7

В сладком предутреннем, светлом сне приснилось мне то окно. Я бы увидел его и так, если бы проснулся и открыл глаза. Сон лишь немного сместил реальность, показал его прежним — вымытым, сияющим, оббитым пышной желто-красно-фиолетовой гирляндой цветов, растущих из ярко-зеленого ящика на подоконнике. Даже во сне я зажмурился, застыл... было же когда-то такое счастье! Немного еще полежал в той легкой, счастливой жизни, стараясь не шевелиться даже: шевельнешься — и станет тебе самому ясно, что ты не спишь, надо подниматься. Лучше — неподвижно. Не потерять то окно!

Не так уж давно — в другой жизни — я стоял перед ним, любовался гирляндой, и вдруг за стеклом появилась молодая, прекрасная девушка. Отвернуться? Зачем? Наотворачиваюсь еще! Я помахал ей ладошкой — по взгляду ее было видно, что ждала этого, — и она тут же радостно ответила. Жизнь тогда была бурной, летучей — через минуту я куда-то умчался и про это забыл. По утрам лишь, вскоре после тихого поскребыванья Алчного Карлика, раздавалось сухое, веселое шарканье метлы — это она мела: была дворничихой и где-то училась. Откуда я про учебу-то ее знаю? Во влип! Точно: ни разу не разговаривал с ней, только улыбался. Наверное, по глазам это чувствовалось ее, что не просто она дворничиха, а где-то учится! Шарканье то сильно взбадривало — отлично начинается день, когда такая девушка дорожку тебе разматает. Помню — ликованье и какую-то наглость: хорошо это — но этого мало. Это лишь часть замечательной жизни предстоящей, малая часть, кусочек гениальной картины. Откроется гораздо больше еще. Помню то ликованье, смешанное с ожиданием чего-

то гораздо большего... поэтому я так и не подошел к ней, не познакомился... чтобы не замыкать этим жизнь. Впереди — такое еще! И правильно чувствовал. Вскоре подтвердилось это абсолютно наглядно. Стоял я у окошка, махал... тогда еще обиды от этих пустых маханий не было у нее — она тоже тогда, наверное, думала, что это лишь начало, лишь малая часть будущего счастья, поэтому не напирала, а радовалась. И вдруг я увидел, что точно над ней, этажом выше в окне, тоже стоит женщина, постарше слегка, но уже все знающая, уверенная, холеная — такие ничуть не меньше манят. Что ж, подумал я, игнорируем ее? Зачем? Наигнорируешься еще! Жизнь быстро тебя разлюбит, если ты не любишь ее. Отомстит тут же холодностью — за твой холод. Нельзя! Тем более холода и не было вовсе во мне тогда — ну буквально весь организм перерой, не найдешь холода; только — огонь. Пусть же она думает, что это я ей машу. От меня не убудет, а женщине в таком возрасте (с молодым нахальством подумал) вдвойне будет приятно. Глазами с ней встретился — и снова помахал. И — обе ответили. Хитрый, ч-черт! — с восторгом подумал. И долго это длилось. Пока, думаете, не рухнуло? Фиг вам! — пока еще лучше не стало, еще больше расцвело. Махал я утром двоим, ликуя, и вдруг увидел, что на первом этаже, точно под ними, совсем юная дева стоит, в школьном передничке. Вот это удача! Поглядел, помахал. Ответила, покраснев. И — каж-дое утро, а иногда и по вечерам. И все трое — махали. И мне больше не надо было ничего — такую композицию портить нельзя. То есть войди я к одной, так остальные исчезнут. Умен, ч-черт! И так за несколько секунд изменял я сразу троим! А если жену считать (а почему ж не считать ее?), то — сразу четверым! И это не стоит мне ни малейших усилий, ни времени, ни денег. Кто еще может так? Хитрый, ч-черт! Буйное ликование. И я бы сказал, что от этого всем троим вовсе не треть моего счастья доставалась, а, наоборот, — утроенное счастье. Умный, ч-черт! Поганей всего сейчас, в глубокой уже старости, отказываться от этого, шамкать: как я был подл!.. Умный ты был, собака! А сейчас — поглупел. Открывай очи-то. Смотри на грязное-то окно, пылью заросшее. Вот это действительно беда. Поэтому Нонна так к нему и приросла. Беда с бедой срастается. Но так ненавидеть меня за то окно! Совершенно, кстати, напрасно. Ни разу не бывал там. Может, за мою холодную ловкость Нонна меня и ненавидит? Никогда ни во что не влипал! За это и отлилось нынче? Доносилось до меня, что там проблемы, но я куда-то летел, спешно удерживал победы, ухватывал успехи. Стоять тут и пялиться бесконечно не мог. Так что я все правильно делал. Но этого мало, оказывается. Раз в год заглядывал туда, с легкими угрызениями совести, замечал изменения (а в тебе их не было, думаешь?). В окне этом рядом с моей красавицей появлялись мужики — сперва симпатичные, потом все более жуткие. Показывали мне кулак, а то и нож... потом призывно бутылкой стали махать. Я махал, но не шел. Так от жизни и уклонился. Не только там, но и здесь. Так что, по сути, Нонна права, ненавидя меня за то, что не сгорел с ними — с ней и с ее «визави». Выкрутился! Но не до конца. Петлей меня жизнь все-таки прихватила.

Раньше бодрило меня с утра сухое, бодрое шарканье метлы: жизнь продолжается, надо жить. Не помню даже, когда звук этот исчез. Порой и не замечаем, как ссыхается душа, улетают звуки, любимые запахи — посторонние, не главные. Их исчезает больше всего, и пустоту они самую большую оставляют. Отправил Нонну, чтобы не беспокоила... и теперь уже *абсолютно* пуст. Что же, выходит, лишь она последнее время тебя и наполняла?

Вопрос только — чем? Нервно на кухню пошел. Вот чем она меня наполняла! Все подоконники, шкафы, столы заставлены грязными, закопченными, пригорелыми кастрюльками, мисками, сковородками. И — никакую не выбросить и даже — не вымыть, в каждой кастрюльке не просто вещество, а горькая неизбежность, ее тоненькими ручками созданная. И как большое из атомов состоит, так она сумела большое горе из этих мел-

ких кастрюлек сложить. Скрупулезно, старательно, вроде бы мелким своим слабостям потакая. Но я знаю уже, нервно вздрагиваю: главная мина в нашей жизни — это вот такая кастрюлька, в каждой запасена маленькая гадость, ею созданная.

Разгребать? Ведь не со зла это все, а по слабости. Хотя есть такое выражение точное: «Слабый человек не может быть добрым». Неизбежно его слабости к гибели приведут — и не только его самого, но и ближних. И вроде бы — с таких пустяков: гречневую кашу не доела, в кастрюльке оставила. Зная уже, чем эта мелочь чревата, умолял: «Ну доешь эту кучку!» — «Нет!» — слабость, когда на нее давят, может очень упрямой быть. Так и осталась в этой кастрюльке кучка — не в чем стало молоко кипятить. Отец неторопливо, даже величественно кружку протягивал — и изумленно поднимал брови, когда следовал отказ. И так — каждое утро. Что мы в жуткой ситуации существуем — не желал понимать! «Как это — занята кастрюля? Чем?» Мелкой неприятностью. Что, объединяясь, горе дают. После долгих моих упреков, оскорбленная, принесла молока, но почему-то — в мягком пакете. Если сразу вылить его в кастрюльку, то ничего, не опасно, но мы без опасностей уже не живем. «Ну, доешь кашку, освободишь кастрюльку?» — «Нет!» Из-за воинствующей слабости ее — мощные катаклизмы начались. Такой вот, слабенькой, все по плечу. Каждое утро список с ней составляли — но каждый раз она, расслабившись, что-нибудь забывала купить, из-за чего завтрак, ужин, обед в ужас превращались. Написал же — «творожная масса». Вечером — нет ее. «Ну как ты могла забыть? Ты помнишь вообще, что я жив? Сигареты свои (не говоря уж о прочем) не забываешь купить?» Слезки! Уже жизнь — трагедия, хотя «выдано» еще не все. Начинаю двигать реальность, но кругом мины-кастрюльки, несущие беду. «Ну давай сделаем омлет!» Вытирает кулачком слезки, тихо шепчет: «Давай». Значит, пакет молока, на утро предназначенный, надо раскупоривать, дырявым оставлять? Мина! «Ну доешь кашку из кастрюльки, умоляю!» — «Нет!» Сам бы доел — но в руках открытый уже пакет молока, криво писающий. Швырнуть его, уйти? Или — остаться тут, пока памятник не поставят — «пенсионер, писающий молоком». Налил молока в омлет, пакет прислонил боком на полочку в дверце холодильника. Батя бредет. «Кушай омлет, отец!» — «Как? А творожной массы нет?» — «Творожной массы нет». Хорошо, что мы еще газом не отравлены — порой она газ включала, но забывала поджечь. Точней — в этот момент замечала, что позабыла спички купить. Уходила за спичками, но оказывалась совершенно в другом месте, причем надолго. А газ все шел. Так что на минном поле жили при ней, жизнью рискуя.

Утром — лезу в холодильник и вижу, что зыбкий пакет с молоком наклонился и вылился в тот отсек, где я хранил (в холодильнике положено) ленту для пишущей машинки: теперь она не черная, а белая у меня. Пакет молока все-таки вытащил, спас. «Ну доешь, прошу тебя, эту кучку каши в кастрюльке. Видишь — молоко сейчас выльется!» — «Нет!» Молоко в раковину выливаю. Вот так! «Обязательно, — дрожат ее губы, — утро со скандала надо начинать?» — «Но разве я это делаю? Ты!» — «Я? — Глаза ее блещут гневом. — Я разве что-нибудь сказала тебе?» — «Ты — не сказала, ты — сделала!» — «Я вообще не делала ничего!»... Это верно. Может, это моя энергия созидания конфликт создает? И ежели на все плюнуть, махнуть рукой, все еще и успокоится? Нет. Отец скрипит половицами, успокоиться не дает. Его мощный силуэт нашу жизнь как-то еще поддерживает, расслабиться не дает. «Батя лютует» — эта фраза поддерживает меня. Но сам бы он хоть на что мобилизовался, чем бы помог! С трудом я причул после ванной белье его на батарее подсушивать, мокрым в грязное не совать. Этого я добился, зато теперь любуюсь на батарею его кальсонами. Чтобы он, высушив, еще и убирал это — эта стадия безнадежной оказалась. Помню, задумал вчера перед сном: если хоть чуть постара-

ется отец, уберет утром кальсоны с батареи — значит, выкрутимся общими стараниями... если нет — то нет. Нет. Стой и любуйся: белые флаги кальсон.

Теперь еще — кастрюльки. Музей ржавых наших бед. Сохранять, что ли, их как нашу память духовную? Или — выбросить? Если Нонна ушла — то и большую эту память, видно, выбросить надо? Уничтожить этот рассадник микробов нашей беды. И, пользуясь ее отсутствием, новую жизнь тут начать, чистую и блестящую, как новая эмалированная кастрюля?

Хорошо б. А пока надо отцовскую миску найти и вложить туда раритетную гречневую кашу, после чего, глядишь, освободится кастрюлька для молока, а там, глядишь, засияет и все остальное. Курочка по зернышку клюет. Где же миска? Наверняка у отца в его хламе. Слышит наверняка, что я тут брякаю... Не принесет! Ему его величественные писания важнее. Это я только зачах на мелочах!

— Привет, отец. — Боюсь, что произнес это без особой душевности. Миска, естественно, на его рабочем столе, с присохшими обедками. Убрать, а тем более — вымыть ему в голову не приходит. Не его масштаб. Это — мой масштаб. Вокруг его лысого кумпола нимб сияет! С досадой поморщился, когда я потревожил его, поганую миску убирая. Шваркнуть ее на пол, уйти?! Купить новую никелированную кастрюлю как знак новой, разумной жизни и гордо и одиноко отражаться в ней?

— ...Пошли завтракать, — буркнул я. Унес его миску, сполоснул. Каши положил. Отец еще долго не появлялся — забыл, видимо, о моем приглашении среди своих трудов. Наконец, когда я уж отчаялся, зашаркали шаги его. Приближается! Ура.

...Ошибаешься! Щелкнула щеколда — надолго, наверняка в уборной закрылся. Раньше не мог? Хоть бы немножко учитывал семейные дела, мог бы вспомнить, что Нонна в больнице, что мне неплохо бы туда поспешить. Только по своему плану действует, даже в уборной. И там наверняка у него свои какие-то правила, свои мысли, может быть, даже исследования. Нам в его голове места нет. Наконец отщелкнулась щеколда уборной, но тут же захлопнулась дверь ванной. Исследования его продолжают. Как всегда, почему-то долгое время, не включая кранов, стоит. Тишина там гнетущая! «Ну что он там делает, что?» — Нонна в этот момент возмущенно шептала. Ее чувствами живу! Своих нет? Отец наконец пустил в ванной воду — шипение донеслось. И почти тут же резко вырубил — так, что трубы дрогнули. Да, страсти еще много в нем! Это только я от своих чувств отказался — времени нет. Отец наконец явился, поприветствовал трелью в штанах, но сухо и кратко. Лютует батя.

Может, и мне можно теперь вкратце посетить «общественные места»? В туалет я на секунду зашел — и тут же вышел. Ведь можно же быстро, когда ждут тебя? Но ему не объяснишь — он привык напористо, неукротимо все делать — что в туалет ходить, что сорта выводить. В ванной особенно неукротимость свою он проявил: вся голубая поверхность сочно захаркана. Недавно как раз красил я ванну — батя по-своему ее украсил. Есть свежие поступления, а есть давнишние. Свежие лучше! Трепещут под струей воды. Напор увеличиваешь, душ ближе подносишь — трепещут сильнее, но не отцепляются. Стройно вытягиваются, почти до прозрачности, до не-существования... но не уносятся водой в слив. Цепко держатся темной головкой, кровавым сгустком. Разве рукою подковырнуть?.. А-а! Не любишь?.. Первый головастик умчался, за ним — второй. Но старые, крепко присохшие, и ногтем не отковырнуть! Просто не ванна, а какой-то музей. На умывальной раковине ее волосы, вычесанные, кружевами сплелись. Смыть?.. А вдруг их не будет больше? Смыл. Постоял с бьющим душем в руке, как с пращой. Ну? Кто еще на меня? Душ закрыл. Все! Тихо, чисто, пусто во мне. Никаких страстей... в больницу пойду страсти набираться... Набрался! Тут же зазвонил телефон:

— Попов?

Мне-то казалось, что я — Валерий Георгиевич уже... Нет!

— Попов? Вы почему молчите? — Голос женский, но грубый, напористый.

— Слушаю вас! — бодро ответил. Вот и прилив сил. А то — еле ползал!

— Утихомирь женку свою — а то мы утихомирим ее!

Странно, что мне звонят, ведь они профессионалы?

— Ну... как-то вы успокойте ее!

— Это мы можем, — голос торжествовал, — видел в коридоре у нас кровать с ремнями?

Представил ее в ремнях.

— Прошу вас — ничего с ней не делайте! Я приеду сейчас!

— Когда?

Чувствуется — не терпится им ее распясть! Хочется им от своей тяжелой службы хотя бы какое-то моральное удовлетворение иметь... Хотя «моральным» это трудно назвать.

— Буду... через десять минут!

Это, конечно, невероятно... Но лишь невероятные усилия ее и могут спасти. Мечты о новой, чистой жизни, как кастрюля сияющей, выкинь и забудь. Не даст Нонна!

И вдруг ее голосок:

— Венчик! Спаси меня! Они у меня украли все деньги!

Господи! Куда я ее отдал? Решил, называется, проблему!

— Ты ей деньги давал?

Неприятный вопрос. И по тону, и по смыслу. Денег я ей, конечно, не давал, опасно это... но и участвовать в этом издевательстве над ней — не намерен.

— Прошу вас — не делайте с ней ничего! Я сейчас приеду.

— А нам пока что тут делать с ней? Она, слышишь, двери разносит!

Действительно — грохот какой-то. Неужели это она? Да — далеко зашло дело. Неужто сами они, трусливая мысль мелькнула, не могут справиться, обязательно душу мне рвать? Они ведь специалисты!.. Они-то справятся!.. но что оставят тебе?

— ...Через десять минут! — бросил трубку. Время пошло. По комнатам заметался, одежду хватая. Вот и силы пришли: через полгорода взялся промчаться за десять минут. Вот только на чем, интересно? На крыльях любви?

На бегу на бату наткнулся: прочно стоял, коридор загораживал.

— Слушай... — сморщился...

Ну?

— Ты обещал меня сегодня к зубному свести!

— М-м-м.. К зубному? Завтра — хорошо?

Сдвинул его, побежал. На самом деле я уже где-то в районе Лавры должен находиться! Батя обиделся. И так уже стонет душа: ничего хорошего нельзя сделать, не сделав плохого... додумать эту блистательную мысль некогда, не до мыслей сейчас.

Тяжело дыша, выскочил на улицу. Третье дыхание. Поглубже будет второго и даже — первого. И довольно еще энергичное... по сравнению с четвертым.

Так! — крутился на углу — троллейбусы, царственно-медленные, отменяем с ходу — на них я не скоро доберусь. Тачка! — руку взметнул. Не останавливаются. Не любят беды. А ты явно бедственно выглядишь: развязаны шнурки, рубаха свешивается до колен из-под куртки. Кому такой нужен? Люди нормально хотят жить — это понятно, а твоя ненормальность отпугивает. Хорошо хоть это протек. Семафоря одной рукой, другой рубаху записывал — но мало свой облик улучшил, не останавливается никто.

Тормозить их надо властно, неторопливо — сразу останавливаются. Но не нажать мне уже эту статью.

— Эй! — Конь прямо на тротуаре, надо мной: бешеные глаза навываке, из ноздрей пар. Сколько раз я возмущался ими, «бедным Евгением» себя чувствуя, на которого Медный всадник наезжает. Эти Медные задницы достали уже!

— Поедем, дядя? — нагло произнесла. Славная у них реклама: «или задавлю».

— За десять минут за Лавру домчишь?

— Не фиг делать!

Лет шестнадцать — восемнадцать, наверно, ей — а уже бизнес собственный, под седлом. Лошадь, слегка дымящаяся, накрыта добротным «чепраком», по-нашему — одеялом. Ты вот прошляпил жизнь свою — а эти, может быть, все и возьмут.

— Прыгай! — выпростала ножку в кроссовке, освободила стремя. Схватился за дугу седла, вознесся. Раскорячился, держась за седло, на широком теплом заду лошади.

— Геть! Геть! — амазонка звонко кричала. Я стыдливо молчал. Заняться ее воспитанием — потерять темп. Но — прямо наезжает на людей, те испуганно шарахаются. Мчит прямо по тротуару! А ты бы хотел — среди машин? И вообще, если бы не ехали с Бобом через Валдай, не видели бы там его амазонку — вряд ли и к этой бы сел. Но — с кем поведешься! На шестьдесят третьем году приходится пересматривать свои этические и эстетические принципы — такая уж у нас динамичная жизнь. Ни думал ни гадал, что такой грязный бизнес буду поддерживать: лошадь подняла на скаку хвост, и сочные «конские яблоки» зашлепали. Уберу... потом? — подумал вяло.

— Ну, куда? — обернулась она: взгляд почти такой же бешеный, как у коня.

Глянул: уже купола Лавры над нами!

— ...В Бехтеревку мне!

— Так бы сразу и сказал... дядя!

Другой бы слез, наверно. Перешли на галоп.

Темные пошли места. Но зато — просторные. Гуляй-поле, вольная степь! «Мы красные кавалеристы, и про нас...» Успели-таки!

— Тпр-р-р!

Успели. Только вот — к чему?

— Сколько я должен тебе? — уже из лужи к ней обернулся.

— А сколько совесть подскажет, — усмехнулась.

Совесть, оказывается, по-прежнему в цене!

Пошел через парк, почему-то медленно. Почти все уже «багровые сердца» слетели с веток, наделись на пики кустов. Образ этот подальше засунь — роман «из благородной жизни» вряд ли придется тебе писать.

Позвонил, вошел в тусклый коридор. Вот где твои герои. Бродят, как тени в аду. Твоя нынешняя «партия».

— Вы мне звонили? — у фигуристой дежурной спросил.

— Попов? Вон ваша супруга.

— Где?

Похоже, я на скаку несколько идеализировал ее. Довольно холодно на меня глянула. Ясно. Когда скандал ее насчет «кражи» (и, видимо, связанных с этим надежд на покупку бутылки) не прошел, сразу же потеряла интерес к жизни, в том числе и ко мне. На фиг я ей, собственно, нужен, если ей самого главного не могу дать? В «предательстве» моем сразу убедилась: видит, что я ничего не принес.

— Счас, — тоже довольно холодно ей сказал. Вспомнил свою безумную скачку. Не стоит этого она! Прошел в короткий «аппендикс», где сидели доктора.

— Обычная алкогольная ломка, — даже не поворачиваясь, глядя в какую-то папку, Стас произнес.

— Но вы... что-то можете? — я пробормотал.

— Вот. Об этом мы и должны с вами поговорить! — с каким-то даже удовольствием произнес и даже от бумаг оторвался. — Дело в том, что сосуды, в том числе головные, довольно хрупкие у нее. Так что применение сильнодействующих средств — дело весьма серьезное. И — как бы вам помягче сказать... необратимое. То есть будет спокойная она... но несколько заторможенная.

— ...Насовсем?

— А вы что-то другое предлагаете? Таких срывов, как сегодня у нее был, мы больше допускать не имеем права. Понимаете — она даже у нас... выделяется.

Это она может! Молодец! Она даже на многотысячном заводе выделялась.

— Но, — заговорил я, — есть слово такое... «душевнобольные». Значит, душу надо врачевать. Словами, разговорами... общими приятными воспоминаниями... когда все было хорошо.

— У вас есть такие воспоминания? — почему-то удивленно спросил.

— Да... Мы очень хорошо жили, — ответил я.

Стас удивленно и даже обиженно взметнул бровь. Кто же ему, интересно, мешает жить хорошо?

— Ну что ж. Действуйте! Дерзайте! — Он резко встал.

Похоже, он разозлился, что я свою линию повел. Конечно, «острый психоз» надо как-то убрать... но тупая она мне не нужна. Это уже не она будет.

— Тогда вы попробуйте сегодня словесную свою терапию, — усмехнулся снисходительно. — И если ничего у вас не получится — будем колоть.

Я кивнул. Мы вместе вышли в коридор. Больные гуляли группками, дружески беседуя, как на Невском. Из комнаты отдыха доносился хохот, стук домино, треск бильярдных шаров, пальба по телевизору. Снова смех. Все живут нормально! Даже здесь. А она даже здесь умудрилась выделиться в дурную сторону!

— Здесь... пробовать? — спросил я у Стаса.

— А где же вы хотите? — усмехнулся он. — «Не здесь», по-моему, вы уже пробовали?

— А нельзя выйти погулять?

Здесь она меня вряд ли расслышит. А кричать — это будет не то.

— Ну, я готов сделать для *вас* исключение. Погуляйте — но только во дворе: час — до обеда. Понимаю, — по-мальчишески усмехнулся, — что не дать вам испробовать ваш талант было бы кощунством!

Издевается? Поглядим!

— Спасибо.

Разошлись.

— Ну ты, корова! — весело подошел к ней, застывшей в кресле. — Чего расселась? Гулять пошли!.. Где тут у тебя пальтишко, кроссовки? Давай. Где?

— В шкафу... — проговорила безжизненно.

— Ну так давай... неси! — Надо как-то расшевелить эту куклу, заставить ее двигаться ради нее же!

Поднялась еле-еле. Медленно ушла в туманную даль коридора. За ней? Ну не могу же я всегда переставлять ей руки и ноги, надо, чтобы она сама двигалась. Тогда, может, выберемся?.. О, обратно идет. Седые растрепанные патлы, мертвый взгляд. Нет, не выберемся! — понял с отчаянием. Вспомнил, как я верхом сюда! Кончай ты эти скачки. Бодрость духа твоя не соответствует действительности.

— Что ты принесла?

— ...Что?

— Чье это пальто? А сапоги — чьи?

Посмотрела с ненавистью:

— Ты пришел мучить меня?

— Спасать, идиотка!

Все удивленно оглядывались. Оказывается, в сумасшедшем доме — то есть в нервной клинике, пардон, пардон, — положено спокойней себя вести, без надрыва, во всяком случае. Все вокруг всё принимали как должное и даже удовольствие получали, гляжу: этот выиграл в домино, этот — в шашки. Так, наверное, и надо принимать любую стадию, неизбежную. Это только ты (комплекс отличника) пытаешься не как все быть, и тут норовишь победить. Жену свою — уже победил, будь доволен. Теперь попробуй восстановить. А может, в шашки, как все? Уметь надо проигрывать? Не дергаться на сковороде?

Какую-то сладкую негу почувствовал, чуть даже не начал почесываться, как перед парной. А? Расслабиться?.. Да не расслабишься ты! Иди догоняй ее, шмотки ее ищи, вытащить пытайся... пока не начали ее «бомбить» «глубинными бомбами». Вдруг — увильнем, как всю жизнь с ней увивали от всяких «бомб»? Пошел вслед за ней. Да, густеют тут запахи. Отросток коридора, короткий, глухой. Напротив — туалеты. Очень удобно. Тряпка дверь занавешивала, брезгливо отодвинул ее (не надо этим брезговать), в палату вошел. Затхлый пенал. Окно в темноту. Уже и стемнело, пока я тут.

— Здравствуйте! — бодро проговорил.

Привычка. Хочешь, чтоб и тут все любил тебя? Проехали. Некому больше тебя любить. И если глянуть — то непонятно уже, за что. Отвыкай. Соседки ее, лежа на койках (дама-аристократка и грубая девка, пардон), одинаково сухо кивнули. Видать, старуха моя уже достала и их. Тупо перед распахнутым шкафом стояла, забыв, видимо, зачем открыла его.

— Где твое пальто?

Глядела на меня, словно не узнавая: кто это беспокоит ее? Да — здорово тут уже над ней поработали! Или — сама дошла? Так, скорей. Без моих слов, без ритуала жизни, принятого у нас, совсем рассыпалась — не помнит ничего. Попробуем собрать?

— Подумай, не торопись! Где может быть твое пальто? — проговорил мягко.

— Да вон валяется! — резко девка сказала. Мол, кончится когда-нибудь эта мутотень?

Видно, зябла Нонна, накрывалась пальто поверх одеяла — и завалилось туда.

— Благодарю вас! — расшаркался. Полез, согласно ее указаниям, под кровать. Нонна не шелохнулась. Конечно, это мой долг — под кроватями лазить, не ее. У нее — проблемы серьезные, а я — так. Могу и полазить. Вон и пальто, у самой стены, в мягком коконе пыли. Видимо, блюсти чистоту и порядок здесь считается пошлым. Стиль другой, не совсем обычный, но как раз подходящий для подобного заведения. Выволок пальто. Да-а. Соседки злобно к стенке отвернулись: и я уже их достал! Страхивать пальто здесь как-то неловко, но и идти в таком... значит признать: все! Больше не пытаемся! Понес его в туалет. Да, здесь стиль заведения тоже выдержан. Наверное, если уборщицу сюда пригласить — «что я, сумасшедшая?» — ответит она и права по-своему будет. Странно, я решил, будто в таком месте что-то почистить можно. А где? Здесь и придется!.. Под кроватью же, в виде двух комов пыли, и кроссовки нашлись. Стянул с костлявых ее ступней тапочки, кроссовки натянул. Вспомнил, как она говорила: в четвертом классе ее чуть в балерины не взяли, но решили, что большая ступня. А она так с той поры и не выросла. Да и сама-то она не выросла почти. Глядишь — была бы балериной! Другая судьба. Но — досталась эта.

— Вставай!

Поднял ее под мышки. Натянул, как на манекен в витрине, пальто. Вытолкнул немножко. Наш театр, чувствовал, совсем уже соседок извел.

По коридору повел. На нас смотрели, шушукались, хихикали. Даже тут она умудрилась быть хуже всех! Или, наоборот, моя бурная деятельность всех смешит? Вникать будем после. К выходу ее подвел.

— Стоп! Это еще что такое? — фигуристая взвилась.

— Станислав Петрович разрешил.

— А меня он спросил? — стала накручивать диск.

Уже, можно сказать, погуляли по коридору — пора и расходиться. Но неожиданно — выпустили. Дежурная встала, воткнула ключ в дверь.

— Пятьдесят минут. Ровно.

Мы молча вышли. Боюсь, это даже слишком много окажется — пятьдесят минут.

Вышли на крыльцо. Ветер злой, ледяной, порывистый — такой самую горячую выстудит любовь. Но, похоже, нам и нечего уже больше выстуживать — выстыло все. На алкоголе наша любовь держалась, им же она и отравилась, а без него — превратилась в ненависть. Четкий диагноз.

В чем польза больниц — в них обнажаются отношения, никаких добавок нет, отвлекающих и смягчающих. Беда выжигает все лишнее — а главного, смотришь, и нет.

Надо же! Совсем квеляя была — но, оказывается, земные желания у нее не все иссякли: вдруг даже как-то ловко повернулась спиной к ветру, вспыхнул огонек, просвечивая красным ее куриные лапки. Взвился дымок. Забыл про курево, не привез — но она не спросила даже: со мной, похоже, даже таких не связывает надежд. Могла бы, прикуривая, от ветра за мной спрятаться — я все-таки более мощный экран. Забыла. Потом, с явной досадой, вспомнила, повернулась:

— Ну? Куда?

С такой злостью спросила — будто это она обязана меня тут развлекать: навязался. Да, с развлечениями тут неважно дело обстоит: извилистые дорожки ведут к точно таким же тускло освещенным корпусам. Куда ни пойдешь — все равно в больнице! О свежем воздухе я мечтал (для нее), но она предпочла сигарету. Пятьдесят минут! Бр-р-р.

Одна аллея все же нас повела — молча шли, словно отработывая. Зашли в тупик, с двумя машинами. Почему-то один, темно-синий «жигуль», был весь мокрыми листьями залеплен, рядом стоящий белый «Москвич» почему-то ни одного не прилепил к себе листочка. Отец тут, конечно, целую теорию бы развил, но я, чуя ее настроение, молчал. Побыли в тупике — и достаточно. Впереди только тьма, в прямом смысле и в переносном. Отгуляли свое.

— Ну? Обратное? — фальшиво возбудился я и даже ладошками хлопнул, потер с аппетитом: мол, согреемся там, «пождранькаем», как когда-то говорила она.

Она, видимо, сдерживая слезы, пошла куда-то за корпус, в темноту — еле удержал ее на краю какой-то ямы.

— А ты думала — мы с тобой на Невский пойдем? — произнес я уже злобно. Как всегда, ничего не хочет ни понимать, ни соображать — прет, куда ей хочется, когда уже и некуда переть!

Не отвечая, уходила в темноту. Теперь она еще заблудится тут!

— Ну, хочешь — выйдем за ограду? — проговорил и тут же проклял себя. Благодарности, естественно, не дождался, но — молча повернула к воротам. Поплелся за ней. За калиткой, кстати, еще большая тоска: тут хоть деревья, а там полная пустота. Пусть посмотрит!

Расходятся тусклые промышленные улицы, огражденные ровными бетонными заборами. Все? Но тут она неожиданную волю проявила, иногда я даже боялся ее — жаль только, что вспышки воли приходятся вот на такие дела: вскинув руку, вдруг прямо на дорогу кинулась, и не просто, а

под обшарпанный пикап-«каблучок», тот резко затормозил, со скрипом, — даже развернуло его.

— Держи свою дуру! — водитель проорал и умчался.

Я ее и держал, спиной прислонясь к шершавому дереву. Сердца наши колотились рядом — но врозь. Я скручивал воротник ее пальто: задушить, что ли? И тут не успокоилась! Куда же ей еще? На тот свет? Организуем!.. На это, впрочем, духу не хватит у тебя. Другое верней: куда она ни потащится, я за ней. Вот это — вернее. Хоть и скучней.

— Пошли!

Она молчала, но зло, и только я удавку ее ослабил, как тут же рванула опять.

— Найн! — вдруг истерически завопила и, вырвавшись, помчалась наискосок.

Надо же, это словечко — «найн» — из далекого прошлого вдруг долетело, когда она, юная и прекрасная, впервые попала в тюрьму, по пьяному делу, правда, на пятнадцать суток всего. Как-то ударило меня это слово поддых, долго даже пошевелиться не мог. «Найн!» Получается, с самого начала все определилось уже, и напрасно я кривлялся-бодрился сорок лет? Вот она, суть нашей жизни. «Найн!»

Догнал ее. Но в некотором смысле было поздно уже. Крепко схваченная, успела-таки руку взметнуть. И тут же олицетворением злой ее воли из-за глухого бетонного угла вывернул сумасшедший какой-то автобус, чем-то похожий на нее — такой же маленький, встрепанный. Явно рассчитанный на клиентов *отсюда*. Даже номер какой-то безумный: 684-К! Не поверю никогда, что где-то 683-й существует! Только этот. Специально для нее! Нормальный бы проехал, видя такой сюжет, а этот резко остановился, заскрипев, и дверка гармошкой сложилась. Водитель явно ненормальный — в черных очках, несмотря на сумрак: как же семафоры в них видит? Или семафоры не интересуют его?

Тут она высокомерно на меня глянула: может, поможете даме войти? Я бы ей помог! Но при зрителях не обучены скандалить. Даже если этот зритель в черных очках. Подал руку ей, поднялся в салон. Да, из комфорта тут только буква «К», что, видимо, означает — «коммерческий». А так... рваные сиденья. Какие-то довоенные рюшечки на занавесках. Впрочем, все это не интересовало ее: села на ближнее сиденье, на водителя даже не поглядев. Холодная наглость, железная уверенность — водила туда доведет, куда надо ей. Все обязаны подчиняться! Я, естественно, тоже ничего водителю не сказал — но он тем не менее тронулся. В смысле — поехал не оборачиваясь. У него тоже твердый план. Лишь у меня — смутные надежды, что мы не придем с ней никуда! В этом единственное наше спасение. Но разве бывают автобусы, идущие «никуда»? Впрочем, появилась такая надежда: полчаса уже ехали, и — ни одной остановки и даже ни одного намека на то, что здесь может быть какая-то остановка. Глухие заборы без дырок, потом — стеклянные стены до неба пошли, но что приятно — без единой дверцы и что еще лучше — без огонька. Маршрут этот мне нравится. Полубуемся — и привезет нас назад. Но не тут-то было!

Мы как раз стояли у железнодорожного переезда, грохотали бесконечной чередой темные товарные вагоны. Водитель терпеливо ждал, а я, наоборот, ерзал в беспокойстве. Судя по громоздкому номеру, маршрут этот, похоже, пригородный. Завезет нас в какой-то глухой поселок, где вообще будет нам не приткнуться. Ее наглая уверенность вовсе не имеет никакой почвы — скорей всего, высадят на таком же пустыре, но за десятки километров отсюда. Что-то нет других, желающих на этот автобус, да и мы едем зря. Ее надежды на алкогольный сияющий рай тоже рассеялись — судя по угрюмости ее взгляда. Грохот состава резко оборвался, водитель заскрипел рычагами, ржавый корпус затрясся. За переездом была уже какая-то бесконечная равнина, окруженная мглой.

— Найн! — вдруг резко произнесла Нонна и встала.

Водила потянул еще какой-то ржавый рычаг, и дверка открылась. Нонна шла абсолютно уверенно, словно все тут знала наизусть. На самом деле у нее есть характер, но проявляется в основном негативно. Однажды она прошла от поезда пятнадцать километров ночью, зимой, до домика отца на селекционной станции, где я скрывался от ее алкоголической ревности. Шла элегантная (уверенность в моей измене посетила ее в кабаке), потеряла в сугробе туфлю, но дошла, разгоряченная и прекрасная. Скромность нашего с отцом существования постепенно успокоила ее. Но сейчас то «вечный зов», который ее ведет, если успокоится, то только рюмкой — хотя, скорее всего, после того как раз и начнутся главные неприятности.

— Спасибо! — отдал водителю два червонца. Все ужасы ее я обязан еще обслуживать! Все! «Закруглю» как-то это путешествие — и больше она не увидит меня! Не для того Бог вдохнул в меня душу, чтоб я по грязным ямам тут шкандыбал! Имею доказательства, что я достоин лучшей судьбы!

Оказалось, если идти прямо, то обязательно куда-то придешь. Как капсула на лунной поверхности, обнаружился обшарпанный домик со светящейся вывеской, впрочем, огонь в некоторых буквах судорожно бился, а в некоторых — иссяк. «Арагат!» Ковчег нас доставил правильно — туда, где теплится жизнь. Но лучше бы она тут не теплилась: предпочел быечно «носиться во тьме».

Вошли. Сразу потекли слезы в тепле. Интерьер соответствующий. Тусклое освещение. Темные столы рядами, как парты, стоят.

— Закрыто! — пискнула коротышка в мини-юбке. Гнала на нас шваброй с намотанной тряпкой мутную волну. Но Нонну это никак не остановило: прошагала по луже и молча села за «парту», как прилежная ученица, напряженно размышляющая на тему «Кому на Руси жить хорошо». Имеется такой снимок в семейном альбоме. Коротышка застыла в отчаянии — всю лужу ей испортили! Нонна сидела так же неподвижно и уверенно, как в автобусе: ее желания все должны исполнять! Кто, почему — эти мелочи ее не волнуют... Исполнять!

— Арамчик! — жалобно произнесла коротышка.

Арамчик — тощий, длинношей «учитель» этих «учениц» — сидел на первой «парте» и даже не обернулся, лишь резко вскинул узкую ладонь, что должно было, видимо, означать: «Тишина! Внимание! Не отвлекаемся на пустяки!» Огромные оттопыренные уши его, подобные крыльям, были багрово просвечены светом из бара, верней, из занимающего почти весь бар аквариума.

Из соседнего помещения доносился гулкий звон воды, падающей из крана в ведро, с наполнением ведра этот звук становился все глуше, потом, слегка скособочась, появилась вторая «ученица», напоминающая первую, с плещущим ведром воды. Подойдя к стойке, она сняла босоножки, поднялась с натугой на стул, а потом на стойку и, соблазнительно согнувшись, обрушила в аквариум содержимое ведра. Послышалось шипение. Из камней, оставшихся на дне, в образовавшийся слой воды поднялась светло-зеленая муть. Сладко запахло болотной гнилью — и я почему-то жадно ее вдохнул. Сладкие воспоминания.

Я помню, как однажды голышом
Я лез в заросший пруд за камышом.
Колочий жук толчками пробегал
И лапками поверхность прогилал.

Я жил на берегу, я спал в копне.
Рождалось что-то новое во мне.
Как просто показать свои труды,
Как трудно рассказать свои пруды.

Я узнаю тебя издалека
По кашлю, по шуршанию подошв.
И это началось не с пустяка:
Наверно, был мой пруд на твой похож.

Был вечер. Мы не встретились пока.
Стояла ты. Смотрела на жука.
Колючий жук толчками пробежал.
И лапками поверхность прогибал.

Вспомнил эти стихи, потом огляделся с отчаянием: вот чем кончается все!

Когда-то я написал эти стихи вот этой женщине, сейчас она абсолютно безучастно сидела рядом, страстно думая о другом, о своем! А я еще надеялся вытащить ее словами — а мы вообще молчим уже час. Называется — встретились, уединились! Аквариум, однако, приковывал и ее взгляд. Она тоже чувала, что сейчас это не просто аквариум, а измеритель Времени, а может быть — Вечности. Пока он не наполнится, ничего вокруг другого не произойдет.

И снова — действие не менялось абсолютно — «ученица» вышла из гулкового помещения с корявым ведром, с натугой влезла на липкую дерматиновую стойку бара, обрушила воду за стекло, муть поднялась с тихим шипением — и новая волна гнилостного запаха. Не разгибаясь, она обернулась к Араму. Тот оставался недвижим. Бесконечность только лишь начиналась, вся была еще впереди. «Водоноша» прыгнула с бара. С подоконника из таза с прозрачной водой пучились черные глазки золотых рыбок — похоже, лишь они проявляли некоторое нетерпение, иногда булькали, всплескивали хвостом. Нонна, в отличие от рыбок, не суежилась. Во взгляде ее была ледяная решимость, способность пересидеть любую Бесконечность и сделать, как надо ей. У меня нет такой силы. Все, я проиграл. Сил было лишь на протухшую реплику:

— Скажи, ну зачем ты пьешь?

Голова ее медленно повернулась. Ледяной взгляд. Потом — кивок выпяченным подбородком в сторону аквариума:

— А ты зачем... был там?

Вот так. И аквариум сгодился. Теперь там, а не в прежнем окне, Вселенский Компьютер, показывающий все мои грехи. Просто куда она ни глянь — полная информация обо мне!

— Ну, все! — Я резко поднялся. Ждать, пока гулко наполняется следующее ведро, — значит утратить остатки воли. — Вставай! — Пальчиками я сжал ее хрупкую шейку, чуть-чуть потянул вверх. Встала как миленькая! Подвел к выходу — никто на нас даже не поглядел — и, отпустив шею, пихнул ее довольно сильно, так что она вылетела на дождь, поскольку лась в луже.

— Так, да? — произнесла хладнокровно. Грязь, стекающая с пальто, ее абсолютно не смущала. Ее, похоже, ничем теперь абсолютно не смугишь!

— Так, представь себе! — заорал я. Хорошо, что хоть в «Аравате» сдержался.

Моя воля тоже может что-то: я поднял руку — и материализовался пикап-«каблучок». Может, тот именно, под который час назад кидалась она? Будет, однако, по-моему. Не снизойдя до разговора с шофером, распахнул дверцу, впихнул Нонну внутрь и сам вжался туда же.

— В больницу!

Водила рванул с места не уточняя — знал, видимо, из какой больницы клиенты шастают по гнилым пустырям.

В затхлый больничный коридор мы вошли с ней подчеркнута отдельно, и она сразу же, не оборачиваясь, ушла к себе, а я остался у двери.

— Ну что... убедились? — произнес Стас, пробегая мимо.

Я молча кивнул.

Глава 8

Троллейбус жалобно скрипит. Изредка выплывает фонарь, озаряющий лужу, рябую от дождя. Иногда лужи — цветные от редких окраинных рек-лам, но веселит это мало.

После нашей прогулки с женой Стас, утвердив свое умственное превосходство, еще долго трепал меня.

«Ну, вы поняли наконец, что бессильны? Может быть, даже и мы бессильны, но *обязаны* попытаться!»

И — «попытать». Больные, как я слышал, это «глубинными бомбами» называют. Почему бы не испробовать? Только вот что останется после них?

В конце Стас по заслугам меня оценил: «Конечно, методы словесного воздействия отрицать нельзя, — он снисходительно улыбнулся, — но, мне кажется, у вас нет... достаточного морального веса, чтобы воздействовать на нее».

А я-то наивно считал, что у нас есть духовная близость, более того, даже программа какая-то есть: «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга». Оказалось — только «глубинные бомбы» есть. Или — выбирай — «кино» в том окне, «мыльная опера», где я главный злодей. Финал: нож. Глаза не разбегаются, а скорее — сбегаются к переносице, чтобы не выбирать ничего. Да и «глубинные бомбы», оказывается, надо еще «проплатить». Когда я, морально подавленный, дал согласие, Стас высокомерно («Я в этом не разбираюсь») в отдел маркетинга отправил меня, где мне «выкатили» за лечение такой счет, как за отдых на море. Впрочем, «на море» она уже как бы отдохнула — все деньги мои угрожала в ту ночь, когда выбежала из дому. Как это умудрилась она: пятьсот долларов — за четыре минуты? Должна, что ли, кому-то была? Может, тому швейцару? Но он бы, наверное, сказал? Он-то как раз свой «моральный вес» ощущал в полной мере и не стал бы лгать и юлить — зачем это такому славному человеку? Виноват, впрочем: не пятьсот. Четыреста. Сто баксов она сохранила в потном кулачке. На них и гуляем — иногда даже скачем верхом.

Подписал договор — длинный список лекарств. «Успокоительных». Прежней, веселой, уже не увижу ее! Подписав — «выплата в течение месяца», — вернулся, отодвинул тряпочку на дверях, уже как бы издалека на нее посмотрел. В выпуклых своих очках разглядывала какой-то журнальчик... Прощай.

Лужи уже сплошь стали разноцветными — въезжаем в царство нег и сказочных наслаждений возле станции метро «Площадь Александра Невского». Что ли загулять? Хлебнул горького я сегодня достаточно — надо чем-то вкусным запить, вроде пива. Запой мне, к сожалению, не грозит — такая роскошь мне, увы, недоступна.

Вылез у станции. Станционная жизнь бурлит. Кроме жриц любви (тут в основном почему-то провинциальные) теперь еще кучкуются амазонки навряд той, что так лихо в больничку меня домчала. Табун их — под конным памятником Александру Невскому, своей бронзовой дланью как бы благословляющего их. И они уверенно конской грудью наезжают на пеших жриц любви, теснят их с площади, при этом — хохочут. Откуда уверенность в них такая? Высоко сидят? Долго стоял смотрел. Интересно. После больницы-то! Эти — умнее пеших: торгуют не своим телом, а телом коня. Почему, интересно, тут только девочки, почему конных мальчиков нет? В другом, видимо, месте? Надо будет узнать.

Ну все. Погулял — и достаточно. Но тут одна конная Лолита наехала на меня: «Прокатимся, барин?» Формулировка, не скрою, мне понравилась. Да и сама она тоже. Мелькнуло вдруг: не та ли самая красавица зеленоглазая, что догоняла нас на Валдае верхом? Да нет — сюда она вряд ли доскакала. Боб это не одобрит. Похожая просто. Впрочем, все они почему-то похожи между собой. Генерация? Плотные, сбитые, маленькие — без

коней вряд ли им удалось бы конкурировать тут с прежним контингентом. «Давай!» Она вынула ножку из железного стремени, я вдел туда свой лапоть, взлетел. И сразу — почти равным Александру Невскому почувствовал себя.

Поерзал, устраиваясь. Устраиваться тут интересно оказалось: сразу же кто-то третий, нас обоих волнующий, между нами возник. А считалось, что все давно закончено в этой сфере. Третье дыхание! Вопрос, оказывается, в том, с кем дышать. Третье дыхание, оказывается, может и сладким быть.

Затряслись. Довольно болезненно это — на хребте лошадином без седла. В седле только ее попка помещалась, ритмично подпрыгивала.

В витринах Старого Невского отражение ловил: смотримся неплохо. Как бы я главный, высокий, а она — беззащитное существо. Вспомнил любимую в детстве конфетную коробку: Руслан везет Людмилу из плена на коне. Мощный Руслан, впереди — беззащитная Людмила, к нему прильнувшая, а сзади, к седлу притороченный, седой, злобенький старикашка Черномор. Точно не сказать — к мельканию в витринах приглядывался, — на кого я больше похож: на стройного Руслана или согбенного Черномора. В конце концов решил: в зависимости от витрины. По звонкой брусчатке перед модным рестораном процокали и снова — на глухой асфальт. Пробки, семафоры не для нас: проскальзывали грациозно. За Московским вокзалом, на широком Невском с мощным движением въехали на тротуар, теснили конской грудью прохожих.

Амазонку мою вдруг прорвало — не иначе как оживленный Невский подействовал на нее — стала лопотать (впрочем, это как-то не мне предназначалось, а воздуху, меня она мало замечала). Сообщила, что у них в Пушкине конно-спортивная школа была, потом их бросили, продали, на самообеспечение перевели — а где сено взять, кормовые добавки? Впрочем, судя по раздутым бокам коня (да и по ее попке), полное истощение им не грозит — думаю, она побогаче меня. Вот навстречу по тротуару, рассекая толпу, встречная всадница проскакала, тоже со вторым наездником сзади нее.

— Привет, Анжелка!

— О, Саяна! Привет.

Проплывают над всеми! Новые хозяйки жизни.

— А где ты сейчас живешь-то? — спросил у нее.

— А! Пока еще тепло — в парке Интернационала, танцевальный павильон нам сдают. Вповалку спим, не раздеваясь.

— А хочешь тут жить? — показал на свой дом-ампир.

— Не! Со стариками я не живу! — даже не оборачиваясь, определила.

По сбивчивому дыханию, видно.

— Тю, дура! Я сам такими не интересуюсь. Расселяют нас, полно комнат. Сюда давай.

Въехали, чуть согнувшись, под арку во двор. Окно бати сияет, источая мудрость. Флигель напротив — темен и пуст.

— Раньше жила дворничиха, — на то окно показал. Заселю по своему усмотрению.

— Так. — Анжелка ногой, прямо с коня, дверь приоткрыла. — Тут и Ворон может стать. И топят, похоже.

— Очень даже может быть. Это у нас жилые не топят, а нежилые — очень даже может быть.

— Ну, клево. Слезай тогда. Раз так — бабок не надо. Мы девчонки глупые, но тоже понимаем, кто нам хорошее делает. Только ты и не думай! — обернулась воинственно.

— А я и не думаю! — С коня сверзился и враскоряку пошел. Теперь у нас такая походка?

Анжелка тоже спешила, как мужичок с ноготок, коня под уздцы в дверь провела. Тугая пружина хлопнула. Что я думаю — сам не пойму. Но что-то, видно, думаю, раз говорю?

К себе на кухню поднялся. Не зажигая света, устался в то окно. Там зайчик по стенам заплясал. Анжелка осваивается. Зачем? Не такой уж я друг детей и животных — но как-то вмешаться в тот бред, что в том окне бушевал, обязан просто. Пусть Нонна что-то мое там увидит! Не так обидно будет погибать.

Б. У. Бред Улучшенный. Или — Ухудшенный. Поглядим. Во всяком случае — хоть чуть-чуть Управляемый. В какой-то степени и от меня теперь зависящий. Или хотя бы мной сочиненный. Так что если вдруг по выходе моя супруга зарежет меня, то будет хотя бы частично ясно — за что. Частичка моего тепла будет к этому делу тоже примешана... Пропадать, так с музой!.. А теперь — отдыхать.

Но, увы, отдых нее удался. Вдруг щелкнул выключатель, как выстрел с глушителем, и кухня вся озарилась, Анжелке на обзор. Морда моя в стекле отразилась. Сто шестнадцатая серия «мыльной оперы» понеслась! Клин клином вышибают, бред бредом. Анжелка, рыбка моя, как ты в этом аквариуме?

Но вдруг вместо нее какой-то окровавленный вампир там! Что-то не то, получается, я сочинил? Растянулся огромный рот, два клыка показались. И понимал постепенно с ужасом, что не там он, а *тут*, за моей спиной! Вышел из-под контроля сюжет. Все силы свои собрал, развернулся... и на бату наткнулся. Чуть успокоился — и еще сильнее ужаснулся: весь в крови и даже рубашка закапана. Где это он?

— Ты что, батя? — я пробормотал.

Он долго смотрел на меня, весь сморщась, обнажив клыки... других зубов не осталось. Где они?!

— А?! — вдруг произнес он, оттопыривая ухо.

— ...Что с тобой?! — проорал я.

— К зубному ходил, — просипел он обессиленно. — Зубы вырвал... девять штук.

— Ну на хрена, отец? Делать, что ли, тебе нечего?

Мало проблем!

— Надо ж было разобраться сперва... посоветоваться... — пролепетал я.

— Но ты же обещал пойти со мной к зубному. И не пошел.

Опять я виноват.

— Ну ладно. — Он улыбнулся «ослепительно», положил свою лапу мне на плечо.

Я положил на нее свою ладошку. Постояли так. Потом я открыл холодильник.

Глава 9

Без Боба я бы пропал! Конечно, Кузя, высоконравственный друг, осудил бы меня, что я к помощи «маргинальных слоев» принимаю. Но ведь сам же он и сосватал нас!

Кстати, Боб сам тоже недоволен был, когда я за помощью к нему обратился. Долго «пальцы топырил», «крутого» изображал — злился, что в коммерческие тайны я лезу его. Да не нужны мне его «коммерческие тайны»! Мне деньги нужны! Что мне его моральный статус! Я и раньше догадывался, что не только очисткой Земли от гниющих сучьев занимается он. Однако именно он мне сгодился, при всей его моральной некрасоте не побоялся мне продемонстрировать ее, мою жизнь спасая.

Вагон «левой» карамели посадил меня сторожить на запасных путях. Дстойное занятие для меня нынче. Одевался соответственно... хорошо, что не выкинул старье. «Умный, ч-черт!» — как Нонна когда-то говорила. И когда старушка меня сменяла — прям так в больницу и ехал, в старье. Можно, конечно, было домой заскочить, переодеться... но зачем? Хватит,

намодничались. Для теперешнего оно лучше. Вот так жизнь и падает. А ты думал — как?

Стас с первого раза не опознал меня. Опосля привык. Таперича так. Входил в затхлую ее палату. Она теперь в основном, распластавшись, под капельницей лежала. Ставил минералку на тумбочку, фрукты вынимал. Забирал сгнившие. Не прикоснулась даже. Не реагировала на меня! «В лучшем случае» резко отворачивалась, с влагой в глазах. Я виноват? Из-за нее, можно сказать, сижу в холодном вагоне!.. но ей разве объяснишь?

Потом этот вагон карамели Боб успешно толкнул, но меня не бросил. На этих же путях посадил вагон просроченной виагры охранять, причем о просроченности честно сказал, чем обидел меня слегка... Что, если не просроченная, то не доверил бы? Впрочем, какая разница мне? Я сам просрочен. Мне уже *никакая* виагра не поможет. Спал на упаковках ее, вольно раскинувшись, но сексуального оживления, обещанного ею, не уловил.

Стук в дверь вагона раздался. Старушка пришла меня сменить. Залезла, приняла все по описи. Бывают же деловые такие! Впрочем, что я — «старушка», «старушка»! Сам себя неверно оцениваешь — «старушка» эта моложе тебя. Это как раз ты — «старик». Усвой это. Спрыгнул из вагона — и на бок завалился. Вот так!

Потер бок. По шпалам пошел. У огромного ангара депо в полутьме сварка сверкала — двое сваривали котел. Я знал уже — это печка для перемолотых сучьев, один из сварщиков — Боб. В масках и не узнать. Впрочем, чушь говорю: движения у каждого свои. Вон Боб. Понял еще до того, как он рукой в рукавице мне помахал.

И я в больницу поехал. Привыкай. Это теперь ты дома — в гостях, а в больнице — дома.

У метро, возле ярких ларьков (после рельсов здесь все верхом роскоши казалось), постоял, размышляя, что надо купить. Блок сигарет... апельсины... Что-то еще! Ага! — радостно вспомнил. Туалетную бумагу! Каждый раз там в ужас прихожу от растерзанной газеты, а бумагу все забываю купить. Вспомнил. Обрадовался. Теперь радуюсь столь простым вещам. Дожил! И это, понял вдруг, хорошо.

«Пять-шэсть штук» купить надо, порадовать ее. Вспомнит или нет любимую нами когда-то присказку — «пять-шэсть штук»? Отдыхали мы когда-то в Сухуми... осталось ли что от того дома с террасами, где жил маленький профессор Леван и жена его, могучая красавица Клара? Все у них было — «пять-шэсть штук». Даже в Ленинград нам перед нашим выездом звонили: «Купите шляп для Левана!» — «Сколько?» — спрашивали мы, радостно перемигиваясь. «Пять-шэсть штук!» И мы покупали, летели к ним. Счастливая жизнь под мандариновыми деревьями, над винным погребом. Когда покупали что-нибудь там, других слов не было. Порой до абсурда доходило — просто так уже веселились. Шли вдвоем в кино: «Сколько билетов?» — «...Пять-шэсть штук!» — радостно смеялись. Но тогда все копейки стоило! Потянем ли сейчас? С туалетной бумагой — потянем! А там, глядишь, и счастье вернется. Помню, как шли вечером с пляжа, пересекая рельсы, сжатые с двух сторон буйной растительностью, над шпалами в темноте светлячки танцевали. «Пять-шэсть штук»? Как же! «Пять-шэсть тысяч штук!» Интересно, вспомнит или нет? Если вспомнит — выберемся!

— Так пять или шесть? — Продавец туалетной бумаги не понял меня. Не врубається! Да откуда ему?

По коридору с упаковкой радостно шел — и большие встречные улыбались: «Запасся дядя!»

Нонна распластанная под капельницей лежала — не поглядела даже на меня. Жажнул упаковку туалетной бумаги на тумбочку:

— «Пять-шэсть штук»!

Не реагирует! Не помнит уже ничего, в чем счастье наше было! Не выберемся!

На табуретку опустился. Упаковку порвал. Рулон вынул. «54 м» — напечатано крупно на нем.

— Вот! Пятьдесят четыре метра в каждом! Хватит тебе?

И вдруг она повернулась ко мне — и бледная улыбка появилась на ее сморщенных губах. Впервые! Все же вырвал ее из темноты!

Обратно приплюсывая шел. Вот уж не думал, целую свою жизнь, что самая большая радость в больнице ждет!

Ночь я не спал, думал, вспоминал. Похоже, счастливые воспоминания о Сухуми помогли ей. Надо помочь ей вспомнить себя. Ведь всегда из всех передряг выбирались и часто именно благодаря лихости ее, беззаботности. Не признавала забот... и они — отступали. «Нисяво-о-о!» — восклицала бодро в самый завальный год, и действительно — «нисяво», обходилось. Благодаря ей прожили легкую жизнь и с купчинских болот в эту квартиру на Невском перебрались, в самое красивое на земле место. «Нисяво-о-о!» Надо не исправляться ей — поздно это, а просто вспомнить себя. Элементарно. Именно такой стать, как раньше, и никакой другой. Слабость ее — это и сила ее. Именно трогательная беспомощность ее и вдохновляла многих вокруг, вызывала у них, людей обычно жестоких, такой прилив доброты, что и мне порой перепадало. И, ее полюбив, все и себя начинали любить: вот, оказывается, мы какие хорошие с хорошими-то людьми! Праздник.

Помню, жили мы с ней в Доме творчества в Ереване. Решил однажды в ярости в горы ее погнать. Накануне напилась она с коллегами моими — я, значит, работал, а она пила!.. Начало воспоминаний этих — злобное, не спорю, но зато потом! Ранним утром я поднял ее, а заодно еще и ту парочку, с которой она напилась. «В горы, в горы! Здоровая жизнь!» Те двое, муж и жена, поднялись покорно, еще не понимая толком, куда их ведут. Нонна, конечно, заплакала, слезы размазывая тощим кулачком. «Я не могу, Веча! Лучше убей меня здесь!» — «А-а! Не любишь?! А напиваясь, душу мне рвать — можно?» Выпихнул их на шоссе. Побрели, покачиваясь. Шоссе извилисто в горы поднималось, наверху терялось, в утренней мгле. Там, по слухам, как некий град Китеж, сказочная «олимпийская деревня» была. Но из обитателей Дома творчества (с их-то образом жизни) никто не видел ее — только смутные легенды доходили до нас. Но мы достигнем ее. Хватит дури... А кто будет сомневаться — ублю!

Уныло склоняясь вперед, шли по извилистому шоссе... настолько извилистому! С отчаянием, после часа виляний, увидел рядом совсем брошенную канистру, от которой, думал, мы уже дико высоко поднялись. А она — рядом, можно наклониться и взять. Дорога — специально для страданий, не только физических, но и моральных, для демонстрации тщеты всех усилий, всех надежд чего-либо достичь. Нонна, как слабое существо, первая этим прониклась, села на пень возле шоссе, заявив, что не пойдет дальше.

Сырость насквозь проникала: бр-р-р! «Ну оставайся, если хочешь замерзнуть!» — «Хочу!» — «...Нет, пошли!» — «Веча!..» — воинственно вскочила, челюсть, выставленная вперед, задрожала, вскинула кулачки (большой пальчик почему-то всегда внутрь зажимает). «Сколько злобы...» — «...в этом маленьком тельце», — была у нас с ней такая присказка на двоих, часто спасала нас, снимала напряжение. Но в тот момент — вряд ли. Злоба ее от слабости шла, яростно слабость свою защищала, чтобы не делать ничего такого, что не нравится ей. И такой злобы в этой защите больше ни у кого не встречал. «Оставайся!» — я заорал. И чтобы не петлять больше тут, чтобы опять после часа ходьбы скорбную Нонну рядом не увидеть, решил резко в гору пойти — и пару друзей, ни в чем не повинных, перед собою пихал. Те испуганно переглядывались: «Во влипли!» Лезли на четве-

реньках по скользким камням. Нонна исчезла внизу. В сырое непроглядное облако попали. И вдруг — круглые камни, «лбы», тонким льдом покрылись. Как лезть? Пали, катились, мордую тормозя. Но отступить еще опаснее стало, чем наступать: перестанешь карабкаться — покатишься вниз. И когда вылезли мы наконец наверх, ободранные, окровавленные, — увидели этот «град Китеж» во мгле. Ринулись в бар, светящийся вывеской, — и первое, что увидели, войдя внутрь, — это Нонну! Сидела розовенькая, румяная, аккуратенькая, в одной руке у нее была чашка кофе — красная, армянская, керамическая, в другой — фужер коньяка и, судя по радостному ее настроению, уже не первый. «Венчик!» — закричала, сияя. Да, зла она не помнила. Особенно — своего. Что тоже, если вникнуть, прелестно. Как она опередила нас?! Кто-то пожалел ее, сиротинушку, подкинул на авто? Нас, измученных, окровавленных, честных, никто не жалел. Вокруг нее, сочувственно и озабоченно, местные женщины сновали — на нас, наоборот, поглядывали, как на злодеев, испачканных в крови. В своей кровинушке-то!.. Никому не интересно. Вообще выгнать нас хотели — «санитарный час!» «Санитарный час» нам, окровавленным, был нужен, но выгоняли нас. Спасибо, Нонна нас выручила, сказала радостно: «Это со мной!» Неужто счастье ее не работает больше?

От меня зависит — сколько сил вложу. Сколько наших слов вспомню!

Глава 10

Перед рассветом — самый тревожный сон. Или просто — самый запоминающийся? А этот сон, который я вижу сейчас, тревожит еще и своей повторяемостью. Может, и вправду что-то значит он, если так упорно приходит? Мы — в другой квартире. То ли я так глупо обменял, то ли мы вынуждены были переселиться. Смертельная тоска! Во сне я просыпаюсь, вынырываю из глухой темноты и вижу перед глазами чужие, аляповато-нищенские обои, которые теперь — с отчаянием понимаю — мои. Стенка кривая, пузатая, явно — картонная, в лучшем случае — фанерная, делит жизнь на клетушки. К тому же, я чувствую, не все клетушки — мои. Кто-то — так ясно, словно перегородок нет, — включает, выключает дребезжащее радио, кто-то надсадно кашляет — бедная, убогая жизнь. Как же я так вляпался? Ведь вроде бы поднялся куда-то в процессе жизни?.. Упал? С отчаянием вспоминаю прежние наши светлые, достающие до высокого потолка окна... счастливчик — раньше каждое утро видел их, просыпаясь! Теперь, открываю глаза, — какой-то мутный «бычий пузырь» вместо окошка, приплюснутый низким серым, неровным потолком. Городские трущобы. Это не новостройки даже — там гораздо радостней и светлей. Это — столетний центр убожества, несчастий и нищеты. И все правильно, понимаю я, — это убежище соответствует нашей жизни — жизни нищих стариков, им так и положено жить, в соседстве и постоянных бессильных ссорах с такими же, как они. Прежняя красивая квартира — и, может быть, даже красивее, чем была, — появится только в грезе перед рассветом. А вот пузатая эта, залосненная чьими-то грязными головами стенка — теперешняя твоя реальность, и сколько ни тарашь глаза (мол, может, ты не совсем еще проснулся...) — вот! Надо шаркать на кухню с кривым кафельным полом, нелепой дровяной плитой, множеством столиков по углам, накрытых чужими пахучими клеенками. Реальность. Грезить о прежней просторной квартире перестань: ты потерял ее безвозвратно. Вот проснешься окончательно, освежишь себя из медного крана на кухне — и, может быть, вспомнишь, как ты все потерял, в том числе и последнее — любимую квартиру, где ты был счастлив когда-то. А теперь что ж — какое счастье, такая и квартира. Вставай. Нет, еще немножко погрезить, будто я там, в прежнем любимом доме. Вот бы проснуться однажды там! Я тыкаю в стенку перед глазами, фанера пружинит. Все? Я с отчаянием зажмурива-

юсь... медленно развожу веки... О, счастье! Брезжут прежние высокие окна. Неужели я по-настоящему просыпаюсь? Здесь? Распахиваю глаза... Да! Лежу счастливый, но обессиленный. И где-то с краю еще тревога — может, еще проснешься *там* и не вырвешься. Будь начеку. Но пока — о, блаженство! — еще хватает сил просыпаться здесь.

Лежу плашмя, наполняясь звуками счастья. Вот отец шаркает по коридору, шарканье обрывается, наступает пауза. Остановился у двери, склонил сюда свой огромный лысый «котел» и, отчаянно жмурясь, вглядывается: на месте ли я, не загулял ли? С вами загуляешь! Тут я, тут. Но полежу в блаженстве еще — в последние годы оно только и есть, пока не встанешь.

Сейчас Нонна на кухне забрякает... Тишина. Не забрякает! Но, может, вернется и это, раз «квартира вернулась»? Прежней ее даже и в больнице уже нет! Прежней она лишь здесь может стать. А там? Там вылепят нечто «для отчета», а не для меня.

Работай. Вставай.

Отец прервал лирические размышления мои резкой трелью в штанах. Пр-р-равильная р-р-реакция! Раздраженно зашаркал дальше по коридору. Щелкнул выключатель. Потом — щеколда. Значит, можно лежать еще минимум полчаса. Отец там капитально устроился. К этому делу, как и ко всему прочему, подходит азартно, напористо, обстоятельно. Глубокий научный подход. И торопить его там, дергать дверь — в высшей степени бес тактно!

Щеколда наконец отщелкнулась. Вперед!

Глава 11

— ...Что это за возраст такой? — вещал батя. — В шестьдесят я еще был... конь! Волгу переплывал!

Зазвонил телефон. Боб!

— В Москву едем.

— Как?!

— Бабки нужны тебе?

Все-таки хочет капитализм меня схавать, загубить мое дарование! Это хорошо.

— Что делаем? — я поинтересовался.

— Сучья будем втюхивать. В смысле — таблетки уже, из опилок спресованные. Отлично горят!

— Там это что... экологическая комиссия опять собирается?

— Ну.

— Когда едем?

— Через сорок минут.

Вот это ритм!

— Извини, отец! — (Пшенной кашей его кормил). — В сберкассу не могу сегодня с тобой пойти. Срочно уезжаю.

— Ну? Куда? — удивился и даже обрадовался, похоже, больше меня.

— Ты уж как-нибудь тут... Ладно? — Я озабоченно несколько раз дверь холодильника открыл и захлопнул.

— Ладно, ладно. Езжай! — махнул своей огромной ладонью.

— Если Нонна будет звонить, — пробормотал (что сейчас с ней там, лучше не думать), — ...скажи, я в Москве, скоро приеду.

И у меня, выходит, бывают дела!

— Езжай, езжай! Все тут будет в порядке, — почему-то подмигнул. Радость его и мне передалась. Вернусь — возьмусь!

Боб забибикал вниз.

— О! Вот это машина! — отец одобрил. — Я в такой точно ездил по полям.

Ну, не совсем, конечно. Ну — пусть.

— Бывай, батя! — Мы обнялись. Молодец Боб: и наши с отцом отношения взбодрил.

Смена ужасов — лучший отдых! Я спустился. И с Бобом обнялись тоже — раз уж такая пьянка пошла! Я поднял взгляд — батя сияющим кумполом светился в окошке.

— Кто это?

— Батя мой. — Я помахал ему, он ответил.

— Ну? — Боб глянул с удивлением, но почему-то на меня. — Ладно, все. Хоп! — Он поставил в кабину ногу, и тут вдруг из флигеля донеслось ржанье.

— Что это? — застыл Боб.

— Да... тут, — произнес я нетерпеливо.

— Ну, хоп! — Он закинул себя в машину, я уселся с другой стороны.

Вместе хлопнули дверцами. И — рванули. Брякнули люком.

— Тут сейчас заедем еще — печку подцепим! — крикнул он мне, когда мы проезжали под аркой.

Печка на колдобинах издавала дребезжанье, похожее на ржанье, и с торчащей спереди изогнутой самоварной трубой походила на железного коня с раздутым брюхом.

Боб то и дело влюбленно оглядывался, особенно когда «ржанье» становилось нестерпимым — но то для меня, а не для хозяина.

В промежутках он поглядывал еще на мешки, сваленные на заднем сиденье, дробленые сучья, спрессованные в таблетки, похожие на игральные шашки. Выиграем ли? Конечно, хотелось бы попросить Боба пореже оглядываться, ведь все-таки едем через трудные места, нерегулируемые перекрестки, где надо глядеть в оба! Но — если страсть!.. Других лирических порывов, кроме любви к печке, не наблюдалось у нас. Даже когда проезжали родные его места, Боб разве что на минуту тормознул — справить нужду. От струек шел пар, лопухи с бордовым отливом, трепеща, что-то лопотали. Долина казалась пустой, строения любимого его хутора — безжизненными. Амазонки в вуалях не скакали к нам. Все, видно, в город подались, под руководящую длань Александра Невского. Горизонт окаймлял лес, сплошь уже черный, лишь кое-где взблескивали березки, как седые волоски. Вот мельница. Она уж развалилась. Быстро это у нас. Когда ехали в прошлый раз, она почти целой казалась... В промежутке целая грустная жизнь прошла.

— Ты небось поливаешь меня? — вдруг произнес Боб.

Я чуть буквально его не понял, в испуге отдернул струю.

— В каком смысле? — пробормотал я.

— Ну, в смысле — в своих сочинениях? «Новый русский», тупой?

— Да нет, — сконфуженно произнес я.

Еще и не приступал, если честно. Какое, однако, самомнение у него! Почему-то думает, что перед глазами у меня ничего больше нет, кроме его персоны. Не будем разочаровывать. Ведь кроме него вряд ли мне кто поможет: деньги в больницу надо в месячный срок. Так что личность, безусловно, выдающаяся.

— Я — просто русский! — гордо выпрямился Боб. Спohватившись, убрал «инструмент», и я тоже, соответственно моменту. Молча постояв, мы пошли назад. Он потрепал любовно по холке своего «стального коня», и мы, слегка замерзшие, сели в машину. Больше мы с ним не говорили почти, лишь звучала местная «музыка» — Яжел-бицы, Ми-ронушка, Миро-неги!

— А чего это я к тебе так прилип? — вдруг он удивился.

Я и сам удивлен!

О «самоварной дороге» с трудом вспомнил я — напомнили деревянные двухэтажные дома, но обочины были пусты — видно, холодно уже людям

стоять. Грусть и печаль. Но я ими наслаждался. Просто прекрасными были они — по сравнению с ужасом, что оставил я за кормой. Для того я, впрочем, и ехал, чтоб забыть о своем. Ну хотя бы как-то рассредоточить беду в этой печали вдоль дороги... Помогло!

А Москва — всегда как-то бодрит, даже чумазами заводскими строе- ниями. Лишь в Москве видел такие надписи: «Строение 4», «Строение 5». Какая-то энергия скрыта в этих надписях! А как замирает душа на старин- ных центральных улицах перед скоплением темных лимузинов с нетерпе- ливыми мигалками! И понимаешь вроде, что не сидеть тебе в таких, не ре- шать глобальных проблем, — но сердце сладко щемит: а вдруг? Приятно просто представить — поэтому я так люблю ездить в Москву. Боб, — гля- нул на него, — похоже, не так счастлив и беззаботен: сейчас дергается в пробке, а дальше, похоже, будет еще трудней. Во всяком случае, я заметил несколько насмешливых взглядов из роскошных лимузинов в сторону на- шего «железного коня» с его грубыми, чуть извилистыми сварными шва- ми, отливающими фиолетовым. Легкая брезгливость во взглядах читалась примерно так: нужны, наверное, такие страшилища, как этот «троянский конь», и даже где-то, наверное, приносят пользу — но зачем надо было гнать его сюда, портить благолепие? Если польза от него есть — то шлите ее сюда прямо уже в виде денег, желательно — иностранных. А зачем же *это* переть? Боб, тонкая душа, чувствовал это.

— Ничего... сожрете! — неуверенно бормотал он.

И у отеля, где парковались мы, чувствовалась та же самая брезг- ливость.

Перед комиссией Боб, волнуясь, ко мне в номер зашел:

— Глянь-ка: носки вроде не в тон?

— Не — вроде в тон, — пытался взбодрить его я.

Боб подошел к зеркалу, в глаза себе глянул:

— Ну что? Бздишь, суколюб?

Доложили на комиссии. И — выгнали нас. «Для принятия решения». Никто даже не захотел выйти на печку нашу взглянуть!

— Из золота им, что ли, — бормотал Боб, — печку надо было сварить?

Шведам отдали наши сучья! У них даже и печки такой нет! Через пару лет сляпают только. А пока наши сучья в наших реках гнить будут, воду отравлять. Зато печка у них будет — тип-топ, не стыдно в любую виллу поставить. Хоть в Швеции, как сказал Боб, и нет вилл: дурным тоном это считается, признаком воровства. Едешь и едешь по Швеции, и сплошь — скромные деревянные домики, оставшиеся им к тому же от предков. И им это в самый раз. Это *наши* стараются, для *своих* вилл — чтобы *шведская* печка у них стояла.

Горе просто! А как волновался-то Боб, готовился! Носки-то, может, оказались и в тон, но вот мы оказались «не в тон». Вечером разбрелись по номерам. Часов в девять я позвонил ему. Боялся — вдруг он опять устроит побоище в кабаке, как тогда, когда мы с ним из Африки добирались. «Ура, мы ломим! Гнутся шведы!»

— ...Алло, — тихий, словно не его голос ответил.

Теперь еще миллионер у меня на руках!

— Ну как настроение? — бодро произнес я. — Может, того?..

— А, это ты, — произнес он тускло. — А я думал, это бляди опять.

Да, с этим здесь хорошо. И накануне всю ночь звонили без переды- ху — но тогда мы волновались, готовились, сочиняли доклад. «Плакала Саша, как лес вырубали!» — с этого Боб, по моему совету, сообщение на- чинал. А мое эссе «Сучья» и не дослушали даже! Так что той ночью не до *этих* было. А теперь — уже не до них! Только мы с ним пожелали друг другу спокойной ночи — сразу звонок.

— Можно к вам зайти?

— А вы кто?

— А я Люба. — (Смешок.) — Любовь.

Любовь нечаянно нагрянет! И некстати, как всегда. Была уже у меня любовь — теперь надо разбираться с ней в нервной клинике.

— Извини, Люба. Нет настроения, — в трубку сказал.

— Так, может, появится? — Снова какой-то странный смешок.

Марихуаны, что ль, накурилась?

— Нет! — Я злобно кинул трубку.

Тут же — снова звонок. Выходит, не обиделась? Или — то новая уже, еще не обиженная?

— Алло.

— Ты чего там? — Голос женский, но грубый. — Залупаешься? Сейчас огребешь!

Выселять будут? Или так убьют? Трубку повесил. Снова звонок!.. Соглашаться? Представил вдруг, как Нонна лежит, в душном пенале.

Стал розетку искать, чтобы выдернуть. Но где же она? Столом, умники, задвинули. Встав на колени, яростно дергал стол. На третий дерг он вдруг поддался легко и чмокнул прямо углом мне в зубы. Сразу кинул туда язык... Шатается! Во, плата за честь — переднего зуба лишился! Но выдержал провод, как герой-связист! Укутал зуб в кошелек. И задремал спокойно. Пусть теперь только сунутся! Зуб за зуб!

Раньше бы обязательно вяпался в историю!

В чем сила несчастья — начисто выжигает всю дрянь.

Из Москвы не могли выбраться три часа, на выезде — пробки. Работают сотни машин, воздух аж сизый от бензина! Вздыхали с Бобом. Мы тоже, увы, вносим свою грязную лепту. Но мы хоть пытались что-то изменить!

Вырвались наконец на простор. Чуть вздохнули. Перелески, холмы. Нырjali с горы на гору, и наш железный коняга сзади ржал.

Ничего! Пока мы его тащим — а там, глядишь, он нас повезет!

— А денег я тебе все равно дам! — произнес Боб упрямо.

...Впервые заметил вдруг, что в больницу как-то уверенно иду. В одной из первых бесед доктор Стас высказал мнение, что нет у меня «морального веса», чтобы Нонну спасти. Есть у меня моральный вес! И к тому же — материальный! — пощупал карман.

Переобулся у входа в тапочки, повесил пальто, не спеша по коридору пошел. Самодовольно дыркой от зуба что-то насвистывал. Ранение как-никак! Стас с удивлением на меня посмотрел: *так* я еще тут не ходил. Я поклонился спокойно. «Зайдите... попозже», — Стас пролепетал. Я кивнул с достоинством. Хорошо с весом-то!

Глава 12

И дальше по коридору пошел. «Сколько можно белье вам менять?» — кому-то нянечка кричала. Тепло. Уютно. Последнее, в общем-то, на земле место, где ты еще можешь достойно себя показать. Не устраивать скандалов — мол, я не такой, как все! — а достойно все это принять. Чтоб сопалатники сказали: «Нормальный был мужик!»

Помню, когда я лежал... пошел однажды в туалет. Окна белым закрасшены. На подоконнике больничные банки с намалеванными номерами. Посередине почему-то стремянка стоит. Мужики возле нее толкуются, как у стойки бара, на ступени ставят баночки-пепельницы. Дым — не продохнуть. Но тут дым как проявление их последней радости принимается. Последний уют. «Накурили, черти! — нянечка заглянула. — Пospelов! Ты тут?» Маленький, скособоченный мужичок неторопливо окурок о стремянку загасил, положил в баночку. Знал он, что это последний его окурок? Наверное, знал. «Тут я», — спокойно ответил. «Что тебя черти носят?»

На операцию иди!» — «Ну что, Пospelов? Пospel?» — сосед его усмехнулся. «Точно», — Пospelов сказал. И просто, обыденно вышел. И больше уже никогда никуда не входил. Нормальный был мужик! Такими, впрочем, полна курилка. В том числе и тут — из приоткрывшейся двери вместе с клубами дыма вырвался оживленный гвалт. Словно не больница, а дом отдыха.

Дальше — треск бильярдных шаров, стук костяшек домино. Хохот. Не ломаются люди. Женщины — вяжут, сплетничают, хихикают. Вот уж не думал раньше, что именно в больнице начну так человечество уважать.

Шел, вдыхая запахи. Полюби их. Может, и удастся еще и свежим воздухом подышать, недолго. Но последний твой воздух — вот. Третье дыхание. Дыши. Это — вполне достойное место.

О! Нонна навстречу идет, улыбается. Здесь не видел ее такой. Выслужил? — Венечка!

Обнялись. Ощутил родные ее косточки. Отпрянула. Румяное, сияющее личико.

— Я сейчас, — как-то таинственно-радостно улыбнулась. Кивая — сейчас, сейчас! — скрылась в столовой. Ловко пронырнула в толпе больных — любовался ею, — вынырнула, в тоненькой ручке тарелку держала, с пюре и землистой котлетой. Начала наконец есть? Отлично! Значит, выберемся.

— Вкусно? — я на тарелку кивнул.

— А? — Она весело глянула на меня. — Тут у одной женщины собачка маленькая — ей несуд!

Господи! Упала душа. Откуда тут — собачка-то? Сама она — маленькая собачка... до старости щенков.

Просто светилась счастьем! В палату вошли. Кивнула на мой тяжелый пакет с продуктами, сказала, улыбаясь:

— Став сюды.

Вспомнила любимую нашу присказку, ожила!

Однако появление ее в палате с тарелкой было нерадостно встречено. На койке у входа толстая девка повернулась к стене. На койке напротив седая аристократка тактично вздохнула, но все же, не удержавшись, сказала ей:

— Вы хотя бы старое выносили!

Да-а. Тумбочка и подоконник были заставлены тарелками с засохшей, протухшей едой. Ожила, стала двигаться — и вот!

— Ну хавашо, хавашо! — весело дурачась, откликнулась Нонна. — Вот это, — сняла с подоконника одну тарелку, — сейчас унесу! — Все так же сияя, подошла к девушке у входа: — Скажите, это у вас собачка?

— Нет у меня никакой собачки! — рывкнула та.

— Извините, — доброжелательно произнесла Нонна. — Я вспомнила — это в другой палате! — Убежденно кивая, вышла с тарелкой.

— Ну, ты понял, нет?! — яростно повернулась ко мне девка.

— Надеюсь, вы поняли? — смягчила ее грубость дама. — Ваша жена... это ваша жена — или мама?.. Извините. Мы, конечно, уважаем ее возраст... и ее доброе сердце... и болезнь, но она делает наше пребывание здесь фактически невозможным. Вы чувствуете? — Ее ноздри затрепетали.

— ...Да, — произнес и стал, слегка отворачиваясь, составлять тарелки одну на другую. Но тут вошла Нонна.

— Оставь, Веча! — сияя все так же и даже больше, сказала она. — Сейчас я эту женщину встретила, у которой собачка, она скоро зайдет!

За ее спиной я встретился взглядом с дамой. Боюсь, что я смотрел умоляюще: только Нонна начала что-то чувствовать! Нельзя же это сразу давить? Дама вздохнула. Я обещающе поднял ладонь, что должно было, видимо, означать: уладим! Потом взял Нонну за руку:

— Пойдем.

— Ты уже уходишь? Я понимаю, понимаю! — закивала. — Если женщина та зайдет без меня — попросите ее подождать, — улыбнулась она соседкам. — Я ей все сама покажу! — произнесла она не без гордости.

Я кивнул соседкам, не глядя на них, и вывел ее за сухую, горячую ладошку. Нет, про собачку ей сказать я не в силах. Вон как радуется она. Мы шли за руку по коридору, встречая порой насмешливые улыбки: разнежались старички!

— Ну как вы живете-то там с отцом? — Она как бы сурово наморщила лоб, потом снова разулыбалась. Уж не огорчу я ее!

— Да ничего так... справляемся, — произнес я.

Она закивала:

— Ну конечно. Сейчас ведь все есть! — не без гордости проговорила она. — А вот когда мы еще в Купчине жили, ведь ни-чего не было! — Она покачала головой. — Помню, я Рикашке нашему мясо в столовой брала, какое-нибудь второе. Садилась за стол и незаметно так вытряхивала из тарелки в пакетик. Потом выдавальщицы заметили, прогнали меня.

Она тяжело вздохнула.

Да не только в Купчине мы жили так — и когда в центр переехали, тоже было нелегко. Помню прогулку с песиком первого января тысяча девятьсот девяносто какого-то года. Странно пустые, словно после атомной войны, центральные улицы. Ледяные тротуары. песик испуганно скользит, скребет коготками по льду. Ощущение конца жизни: все витрины абсолютно пусты, магазины закрыты. Тревога: ведь не сможем мы дальше жить! Каким образом? Денег нет, и неоткуда им взяться — старые издательства кончились, новые не берут. А все, чего еще нет в пустых магазинах, подорожает, как нам благожелательно было объявлено, в сто раз! Кажется, что улицы теперь всегда будут такими пустыми! И это мы с ней пережили! Возвращаюсь с собачкой домой, сопя в тепле носом. Нонна бодро говорит: «Нисяво-о-о!» И как-то все устраивается — благодаря ее легкомыслию, неприятию трудностей, — и так и не воспринятые нами, они отступают. Сколько «темных полос» весело проскакивали с ней. Эту — проскочим?

Мы доходим до двери.

— ...Давай теперь я тебя провожу.

Мы идем обратно, к ее палате.

— Ну... — Я встряхиваю ее, как бы шутливо впихиваю туда, заглядываю сам и, сделав дамам прощально-успокоительный жест, исчезаю.

Медленно иду по коридору обратно. Конечно, тяжело ей здесь! Но... окажись она дома — быстро какая-нибудь «собачка» заведется и у нас. Она и сама «собачка», я вздыхаю. Маленькая собачка до старости щенок.

Я протягиваю руку к пальто на вешалке, и тут кто-то дергает меня сзади. Я быстро оборачиваюсь. Она. Прилив счастья: сегодня еще раз увидел ее! Лицо ее вдруг сморщивается беззвучным плачем.

— Они меня все время ругают! Я не могу больше. Забери меня отсюда! Я хочу домой!

Я прячу ее в объятьях, глажу жиденькие волосики на голове. Слезинки ее жгут сквозь рубашку.

— Ну что ты? Что ты? Конечно, скоро я тебя заберу! А ты как думала, а? Что я здесь тебя, что ли, оставлю? Отвечай! Ну? — отстранив, шутливо встряхиваю ее за плечи.

— Пра-д-ва? — согласно нашему семейному жаргону переставляя буквы, доверчиво спрашивает она.

— Ну! — Я встряхиваю ее еще сильнее. — Давай! — шутливо отпихиваю. В слезинках уже светится улыбка. Сжав и разжав поднятый кулак, я выхожу.

Троллейбус словно заблудился — за окнами, кроме пушистых белых хлопьев, не видно ничего. Первый снег в эту осень — и сразу такой! Сколько же их, этих нежных снежинок? Покрыли чистым, пушистым снегом все пространство и летят, и летят, словно показывая нам неисчерпае-

мость высшей милости, которой хватит на всех и на всё. Да, похоже, я сильно ослаб за последнее время, если обычный снег доводит меня до слез.

Растрогавшись, я даже проехал мимо дома. Спихватясь, разжал уже сомкнутые челюсти троллейбуса и выскочил у Эрмитажа. Челюсти, брякнув, снова сомкнулись за моей спиной. Не было видно ни широкой Дворцовой площади, ни темной Невы — лишь высокий снежный шатер вокруг. Я поднял к снегу лицо. Оно стало мокрым и, как ни странно, горячим. После долгого отчаяния и пустоты — вдруг такая белая милость, легкая, очевидная и щедрая связь с небесами. Сквозь снежинки я разглядел золотого ангела, летящего над Петропавловкой. Потом справа стало проступать что-то светлое и широкое. Откуда это свечение? А! Это Эрмитаж, освещенный прожекторами, вделанными прямо в мостовую. Вот первый прожектор. Светящийся и даже теплый квадрат под слоем прозрачного снега. Я протянул руку — она осветилась, ладонь почувствовала поднимающееся тепло. Ну вот. Я слегка задохнулся. ...Сейчас! Я встал на краю свечения, потом, присев, зачем-то смел снег с уголка толстого квадратного стекла. Потом, воровато оглянувшись, стал коленом на теплое стекло и, глядя на ангела в небесах, быстро перекрестился. «Господи! Помоги ей! Ведь она же хороший человек. Ты же знаешь! Клянусь — больше не обращусь к тебе ни с одной просьбой, но буду помнить тебя всегда!» Постояв на колене, перекрестился еще раз. Потом неуверенно поднялся. Стряхнув снег с брючины, поглядел в небо. Может быть, мало? Снова опустился и перекрестился еще раз. «Хорошо?» — глянул вверх, потом поднялся, повернулся, пошел. Я шел через большой снежный дом к нашему дому. У арки остановился. Медлил уходить. Такого больше уже не будет. А что я сделал? Попросил: «Помоги!» Какое-то бесконечное задание — даже неловко. Надо как-то сузить, облегчить Ему — у Него столько всего! Я глубоко вдохнул, глянул вверх. «Помоги... оказаться ей дома! Все остальное — я сам. Хорошо?» Постояв, ушел в арку.

Дома я откинул подушку, взял ее аккуратно сложенную старенькую ночную рубашку, быстро поцеловал. Наши очки, обнявшись, лежали на подоконнике.

(Окончание следует.)



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ



НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Арион

Верно, вышли мы все из воды,
дети смысла и абракадабры,
раз за скромные наши труды
не впервые нас взяли за жабры.

Где же ты, драгоценная, днесь
со своим нехолодным оружием,
из которого главное — смесь
проницательности с простодушьем.

Разреши при раскладе таком
и агоньи свечного огарка
давний спор речника с моряком:
что надежней — челнок или барка?

Я и сам Арион, под скалой
ночевал на песке вместо коек,
уцелевший в рубахе сырой
после всех передряг и попоек

и, пусть худо, сберегший кадастр
волн и суши, раскатанной в дали.
Нас посадские ежики астр
на осенние прииски звали...

Я на корке родимой земли
удержаться покуда умею.
И тревожно сигналил вдали
бакен синей лампадой своею.

* *
*

В пелене осеннего молока
хорошо бы, выровняв аритмию,
генным кодом старого черепка
разжиться и воссоздать Россию.

Чтобы стала снова такой, как до
своего позора, конца, итога.
Чтобы было так же окрест седе,
но мерцала маковками Молога —

ведь еще потопа не ждет никто,
хоть полкан поскуливает с порога.

Я бы начал на ночь читать внушкам
свод законов или земли кадастры,
прижимая к влажным платок зрачкам,
на взъерошенные любовался астры

и неистошимые облака —
неужели все это дубликаты.
И уж знал бы, Родина, как хрупка,
а по-своему и права ты!

Или это конспиративный свист,
или кто-то плачет всю ночь в подушку...
И несет за пазухой террорист,
словно семгу, в промасленном свертке пушку.

Источник

...Чем листья зыбистей, слоистей
и вовсе занесли крыльцо,
тем интенсивней, золотистей
становится твое лицо.
Хоть на запястье бледен все же,
когда ты в куцем свитерке,
со свастикой немного схожий,
едва заметный след пирке.
И нестеровская с цветными
вкраплениями серизна
навек с родными
возвышенностями и иными
пространствами сопряжена.

...Когда в приделе полутемном
вдруг поднял батюшка седой
казавшееся неподъемным
Евангелье над головой,
мне вдруг припомнился витии
ядоточивого навет:
заемный, мол, из Византии
фаворский ваш и горный свет.
Пока, однако, клен и ясень
пылают тут со всех сторон
в соседстве сосен,
источник ясен,
откуда он.

* *
*

Не мни меня своим:
в пенатах обветшалых
я лишь сезонный дым
над кучей листьев палых.

И, пристрастясь стучать
по клавишам на даче,
я стал все меньше спать,
а бодрствовать тем паче.

Так разом стар и мал
о том, что сердцу ближе,
когда-то тосковал
Иван Шмелев в Париже.

И, слушая гудки
«пежо» на всех развилках,
он видел ноготки
и астры на могилках...

Давно земли чужой
я вдосталь нахлебался.
Один пришел домой
и здешним рощам сдался.

Я не из тех лисиц,
что тут метут хвостами.
А ты поверх границ
одна из редких птиц,
зимующая с нами.

Верней, сегодня я
не просто нота лада,
а часть небытия,
костра и листопада.

Огарок

В своем же воске утопая,
агонизирует огарок,
чей острый язычок, мигая,
то тускл, а то чрезмерно ярк.

Под водный шелест, будто бобик,
то спишь, то зенки даром лупишь,
то астр у бабки синий снопик
за несколько десятков купишь.

В родных широтах, жив курилка,
то о подружке грежу, каюсь,
то болью в области затылка
с отдачей в позвоночник маюсь.

Упертый в зыбь в оконной раме,
я лишь одной цезуре предан.
Я предан старшими друзьями,
но путь мне прежний заповедан.

Не дожидаясь передышки,
вновь выхожу в наряд бессонный.
Вот так снимает со сберкнижки
старуха вклад свой похоронный.

Судьба дозволила зажитья,
хоть я бирюк, а не пиарщик.
Вот так решается зашиться
какой-нибудь пропащий сварщик...

Париж через двадцать лет

Каждый, кто видел Париж,
помнит, наверное, про
полиграфию афиш
в сводчатом старом метро.

Всюду грустила Катрин
и ухмылялся Жерар.
Тоже и я господин
был, навещающий бар.

Схожих с тобою точь-в-точь
нынешней — много тогда
от Ярузельского прочь
полек бежало сюда.

Катастрофически тут
быстро дурнели они.
В общем, мемориев ждут
те баснословные дни.

...Вновь сквозь стекло стеарин
манит из тусклых глубин
ужинать; я уже стар.
Та же повсюду Катрин.
Тот же повсюду Жерар.

Но, тяжела налегке,
жизнь ощущается как
ростовщиком в кулаке
цепко зажатый медяк.

24.XI.2002.

* *
*

Жизнь прошла, вернее, пробежала
в стороне — пространства визави,
из которой выдернули жало
напоследок жертвы и любви.
Дело даже не в цене вопроса,
пресловутом бегстве с корабля...
Как с тобою нынче без наркоза
поступили, отчая земля.

Но ярчают, скрашивая дни нам,
гребни роц окрестных; на поклев
к начинающим буреть рябинам
прилетело много воробьев,
видно, тоже попривыкших к вони
торфяных распадков в сентябре.
И тоскуют скрипки Альбинони
у меня в нетопленной норе.

На обратном пути

И стану просто одной звездой.

И. Б.

Враз агрессивный и покорный,
большую лапу волоча,
трусит трезорка беспризорный
как будто в поисках врача.

Открытый космос открывает
нам глубину за глубиной,
и вихрь ветвями помавает
над непокрытой головой...

Но сердце сердцу знает цену,
когда в арктическую даль
Фриттьофу Нансену на смену
отчалил Амундсен Руаль.

Схож с галактической омелой,
возможно, был в минуту ту
наш шар земной заиндевелый,
закатываясь в темноту.

А я подумал на террасе,
придя со станции домой,
о двуединой ипостаси
любви — с бедой.

О том, что тоже закатилась
моя судьба на трети две
и звездочкою закрепилась
душа собрата в синеве.

Чего у жизни не отнимешь,
так это на погосте меж
замороженных сосен финиш,
бивак, рубеж.

* *
*

Ну не какой-нибудь залетный небожитель
непотопляемый, а без обиняков
я слова вольного дружбан, верней, гонитель
его в столбец стихов.

Вдруг ветерок крепчал, едва все удавалось
в четверостишии, блаженный, беговой —
так слово вольное, таясь, перекликалось
с другим в строке другой.

Не потому, что там вдвоем им стало тесно
от тавтологии, а чтобы в аккурат
их перечла вдова, запомнила невеста
и одобрял собрат.

Чтоб с белого холма мерещилась излука
с незаживляемой промоиной реки.
Ведь слово вольное — надежная порука.
И дали далеки.

Там живность лепится к жилищу человека,
считай, ковчезному, поближе в холода.
И с целью тою же на паперти калека
сутулится всегда.

Когда смеркается — смеркается не сразу.
Пока окрестности становятся тусклей,
как бы холодных горсть сжимаешь до отказу
рассыпчатых углей.

Нет, весь я не умру — останется, однако,
мерцать и плавиться в глазах в мороз сухой
последний огонек последнего барака
на станции глухой.



ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

*

ТАНК

Повесть

I

Короче, про танк — это я сам все выдумал. Просто раз бродили мы с дедом по лесу, а он возьми и скажи — так, мол, и так, они всегда танки вперед бросали, рвали все напрочь, чтобы потом уже никто не соображал, где чужие, где свои, да-а... Будто стародавнюю мысль какую-то начал вслух, как по радио, потом выключил и опять ушел весь в грибы. А денек был серенький такой, предосенний, березки сыпали желтой листвою, и в колеях лесной дороги, заросших болотной травой, стояла давняя вода. И вот я прищурился и не то что вижу — слышу явственно, как взывают моторы: они. А потом танк вижу, передовой. Т-III, как сейчас помню, классический танк с классическими фрицами на броне, в классических касках, серые такие. Они нас не замечают, потому что ему тяжело по колеям, дорога у нас в лесу разбитая, танк ревет, весь синим дымом окутан, бросает его из стороны в сторону, и там пехоте на броне — только держись! Но все равно, видок не кислый: главное — десант, а наши не знают — ломит на станцию, на Пушкино, на шлюзы, сволочь, ломит. Ну и дед их, разумеется, не видит — ему-то что? он своего насмотрелся на войне — идет себе, палочкой листики цепляет, ветки приподнимает, в траве пошуршит — и точно — раз! — подосиновик найдет, или белый, или подберезовик, на худой конец. Крякнет так удовлетворенно и аккуратненько ножичком его подрежет, а грибницу прикроет землей. Этот ножичек бабушка мне отдала после его смерти. Но я им пользоваться не стал, он так на книжной полке и лежит — нож деда. Я у него в руках его помню. Там было одно лезвие большое, другое маленькое, пилочка для ногтей, ножницы, две костяные зубочистки под накладками черепаховой ручки, отвертка, штопор, толстое шило скорняжное и шило длинное, тонкое портняжное. По уму нож был сделан. Немецкий. Этим шилом тонким удобно было дырочки в трубке для травы прочищать. Но это не о том... Просто, как и все, я в детстве думал, у меня все нормально будет в жизни, потому что такая сила была за спиной, такая защита. Дед, бабушка, мать, отец. Потом дача кончилась, да и детство тоже, пошла другая жизнь, взрослая, которая завертела сначала меня, а потом вместе со мной и всех, кто оказался рядом, пока однажды в сорок лет я не снял дачу в том же поселке, где маленьким рос когда-то, и ко мне не вернулась странная память глубокого детства...

И это оказалось... ну, спасительно. Я не знаю, что в этом было такого спасительного, но это было точно прикосновение к душе, которая, я ду-

Голованов Василий Ярославович — прозаик, эссеист. Родился в Москве, в 1960 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг «Тачанки с юга» (1997), «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий» (2002; награждена первой премией Министерства печати). Лауреат премии «Нового мира» за 2002 год.

мал, у меня уже умерла. Короче, было нас четверо — Алешка, Наташка, я и Санек, но он тогда маленький был, в событиях не участвовал. А Лизка вообще еще не родилась. Она на последнем этапе только подключилась. На самом, можно сказать, последнем, когда нас опять осталось только четверо, родных. А больше и не было: тут мы все, братья-сестры. Мы с Саньком родные, а Алешка с Наташкой — наши двоюродные. Алешка на четыре года старше, мы с Наташкой — ровня. Санек еще на четыре — минус. Их привозил дядя Боря к нам из Борисоглебска, где они проводили лето, то на месяц, то недели на две. И начиналось самое счастливое время: время восторженного нашего щенячьего, родственного копошения, когда лето просто кипело от наших шалостей и визга, и все мы были абсолютно счастливы. Помню, как мы с Саньком бродили после дождя по лужам. И бродили, надо сказать, уныло, потому что у него сапожки были маленькие, и настоящего соревнования, настоящей игры с ним быть не могло. И вдруг бабушка стала нас звать:

— Ребята! Алеша и Наташа приехали!

И мы от радости так и ударились по дороге, нарочно разбивая брызги и хохоча в голос от счастья, а Алешка сидел на заборе и улыбался, как кот, а Наташка из-за забора смотрела на меня и, наверно, думала: «Вот дурачок... И не вырос совсем...»

Все лето ходил, вспоминал. Про танк. Про карьеры. Как мы их искали — ведь несколько лет! А туда езды на велике чуть больше получаса. Но это сейчас, когда мы все стали взрослыми и прем себе напрямик, благо велик у меня американский, скоростей в сто, на нем через лес проехать можно напролом. А поначалу-то ощупью: мир еще был бескраен, мы продвигались вперед, полагаясь на память, как шли вчера, позавчера и раньше. У деда-то были свои причины не спешить, но кто из нас понимал тогда деда? Он выгребал против течения памяти, стремясь удержаться за сегодняшний день, за узор папоротника или блестящее, как весенняя листва, оперенье зеленого дятла, вдруг севшего на березу рядом с ним. А мы, у которых памяти не было по малолетству, радовались, что нам удается пройти вчерашний путь след в след: это значило, что миллионы шагов вслед за дедом в дремучей траве, где все отвлекало и кружило, наложились на что-то, и податливая, жидкая еще память вобрала их и окрепла, как жемчужина, слой за слоем обрастая твердым перламутром. Мы уже знали каждое дерево на своем пути, деревья были врыты в землю крепко, как вехи, но вокруг мир был еще зыбок, как сон: через слив плотины переливалось в речку небо — то ясное, то в снежных громадах облаков; отцветали ландыши, и начинала цвести земляника, потом наступало время щавеля, и мы паслись в прохладной зеленой траве, пока не приходили мужики с косами, веселые загорелые мужики с крупными сочленениями хребта, рук и ног, и не выкашивали весь щавель вместе с прочей травой; в малинике завязывались первые ягоды, мы пробовали и сплевывали, они были горьки и шершавы; ящерка убежала, оставляя в ладони хвост, невыносимо бьющийся похожей на ток тонкой дрожью жизни; на поляне, над распустившимися синими головками колокольчиков и короставника начинали свой беззвучный танец бабочки-перламутровки; черные волосатые гусеницы тяжелыми ненасытными гроздьями обвисали на крапиве, в лесных лужах среди стеблей стрелолиста и волокон зеленых подводных волос сама собою заводилась неизвестная жизнь мелких подвижных существ; внезапно созревала земляника, и ее тончайший запах пронизывал все — от кончиков пальцев до бревен, из которых сложен был дом, и белых занавесок на терраске, куда к полднику бабушка выносила миску розовых пенек. А потом начинались грибы. И мы шли тогда через плотину в лес, в непролазную лесопосадку перед высоковольтной линией, которая сухо и нехорошо потрескивала толстенными черными проводами и в дождь, и в жару.

Там, под проводами, мосластые мужики почему-то тоже всегда сушили и копнили сено. Тогда людей на дачах было мало, и мы набирали полные корзинки белых, подберезовиков и подосиновиков прямо за плотиной. И лишь несколько раз мы с дедом переходили просеку высоковольтной линии и шли в Большой лес.

Тогда мы не заходили дальше опушки: это был настоящий лес с огромными соснами и елями, на серых стволах которых запеклись желтые потеки смолы. Здесь царил сумрак, и среди жесткой сумеречной травы синела ядовитая ягода вороний глаз. Обычно так, по опушке, доходили до ограды лесничества и поворачивали обратно.

Мы видели в лесу круглые ямы, устланные палой листвой, мы знали, что это воронки последней войны, в которых во время дождей скапливается и стоит вода, но каждая из них еще теплилась для нас огнем разрыва. Короче, тогда еще воронки не затянулись на теле земли; правда, по краям они заросли уже молодыми деревцами, и эти деревца потом выросли и всосали в себя следы разрывов, заполнили их листьями и корнями.

Тогда война была еще близко, она еще погромыхивала где-то в недалекой запредельности истории; в каком-то смысле война еще продолжалась, тлела болью в громадной ране деда или вдруг взрывалась бессвязными, но грозными речами дяди Саши Царева, возчика конторы Мосдачтреста, который на телеге, запряженной гнедым Орликом, развозил по дачам баллоны с газом. В Москве, в школе, нам говорили, что это была последняя война, буквально последняя в истории, но мы не верили этому: что-то должно было остаться и на нашу долю. К тому же за войной тянулся такой длинный шлейф памяти взрослых, что мы так и жили в этой их памяти, как во сне или в кино...

Я вспомнил, как Наташка, моя кузина, ложилась спать на кровати в соседней комнате и перед сном в раствор двери всегда говорила мне «спокойной ночи», а потом улыбалась и от смущения, что ли, отворачивалась, и я видел узел русских волос у нее за затылке и думал только о том, как бы подбежать и поцеловать ее в волосы. Но это потом, когда нам уже лет по двенадцать, что ли, было. А поначалу-то только: про танк, про деда, про нас — как мы шурашали в траве и по чердакам, разбирали старые пыльные осиные гнезда, ловили кузнечиков, катались на великах, и кругом было солнце — в траве, в солнце, в воде, в облаках, в резной тени шелестящих листьев, в волосах, в пыли, во рту, и даже губы Наташкины пахли солнцем, и мне так хотелось попробовать, но я не смел. А по вечерам на терраске мы пили кефир и слушали, как дед с бабкой поют старинные жалобные песни, которых теперь никто, наверное, не знает, и только я знаю, с детских лет знаю, из песни про какого-то бродягу всю горечь мира, заключенную в слишком красиво и нараспев в два голоса спетых словах: «Жена найдет себе друго-о-о-ва, а м-а-а-ать сыночка ни-ког-да!» Дед с бабушкой любили ее петь, они даже как будто доставляли друг другу нарочитое удовольствие этим двухголосым распевом, а для меня это была страшная песня про невозможность любви, спетая так искренне и так просто, что меня прошибало до слез. Ибо дед с бабушкой прожили всю жизнь душа в душу, и я, глядя на них, был убежден, что единственно так и можно, что это и есть любовь. А тут сами же они и пели — найдет, не сомневайся, такая уж любовь злая штука. Только мать останется безутешной. Только мать. Но что мне мать, не с матерью же мне жить, господи, когда я стану взрослым-то? — широко открытыми глазами вопрошал их я. А они, не замечая этих глаз, запевали новую, потом еще одну и еще... А под конец — про «Варяг», конечно. Песнь леденящей гордости. Это вместо того, чтоб хоть раз почестному рассказать про войну. Дед-то был генерал, танкист. Мы его все допытывали — что там, на войне, было-то? А он разговоров этих не любил, уходил от них, а если мы приставали — сердился, и только иногда с кем-нибудь из старых они войну вспоминали.

Спросишь его:

— Дед, а сколько ты немцев убил?

— Не знаю, — буркнет дед, и чувствуется, что продолжать ему неохота.

— Но ты стрелял?

— Стрелял.

— А они падали?

Как же он ответил? Я так и не понял, падали они или нет, или, вернее, так, что падать-то там все падали, люди, кто убитый, кто раненый, но что в гуще боя различить, от чего кто упал, нельзя, что бой — это что-то типа железного ветра, который дует со всех сторон, да еще с завихрениями, а люди, повинувшись этому ветру, смещаются по плоскости, по укрытиям, то ползком, то бегом, то в полный рост, то за кочками, то по воронкам. И каждый стреляет. А потом все заканчивается. И ты либо сразу чувствуешь, как тошноту, — разбиты. Либо потом приходит приказ, где говорится, что молодцы, победили, но теперь вам по-любому надо отступить, противник сломил наше сопротивление на флангах и обошел вас справа и слева. И даже пожрать перед отступлением нечего. Потому что ни каши тебе, ни супу — ни хрена. Походные кухни и штаб уже отвалили. Значит, сухарь, кипяток — и ночной марш.

Мы любили трогать рану деда: глубокий, с большой палец взрослого, «вход» над левой ключицей и длинный, похожий на расползшуюся, заросшую темной кожей «молнию», «выход» во всю длину раздробленной левой лопатки. Дед сносил эти приставания молча, а возможно, даже любил их как своеобразную ласку, и только когда мы переходили грань возможного восторга и почтения к этим ранам, дед стряхивал нас с плеча, тихонько ворча, как медведь. Лишь незадолго до смерти он мне рассказал, как всадили в него эту пулю из противотанкового ружья, когда 51-я армия попала в котел под Брянском.

Дед всю войну до последнего дня прошел, но сорок первый год его до смерти не отпускал. Ничего там, в сорок первом, не было, кроме жути и позора, ну, может быть, несколько спокойных дней. Их ведь мало было, этих дней, там какая-то яма разверзлась, какая-то прорва несчастья, когда они и ползали, и корячились, и все вроде делали, как надо, и все равно — ветер против них дул, ни разу никому не свезло, ни одному герою силу не удалось показать, и люди горели, как солома. Люди — первый сорт, и Хасан тебе прошли, и Халхин-Гол. А немцы их палили, как тараканов, паяльной лампой. И на всех окруженцев — а там бригада, наверно, целая выходила — две несчастных танкетки осталось да пушка со сбитым прицелом, из которой по танкам били прямой наводкой, глядя в ствол... Потому-то и сила взялась, и танки, и штурмовики «черная смерть». Дед бы войну генерал-полковником, может, закончил, но нашелся у него в штабе пидор, который фотографии Гитлера стал собирать из любопытства. Ну этого, конечно, отправили, как будто он не знал. А деда вызвали и сказали. У тебя в армии... Такое дело... Короче, он в сорок пятом призового чина не получил. А если и вспоминал войну, то сорок первый. Видно, круто дался он ему. Однажды, правда, когда я болел, он танк мне нарисовал — «пантера». В сорок первом году у немцев еще таких не было, они на Курской дуге в сорок третьем появились в первый раз. Дед там был, под Прохоровкой. Тогда как раз фильм вышел «Огненная дуга», и все смотрели, и дед тоже пошел посмотреть. Не досидел до конца, вышел. Весь вечер не разговаривал. Я его потом спросил: «Что, дед, похоже на правду?» А он сказал: «Какое — похоже? Там неба видно не было». И все. Больше ни слова. Так я про Курскую дугу и не узнал от него ничего.

Тогда любителей-то войну повспоминать много было. А дед — он по грибному делу был специалист. Чуть после дождичка — он в лес налаживается, чтоб с нами дома не скучать. Ну и я вместе с ним. Особенно если ребят не выпускали гулять. Ну, он иногда расслаблялся, особенно если

гриб хорошо шел, и то песни начинал петь военные, то вдруг тогда: знаешь, Василек, говорит — а вот этой дорогой шли как раз немецкие танки. Десант. Мне Александр Архипыч сказал. В ноябре сорок первого. Внес уточнения. Ну, а у меня, пацана, воображение было — пламя! И опять поновому все озарилось: ноябрь — значит, потемнее, трава пожухла, березки облетели, снежок промелькивает, а может, и вообще валит в полный рост, и вдруг опять вдали — перегазовка и танк. И пошли они, серые, в перчатках сидят, каски на лоб, лица красные, залубенелые, вот так вот. Сколько мне было, я даже не помню. У меня в детстве было два времени: детский сад и лето. Потом школа и лето. Провал: пятидневка. А после провала — лето. Однажды совсем слепенький приехал, нашел на подоконнике терраски обмылок хозяйственного мыла — и съел. Думал, конфета.

Но за несколько часов рядом с бабушкой и дедом мир расчищался и начинал жить, качаться вместе с травами, шуметь вместе с деревьями, звучать птичьими голосами. Потом, когда я среди этой зелени приходил в себя, я уже нацеленно шел и обязательно находил ландыши и майник и нюхал. Ландыши под дубом в дальнем конце участка росли, а майник рядом — среди берез, у самого крыльца. И от этих запахов все чувства сразу пробуждались, и начиналось лето. Радость сплошная, и не верилось, что у нее конец будет. Ну, как у всех. А потом случалось что-то — и все это солнечное кипение июля, раскаленные черные доски старых сараев, запах горячей сосновой коры и даже травы горячей, паркой в самой гуще — вдруг начинал выстывать или просеиваться тоскливыми дождичками. И уже бабушка кричала нам с крыльца: ребята, свитера наденьте, вечереет, холодно! Но лето еще долго не кончалось, все листало и листало дни, и опять возвращалось тепло, начинали летать стрекозы, и возле нашего дома расцветали такие желтые цветы, на которые всегда прилетали мухи, раскрашенные, как пчелы. А возле деревянного сортира удивительно красиво, с легкими седыми прядками расцветал иван-чай, последний цветок, напоминающий о тепле, и становилось грустно, потому что вечность лета прошла и подступало вплотную время.

Там, в этом таинственном времени, развязался, кажется, еще один узелок, и вместе с дождями на землю возвращался холод. Начинались хмурые последние дни, когда бабушка топила печку и не выпускала нас даже на терраску, где, облачившись в пару толстенных свитеров, читал книгу дед, за спиной которого во все окно колыхался журчащий занавес льющей с крыши воды. Когда дождь на время прекращался, нас выпускали на улицу, где пахло березовой сырьстью, и мы бежали на дорогу мерить лужи. Асфальта на нашей улице тогда не было, луж было много, мы знали их все наперечет, и не только лужи, но и отдельные их места, которые нельзя перейти, не залив сапог. Теперь я забыл, в чем заключалась радость и цель этого хождения по водам, но ничто, решительно ничто не могло отвадить нас от него, а главное — измерение луж нельзя было считать законченным, да и попросту состоявшимся, пока каждый из нас не заливал сапоги. Потому что в этом и заключался смысл и восторг всего этого дела...

Случалось, дожди обходили лето стороной, пару раз пушечно громыхнув грозами, и оно потихоньку выстывало длинными темными августовскими ночами. Однажды, пытаюсь узнать, когда заснет кузнечик, под стрекот которого я каждый день засыпал, я сел у окна и долго смотрел в ночь, на темные огромные сосны и на луну, и так с изумлением для себя узнал, что за движением луны можно уследить — она движется быстро, крадась от дерева к дереву, через некоторое время она соскальзывает с небосклона и уходит за горизонт — но песня кузнечика не кончается никогда.

— Танк, — осмеливаюсь произнести я. — Танк...

Я пробую слово так и этак, на звук и на вес, еще не подозревая, на что оно сгодится, но уже чувствуя в предельной тяжести одного слога необыкновенную мощь. Танк. Пустой, гулкий. Где-то там, в лесу, под луной... У меня мурашки пошли по всей коже, когда я наконец понял, что там, в лесу.

Не просто подбитый, мертвый, разбитый снарядами или гранатами танк немецких десантников сорок первого года, а танк все еще существующий, заблудившийся в пространстве — времени. Марки Т-III. Экипаж — три человека...

Я верил и не верил в это свое открытие, и даже когда дед однажды принес из леса немецкую каску — не посмел поверить до конца. Каска слишком потрясла меня своей формой, своим жестоким вражеским контуром, своим нешуточным весом, в котором ощущался весь тяжкий металл войны, выпавшей на долю дедам.

Каска была целая, не простреленная и не ржавая, и, набитая изнутри сфагнумом, вполне сносно сидела на голове, в чем я не преминул убедиться, напялив ее и тут же получив палкой по башке от кого-то из приятелей. Появилась бабушка. С трудом сдерживая гнев, она потребовала каску, обнюхала мох и с омерзением выбросила его. Потом взяла каску и унесла в дом...

Вечером я подслушал ее разговор с дедом на терраске:

— Отец, зачем ты принес ее? — Она всегда называла деда «отцом». — Эту каску кто-то носил.

— Мальчишки, кто же еще? — отступал дед, понимая, что с каской совершил какую-то ошибку.

Бабушка промолчала.

— А кто же еще?

— Очень грязная, — сказала бабушка. — Как бы там не было лишая или чего-нибудь похуже. С войны не припомню, чтобы так пахло от одежды... А ты никого не встречал в лесу?

— Какого-нибудь сумасшедшего?

— Ну да.

— Никого там нет, — сказал дед. — Я бы заметил. Но я посмотрю еще... Странно все-таки, что она висела на сучке.

— Была повешена на сучок?

— Да.

— Странно, — сказала бабушка. — Будь осторожен в лесу...

Потом дед разболтал бутылку кефира, и они перешли к кроссворду из «Огонька» и позвякиванию чайными ложечками, к своим разговорам и трогательным заботам друг о друге, которые, как я понимаю теперь, пришли на смену более бурным проявлениям любви, свойственным их молодости, о чем тогда я, разумеется, не думал, полагая, что бабушка всю жизнь только тем и была озабочена, тепло ли спать деду и не нужна ли ему шерстяная шапочка на холодный утренник, на что дед отвечал неизменно смехом, давая понять, что он все еще бравый солдат. От этих разговоров бабушки с дедом вечером воцарялся такой покой, что мы засыпали под них, как под колыбельную, и я чуть не уснул по обыкновению, я уже скользил по ложу сна в темные пучины, как вдруг дед спросил:

— А куда ты дела ее? Ребятам не будем отдавать?

— Нет, — сказала бабушка. — Это не забава.

В то же лето Колька Пастух, сын возчика Царева, где-то далеко в лесу, «на песках», как говорили деревенские, нашел мину. Это была отливка каплеобразной формы со стабилизаторами на хвосте, без взрывателя, но с толлом внутри. Мы заглядывали в дырку от вывинченного взрывателя и смотрели на тол, похожий на окаменевшую сгущенку. А вечером поджарили мину на костре. Колька был старше нас, он был уже почти такой, как отец, мосластый, бесшабашный, умелый. Засунув в рот папиросу, он одной спичкой запалил костер и, надев мину на железный штырь, сунул в самое пекло, спеленав желтыми языками огня. Было очень страшно, но все вышло, как он сказал: без взрывателя тол не взорвался, а потек, как жидкое масло, дымя хуже горелого сахара. Отец спяну рассказал ему, что это немецкая мина, от штатного батальонного миномета калибра 81 мм. Мина сохранилась почти как новая, только чуть-чуть взялась ржавчиной,

да и то было ощущение, что кто-то время от времени отдраивает ее суровым сукном с песочком.

Никто не знал про десант, и я решился: рассказал про ноябрь сорок первого, про танки и про то, что один танк, похоже, так и не ушел отсюда. Ребята, выслушав, промолчали, потому что перед нами разверзлась бездна. Это было не кино и не сон, просто война осталась в земле, как грибница, и продолжалась неведомым и незримым образом, который нам предстояло обнаружить. Ибо деды запомнили войну другой, она обрушилась на них в виде огненного шквала и дождя из пепла, и, выстояв в нем, они начали новую жизнь, стараясь забыть былое, боясь, что поток памяти унесет их туда, в оглушительные разрывы прошлого, откуда не будет возврата. Несколько дней мы были безумны. Деревянные автоматы валялись у крыльца, пока мы спали или ели, но каждый новый день мы просыпались, чтобы победить или умереть. Однажды мы без спросу перешли речку и отправились в лес. Все было как с дедом: через густую молодую посадку мы вышли на просеку под высоковольткой, где сильно желтела вновь отросшая после июньского покоса поздняя трава. В траве почти сразу же наткнулись на белый лошадиный череп с огромными серыми зубами. Видимо, у всех под кожей пробежало электричество, потому что мы переглянулись и спросили друг у друга одними глазами: идем мы дальше или все же отступаем, потому что, в общем, черепа так просто не валяются на каждом шагу, и если это знак, то?.. Но кто-то — именно Алешка — все же сумел пересилить страх и шагнул к лесу, и следом мы — вошли в него, как в стену, будто каждый открыл какую-то дверь между деревьями. Странно, что на этот раз требовалось усилие, чтобы войти в лес. Он вовсе не выглядел приветливым. Напротив, сумрачно было под кронами елей, и мы бесконечно продирались сквозь какие-то кусты и ветки, которые в тот день будто нарочно выросли, чтобы мешать нам. И мы, непрерывно переглядываясь, уже готовы были повернуть и в ужасе бежать из этого гиблого леса, пока двери там, на входе, не захлопнулись за нами, но тут впереди просветлело, и мы вышли на луг, заросший жесткой болотной травой — борщевиком, заячьей осокой, пушицей, сытью, — через который вела тропа к старому лесу, вдававшемуся в луг клином величественно-древних сосен, и там, на самом углу, лежало вывернутое корнями наружу дерево, обнажившее глубокую, ведущую под землю щель, забранную вуалями паутины в крошечных жемчужных капельках...

Я знал это место. Я бывал здесь раньше с дедом. Дед называл его «остров» и любил захаживать сюда: здесь черника росла и брусника, настоящие боровые ягоды, здесь и грибов было, и птиц, и белок, и упавших стволов с иероглифами древоточцев под оползшей корою. Здесь лес жил уже отдельной, лесной, самостоятельной от человека жизнью, и мы, чувствуя эту жизнь, не хотели тревожить ее, боясь даже пробудить ее внимание: обойдя выворотень, краем опушки пошагали по глубокому мху, стремясь проскочить в глубь леса незамеченными. Несколько капель дождя сорвалось с серого неба, из леса вылетел порыв ветра и потрянул молодые березы на сухой кочке посреди болота: посыпались, кружа, как желтые бабочки, сухие листья, и вдруг Алешка, который шел впереди, присел и прошептал не своим голосом: «Глядите!» И мы увидели. Он стоял под березами, среди луга, скрытый высокой травой и мелкой порослью ивы, слегка присыпанный листьями, как бугор земли. Танк Т-III с облупившейся краской и еле проступающим на ней крестом: серый, ржавый, с заваренной гусеницей и растрескавшимся, как дерево, дулом орудия.

Солдаты говорили по-немецки, позвякивали котелками, варили грибы, коренья, желуди, штопали износившуюся до дыр униформу, ругаясь, чинили свои немецкие сапоги. Я услышал, как один из них глухо пробормотал:

— У нас совсем не осталось боеприпасов. Одна жалкая мина и один снаряд, но и он годен разве что для самоубийства. Пулемет сгодится, если

стрелять из него глиняными пулями. Но сколько раз я говорил вам, чтобы мы остановились и обожгли глину как следует? Пулемет скоро разорвет, мы не сможем охотиться....

А командир танка, с висящим на поясе штыком, сплевывал и рассерженно говорил:

— Черт тебя побери! Не всем дано сыграть такую дурацкую роль в истории. Я имею в виду остановку времени. Не знаю, кому это было надо. Может быть, было применено какое-то секретное оружие. Я думаю, война давно закончилась. Но мы не можем вырваться из времени, когда нам за благорассудится. Хотя когда-то конечно же должен прийти приказ...

Третий говорил:

— У меня изжога, уже двадцать лет. Я совсем состарился. Скоро умру. Кстати, эти мальчишки-дачники нашли и украли ту мину, которую я припрятал в березовом лесу... Кроме того, я понял, что если война и закончилась, то не в нашу пользу. Московиты окружают нас со всех сторон: это их дачи вокруг, их, а не наши... Наши никогда такого бы не построили...

Танкисты сидели на броне, грустно склонив головы.

Дождик накрапывал все сильнее.

А потом лето все-таки кончалось, взрослые собирали нехитрый скарб с дач и увозили нас в город, где началась школа, продленка и прочая мура, и память о танке больше была не нужна.

II

Помню, как мы узнали, что где-то за лесом существуют песчаные карьеры, которые деревенские называли «пески». И все лето, разумеется, бредили этими карьерами. Конечно, это было уже другое какое-то лето, каждое лето мы бредили чем-то другим и даже подступили однажды к деду насчет карьеров — ведь не зря же он пропадал в лесу целыми днями, должен был знать. Но он не знал. Кое-что он знал про болото. Большое болото в самой глуши леса. Но хоть про болото мы ничего не слышали, это не приближало нас к карьерам. Однажды дед позвал нас с собой в лес.

— Поглядите,— сказал он. — Может, вы ищете это?

Действительно, это было далеко, и мы долго молча шли, дошли почти до истока речки, нашли родник и невдалеке обнаружили в лесу прорытый экскаватором гигантский ров, по краям которого белели свежие отвалы серой глины, едва взявшейся иван-чаем. А по дну текла струйка темной красноватой воды.

— Не это? — спросил дед.

Мы не знали, но явно чувствовали: не то.

— Не похоже на то, — сказал Алеша.

Может быть, «то» было там, откуда текла вода, но дед не знал — откуда. Мы чувствовали, что подошли к важному пределу, к самому краю карты, что еще чуть-чуть — и все станет ясно, и весь мир изменится в своих очертаниях и пропорциях, но пока что ничего не могли поделаться и возвращались обратно. Мы только готовились действовать самостоятельно.

Мы видели, что дед расстроен. Его знание о лесе подходило к концу, и единственное, что он еще мог показать нам, было болото. Кстати, ров, к которому дед вывел нас, прорыли мелиораторы, чтоб осушить болото, и если б мы пошли вдоль него, то уже через час дошли бы до места, где сливается в этот желоб красноватая торфяная вода — кровь болота... Но все это мы узнали потом, как и большинство вещей в жизни. А у деда к болоту был свой путь — не прямой и не окольный, свой. Все у него было свое. Своим умом жил человек. И очень радовался, когда ему удавалось настоять на своем, особенно противостоять соблазну стяжательства. При этом чем круче был соблазн, чем фантастичнее предполагаемая от него выгода, тем с большим удовольствием дед говорил:

— Отказался! — и смеялся совершенно счастливым смехом.

В то лето жена неожиданно оставила меня на даче на целый месяц одного, уехав с детьми на юг. Поскольку за месяц до этого меня уволили с работы, я взялся было за повесть, на которую меня все не хватало в рабочее время, но то ли пыл к писанию у меня остыл, то ли я верно угадал тревожный мотив в этой нашей первой долгой с женой добровольной разлуке, то ли, ошеломленный дачным одиночеством, был непривычно для себя трезв, то ли очнулось пробужденное летними запахами и нахлынувшим детством мое второе «я», обычно задавленное работой, но неизменно рвущееся наружу, — я чувствовал себя крайне неустойчивым. Я всегда с ужасом ждал проявлений этого второго «я», зная, что примирить его со своей реальностью мне не удастся и обуздать не удастся, и если ему и не сдвинуть меня с моих «социальных позиций», то уж оно заявит о себе как-нибудь иначе — обычно пьянкой, похожей одновременно на торнадо, на шторм Перекопа и на признание в любви. Все, что происходило со мной в то время, говорило об одном: я сбился с дороги, сбился с пути, и при этом так давно, что, возможно, навсегда. Я еще помнил дороги юности, по которым шагал с энтузиазмом, но теперь еле плелся, делая работу без всякой охоты, стараясь поскорее освободиться и завернуть в первый попавшийся бар. Я с ужасом думал, что уже поздно и я никогда не вернусь на свой путь, ибо я не знаю его, я слишком мало прошел по нему, да и то только в детстве, в мечтах, поэтому все навсегда останется как есть. Я смирился со своей неделей.

В один из таких дней я отправился гулять и вышел к лесничеству, где за серыми жердинами изгороди, переливаясь всеми оттенками синего, белого и розового, невообразимым маревом качались цветущие люпины, и вдруг вспомнил, что однажды мы с бабушкой и с дедом дошли до ограды лесничества и бабушка, у которой вообще было мало времени для прогулок и отдыха, увидев все это великолепие, воскликнула: «Господи, благодать-то какая!»

Я остановился. Со мной творилось что-то неладное.

— Дорогие бабушка и дедушка, посмотрите, красота-то какая, — нежданно для себя проговорил я и разрыдался. Я понял, что то, второе, «я» овладело мной, и даже голос мой был другой, и давно уже, видно, под воздействием солнца и запахов смолы и знакомых с детства силуэтов леса, рисунков травы и журчания речки, оно готовило взрыв. Стоило мне произнести «дорогие бабушка и дедушка», как я начинал безудержно рыдать. Я шел по тропинке все глубже в лес, подальше от людей, пытаюсь унять слезы и понять: в чем же дело? И для меня уже не было сомнения, что все дело только в том, что я расстался со стариками, сошел с пути, погнался за чем-то ненужным и в результате запутался и выработался к сорока годам и позабыл, куда мне...

— Все дело в том, что ты их предал, всех, — сказала мое второе «я». — Я не могу с этим смириться. Но тебе, видно, с этим ничего не поделать.

Предал. Да, конечно. Я старался не предавать, но предавал. Мне не удалось в чистоте сохранить свою любовь... Я запятнал ее малодушием и пьянством, и вот теперь любимая уехала от меня... Я и на одну сотую не был так добр с детьми, как были добры вы с нами, дорогие бабушка и дедушка... Да, вы были идеалистами и, конечно, не поняли бы той новой действительности, которая пришла на смену вашему веку. Но, знаете, я тоже ни чер-та в этом не понимаю, вот в чем ужас, мои дорогие... А если так, то что мне остается — умереть? Я не знаю. Может быть. Я не знаю, почему любимая моя покинула меня так, как будто и ей замерещилось во мне что-то неладное...

Это был воистину Судный день.

Я был безработный, которому срочно надо было искать работу, но именно этого я и не делал: я не хотел быть спиленным до последней горстки опилок в станке вечно «перенастраивающихся» масс-медиа. Я хотел

еще пожить. В эти дни я вел странную жизнь, все делая так, как будто дети не уехали и жена по-прежнему со мной, и только так находил в себе инерцию жить и даже радость, представляя, что дети — они совсем еще маленькие, как тогда, когда мы с ними строили шалаш и пускали по воде кораблики; и это для них я сейчас складываю поленницу дров, кошу траву, нахожу и притаскиваю откуда-то глину... И когда я представлял, как же я жил все эти годы, пока они росли, а я все делал какую-то «работу», которая в конце концов и доконала меня, то выяснялось, что ничего такого особенного в этой работе не было, все это было говно, а были только Санька, Фроська и Глаша, моя жена... И когда я спрашивал себя: а чем же я жил, пока их в моей жизни не было? Вот в юности. И выходило, что без них пустовала душа, ждала, а всякие танцульки там, девчонки, музыка, «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», выпивка с ребятами — это все так, ерунда была, молодость...

В тот месяц я вдруг понял, почему мой дед всегда выдирали старые гвозди из досок; при этом у него был вид как у самозабвенно занятого своим делом медведя, и когда гвоздь со скрипом подавался, дед скалил свои желтые зубы, и в глазах его светилось какое-то древнее торжество.

Гвозди во множестве лежали в старом красном брезентовом чехле: там были и новые гвозди, маслянистые, и уже побывавшие в деле, повытасканные из заборов, из крыш, из сараев; дед старательно их выпрямлял; и тут я понять его не мог — выпрямленные гвозди были некрепкие, и если сразу удачно не вогнать такой, то он тут же гнулся вновь, и я, если гвоздь загибался, так и вминал его в доску.

И вот однажды, разбирая старый покосившийся сарай, я вдруг понял, что дело не только в результате и даже не столько в нем, а в самом неуклонном, торжествующем и неспешном усилии, с которым раз добытое и погибшее было вещество жизни извлекается обратно из своих теснин — вот не хочет этот старый, ржавый гвоздь выходить, и ты пробиваешь его обратно, подаешь назад, а потом прихватываешь плоскогубцами (если нету клещей) — и попросту наматываешь его, как червяка, засевшего в своей норе, а потом отстукиваешь вновь до прямолинейного состояния и испытываешь необъяснимую радость.

Конечно, всем нам, ныне живущим в эпоху вещей, трудно понять, зачем это нужно было — собирать все гвозди, бревна, оконные и дверные петли и создавать себе из этого даже нечто вроде похоти, целые чуланы и сараи забивать этим веществом. У деда ни чердака, ни чулана не было, был только красный брезентовый мешок с выпрямленными гвоздями, но он знал время, когда вещей, добротного, оформленного вещества, было очень мало, когда все было разбито, изржавлено и сожжено войной, и была не то что нехватка гвоздей или пуговиц, сукна или просто одежды, а самого дрянного собачьего мыла. Оттого-то у людей поколения, к которому принадлежал мой дед, к вещам было особое отношение: если уж вещь не погибла, обнаружилась-спаслась, ее обязательно нужно сохранить и пустить в дело; к вещам было отношение как к людям, к солдатам: если не убит, значит, годен, или хоть годен к нестройной, или в запасе — но все равно не вычеркнут насовсем.

Дед еще, конечно, простодушно радовался могуществу своего усилия, которое увенчивалось успехом; дед чувствовал могучую, умелую силу своих рук и радовался ей, радовался тому всеохватному порядку, который организуется ею, когда старая гвоздовая доска перестает быть старой гвоздовой доской и, хоть и с дырочками после первого употребления, все ж таки готова опять в прямое дело: не цеплюча и не опасна.

Лишь выдирая гвозди из порушенного мною сарая, я тоже понял, что этим поддерживаю какую-то тонкую справедливость мира. Не сразу понял. Поначалу-то я этот сарай сжечь хотел, и гвозди мне были не нужны, а вот

кругляк, из которого он был построен, кругляк и доски — нужны как дрова; и так я стал разбирать сарай по косточкам, а при том, что у меня двое детей и они в один прекрасный день приедут ко мне, значило, что мне никак нельзя оставить груды ошетилившегося ржавыми гвоздями дерева. И тут я впервые, похоже, сделал работу так, как дед.

И только сделав, понял его; я понял, что тайлось в его неторопливой старательности, в том, что даже раздражало меня как мальчугана чересчур уж резвого, — он не хотел выбрасывать в мир порченное, как сейчас это принято; он спасал вещи, спасал до конца, как людей, как раненых товарищей; может быть, поэтому и мир тогда был чище.

Ну а потом был лес. Целая эпоха моих походов туда, вслед за дедом. Не знаю, почему мне прежде всего вспомнилась кожа деда, когда он возвращался из леса: на ней (на шее) всегда были какие-то микроскопические черные пылинки, хвоинки. И вот когда хвоинки и мне стали сыпаться за шиворот, я вспомнил эту его влажную, потную кожу (он был белокожий, как Фроська) и то, как бабушка нежно льет ему на шею из кувшина воду после леса...

В лесу я все пытаюсь понять его и понимаю все лучше. Едва ли когда-нибудь мой дед сообщил мне больше удивительных сведений о самой сущности жизни, чем в это лето... Так было в первый раз, когда я пошел в лес, так бывает каждый раз, когда я иду один. Я встречаюсь с ним. Я становлюсь им. Вот уж не ожидал, дед, что когда-нибудь я стану понимать тебя и быть с тобою одним существом, тобою продолжаться во времени. Не матерью, не отцом — тобою. Это лето — твое. А может быть, это нечто гораздо более важное, может быть, эта встреча на всю жизнь. А тогда, значит, и Фроська не случайно на тебя похожа, дед?

С первого раза меня поразила спокойная доброкачественность одиночества в лесу. Из мира, как гвоздями, пробитого нашими криками, спокойно и с удовлетворением уходил дед в мир надежной лесной тишины, которая слаще любой музыки... И вот он откровенно ликовал, что остался один и может брести себе, наблюдая великолепное разнообразие жизни. Увидеть это глазами деда — было потрясающе. Я убежден, что он был тонким наблюдателем, и все эти «уровни жизни»: паутинки, листики, фигуры веток, узоры древоотцвев, мир луж лесных, которые я открывал для себя как бы заново, мир темного лесного, — он все это видел и шел затем, чтобы взять это, напиться этим, да, кроме того, лес тогда был нехоженнее и дичее, чем сейчас, намного. Он потихоньку проторивал дорогу, которую и оставил мне в наследство — ведь я до сих пор не могу заблудиться в этом лесу.

Как-то я вышел на край болотца — тогда еще оставались ямы темной воды возле Острова — и загляделся на улиток-прудовиков: они ползали по пленке воды *с той стороны* и, неустанно работая своими терками-ртами, казалось, чистили *ту сторону* зеркала, в котором отражались облака, сосны, ольховая поросль — и в то же время скрывался темный, бахромистый и древний мир бурых отложений, водорослей, тритонов, мир, казавшийся мне в детстве бездонным, как вход в преисподнюю, — ибо правда нельзя было представить себе, что может быть дно у этого черного болотца. Я вспомнил, как мы подходили сюда с дедом — и он неизменно зачарованно глядел туда, внутрь, *в зазеркалье*.

Я вспомнил его взгляд, и эту его манеру бормотать что-то под нос, и вечное странное одиночество, которое охватывало его в лесу, так что его и не дозваться было... Теперь вот я шел и что-то бормотал себе под нос, самопроизвольно делая какие-то пассы руками, потом заметил, что бормочу что-то по-французски, но это не показалось мне странным. Журчащий говор как бы усыплял меня, и вдруг очень ясно, ярко ощутил я запах леса и такой же мощный прилив необъяснимой бодрящей сексуальности. Жена

была далеко, я скучал по ней, но дело было не в этом, черт возьми, сексуальность была повсюду вокруг, повсюду был аромат тонкой и нежной, podatливой женственности, которая всегда желанна...

Неужели дед тоже чувствовал это?

Во время прошлых прогулок я уже ощущал что-то подобное, но совершенно бессознательно, и сам удивлялся, почему это я вдруг то начинал двигаться как-то гимнастично, то красться бесшумно, как волк, почуявший мускус следов своей подруги? А сегодня я отчетливо, можно сказать, разумно ощутил большие деревья как живые существа, обладающие даже собственными голосами, а не только общим древесным терпением, которое делает плоть их благородной; существа, обладающие чем-то даже вроде собственной судьбы: у кого-то зарубок на душе побольше, у кого-то меньше и ствол глаже, а кто-то с рожденья прозябает на тощем свету и оттого неудачлив-некрасив. Я не очень следил за тем, где я, но сразу понял, что вступил с лесом в какие-то необычные отношения, раз он «говорит» со мной и испытывает то великолепными картинами жизни, то не менее великолепными видениями смерти.

Но ведь смерти нет, вдруг понял я. Вот мертвое старое дерево. На нем живет теперь мох, грибы, лишайники, оно служит прибежищем мириадам насекомых и пищи для других. Со временем оно станет еще более «мертвым» и не похожим на дерево и все больше похожим на землю, на теплую, рыхлую лесную почву, которая возвращает все, что окружает меня. Я понял, мне не надо бояться того, что мне открывается, начал постукивать палочкой о палочку и впал в какое-то легкое, смещенное состояние сознания, еще не шаманский транс, поскольку я не умел этим состоянием управлять, но сам транс был, в этом-то не приходилось сомневаться... Я, помню, обнял большую сосну, когда подумал, что заблудился. Я обнял ее, как пристанище в мелколесье, я припал к ней и нежно обнял ее — и ощутил, что плутать не буду, и вообще мне здесь спокойно и хорошо. Потом я подошел к березе и, обняв ее, тоже послушал. Она светло (но легкомысленно) подтвердила то, что сказала сосна, а елка вообще не отозвалась, сделал вид, что в целом (в самом главном, древесном) она не может не согласиться с сосной, но в то же время сделает все, чтобы максимально устраниваться от этой затеи из ревности и обиды, что именно сосна взяла на себя, на свою породу, ответственность за все деревья в лесу, а ее, елку, даже не спросили. А она бы тоже кое о чем могла сказать... Во, такой у меня состоялся разговор с деревьями. Сосна была теплая. Я еще раз обнял ее. От нее не хотелось отрываться, как от женщины. После этого все пошло само собою: я шел все осторожнее, все неслышнее, стараясь превратиться в одно из существ леса и впитаться в него, впитать его в себя. Я разговаривал с грибами, благодарил и целовал их, я обращался к лесу и пытался услышать ответ.

Потом услышал, как одно дерево трется о другое... Поначалу мне правда по звуку показалось, что по лесу едет телега... Нет, первая мысль была, что грузовик — какой-то чудовищный грузовик, адски гремя цепями, надетыми на колеса и на все лады скрипя рамой прицепа, перегруженного хлыстами и вот-вот готового развалиться... Но какая машина, какая лесовозная дорога, откуда может быть? А телега — может быть? Наконец я сообразил, что это скрип дерева о дерево, в котором натурально слышен скрип телеги. Скрип сколоченной громадными деревянными гвоздями огромной дубовой клетки для Стеньки Разина, скрип всех сочленений этой клетки, да еще воплей самого этого Разина, сотрясающего прутья своей тюрьмы. Дерево стонало так надрывно, что я заговорил с ним. Чего, мол, ты хочешь? Может быть, ты меня зовешь? Причем я по-прежнему говорил по-французски, и это меня нисколько не смущало, это был другой, непрофанный язык, который к тому же оказался великолепно подходящим для общения с лесом, а главное, что я не испытывал ни малейших трудностей в разговоре. Вскоре к

тому же я вспомнил, что лес — по-французски женского рода и от этого понял, и очень остро, почти сексуально, повторяюсь, пережил, что я вообще в лоне не ясной мне мощнейшей всепоглощающей женственности... Не знаю почему, но я решил, что и береза — *le bouleau*, — ствол которой от соприкосновения с упавшей елкой и издавал этот душераздирающий скрип увозимой повозки с Разиным, беснующимся внутри, — тоже женского рода. Я пошел к ней, сознательно откликаясь на ее зов... Она позволила себя обнять, послушать. Ветер внезапно затих, ствол не издавал ни звука, когда я впервые обнял его. Потом (я даже просил об этом у ветра) ветер качнул крону березы. И вот прозвучал в ее стволе звук. Жалобный, доверяющийся мне, полнокровный женский голос. А-а-а! А-а-а!! — какая-то жуткая боль саднила в нем. *Calme-toi... calme toi...* — проговорил я, глядя ее ствол и прижимаясь к ней жарче... Она замолчала. Я понял, что мы общаемся — с существом другой жизненной природы — как мужчина с женщиной, и плевать тут на артикли французского языка! Я погладил ее гладкую кору, я прижался к ней пахом, и это доставило мне удовольствие — я даже лизнул ее ствол, хотя это было странно, будто я лизнул выросший до небес свой собственный исполинский фаллос... Она странным образом позволяла все это проделывать с собой и однажды даже простонала от *удовольствия*, когда ветер качнул ее красивую крону. Что это было? Флирт? Я не знаю. Через некоторое время я ушел от березы, боясь, что наш контакт чересчур брутален. Я ушел далеко, пока не оказался у мокрого луга в глубине леса. Лег на сухое место и прослушал, как кукушка откуковала мне двадцать лет. Еще двадцать. Наверху было небо и кроны деревьев. Облака. Одного этого дня было бы достаточно для счастья на всю жизнь. Потом раздался осторожный скрип, как будто приоткрылась калитка. Где-то рядом в стволе, поблизости конечно же, находится деревянный домик, и там все время открывались-закрывались какие-то двери, тикали и били часы... Опасаясь меня, обитатели, тихонько топоча, перебежали куда-то, но их животные только громче гомонили, и плакал разбуженный младенец. Тут же лежал огромный еловый выворотень — и опять для меня не было сомнения, что под каждым выворотнем есть вход в подземный мир. Светло-зеленые хвощи деликатно закрывали зияющую глубину. Лишайник, словно ступеньки гнома, спускался в этот ход, но дальше, как всегда, начиналась кисея из паутины в капельках росы, и, чтобы протиснуться туда, надо было стать не больше лягушки...

Каждому здравомыслящему человеку ясно, что в своих прогулках по лесу я зашел слишком далеко и, уж во всяком случае, далековато, чтобы опыты подобного рода могли закончиться *просто так*. Действительно, в один прекрасный день или, вернее, вечер я решил отправиться в лес ночью, чтобы при помощи фонаря и видеокамеры увидеть, а по возможности и запечатлеть те одухотворенные сущности, которые открывались мне днем. С нетерпением я ждал темноты и, в конце концов поймав некую едва различимую грань между светом и тьмою, отправился, прихватив с собой камеру, мощный фонарь и туристскую «пенку», чтобы где-нибудь в укромном месте поспать часа два, потому что то, что осталось от леса, с тех пор, как его стали рубить на дрова лесники, было маленьким, а в мои планы совсем не входило шататься по лесу туда-сюда до рассвета. Нет смысла в деталях описывать этот ночной поход. Скажу только, что замысел мой стал ломаться с самого начала: ночь, даже светлая июньская ночь, набрав силу, оказалась чересчур темна. Свет фонаря, прожектором рассекающий тьму на открытом пространстве, в лесу не мог высветить ничего, кроме коридора дороги, с обеих сторон и сверху окруженного совершенно глухими стенами тьмы: свет моментально «вяз» в ветвях и стволах леса и не мог пробиться вглубь. Кроме того, выяснилось, что старая любительская видеокамера попросту *не видит* ничего, что освещается дальше четырех-пяти метров от нее. В результате, правда, при просмотре пленки я обнаружил неожиданный эффект: будто фильм снят глубоко под водой, в за-

топленном лесу, среди гигантских водорослей или попросту в инопланетной жизни. То и дело в объективе вспыхивали охваченные светом фонаря травы у дороги. Все они казались другими, нежели днем, и все проявлялись в каком-то не свойственном растениям активном отношении к человеку: одни кивали мне цветущими метелками, другие щерились и запускали впереди полосы мелькающих, острых, режущих теней, третьи вдруг открывались в какой-то фантастической красоте... Помню растение конского щавеля, которое буквально заорожило меня: оно выступало из темноты подробно, выпукло, в прекрасной оголенности сочных, зеленых прожилок листа, пробитого красными оспинами какой-то щавелевой болезни и сухих, остевых жил стебля. Монисто семян, казалось, и правда собрано из мелких средневековых монет, позеленевших от времени... Растение, которому днем я по привычке не уделил бы внимания, ночью, определенно, красовалось передо мной. Живые духи были всюду. Вот эта ветка, покрытая мхом, словно шерстью, определенно, пряталась от меня, другая же, похожая вместе с комком прилипшей к ней земли на ежа, скорее любопытствовала. Третья — изогнувшись, как змея, старалась напугать. Так что чего-чего, а чудищ, в которые преображались ночью опавшие ветки или поверженные деревья, было вокруг меня предостаточно. Но что по-настоящему поразило меня, так это дерево дикой груши. Чтобы осветить ее, я сунул фонарь в гущу ее ветвей, а когда прильнул глазом к глазку видеокамеры, увидел... нет, это было не просто светящееся дерево, а дерево, будто вырубленное из камня. В центре этой картины, посреди разбегающихся по листьям бликов света резкими желтыми, зелеными и голубыми гранями проступало женское лицо потрясающей красоты. По счастью, кинокамера запечатлела это довольно точно, чтобы спасти меня от обвинения во лжи, но если это была душа дерева, то она не спала, наблюдая за мной.

— Здравствуй, я вижу тебя, — произнес я.

Она не ответила.

Похоже, я слишком дерзко обошелся с ней, ворвавшись среди ночи.

Очень скоро я заблудился: «коридор» тропы, на которую я свернул на очередном повороте, вдруг утерял четкость очертаний и раздробился на какие-то почти невидимые звериные лазы с провалами в черноту, и я очутился в молодом непроходимом ельнике, придавленном сверху тьмой более старого леса. Увлеченный съемками «духов», я не очень-то отслеживал направление и, естественно, сбился с пути... Я лег на землю и включил фонарь: вокруг было самое дно океана жизни. Коричневые сухие веточки молодых елок, их стволы, корни, опавшая розоватая хвоя, на которой ничего не росло, кроме белесоватых полупрозрачных грибов на тонких ножках. Я выключил фонарь и несколько минут лежал на земле, вслушиваясь в темноту. Слух не принес мне подсказок, но в то же время я вдруг совершенно отчетливо понял, что нахожусь где-то у самого рва, к которому дед привел нас когда-то, надеясь, что это поможет нам отыскать карьеры... И мне вдруг неожиданно больно стало за болото, обескровленное этой мелиоративной канавой, болото, которое — как же я раньше-то не понимал?! — и было сердцем леса, медленно пульсирующим сердцем, одевающим лес избытками своей влаги. Ведь не даром же дед называл остров Островом! Клин старых, никогда человеком не тронутых боровых сосен был именно островом посреди мокрого болотистого луга, посредством которого болото одаряло влагой весь лес, а сейчас, когда воду в мертвом желобе пустили краем, в обход леса, лес должен от недостатка влаги начать сохнуть и болеть...

Я поднялся с земли и зашагал, даже не зажигая фонаря, в нужном, как мне казалось, направлении. И правда, скоро я нашел лесную дорогу, которая вела в поля за болотом и дальше, в село Степаньково. Переходя ров через бревенчатый мост, я посветил вниз фонариком: теперь из болота стекал уже не ручей, а едва заметная струйка красноватой воды. Через три

минуты я вышел к полям, на опушку леса. Поля в тот год были заброшены, в них жила и колосилась разная трава, ромашки и клевер мешались с дичающим горохом. Я раскатал «пенку» и тут, на опушке, устроил себе ночлег. Над полем величественно развернулась звездная скрижаль. Я направил на звезды камеру: камера не различала звезд. Тогда, накинув на голову капюшон куртки, я приготовился спать. Не тут-то было! Почти сразу же — я еще не успел оторвать глаза от ночного неба — каким-то промельком, стоп-кадром продолжительностью в $\frac{1}{30}$ секунды надо мной беззвучно зависла сова. И тут же как будто включили транзистор: четкий, назойливый, хрипящий звук где-то там, в стороне болота. Скорее за болотом. Звук мотора, перегазовка и еще более низкий, надсадный гул с трудом ворочающихся шестерней и колес. Я вскочил.

Танк?!

Да нет же, не может быть, просто пьяные лесники проспались и вывозят с делянки лес. Или зацепили лишнего, воруют ночью. И точно так же отчетливо, как звук всех сочленений их мотора, будто из спрятанных в березе динамиков, я услышал давно знакомые голоса:

— У меня опять изжога, — сказал голос механика. — И голова мерзнет. Что это там за шум? С тех пор, как этот проклятый старик унес мою каску, мне не во что прятать свои мозги. Приходится обматывать их сфагнутом и соломой. Но это вредно, кожа на черепе может совсем отопреть... У меня понос и изжога вот уже сорок девять лет, и мне кажется, пора нам убраться отсюда... Подумайте, командир, — ведь терять нам, по сути, нечего. По-моему, одна-единственная попытка вырваться из этого времени нам не помешала бы, хотя мы, в общем, обжились в нем, а за все попытки прорыва из своего времени люди порой платили весьма дорогую цену: развоплощение... сумасшествие... смерть...

Я схватил камеру и фонарь и побежал к болоту. В этих местах я не был очень давно и только помнил, что проклятые мелиораторы окопали болото опоясывающим рвом, свалиться в который, особенно ночью, почти наверняка означало — утонуть. Но и утонуть было невозможно: фонарик уперся во влажную грязь, слишком жидкую, чтобы ходить по ней, и слишком густую, чтобы в ней плыть. Шаркнув фонариком налево-направо, я увидел березовые слезы, перекинутые через затянувшийся ров, и одним махом проскочил на болото. Вода местами еще чавкала, но почва не ходила под ногами, как тогда, в детстве. Я побежал.

Опять — близко, будто из соседней комнаты, — я услышал голоса. Говорил командир. Я помнил его голос! Сейчас главное — снять их на камеру и показать Алешке, потому что, кроме него, никто даже не поймет и не поверит, что это — ну, не простое кино.

— Знаешь, что я скажу тебе, друг? Когда-нибудь мы, конечно, попробуем вырваться из-под того колпака, в котором оказались. По крайней мере потому — эй, слышите? это опять их бронетехника! По крайней мере потому, что они в конце концов доберутся до нас, когда сведут весь лес.

— Никакая это не бронетехника, — сказал механик с опрешшей головой. — Это люди из лесничества: крадут лес и торгуют им направо и налево. Воровство всегда было бичом этой страны... Я знаю это еще из описаний академиков Екатерины Великой...

— Если это воришки, то надо их проучить, — сказал командир. — Я не люблю воровства. Я люблю Ordnung.

— У меня в распоряжении, — сказал стрелок, — всего один снаряд, который я при всем желании не могу использовать, и несколько глиняных пуль. Хорошо, что хоть их-то мы сделали.

— Надо подойти поближе и попробовать хотя бы напугать их, — сказал командир. — Иначе нашему танку просто негде будет маневрировать. Собственно говоря, я давно сжился с этой страной и даже сросся... Не знаю, что будет точнее... Я не питаю ни к кому вражды — ни к этим дач-

никам, ни к этим лесникам. Но на территории, вверенной моему подразделению, порядок должен поддерживаться... Это выше меня. Пусть даже мы вынуждены будем пустить в ход оружие...

— Я всегда говорил и говорю: не надо было есть эти русские грибы, они слишком похожи на поганки и не доведут нас до добра...

Я услышал, как во тьме тронулась машина.

— Это они, — сказал командир. — Товсь!

На повороте лесной дороги, по оси оседающая в грязь, показался лесовоз с заженными фарами. Буксуя в жидкой глине, он пер кубов восемь первого сортного делового леса.

— Feuer! — скомандовал командир.

Раздался звук, похожий на треск лопнувшего дерева.

— Блин, Митрич, я весь в говне, твою мать! — закричал кто-то в ночи. — И стекло разбито. Что за ё... ? У меня кровь на животе, что за ё... ?! — Двигатель лесовоза заглох.

— А! — пьяно запаяясь, прокричал бригадир. — Доставай топоры, Иван, увидишь танк — это будет серый такой танк, как будто старинной марки, — руби его к чертовой матери!!

— Какой еще танк? Дай фонарь! — завопил Иван. — Дай фонарь, а то страшно что-то!

— Воровать не срашно, а танк порубать страшно? — рассмеялся бригадир. — Ты мне это брось. Они ж призраки! — И бросился на голоса.

Я метнулся на помощь немцам, потому что они защищали лес. Не помня себя, я бежал наперерез через болото, не боясь провалиться, ибо болото и вправду почти высохло за последние тридцать лет, но в темноте все время спотыкался о кочки и падал и потом никак не мог точно понять, где они, ибо лес стоял передо мной, как черная стена, и я только слышал их ругань в тишине, но не видел самого боя.

— Они убили меня! — заорал Иван.

— Руби танк, танк руби! — орал бригадир, зная, что Иван пуглив и не выпил должного.

Немцы, судя по звукам, кое-как отбивались, пока механик на чистом русском не произнес:

— Честное слово, меня измотало это их вечное воровство...

— Я гадом буду, мы погорели, Митрич, это инспекция из Москвы! — завопил водила и кинулся обратно к грузовику.

Отбиваясь топором от шанцевого инструмента призрачных диверсантов, бригадир клял своего напарника на чем свет стоит: ты, сука, чего испугался — то ж фантомы, воочию фантомы!!! А мы перед немцем никогда не отступали!!! Его хмельной раж разметал в стороны потерявшихся во времени десантников, и бригадир что есть мочи ударил по броне древнего танка. Раздался удар металла о металл, и обломившийся топор со свистом пролетел мимо уха бригадира.

В этот момент я наконец выполз на лесовозную дорогу. Камера умерла: где-то на болоте, падая, я потерял аккумулятор. Включать фонарь было незачем. Оставалось наблюдать.

— Так он железный?! — в каком-то оторопелом недоумении прошептал бригадир. — Броня...

Немцы, глядя на эту разворачивающуюся сольено сцену, все глубже отступали в глубь леса, пока вовсе не слились с ним.

Бригадир постоял у танка. Подумал. Потом бросился к нагруженной машине:

— Ваня, назад сдавай! А не можешь — бросай все, завтра вернемся...

— А в чем дело-то? — пытался понять Иван.

— Танк... — только и мог произнести бригадир. — Настоящий... Я про это еще мальчишкой слышал, но чтоб правда...

Водитель не заставил себя долго ждать и, видя робость бригадира, выбросился из кабины и, хлопая сапогами, кинулся за ним по разбитой дороге, покуда оба не растаяли в темноте.

Прошло минут пять. Почти неслышно, как звери, у лесовоза завозились немцы.

— Курево... — сладострастно произнес механик, нашаривая в кабине что-то.

— Наверное, есть бутерброды и колбаса?

— О, эти русские так наплевательски к себе относятся. Ищи хлеб. Хлеб еще может быть. И водка... — мечтательно произнес командир танка.

— Ничего нет, — сказал стрелок, тщательно обследовав кабину. — Только курево. Водка выпита.

— С ними всегда так, — заметил командир. — Водки ты не найдешь у русских! А теперь нам нужно сваливать подальше. И спрятаться...

— А может, все-таки попробовать прорваться домой? — спросил механик с опрешшей головой. — Мы прячемся уже так долго — но что в этом толку? Даже если секретное оружие времени сработало тогда, это не значит, что оно продолжает действовать... Последнюю попытку прорыва мы делали, когда война, наверно, еще шла. А сейчас? Возможно, сама установка демонтирована. Тогда, значит, мы сами погребли здесь себя...

— Ты всегда был фрондером, Ганс, — сказал командир. — И все потому, что когда-то читал много книжек. Конечно, мы можем рискнуть, но никто из нас не может быть уверен решительно ни в чем...

Утром я очнулся, сидя посреди широкой равнины, среди желтоватой травы... Косо светило утреннее солнце, озаряя невысокие, но крепкие сосны на болоте. Когда я увидел это место в первый раз, они тоже росли, разве что были чуть меньше — я еще не знал, что это обычные для верховых болот карликовые сосны, — отчего с первого взгляда на них казалось, что здесь идет какая-то своя, иная по масштабам и по смыслу, жизнь. Кто-то здесь таится, конечно, кто-то хозяйничает в этом мире, кто-то здесь водится такой, кого в других местах не бывает. Как росянка, которая сторожит вход в пучину. Редкое растение. Оно растет на самой кромке трясины, там, где слой корней, переплетающихся над окном воды, становится тонким, как войлок. Я встал. Прямо передо мной стояла черная, сбросившая кору сосна в форме распятия. На ней висел гриб, запасенный белкой. Желая жить, а не служить только беличьим кормом, гриб выпустил из себя длиннущую прядь похожих на мох беловатых отростков, которые, оторванные ветром, должны были забросить эти метаморфозы гриба на мало-мальски пригодную землю, чтобы он мог вновь реинкарнировать в привычной грибу форме. Я поднялся с кочки и пошел назад по своим следам, пока они еще были видны в промятом мху. Минут через десять я увидел черную коробочку. Это был аккумулятор видеокамеры.

Конечно, я помню, как мы впервые дошли до болота с дедом. Мы шли не так, как я, мы шли его путем, путем его вопросов и открытий. Ибо если был Остров, со всех сторон окруженный мокрым болотистым лугом, то, значит, откуда-то здесь должна была браться в любое время лета вода? А раз откуда-то — то откуда? Вот он и шел за водой, не спеша особенно, год за годом заглубляясь все дальше в лес, где уже ни просек, ни тропинок не было, зато полно было дикой малины среди серых могучих елей. Постепенно он нашел и старый мост через давний сток болота, возле которого до сих пор стояла открытая вода и цвели калужницы, нашел дерево-замок муравьев, все покрасневшее и позеленевшее от напыленного на него лишайника, и тут уж, конечно, не мог не найти болота.

Это был путь длинный и не простой: здесь, в сумраке вековых елей, попадались белые грибы чуть ли не по колено, но даже они не радовали нас, ибо только подтверждали, что мы вышли за пределы освоенного чело-

веком мира. И первым впечатлением от приближения к болоту было именно страшное чувство заброшенной глухомани, где не просто поверженными лежали отдельные деревья, здесь навалено было бурелому столько, сколько не было во всем остальном лесу. Потом ощущался запах земли. Именно земли поначалу, а не воды. Вода только пробуждала запахи этой древней плоти, делала ее осязаемее: тысячелетия торфяников не зря хоронили внутри древние стрелы и кости мамонта, и озеро, ставшее линзой торфа, было настоящим кладбищем времени. Потом, когда мы увидели наконец болото, поразила именно эта его несомненная *обитаемость*. Мы смотрели как замороженные на широкую равнину, покрытую желтой травой, заросшую соснами, мхом, мелкой зеленой порослью над черным разрезом... Там — трясина, строго сказал дед. Нельзя даже близко. Верная смерть.

Смерть. Вот кто царил надо всем этим болотом.

Но если смерть — то какая она? И где она, где? Конечно, не без подсказки Алешки, который запомнил дорогу и уже мог позволить себе не трусить, вернулись мы впервые на болото. Смерть? Да вот же она: черное окно воды, перед которым земля начинает гулять, качаться волнами и вот-вот лопнет, как матрас, слишком слабо набитый сеном... А там, под ним, что? Ледяная, никогда не знавшая света вода и толщи, толщи, толщи еще не ставших торфом гниющих кусочков растений — жуткий мир, почти преисподняя. Интересно, существует ли в ней жизнь? Хотя бы в виде простейших — циклопов, дафний или других каких-нибудь неведомых представителей?

В очередной раз оказавшись у болота, Алешка вдруг сказал:

— А! Я все понял! Я знаю, где эти карьеры!

— Где? — хором с Наташкой спросили мы.

— За лесом. А лес кончается за болотом. Значит, вот там, — махнув куда-то рукой, воскликнул он. — Эх вы, шкеты!

Он ничего не боялся. В то лето ему было шестнадцать. Я сфотографировал его в лесу с букетом ландышей в руке. Все девчонки в нашем классе были уверены, что это актер Олег Видов, и были влюблены в эту фотографию.

Он велел нам ждать и не соваться без него в болото.

Не успел он убежать... Ну да, все произошло как-то дико быстро.

Во рву у края болота была только черная вода и белые лилии.

— Хочешь, я достану тебе? — спросил я.

— Достань, — сказала Наташка голосом... Совсем другим голосом, повинуюсь которому я уже готов был не просто искать палку, а прыгать в эту черную воду и плыть за куском белизны, которого она ждала от меня, как вдруг среди мелких болотных сосенок заревело и, клацая металлом, двинулось что-то громадное: это был танк. В ужасе Наташка отвернулась от видения и прижалась ко мне, обхватив руками. И тут я не выдержал и поцеловал ее в губы, как всегда мечтал.

— Ты что, нам же нельзя... — прошептала она и вдруг, схватив меня за волосы, притянула к себе и с какой-то жадной, изголодавшейся нежностью тоже поцеловала.

Потом мы отпустили друг друга и разошлись на несколько шагов, глядя в разные стороны.

— Ты меня любишь? — спросила она.

— Да.

— Но нам же нельзя...

— Все равно.

— Ты псих ненормальный!

— Да.

Я чувствовал, что уберег ее от чего-то серьезного.

Болото, потревоженное нами, еще не успокоилось: его дальний конец перешел лось. И пара воронов все вилась над чахлой зелененькой травкой,

окужавшей трясину. Потом я увидел, как громада танка заколыхалась и, выдравшись из оплетавшей машину травы, тронулась куда-то. Алешки с нами не было, поэтому мы с удовольствием и робостью снова обнялись, уже не целуясь, а только дрожа и дыша, как дышат влюбленные, о чем я тогда не знал, а сейчас вот знаю, хотя как таковое это знание ни к чему. Когда мы очнулись друг от друга, танк уже исчез. Все затихло. Зеленые глянцевые листья и одна белая лилия качались в темной воде. А потом посылались шаги бегущего, и мы заранее знали, что это Алешка и что он нашел.

— Через три дня нас увезут отсюда, — сказала Наташка и в последний раз сжала мою руку. Я в ответ пожал ее пальцы, но сказать ничего не мог, потому что все: мы думали, что желаем друг другу спокойной ночи, а это была любовь, и вот она проходит, и осталось три дня, а я так и не поцеловал ее в волосы...

— Я нашел! — закричал, появляясь, Алешка. — Карьеры я нашел!! Там можно купаться!

И, чтоб ничем не выдать себя, мы побрели за ним, желая только одного: продолжать и продолжать быть вместе, вдвоем. Но, как ни крути, он был старший брат, и он был с нами, и нам было надо как-то разделить радость его колоссальной победы: ведь он нашел! Он прошел насквозь и связал координатами бесформенную вселенную деда, он вышел за пределы леса, и пространство уступило ему, открыв целые километры сжатых полей и неизвестное шоссе на заднем плане. А посередине — очень живописные песчаные бугры, заросшие молодыми соснами, горячий песок — и обрыв. Внизу неподвижно блестела желтая вода. Мы с Наташкой поняли, что вот сейчас мы с радостными криками бросимся в воду, а когда вылезем на берег, то будем уже навеки разлучены. Предчувствия не обманули нас. Больше мы никогда не были так близки. Я рано и глупо в первый раз женился; она, впрочем, тоже рано, но счастливо вышла замуж и уехала с мужем в Австралию. В тот день я напился как собака. Потому что, когда она уезжала, я почему-то понял, что ни от нашей семьи, ни от сказок леса — ничего от этого скоро совсем не останется.

III

По счастью, я был уже пьян, когда позвонила Лизка.

— Знаешь, — сказала она, — у меня к тебе просьба, может быть, единственная просьба как к родственнику. Сегодня утонул Алеша, вместе с дочерьми... Мы узнали и сейчас с Мишей едем туда... Не мог бы ты приехать — и побыть здесь с матерью...

Я соображал медленно. Я за полтора часа до этого приехал с дачи на велике, приехал, чтобы полить цветы и дозвониться до кого-нибудь из друзей или, если повезет, до Глашки, но, так и не дозвонившись, выпил пару пива, пыхнул и сел за компьютер. При этом на даче я провел замечательные дни, катаясь на велосипеде, купаясь и время от времени спя, отдыхая ото всего, что связано с работой... Все было так ясно, так хорошо еще десять, пять минут назад... Я соображал слишком медленно даже для того, чтобы сказать «конечно». Единственное, что я понял, — это то, что все — правда, хотя в нее-то и невозможно поверить.

— Конечно, я сейчас приеду, — сказал я, — Лизка, только учти, я пьян. Сейчас я надену штаны, прихвачу что-нибудь с собой, возьму тачку и приеду.

— Значит, где-то через час, — сказала Лизка.

— Да, — сказал я.

Время из-за курева тянулось медленно-медленно, я ходил по дому, искал и искал штаны, потом нашел и надевал, наверно, минут сорок, хотя в результате надел даже без ремня, потом еще натянул тонкий свитер на го-

лое тело и взял пятнадцать долларов — потому что разменных денег у меня, как назло, не было.

Был спокойный летний вечер. Суббота. Все нормально, только у меня нет больше старшего брата. Я сразу поймал тачку, договорился за пять долларов, и мы поехали. Красивый город проносился вокруг в огнях, мужик вел быстро и хорошо, мы поговорили о чем-то, посмеялись даже, и больше всего мне хотелось, чтобы все отмоталось назад, чтобы *ничего этого не было* или по крайней мере я не приезжал бы с дачи и ничего раньше времени не узнал бы...

— Знаешь, — сказал я мужику, — у меня двоюродный брат утонул. С дочерьми. Не могу в это поверить, вот какая история. А я его только сегодня как раз вспоминал. Как мы пацанами... Там есть одно место в лесу... Да ты не знаешь... А приехал — и ничего себе?!

— Да, — промолвил мужик и ошарашенно замолчал, но по-человечески как-то очень проникся чужим несчастьем. Только не понимал, чего я так спокойно себя веду.

Знакомый подъезд бабушкиного дома, где мы все столько раз встречались. Я позвонил в дверь, дверь открыли без вопроса «кто?». Поднялся на второй этаж.

Тетя Мила, Лизкина мама, была вся размазана горем, я буквально не помню ее лица, ее всю скомкало и смазало слезами.

— Васенька... — бросилась она ко мне. — Алешенька...

Я почему-то не заплакал, ничего не почувствовав. Только почувствовал, как ей тяжело.

Лизка позвонила мне, чтоб я как раз посидел ночь с тетей Милой, боясь, как бы с ней чего не стряслось. Я взял с собой курева и, если бы взял еще пивка, мог бы сидеть хоть до рассвета, но тетя Мила уже прокапалась как следует валокордином и теперь сказала, что она-то переживет, а вот если бы я поехал с ребятами, то было бы хорошо.

Не помню, как я понял, что Лизка и Миша, *младшие*, боятся того, что надвигается на них из тьмы за Рязанью, и хотят, чтобы я поехал с ними. Я понял, что все, надо ехать.

— Я продержусь, — плача, попросила тетя Мила. — Я продержусь, просто в сравнении с тем, что *им* предстоит... Ведь девочек еще не нашли...

Страшно было то, что все произошло так быстро: мы стали взрослыми и нам неоткуда ждать помощи, не на кого надеяться — наши *старшие* стали стариками, им удел — горевать, а нам — делать, хотя мы совсем не знаем — как.

— Ладно, — сказал я. — Поехали. Только сначала заедем домой и обязательно возьмем выпивки...

— Конечно, — сказал Миша, и я понял, что какая-то страшная тяжесть свалилась с его плеч. Ведь, в конце концов, это был *не его брат*, он его и не знал почти и ничего не знал ни про карьеры, ни про болото, ни про танк...

Лизка сунула мне в рюкзак бутылку водки:

— Возьми, чтобы мама не видела.

Она тоже моя сестра, младше меня на пятнадцать. У меня вообще крыша едет от двоюродных сестер: они такие нежные, такие *свои*, а в то же время женственность — в полный рост, и вы не ходили в один горшок в приснопамятном детстве. И тут я понял, какая у меня обалденная двоюродная сестричка подросла, а раньше я был тайно влюблен только в Наташку — каждый вечер мечтал залезть к ней в постель. С мужиком ей повезло: Наташке достался Сергей, океанолог, трудяга, он и вывез ее туда, где не бывает снега. Ну и Лизке попался Миша — это такой силы, доброты и надежности парень, что я бы сам его выбрал, будь я женщиной. Короче, мы вертанулись по городу пару раз, а потом как-то сразу оказались в моей квартире, я написал записку Глашке, которая должна была назавтра

к вечеру приехать с юга... Да, еще взял две банки фасоли и две лапши, понимая, что мы приедем в дом, где, может быть, шаром покати или все разорено горем.

Лизка спросила про какие-то книжки, разглядывая книжные полки. И мы все время о чем-то забавно болтали, отгоняя от себя надвигающуюся смерть, пока не выехали из Москвы и над дорогой не сошелся мрак, в котором только краснели задние габариты идущих впереди автомобилей и изредка, как кометы, проносились слепящие фары встречных. Миша вел с удивительным глубоким спокойствием.

— Он такой спокойный, что даже бесит меня иногда, — сказала Лизка.

— Ну ты даешь, — сказал я. — А ты бы хотела, чтоб он был такой же, как ты? Кто будет гасить твою неврастению и стабилизировать твой адреналин? У тебя его больше чем достаточно. Тебе просто повезло, я считаю.

После кольцевой я открыл пиво и отхлебнул из бутылки. Лизка достала водку из бардачка и тоже отпила глоток.

— Врача я тебе найду, — сказал я. — Алкоголизм не надо отпускать слишком далеко. Это должен быть прирученный зверь, хотя, по-настоящему, он никогда не приручается.

— Я думаю, до алкоголизма мне далеко, — сказала Лизка.

— Нужно только время, поверь мне. Только время.

— Я надеюсь, что спустя некоторое время у меня будет столько забот, что мне будет не до алкоголизма, — сказала Лизка.

Она мне нравилась беспощадностью и зрелостью своих суждений. Вот уж не ожидал, что у меня вырастет такая крутая сестренка. И вообще мне нравилось с ребятами. Мы отлично проводили время в дороге, рассказывая друг другу разные истории, и вообще это была бы замечательная ночь, если бы нам не надо было добраться *до конца*.

— Сколько вам лет, ребята? — спросил я.

— Мне двадцать пять, — отозвалась Лизка.

— А мне тридцать, — сказал Миша.

Отличный возраст. Потому что до тридцати я, считай, вообще не жил.

— И у меня что-то вроде этого получается, — сказал Миша.

Я не думал, что мне придется когда-нибудь так откровенно общаться со своей младшей сестрой. Я взял ее руку в свою, погладил, вложил ее пальцы между своими и нежно сжал ей ладонь. Она ответила с готовностью на удивление ласковым рукопожатием.

Что мы в действительности знали друг о друге? Почему прожили, почти не общаясь, эти двадцать лет? На что же мы тратили себя, если не знали друг друга?

— Послушай, — сказал я. — А ты помнишь, как мы гуляли с тобой в Глебовском парке, когда ты маленькая была? Года четыре...

Мне тогда было девятнадцать лет, и мы пошли гулять вдвоем. Все думали, что это такой молодой папа ходит с дочерью, и я тогда впервые в жизни поймал кайф от ребенка вообще — и это был единственный за всю нашу жизнь момент общей радости, момент глубокого общения. Я помню, мы еще в прятки играли...

— Это ранней осенью или весной было... — сказала Лизка.

Я понял, что это она действительно помнит и, следовательно, тот день был прожит не зря. Именно тот день. А все остальное, в общем, было необязательно. Хотя иногда и не плохо. Но вот тот день — он на всю жизнь, как и эта ночь. Если бы у дороги не было конца...

В Рязани мы остановились, взяли еще пива и сигарет и рассмотрели карту.

Мы знали, что нам нужно в Рязань, а дальше куда — не знали. Куда-то на Кораблино. Значит, трасса на Мичуринск. Кораблинский район, деревня Рог. Как ее найдешь? Еще один ориентир — речка Проня, где все это и произошло...

Темная трасса, какие-то суженные, на ремонте стоящие мосты. Рассвет забрезжил, залетающий в машину ветер становился все холоднее. За рекой не было ни села, ни поворота. Потом я увидел дом, вылез, долго дубасил в ставни кулаком и видел, как там, в доме, от ужаса все пришло в шевеление, но никто не выдал своего присутствия, они залегли и онемели перед чужим голосом, неизвестной машиной и предрассветным часом, когда ходят по земле убийцы и непохороненные утопленники. *Девочек ведь еще не нашли...* Что-то тетка Мила имела в виду? Они, значит, там, на дне. Алешины дочери. Кажется, что воздух вокруг сплошь проникнут ужасом и смертью. Чтобы не так колбасило, в машине я сразу забил трубку и пыхнул. Мы бросили испуганный дом и поехали дальше. Трасса всасывала нас, нас могло унести слишком далеко. К счастью, я заметил справа коровник, тлеющий огонек какой-то теплушки и выскочил в холод рассвета. Навстречу выехал мужик на велосипеде.

— Деревня Рог? — понятливо отреагировал он на вопрос. — Это вы проехали... Посадку видите? Вот за посадкой и тянется она в два конца, но один конец там нежилой. Одни дачники...

— Да, нам и нужны дачники...

Мы пролетели лишнего с километр или два. Свернули с трассы влево, пошла темно-серая, изрытая колесами проселочная дорога, лесополоса тянулась, собственно, во весь видимый горизонт, и непонятно было, куда рулить, потому что ни крыш, ни огня нигде не было. Когда объезжали здоровенную лужу, я вылез, пошел по дороге и увидел еще дорожку направо, выглядела она как-то *наезженно*, и я стал звать Мишу, чтоб он заворачивал на эту дорогу, хотя не ясно было, куда она ведет. Мы были среди бедной степи, озаренной восходящим солнцем. Посевы густо заросли бурьяном, и только два-три деревца вдали да пучки какой-то еще растительности, пробившейся выше сорной травы, указывали, возможно, на человеческое поселение.

И правда откуда-то взялись вросшие по самые крыши в бурьян бедные кирпичные дома. Машина. Алешкина — узнал я. Какой-то подошедший, из этого вот бурьяна возникший человек.

— Это деревня Рог? — спросил я человека.

— Рог.

— А Алексей Журавлев?..

— Алексей Журавлев? — произнес наконец человек. — Вы, значит, приехали по адресу... — Он еще оглядел нас, и я со стыдом подумал, что вот человек утонул, а к нему какие-то полупьяные понаехали...

А в следующий момент уже появилась женщина. Пожилая женщина, *бабушка*, которую я помнил еще в подвенечном платье в той, не проданной старой Алешинной квартире. На свадьбе. Это, значит, такой стала Татьяна... И уже в следующий миг она обнимает меня и рыдает, и я только глазу спину и волосы, волосы и поверхность какой-то шершавой дешевой кофты и откуда-то нахожу слова и сострадание для этого безутешного существа и только повторяю, повторяю что-то, пока из нее весь, до конца, не выходит наружу ком безутешного воя. Все время рядом стоял похожий на Алешу мальчик лет пятнадцати и терпеливо ждал, когда мать, которой положено плакать, отплачется, и я только тогда протянул ему руку, потому что на большее меня не хватило; вот, протянул ему руку через годы, прошедшие между первой нашей встречей и этой, второй. Наверно, этих лет было тринадцать. Мы были однажды в гостях у Алеши и Татьяны, у них были дети, может быть, уже двое, и все казалось каким-то обнадеживающим — это давно было, тогда еще Наташка с Сергеем не уехали, тогда было время журнала «Химия и жизнь», где печатали хорошую фантастику, поэтому даже в этой крошечной квартирке на втором этаже, где моему брату Алеше суждено было прожить жизнь, все казалось не лишенным

оптимизма, и жизнь была вполне еще сносной, никто не чувствовал ее смертного холода, кроме него, с которым случилось *это*.

Короче, однажды он попал в больницу с начисто раздробленным лицом. Никто ведь не знал, что *это* было: высказывались догадки, а я только знал, что накануне видел его дома в жопу пьяного и подумал — не случилось бы с ним чего... А на следующий день оно уже случилось. И никто не говорил — что. У каждого была своя версия, я был уверен, что его попросту отдолбили в ментовке сапогами, пьяного. Но только один человек — вот как странно все же устраивается, — чужой человек, медицинская сестра, сумела вдохнуть жизнь и желание жить в эти человеческие обломки, в эти несрастающиеся осколки челюстей, незаживающие свищи на шее и за ухом и в этот глаз, почти слепой, вложить все же выражение теплоты и заботы.

Через несколько лет тетка Мила мне сказала, что Алешка от отчаяния стрелялся. Зарядил ружье крупной дробью и... Вот эта медсестра, которая ухаживала за ним, Татьяна, она и стала позднее его женой. Я помню ее в белом свадебном платье. На свадьбе. И когда они впервые поцеловались как муж и жена, тетка Эмма, Алешкина мать, заплакала (деланно, чтоб было слышно, расплакалась в плечо дяде Боре) — так, как будто у нее отбирали что-то самое дорогое, как будто с ним не случилось *этого*. А она не любила его с младенчества, и как он рос, не любимый матерью, я не знаю, знаю только, что прикончить его у нее было немало способов. Но когда он избрал последний — на пути стала Татьяна. Конечно, она не очень была молода и не так уж красива, но добра, и мой старший брат, а он всегда был старший брат, видимо, не зря выбрал именно ее. Их любовь, должно быть, выросла из обоюдного стремления вырваться из одиночества, преодолеть кромешное отчаяние, мрак и смерть. И значит, это хорошая любовь, и зиждется она на совершенно других основаниях, которые были известны мне.

Ну а потом все стронулось, Наташка с Сергеем уехали, у всех пошла жизнь в полосочку — то, значит, черная полоса, то серая, — и так постепенно общая жизнь распалась. И только расправшись, она и пошла правильным чередом. Но это я сейчас понимаю. Жизнь перевернулась у всех. Дедушка с бабушкой умерли. Мы с Глашей затворились в дачном поселке под Москвой: она рисовала, я писал, жили мы там очень душевно, хоть и одиноко. А Алешка терпеливо превозмогал череду невзгод, которые шли одна за одной. Не мог найти себе работы, хотя закончил МАИ с отличием: раздробленное лицо и слепой глаз ему везде мешали устроиться, и он все горбатился на работах тяжелых и дешевых — то был регулировщиком СОСН на трассах, то грузчиком в кофейном магазине. Я пытался пристроить его рабочим в издательский дом «Коммерсантъ», где мне самому выпала редкая возможность поработать за хорошие деньги, и мы, короче, договорились там с одним начальником о собеседовании. Алешка пришел в костюме, волновался, потел, но его, может, опять из-за лица, не взяли. И мы только круто набрались в ирландской пивной под хорошую закуску, и я до сих пор рад, что не упустил этот шанс: попоил его пивом и угостил ужином в приличном заведении для иностранцев — он-то такого сроду не видал и уж тем более не мог себе позволить. Даже зайти. Пил водяру, закусывал колбасой. В последние разы, когда мы встречались, видно было, что он как-то истрепан и истерт жизнью и постепенно теряет следы той надежды, которая оживляла его когда-то. Никогда ему с работой не везло, и то же было накануне, когда какой-то старый друг пригласил его на крутую работу, а сам забухал и целый месяц не мог пробухаться, а бедный Лешка из последних нервов ждал, что ему скажут — «да» или «нет».

Летом он всегда отправлял свою семью из Москвы туда, под Рязань, и они жили там, в этом доме, питаясь от огорода, в деревне, какой-то жизнью бедной и простой, во всяком случае, Алешка любил это место, и в

его рассказах выглядело оно даже романтичным. Но никто никогда не бывал там, где переживала свое бедняцкое счастье его добрая семья. Когда они уезжали на зиму, дом грабили, а летом они возвращались и снова питались от земли, снова наполняли дом каким-то скарбом... Таким вот круговоротом все и шло, и все же это была, наверно, счастливая жизнь, потому что они все время туда возвращались.

Я слышал, что дом стоит на окраине села, и представлял себе деревню: вполне среднерусский пейзаж и, следовательно, деревянный дом, стоящий на взгорке, лицом на улицу, с огородом и тыквами-горляночками желтыми, которые Алеша привозил из своих южных пределов. Теперь вышло, что дом кирпичный и стоит, затерявшись в бурьяне, не бог где, у *концы сля*, лицом в голую степь. Только шаткий забор ограждает дом от степи. За ним — видимость палисада, рядом — из бурьяна торчала крыша другого дома, и не было ничего, кроме бурьяна, линии ЛЭП и дикой неряшной степи, вдалеке перекрытой лесопосадкой.

А потом, наплакавшись, Таня пригласила нас внутрь, и я хоть был обкуранный, но это уже не помогало: там кровати были расстелены и видно было, что день-два назад на этих кроватях еще кто-то был, жил, считал их своими, и белье было смято, как будто эти люди только что были здесь, только что встали и куда-то ушли, но только все они умерли, и жуть и пустота в этом доме, зияющая пустота, которую было не заполнить нам, чужим, приехавшим на помощь волею случая на место тех, кто умер. И была жуть, которая всегда присутствует в доме тех, кто недавно ушел. И они были где-то рядом, что ощущалось в виде жути. Татьяна походила по этим серым, неприбранным комнатам и поплакала, все повторяя: девочки мои, девочки мои. Но потом предложила нам чаю и поставила чайник на плиту. Всем было странно трапезничать в этот ранний час, слишком ранний, чтобы предпринимать действия и чтобы есть. Миша, выполнив свою миссию шофера, чувствовал себя совсем растерянно, да и Лизка как-то посерела и обтянулась кожей. Я был один, кто заварил себе лапши «Доширак» и съел ее, ибо понимал, что выпил и выкурил слишком много. Позади была бессонная ночь, а впереди день — длиной в тысячу миль, — и я понимал, что было бы просто гадством в такой день умереть на жаре с перепоя. Я съел всю лапшу, хотя ни у кого кусок не лез в горло, и, выпив чаю с сахаром, даже почувствовал, что малость отпустило. На запах моей еды пришла только собака, Джек, — любимый семейный пес крупной дворняжечьей породы, старый и слепой к тому же на один глаз. Джек. И, глядя на эту собаку, видно было, что жили они тут в прекрасном взаимопонимании и в терпимости к болям и слабостям ближнего своего — очень хорошие люди. Они и Джеку прощают то, что он не чао-чао, и Алеше тоже прощают — все прощают, что умеют. Здесь и неказистость прощают, и нескладность судьбы — очень многое из того, что мы в нашем мире прощать просто не научены...

И я подумал, что, наверно, лягу не на постели *мертвых*, а там, где живет Джек, — там стоял маленький такой диванчик, я принял снотворное, опрокинулся на него и уснул где-то на час.

Во всех подробностях эту историю не вспомнить, да и незачем вспоминать, помню только, что уже часов пять-шесть, наверно, было, солнечная роса блестела в бурьяне, а Татьяна вдруг как безумная стала кутаться в куртку, хорошую, хоть и перепачканную всю, осеннюю куртку, и повторять: ну, теперь надо туда ехать... туда... девочек наших искать... ведь им холодно там... холодно... А я вышел на улицу, сел на мусорную кучу, посмотрел на линию электропередач в замусоренной бурьяном степи и закурил. Подумал, что если сейчас не сдохну, то не сдохну и потом. В общем, это было нелегко, но я оказался живучее, чем сам про себя думал.

Потом ночь кончилась, и *все это* началось. Чего я боялся. Сели в Мишину машину и в направлении каком-то неизвестном на ощупь тронулись.

Мимо скирды, похожей на горб мамонта. Потом высокой речной террасой — к берегу. Река была дикая, по сторонам заросшая бурьяном, ивами, вьюнком, цеплuchей травой. В одном только месте сход был приличный — это то самое место с пляжиком, где они обычно купались, «их» место. А в тот день, как назло, здесь стояли машины, и они дальше проехали.

Чувствую шемящую боль, чувствую безропотность и всеуступчивость брата. Другие бы поскандалили и прогнали чужих со своего места, скандалить бы точно начали, а он — уступил. Таких людей больше нет. Они вывелись, остались одни какие-то бультерьеры.

Берегом идем. Ботинки промокают насквозь от росы. Потом останавливаемся, только Татьяна все ходит-ходит вдоль по-над берегом. Все заглядывает куда-то. Я говорю: это здесь, что ли, было? Ну да, она поясняет. Здесь это было. Здесь его достали, он кинулся за девочками — и первый утонул... И я все просила спасателей — вы поднимите его оттуда наверх, я сама с ним буду возиться, но они его так внизу и оставили...

Нереально. Вот тут из воды, из омута, из осоки, достали и швырнули на скользкий берег тело брата моего Алексея — не такое уж молодое и довольно тяжелое, должно быть, тело сорокачетырехлетнего мужчины... Мертвое. То есть прошедшее свой земной путь от начала и до конца. Вечером его погрузили менты на скотовозную машину и отвезли в морг в Кувшиново. А девочек так и не нашли.

Мишка и Татьяна собираются в Рязань за водолазами, а нам с Лизкой предлагают вернуться домой поспать. Чтобы быть способными хоть к чему-либо в нужный момент.

Мы возвращаемся в пустой дом. Только Джек сторожит его. Я оглядел кухню, открыл холодильник. Было десятка два яиц и банка сметаны. Пожалуй, больше ничего. Потом прошел в комнату, где мы ранним утром пили чай. И вдруг увидел на одной из кроватей книгу, какую-то «свою» книгу, из тех, что сам читал когда-то, и подумал, что это, наверно, Алешина кровать и он не обидится, если я на нее лягу. Я лег и почти сразу уснул. Проснулся оттого, что мухи кусали мне ноги. Несколько десятков злобных юрких мух. Я понял, что надо поспать, и пошел во двор. Проходя, увидел спящую Лизку — она даже не накрылась ничем. Просто сунула руки поглубже под мышки — и все. Тут как бы отдельная комнатка была и кровать пошире. Похоже, Алеша с Татьяной, как патриархи, спали все же здесь. Так на чьем же месте я спал, прости меня, Господи?

Палисадничек поутру выглядел повеселее, нежели на рассвете. Я заглянул в сарай, где увидел некоторое количество вещей, в том числе и крестьянских, к которым имел отношение мой брат. Потом долго смотрел на каменную кладку сарая. Брат жил непонятной, давно непонятной для меня жизнью. Прокричал петух. Огород, сарай, дом этот... Я вышел за калитку, напротив был такой же сарай. Из мелкого белого камня, только развалившийся от времени. Солнце уже припекало над бесприютной страной. Соседи из дома рядом пока что приглядывались из-за бурьяна ко мне как к чужаку, но не показывались и ни о чем не спрашивали и ничего понять не могли. Тот, утренний, человек куда-то исчез. Часов в девять зазвонил телефон.

Лизка сняла трубку и стала запоминать. Так. Так. Мост через Оку на Нижний Новгород. Слева спасательная станция. Забрать Володю и вторую группу водолазов.

— Ты сможешь вести? — спросила Лизка.

— Попробовать можно, — сказал я. — Слава богу, права с собой...

Я с трудом стронул Алешкин рыдван, заезженный и обитый о дороги до какой-то последней степени, и мы поехали.

До Рязани была почти сотня верст в обратную сторону. Сотня верст, уже забитых возвращающимися дачниками и прочими машинами. Когда спешишь, трудно себе представить что-нибудь хреннее такой сотни верст.

Помню водолазную станцию, каких-то нормальных мужиков, спецнаряжение, обязательно шуточки. Ну, им-то чего горевать? Не у них брат утонул. А они этих утопленников вынимают по полтора десятка в день.

Загрузили баллоны с кислородом в багажник, еще какое-то барахло.

— Теперь чего торопиться, — сказал один мужик. — Когда нас вызываю, торопиться вообще не надо. Торопиться надо раньше. Шесть минут.

— Чего — шесть минут? — не понял я.

— Через шесть минут — откачать еще можно.

— А Татьяна говорит, что через два часа.

— А все бабы верят в какую-то чушь. Чуть не через полсутки оживить можно. А в нашем деле четко — шесть минут, а дальше — поиск тела, и все.

Мы вернулись на берег реки где-то к часу, и вернулись как раз вовремя.

— У вас простыня есть? Простыня есть? — кинулась к нам Татьяна.

— Что?

— Машеньку нашли...

Миша и Лизка поехали в дом за простыней.

Я помнил дурноту, невозможность взглянуть на тело, которое водолазы привычно приткнули за кустами, накинув только кусок светлой ткани, чтоб не почернело, и несколько раз пытался спуститься и посмотреть (зачем?), а видел всегда одно и то же — высывающийся из-под куска ткани слепок девичьей стопы.

Татьяна была рада, что нашли хоть одну девочку, но мне дела не было, и я, хоть убей, не мог понять, зачем я здесь. Только наблюдал работу водолазов. Восемнадцать килограммов груза — «иначе не потонет» — так шутили они. Восемнадцать килограммов! Что же тут произошло? Постепенно стало все до банальности, до мельчайших деталей ясно. Из-за того, что обычное их место оказалось занято, они проехали еще метров двести, здесь река на манер песочных часов протачивает себе в глине узкое русло меж двух глубоких омутов. На краю одного из этих омутов и сидели девочки. Алешка с сыном и купаться-то не хотели, были на берегу. Алешка просто стоял, смотрел, Володя пошел место для рыбалки искать. А Татьяна с детьми, сидя на краю этого омута, от радости болтали в воде ногами. Это ж первый день ее отпуска был, первый день, как они приехали! До этого девчонки целый месяц тут с Володей провели. И вот не знаю уж, кто из них первый в воду соскользнул, а кто полез вытаскивать, но в результате они оказались там — в воде омута, слишком темной, слишком глубокой и пугающей, чтобы они могли противиться страху. Судорога ужаса повисла над рекой. Они закричали. Алешка сорвал с себя рубашку, часы и бросился за тонущими детьми. Поняв, что упустил их или не может вытолкнуть себя, он вдруг исчез. Сердце, наверно. Говорят, что самая младшая, Наташенька, продержалась дольше всех, все время повторяя: «Надо на спинку перевернуться, на спинку»...

Необъяснимо и чудовищно... Как будто смерть брела полями, от скуки наугад ткнула пальцем и погубила всю семью...

— Отмучился, — сказала Татьяна. — Если б не Володька, я б не задумываясь сейчас туда — вниз головой...

Хрюкающий звук воздуха, выходящий из-под шлема водолаза, будет отныне одним из адских звуков для меня. Хрр-хха... Хрр-хха... Вода прозрачная. Но не морская же. Воздух быстро кончается. Водолаз вылезает на берег. Оказывается, худенький парень, эмчезовец, по контракту работающий на спасательной станции. Второй такой же, только ростом ниже.

— Воздуху больше нет.

— Сколько там дотемна? Еще раз обернуться успеем?

Лизка и Миша уезжают в Рязань за вторым баллоном. Я иду в соседнюю деревню, договариваться о машине, которая будет перевозить тела. Возвращаюсь. На берегу Прони остаемся мы вдвоем с Володей. Мне

странно глядеть на этого мальчика, так поразительно похожего на моего брата в шестнадцать лет. Мы обмениваемся парой слов.

— Папа еще обещал, что мы на зорьку с ним сходим... — говорит он.

Я изумленно вижу, как он странно спокоен, как будто все, что произошло, нереально и все еще вернется и будет как надо, просто вот сейчас такой временный затык... А что будет, когда он поймет? Я не знаю. Но мне ни в коем случае нельзя упускать его из виду...

— А ты чего не плачешь? — спрашиваю я. — Ты плачь. Если подопрет. Так лучше будет.

— Я плачу, — говорит он. — Просто не верится. Что все это произошло...

Мы одни у реки. Похмелье плющит меня. Солнце безжалостно. Под кустами у берега лежит труп его сестры. Когда я сижу в траве, мне не видно. Вдруг я замечаю вдали бредущих берегом людей. Они тоже примечают нас, белое на песке, останавливаются, переговариваются о чем-то и все же продолжают двигаться в нашу сторону.

Черт возьми, этого еще не хватало. Какие-то местные мужики.

— Эй, — кричу я им, — туда нельзя!

— А чё нельзя, мы с бреднем ходим...

— Там девочка лежит, утонувшая, — говорю я.

— А-а, — соглашаются они, — а мы-то глядим, то ли полотенце, то ли простыня.

Хотели прихватить, ясное дело. Теперь поднимаются вверх. Загорелые шеи и руки, лица, давно не знавшие ответственности и регулярного труда. Сейчас стрельнут закурить.

— Курева случаем нет?

— Есть.

Они закуривают. Происшедшее им, в общем, по барабану, они что-то спрашивают для вежливости, и я отбиваюсь столь же шаблонными фразами.

— А поглядеть-то можно? — вдруг с явственным интересом спрашивает один.

Володя сидит в травах на берегу.

— Нет, нельзя. Ни в коем случае! Там же ее брат! — киваю я в сторону скрывающих Володю трав. Явно разочарованные, они пускаются в обратный путь, досасывая сигареты.

Я ложусь в траву. Просто лежу. Этот день как смерть. Но лучше не будет. Алешенька, ты помнишь, как в тебя были влюблены все девчонки в моем классе?!

Подходит Володя, говорит:

— Спасибо, дядь Вася.

— За что?

— За то, что не разрешили смотреть на нее.

Немота наступившего предвечернего часа.

Потом опять — Татьяна, водолазы. В действиях водолазов многое кажется неправильным: они слишком медленны, как будто некого больше спасать. Но ведь спасают они души тех, кто остался на берегу реки. И тело девочки, запутавшееся в речных водорослях.

— Ну вот же она! — вдруг вскрикивает Татьяна, когда водолаз уже начал погружение и ритмично, как дюгонь, дышит над водой: хр-рр! хрр-рр!

Мы подбегаем туда, куда показывает Таня, и там, по виду, правда что-то светлое в воде, но так вроде бы и было весь день. Косой свет солнца делает реку совсем темной. Водолаз в надежде только на чудо («Я же здесь проходил!») проходит несколько метров в сторону по дну и оказывается у берегового куста.

— Есть! — орет он в какую-то свою систему допотопной связи, но так, что все мы понимаем: «Есть!»

Он берет это беловатое, что всплывало с утра, и за руку волочит туда, где уже лежит Маша... Спасатели вынимают на берег второе тело и укрывают свех простыни каким-то покрывалом...

— Слава богу, — плачет Татьяна, — я уже не надеялась...

Водолаз выходит из реки, снимает тяжелый медный шлем. Видно, что он очень устал. С трудом стягивает с себя резиновый комбинезон, бахилы...

В это время на взгорке возле реки показывается грузовик.

— Сюда, сюда! — орем мы.

За рулем — деревенский мужик, которого тоже, видно, колбасит от всего этого. Тоже удовольствие не большое в воскресный день — трупы в морг возить.

Но, слава богу, вернулись Лизка и Мишка.

Откидываем борт. Кузов грузовика выстлан мягкой соломой, как будто в нем недавно перевозили коров.

— Ребята, теперь помогите поднять тела в машину, — просит кто-то из водолазов.

Ну, конечно. Я спускаюсь к воде, беру простыню, в которую завернута Маша. Не тяжело. Не страшно. Мы с Мишкой, сопя, поднимаем ее по обрывистому берегу и забрасываем в кузов. Легкая. Дитя.

В кузове немедленно оказывается Татьяна, откидывает край простыни, почти безмолвно смотрит на лицо ребенка. Зеленые сопли, как водоросли, торчат из носа. Она вытирает их, и видно, как становится чудесно хорошо лицо ее ребенка.

В это время мы с Мишкой поднимаем вторую девочку. Ноша потяжелее. Мы не разглядели ее и только там, в кузове, видим белую, размягченную водой кожу и прелестное лицо, на котором запечатлелось выражение то ли испуга, то ли недоумения...

Таня безутешно плачет, сидя рядом с дочерьми на соломе.

— Пора, пора, — говорит деревенский шофер, — пока до Кувшинова, а там с бумагами возня...

Я плохо соображаю. Понимаю только, что дело, за которым мы ехали сюда, сделано.

Грузовик уходит, взвывая передачами на обрывистом склоне реки. Потом скрывается в полях.

— Спасибо, — говорит Татьяна, как будто мы помогли что-то исправить, — большое вам спасибо, родные мои...

Горе сделало ее очень чуткой. Господи, как же с Володькой они вернутся сейчас в этот дом?! Я не представляю, ей-богу, не представляю. В лучах заходящего солнца мы уезжаем со страшного берега. С нами в машине в Рязань возвращаются водолазы.

Мы приезжаем на станцию, они сдают дежурство, бросают резиновые комбинезоны в кучу таких же, вместе с поясами, увешанными свинцовыми грузами.

— В хорошее лето до двадцати человек в день, — говорит наш водолаз, приготавливаясь отправляться домой на велосипеде. — Тонут по-любому, на ровном месте. Вот такая беда.

Никогда не думал, что эта беда погубит моего брата. Я так и не увидел его. Он лежит в море в Кувшинове, и я увижу его только на похоронах. Наверное, он, как и все мертвецы, будет не похож на себя. Татьяна говорила, что в последнее время один глаз у него совсем не видел, а шрам на щеке скрывала борода.

Мы прощаемся со спасательной станцией, с плакатами «Спасение на водах» и наконец устремляемся в обратный путь.

У первого же ларька останавливаемся.

— Мне шоколаду, чипсов и еще что-нибудь пожрать, — говорит Мишка. — А тебе?

— Мне три бутылки пива и спички.

Я забиваю трубку травой и делаю глубокий затыг.

— Хочешь, отсыплю тебе?

— Отсыпь.

Мы измочалены до невозможности. Мишка ведет, так и не выпив свой кофе. Я палю шамаль и припиваю пивом. Дорога налетает красными огнями тяжеловесных фур и временами вспыхивает желтым пламенем населенных пунктов. Вернее, пивного ларька в центре каждого неизвестного городишки.

Я бы поцеловал Лизку, да Мишка будет против. Просто он не понимает, что нас осталось четверо, четверо на всей планете. Хотя Наташка в Австралии, может, и не в счет.

Мы входим в поворот, и тут...

— Стой! — едва успеваю заорать я. — Тормози!

Танк. С растрескавшейся броней, похожей на расколотый дождями и вечностью бивень мамонта, торчащий из берегового откоса, стоит он на дороге. И двое людей — третий в люке — с бельмами вместо глаз, опаленных нашими фарами, больше всего похожие на покойников, только что восставших из могил, орут:

— Прорвались! Мы прорвались с первой попытки! Вы нам верите?!

— Прорвались! — ору я, пытаюсь выскочить из машины... — Какие же вы молодцы! Конечно, я верю вам!

— Тогда как нам проехать на Дюссельдорф? — спрашивает командир, устало шевеля губами.

— Поверните направо и жмите на запад, — говорю я, потому что один знаю, кто эти покойники, и не боюсь их. — Сейчас вы претесь на юг. Вам нужен компас... Утром определитесь по солнцу...

— С кем ты говоришь? — поворачивается ко мне Миша. — Там никого нет! Мы чуть не расколотили машину...

— Танк, — говорю я, потому что вижу танк впереди, как свои собственные руки. — Танк, ты что, не видишь?!

— Да какой танк, к чертовой матери, тебя уже просто глючит на каждом шагу!

— Меня глючит?

— Да.

— Ну если ты не врежешься в него, я поверю тебе.

Миша спокойно заводит мотор и трогается. Мы проходим сквозь танк как сквозь туман и вновь оказываемся на темной дороге, где дальний свет упирается только в желтые пятна освещенного пустого шоссе.

— Ладно, — говорю я, — я потом тебе объясню, что это было. *Развоплощение*.

— О'кей, — соглашается Миша и прикуривает очередную сигарету. — Ты мне лучше вот что объясни: ты-то совсем уже развоплотился или все-таки думаешь поправляться?

— Я не мог *развоплотиться* за одну ночь. Проходы во времени... Впрочем, бог с ним, объясни, в чем дело.

— Мне нужен помощник. Ты сможешь торговать холодильниками?

— Думаю, да.

— Это монотонная работа.

— Я думаю, мне понравится их развозить.

— А ты хоть раз видел нормальные холодильники?

— Знаешь, мне понравятся любые, кроме морга. После этого случая ты должен меня понять.

Минут десять мы едем молча.



ВЛАДИМИР КОРОБОВ

*

ПОСЛЕДНЯЯ СВЕЧА

* *
*

Багряным окроплен вином,
снежком январским оторочен —
шиповник замер за окном,
склонивши ветки у обочин.

И странно-беспокойный свет
от ягод лег в снегах окрестных,
как будто кровянится след
твоих, Господь, мучений крестных.

* *
*

На улице метелица
гуляет, мельтеша.
Глядишь, еще шевелится,
болит еще душа.

Заблудшая? пропащая? —
прохожим невдомек,
на самом дне таящая
небесный огонек,

что с силою нездешнею
несет бессмертный свет
сквозь плоть окоченевшую
и жизни этой бред,

чтоб совесть в ярком пламени
сияла, горяча, —
в пустой и зябкой храмине
последняя свеча.

Коробов Владимир Борисович родился в Тобольске в 1953 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор-составитель книг «Путешествие к Чехову» (М., 1996), «Прекрасны вы, берега Тавриды. Крым в русской поэзии» (М., 2000). Стихи публиковались в «Новом мире», «Дружбе народов», «Континенте» и других журналах и альманахах. Живет в Москве.

* *
*

Б. Викторову.

Опять зима, зима, зима.
И снег сырой и грязноватый
укрыл озябшие дома,
как елки, прошлогодней ватой.
Опять друзья ушли в запой,
пичуги в гнездах притаились,
замысловатую резьбой
опять катки засеребрились.
Ну что ж! И ты себя уважь,
достань заветную записку,
непозволительную блажь
осуществи, махнув на дачку
пустую...

Канет за лесок
грохочущая электричка
(так чиркает о коробок
последняя среди ночи спичка),
а здесь такие терема
возвел мороз — аж стынет в глотке,
и кажется — сойдешь с ума
от неба, звезд, любви и водки.

* *
*

Уже ты, брат, заматерел:
легко и просто
глядишь на Божий мир в прицел
креста — с погоста.

Друзья и недруги лежат
в могилах рядом.
И птицы черные кружат
над гиблым садом.

Но не возьмешь нас на испуг,
мы терты, биты.
Вот здесь лежит мой лучший друг,
травой увитый,

а там лежит мой лучший враг
под толщей глины —
соединил один овраг
две половины.

Настанет день, настанет час,
подам им руку...
Ну а пока, ну а сейчас
стерплю разлуку,

налью горчайшего вина
в стакан до края
и повторю их имена,
с них пыль стирая.

* *
*

Ты сбросишь платье, словно кокон,
прильнешь, забыв о суете, —
так бабочка у чьих-то окон,
быть может, бьется в темноте.
Ее страшат заботы утра,
ей нужен свет запретных свеч,
чтоб крылья цвета перламутра
на том огне беспечно сжечь.

* *
*

Уличному скрипачу.

Блаженна калеки улыбка —
он рад приближенью весны, —
рыдай, одинокая скрипка,
на злом пепелище страны,
рыдай в подворотнях московских
и на площадях городских
и вместо курантов кремлевских
рыдай в наших душах пустых.
Пусть робко, и жалко, и хрипло
играет калека-скрипач,
рыдай, одинокая скрипка,
по нищенке-родине плачь!

* *
*

Сшивай небесное-земное
своими нитями, снежок,
воображение ночное
и тот, из детства, бережок,
где в синеве маячил парус
и обещал не то чтоб рай —
волны разбившейся стеклярус,
Тавриды богоданный край;
латай, затягивай потуже
все то, что сбьлось — не сбьлось,
кольцом январской лютой стужи
скрепляй, что сшить не удалось —
и обретенья, и утраты,
надежд цветные лоскуты,
накладывай зимы заплаты
поверх зловещей пустоты,
баюкай музыкой сознание,
прикосновением лечи...
...Ложится снег, как подаянье,
в беззвездной нищенской ночи,
и под немое это пенье
все мается, едва дыша,
наивной верой в Воскресенье
заледеневшая душа.



АНДРЕЙ ВОЛОС

*

ПУТЕВКА НА ЦЕЛИНУ (1954)

Рассказ

1

Под горой текла речка. За ее валунами, галькой и шумной глинистой водой простиралась бугристая равнина. В отдалении степь становилась все более гладкой. Между горой и речкой лепились друг к другу разновысокие, но одинаково приземистые строения обогатительной фабрики. Над одним из них торчала кирпичная труба. Шершавый ветер со стороны Кызылкумов быстро размазывал бурый дым по серо-желтому небу.

Там, где краюха склона была отвесно срезана, из черных устьей штолен время от времени выкатывались тяжелые вагонетки. Опустошенные, они, весело грохоча, вновь пропадали в горе.

К ночи свежело, оседала пыль, густо-молочная россыпь звезд тяжелой серебряной сетью повисала над горячей землей. Рудник стихал, и десяток тусклых его фонарей казался отражением горних светил.

Когда тыквища мясо-красного солнца вырастала из-за горизонта, все начиналось сначала: что-то вздрагивало в недрах, вагонетки тащили пестрые груды скальной породы, силой вырванной из пасти горы, кряхтели мельницы на фабрике, шипела вода, покрикивали рабочие, — и опять все это, сливаясь в невнятный гул, до позднего вечера каталось по склону холма, на котором поселок рассыпал свои дома и кибитки.

Два раза в день дымная самосвальная машина, груженная зеленоватым шеелитовым концентратом, с ревом разворачивалась у распахнутых ворот. Выгорелый розовый флаг на воротах трепетал, прощаясь. Каменистая дорога поначалу тупо перла вверх. Миновав поселок, она сминалась в петлявый серпантин.

Кое-как взобравшись к урезу неба, грузовик исчезал — чтобы где-то там за перевалом достигнуть железнодорожной станции Зирабулак.

2

Окно комнаты было распахнуто, и в него лился свежий утренний воздух.

Впрочем, об эту пору все окна поселка были распахнуты, и в них лился свежий утренний воздух. В том числе и в доме через улицу, где помещалось Рудоуправление. Но там вдобавок только что началась планерка, поэтому из окон навстречу свежему утреннему воздуху летел мощный поток яростной брани пополам с клубами табачища.

Спотыкаясь спросонья, Вера прощлепала к окну и захлопнула створки.

Волос Андрей Германович родился в 1955 году. Окончил Московский институт им. Губкина. Постоянный автор журнала. Живет в Москве. Предлагаемый рассказ продолжает известный повествовательный цикл «Хуррамабад», за который в 2001 году писатель был удостоен Государственной премии РФ. Лауреат премий «Антибукер» и «Москва — Пенне».

Когда она снова повалилась на крикнущую раскладушку и зажмурилась, нарочно оттопырив губу, чтобы самой себе казаться крепко спящей, сна уже не было.

Вера повернулась на бок, потягиваясь и скуля, намереваясь свернуться клубочком и все-таки преодолеть неумолимую явь, но зачем-то на мгновение раскрыла глаза и увидела на подушке слева, где ночью умещалась Гошина голова, два бурых пятна.

— Ах, сволочи! — гневно крикнула Вера, вскакивая.

Она огорченно рассмотрела пятна.

А ведь и пороги посыпала дустом, и белила с дустом, и даже полы мыла, щедро замутив воду дустом! И что толку? Щелястый пол, подоконник, сами гулкие стены финского дома — все было приютом для проклятых клопов!..

Вера сердито сдернула наволочку и бросила на пол. Не настираешься... У нее простыни-то летают на ветерке — светятся. Весной пришла откуда ни возмись свинья, так чье полотенце с веревки сожрала? — ее, Верино. Дура душой, а разбирается... Соседки спрашивают: чем это ты? чем это ты?.. Как маленькие. Намыль до белой шапки, а потом марганцовки — бух!.. Руки надо иметь, вот чем.

От этих мыслей настроение улучшилось. Она вылила остаток воды из ведра в кружку, умылась над тазиком. Причесываясь и держа губами заколки, с удовольствием посматривала в зеркале на отражения знакомых предметов. Ее грела мысль, что на столе укрыты чистым полотенцем три пиалки, два граненых стакана, стопка тарелок — три мелкие, три глубокие, три вилки — правда, разные, две ложки (алюминиевая и стальная) и тонкий стакан в серебряном подстаканнике, подаренном на свадьбу. И еще в чемодане целая коробка праздничных ножей и вилок — по шесть штук мельхиоровых! Честно сказать, ей больше всего нравилась сама коробочка — ну просто царская! снаружи твердая, вишнево-красная, внутри белая, мягкая, шелковая, и в ней приборы по отделенницам — ножик, вилка, ножик, вилка!.. И прочей утвари полно: коричневая кастрюля, казанок, сковородка и большой синий детский горшок — она купила его недавно с прицелом на будущее, и он оказался очень удобным, чтобы ставить тесто. Гоша, правда, ворчал и делал вид, что брезгует. Но ничего, ел.

Вера быстро привела в порядок постель и накрыла раскладушку покрывалом. Потом намочила тряпицу и принялась за дело.

Она вытерла пыль с трех чемоданов, пирамидой стоявших в углу друг на друге. Затем с большого бухарского сундука, обитого разноцветной жемчужной, — в нем лежали книги. Стол и два стула блестели казенными бирками и были получены Гошей на время в геологической партии. На столе кроме посуды занимали место электрический чайник и приемник «Riga-6». Вера между делом щелкнула тумблером, и через минуту зеленый глазок весело светился, а из динамика лилась музыка. Электрическая плитка стояла на двух кирпичах ближе к двери, и по кирпичам Вера тоже прошла тряпкой как следует.

Потом взяла ведро и побежала на улицу.

Солнце поднялось высоко. Отец говорил — шестом не достать. Небо по краям еще светилось прохладной голубизной, а в зените уже выгорело и стало белесым. Пахло пылью. Из соседнего дома тянуло запахом какого-то печева, а еще откуда-то издали несло противной вонью перекаливаемого зигирного масла.

Независимо помахивая ведром, Вера прошла мимо шоферов, куривших на крыльце Рудоуправления, и свернула за угол.

— Слышь, Верка, — сказала Рая — ну как будто нарочно дожидалась ее с этой фразой у хауза¹. — Кураш вчера вечером помидоры завез.

¹ Хауз — искусственный водоем, пруд (тадж.).

Рая шумно почерпнула воду и поставила второе ведро рядом с первым. Расплескавшись на камни, вода ослепительно блестела.

— Свежие? — спросила Вера.

— Ага, свежие, — усмехнулась Рая. — Спасибо, соленых притаранил.

— Соленых? — Вера поморщилась.

Проходя мимо, Рая снисходительно улыбнулась — мол, что ты, Веруся, как маленькая.

Вера проводила ее взглядом. Спина у Раи была ровная, плечи в разворот; ишь как шагает — вода не шелохнется. На руднике много было из ссыльных. Она замечала — крымские татарки все такие осанистые.

Ну, помидоры так помидоры. Вздохнув, она тоже наполнила свое ведро. Воды в хаузе еще хватало, не то что осенью.

3

Вера была на третьем месяце.

Она знала, что беременным хочется кислого или соленого, а иные даже слизывают побелку со стен — по слухам, так поступала тетя Клава, их джиликульская соседка.

Но самой ей не хотелось ни соленого, ни кислого — потому и Раино известие поначалу не порадовало.

Ей хотелось пирожных.

В Хуррамабаде пирожные продавались. (Хуррамабад! — отсюда, с рудника, он казался волшебной страной.) В трех местах — в кулинарии возле «Детского мира», в гастрономе у театра (он еще назывался «У Вайнштейна») и в «зеркальном» гастрономе, что на Айни. Лежали на противнях рядками — и песочные, и бисквитные. С одной стороны — белая розочка, с другой — розовая. Приятно взглянуть. Два двадцать штука — ну и что, подумаешь! Каждый день такое не едят, но если с получки, то и два двадцать почти не жалко.

А в рудничном магазинишке пирожных не было, и ни у кого мысли не возникало, что когда-нибудь их можно будет увидеть. Здесь продавался только хлеб, за которым нужно было приходиться после обеда, часам к четырем, сигареты, спички и соль.

Вообще, когда ехали, она думала, что на руднике будет так же, как в Ингичках. В Ингичках не было ни больницы, ни клуба, ни школы, ни библиотеки, и жили они в кибитке из дикого камня — неотесанного, нештукатуренного. «Сакля, — хмуро сказал Гоша, когда втаскивал чемаданы. — Натуральная сакля». Пол тоже был каменный — материковый камень, скала. Печурка едва грела, да и топить особенно было нечем. Гоша стал добиваться дров, и в конце концов им привезли два толстых ствола корявой арчи. Топор арчу не брал — звенел и отскакивал. Тогда Гоша принес коробку детонаторов — совал в щели, в дупла. Детонатор сухо шелкал, взрываясь, и раскалывал узловатую древесину.

Зато в Ингичках Гоша был прикреплен к орсовскому торгу. Эх!.. На крепких полках торго стояли мешки с разными крупами, а иногда еще тушенка и топленое масло в стеклянных банках. Кроме того, там был забор под запись. Поэтому даже если кончались деньги, Юнус-магазинщик все равно отпускал что хочешь. Таково было распоряжение орса — чтобы специалистам не было отказу. Вера независимо перечисляла свои надобности и показывала пальцем, а Юнус вздыхал, слюнявил карандаш и записывал ее покупки в размахренную тетрадь. Когда Вера приносила деньги, этот жулик прежний забор беззаботно вычеркивал. Дважды оказывалось, что вычеркнул не все, — и потом ей приходилось упрямо спорить с ним, доказывая свою правоту.

Когда перебирались на рудник, она лишь хотела, чтобы им дали комнату в нормальном доме, — но в глубине души не верила в подобную возможность и была рада без памяти, когда это все же случилось.

По дороге, в Зирабулаке, Гоша купил приемник «Riga-6», потому они и приехали совсем без денег. Она вычистила и выгладила его парадный костюм (впрочем, и единственный — университетский, геологический), особенно усердствуя над темно-синим кителем с серебряными молоточками в петлицах. Но все же уговорила мужа не идти за авансом сразу. На ее взгляд, это было бы несолидно — пусть молодому, но все же специалисту, инженеру — тотчас по приезде тащиться к начальнику геологической партии, потом в бухгалтерию, в кассу — короче говоря, по всем ступенькам. Здравсте, мол, я ваша тетя... Ну и скажут: ишь какой у нас специалист-то бесштаный появился — не успел приехать, а уже за авансом погнался. И какая жена у такого может быть? Такая же бесштанная?.. А если Гоша по приезде чин чинарем выйдет на работу, то уже через три дня все привыкнут — ну да, работает у нас такой геолог, солидный мужчина с университетским образованием, — и всем будет понятно его законное право заглянуть на второй этаж конторы: ведь время прошло.

В общем, для начала они пошли в магазин и купили большую буханку ноздреватого кукурузного хлеба и пачку ташкентской «Примы» — ни на что больше денег не хватило. А в магазине-то, собственно говоря, больше ничего и не было. Сигареты Гоша для экономии порезал пополам — вместе с пачкой, не вытрясая, — и зря, потому что некоторые поломались. Хлеб в полотенце дня три был почти как свежий. Утром она солила два толстых ломтя и заворачивала в тряпицу, чтобы положить в полевую сумку. Соль дала Рая, соседка. Поначалу Вера думала, что они обычные узбеки, — кто их там разберет.

Через три дня Гоша получил аванс, и жизнь потекла обычным порядком — ни шатко ни валко, да только товару в магазине не прибавилось, и приходилось лезть из кожи вон, чтобы прокормить мужа.

Правда, ей было не привыкать лезть из кожи: мать с отцом всегда работали с утра до поздней ночи, и лет с одиннадцати у Веры на руках, как ни крути, были младшие брат и сестра.

4

Помахивая авоськой с пустой кастрюлей, она прошла куцей улочкой между белеными домами и свернула направо.

Был тот час утра, когда еще живет надежда, что сегодня будет не так жарко, как вчера, — вершины гор подернуты свежей голубизной, легкий ветер несет с желтого склона сухие ароматы разнотравья, акация шелестит мелкими листьями, в палисаднике перед поликлиникой, густо жужжа, золоченые цыцыги степенно перелетают с цветка на цветок, и цикады только начинают позванивать — как будто робея поначалу набрать свой полный, одуряюще звонкий голос.

Справа стоял клуб, слева — камералка. Когда Гоша оставался в поселке, он работал именно здесь. Сегодня они с Лобачевым ни свет ни заря уехали в Зирабулак — пришел вагон с оборудованием, и нужно было организовывать разгрузку.

Она замедлила шаг, проходя мимо деревянного прилавка в центре пыльной пустой площади. Весной сюда приезжала машина из каракулеводческого совхоза. Abortные ягнята были очень противны на вид. Еще бы: вырвали у овцы из живота раньше времени, пока курчавая шерстка не расправилась, шкурку содрали, а самих на мясо — с чего им красавцами быть? Вера поначалу брезговала, не покупала... Но Рая научила ее — и оказалось, что если пожарить с луком на бараньем сале, то по вкусу они ничуть не хуже обычных, рожденных нормально.

Сейчас только три узбека торговали катыком да один — луком. Старый Саидшо когда еще обещал доставить пару десятков яиц, а самого и сегодня нет. Он и кур иногда привозил. Саидшоховы куры кусались — Вера

только раз покупала пеструшку, да и то закрыв глаза: иначе страшно было отдавать за нее такие деньги.

— Саидшо когда приедет? — спросила она у торговца луком.

— Э, апа! — укоризненно отозвался он. — Какой Саидшо? Зачем Саидшо? Лук бери! Золотой лук!

Лук и впрямь был золотой.

— Да есть у меня лук, — со вздохом сказала Вера. — Лучше бы картошку сажали...

Она свернула к магазину. Дверь была нараспашку. В тенечке у крыльца оживленно беседовали женщины.

— Здравствуйте, Надежда Васильевна, — сказала Вера, подходя. — Вы за помидорами?

Надежда Васильевна улыбнулась и кивнула.

Разумеется, Надежда Васильевна тоже была вовлечена в бесконечный круг обыденных забот, в то беспрестанное тягловое усилие, направленное на избавление от мелких проблем и неприятностей, что по преимуществу и составляет человеческую жизнь. Она так же должна была заботиться о чистоте и пище, о дровах и угле, об одежде и лекарствах, о необходимости достать наконец в Зирабулаке лоскут бязи на простыню, а в Самарканде — отрез фланели на юбку, равно как и о том, чтобы швейная машинка исправно работала, нитки не кончались, был в доме сахар и дуст, зеленка и бритвенные лезвия. И тем не менее Вера искренне поражалась, что Надежде Васильевне приходится всем этим заниматься — настолько не вязались с ее обликом мелочи хозяйственной жизни. Брат Надежды Васильевны, начальник рудника ленинградец Крупеннов, был, по слухам, репрессирован перед войной, жил в Угаме на поселении, клал кирпич и месил раствор. Потом его голова понадобилась для добычи шеелита, и он сделал новую карьеру. Сестра приехала к нему во время эвакуации, еще до блокады, почему и смогла вывезти и книги, — теперь ее ленинградская библиотека считалась рудничной, а Надежда Васильевна ею исправно заведовала. Вера часто забегала к ней — когда книжку новую взять, когда просто так: ей ужасно нравилось слушать, как Надежда Васильевна, легко и ласково улыбаясь, рассказывает что-нибудь о своей прежней, далекой и странной, жизни.

— Не кончились? — спросила Вера. — А то я пока туда, пока сюда...

— За мной будешь, — ответила Нина Самоходова.

— Полбочки еще, — сообщила татарка Флюра из «инженерного». — На всех хватит.

— Ага, хватит, — как всегда, громко возразила Клавка Кормилици-на. — Да как же. Тут не зевай. А то что ж? Набегут да расхватают.

Вера кивнула и поставила авоську с кастрюлей на крыльцо.

— Тебе-то надо. — Флюра с прищуром взглянула на Верин живот и констатировала: — Еще не видно.

— А кому не надо? — перебила Клавка. — Мой-то мне всю плешь проел — дай соленого, да хоть ты что делай. Потееет он в штольне, будь она неладна. Селедки дай да огурца дай! Рожу я ему этот огурец?

— Да уж, — кивнула Нина. — Мужикам-то надо.

— Ой, девки, — сказала Клавка, всплеснув руками. — Я-то, когда со вторым, уж мне через месяц, да белье с чердака несла. Ногой-то вслепую да по лестнице тыр-тыр, тыр-тыр — с третьей ступеньки как шандарах-нись! Ну, думаю, допрыгалась! А животом-то да прямо на белье! Кипа большая — мягко!

Она захохотала, отмахиваясь.

— Ужас какой, — сказала Вера. — А у тебя мальчик был?

— А кто ж еще? Да живот-то какой рос — прямо торчком. Тут не ошибешься. Когда девка — широкий да к бокам.

— У нас говорят, если соль снится, тогда мальчик, — сказала Флюра. — А если вода — тогда девочка. А живот разный может быть.

Вера нахмурилась, припоминая.

— Кто его знает, — сказала она неуверенно и посмотрела на Надежду Васильевну, словно ища поддержки. Надежда Васильевна не прислушивалась к разговору. Седина гладко зачесанных и схваченных на затылке волос блестела на солнце. — Соль? Кто ее знает... вроде снится какая-то соль...

— Мне снилась, точно, — настаивала Флюра. — Мы на Балхаше жили, там этой соли кругом... Большими такими кусками снилась. И верно — мальчик. У нас правильно говорят.

Клавка фыркнула:

— Еще чего! Соль какая-то... Придумают же — соль! Вечно у вас да все не по-человечески.

Флюра повернулась к ней подбочась и спросила, оглядев Клавку с головы до ног:

— Что не по-человечески?

— Да какая соль? — выпалила Клавка, тоже упирая руки в боки. — Конику едите, да вот вам и мерещится! Еще да соль какая-то!..

— Уж мы-то свинью, как ты, есть не будем, — согласилась Флюра неожиданно ласково и пояснила: — Чушку-то.

— Чушку? — переспросила Клавка, а потом широко улыбнулась, радушно всех оглядев, и сказала, приглашая к смеху как к накрытому столу: — Вот тебе и чушку. Сами вы чушки! Вот и правильно говорят, что не русские.

— Да ладно вам, — примирительно сказала Вера. — Вы чего? Все хороши.

Надежда Васильевна сдержанно улыбнулась и отошла подальше.

— Кто как живет, так то и ест, — вздохнула Флюра. И добавила с усмешкой: — Курица ты нетоптаная!..

5

Вера быстро ополоснула руки, включила радиоприемник, переложила помидоры в горшок, в кастрюлю налила воды и поставила на плитку.

Картошка хранилась в мятом крафт-мешке, который выглядел пустым. Однако Вера точно знала, что в нем лежат четыре картофелины. Три средних, а одна большая, хорошая, — только бок был срезан лопатой, а от этого весь клубень внутри мог почернеть и испортиться.

Она выложила их на газету, а мешок сложила вчетверо и бросила к порогу.

Ей было обидно, что Клавка в итоге почему-то накинулась именно на нее, на Веру. А что она плохого сделала? Ну прыснула, когда Клавка стала пыхтеть. В самом же деле смешно... взрослая тетка, трое детей у нее... один вон в армии уже... а ведет себя так. Просто чуть от злости не лопнула — глаза вытаращила, озирается, как будто ищет кого-то, и все одно и то же: «Ах ты!..» да «Ах ты!..», а что «ах ты» — не говорит. Вот Вера и рассмеялась. А Клавка тут и полыхни — ты что, говорит, подхихикиваешь! Ты, говорит, стой себе. Молчи, говорит, да сопли, говорит, на кулак мотай, мокрошелка! Да на себя, говорит, оборотись!..

Большая картофелина оказалась, слава богу, просто заглядение, лопата ей не повредила, зато другая подвела — Вера не замечала, а у нее, оказывается, весь бок прогнил.

Нарезав картошку мелкими кубиками, она достала из коробки несколько луковиц и стала быстро чистить, в сердцах соря шелухой.

На себя оборотись... сама оборотись! Чего Вере-то на себя оборачиваться? Она ни с кем не бранится... не обзывается... Нет, ну правда же! Бессовестная она, Клавка Кормилицина! Вера так и хотела ей ответить — мол, бессовестная ты, Клавка!.. чем орать, лучше бы повежливее разговаривала. Между прочим, у Веры муж специалист, а не монтер какой-нибудь

там с тремя классами... Да разве ее перекричишь? — как понесла, как понесла! А Вера, конечно, растерялась... не ответила. Да и чем такой нахалке ответишь? Хорошо еще, кто-то из магазина Клавку позвал. Эй, Кормилицина, мол. Мол, уснула, что ли? — очередь пропустишь!..

Последовавшие за лекцией о международном положении новости тоже кончились. Прозвучали позывные. Потом что-то хрустнуло, и голос дикторши сообщил, что начинается концерт по заявкам целинников.

«Далеко от села Капустина Рязанской области живут теперь муж и жена Чекменевы, — сказала дикторша улыбающимся голосом. — Второй год они осваивают павлодарские земли. Семен водит по целинным полям своего стального коня, а Екатерина трудится медсестрой в районной больнице. Выполняем вашу заявку, дорогие товарищи!..»

Грянула музыка, и послышался мужской голос. Он лился так звонко, так легко, так естественно и свободно, что невозможно было представить, будто его обладатель когда-нибудь говорит просто, без протяженностей, коротко, как все: «две буханки черного». Или, допустим, «кто последний, я за вами!».

*Ро-о-одины просторы, го-о-оры и долины,
В серебро одетый зимний лес грусти-и-ит.
Е-е-едут новоселы по земле целинной,
Песня молодая далеко лети-и-ит.*

Вера резала лук, глаза щипало. Она часто моргала, щурилась и шмыгала носом, но песня была такой задорной, что просто невозможно было ей не подпевать, и Вера весело подпевала: «Ой ты, зима морозная!.. ноченька ясномозвездная!..»

*Скоро ли я уви-и-ижу
Мою любимую в степном краю?..*

Белый говяжий жир был похож на парафин. «Вьется дорога длинная... — бормотала она знакомые слова, скребя стальной ложкой в поллитровой банке. — Здравствуй, земля целинная...»

*Здравствуй, простор широкий, — летел голос из радио. —
Весну и молодость встречай свою!..*

Наковыряв ложки полторы, Вера заглянула в банку. Жиры оставалось совсем немного — на пару раз. А потом?.. А потом завезут. Должны завезти. А если не завезут — тогда опять придется в Зирабулак за бараньим салом... Беда. На бараньем сале готовить — все равно что на стеарине. Во рту стынет... бр-р-р! Гоша говорит, что у него от бараньего сала на желудке тяжело... попробуй потаскайся по саям да по штольням, когда в животе что-то не так... Другое дело — курдюк, вздохнула она, глядя, как вода в кастрюле белеет, закипая. Но курдюка и в Зирабулаке не найти... а найдешь — так небось не подступишься... но если надо, так что ж — не дороже денег, как отец говорил.

*Ты ко мне приедешь раннею весной
Молодой хозяйкой прямо в новый дом.
С голубым рассветом тучной целиною
Трактора мы вместе рядом поведем.
Ой ты, зима морозная!..*

«Ноченька ясномозвездная... — вторила Вера чудесному звонкому голосу, сыпая нарезанную картошку в кастрюлю. — Скоро ли я уви... ой, гад!..» Потерла ладонь, куда попали брызги кипятка, бросила жир на холодную сковороду, туда же сыпала лук, а сама принялась за помидоры.

«Почти год назад Семья Кондратьевых из станицы Черкесской Краснодарского края по комсомольской путевке приехала в поселок Кудыч На-

римановского района, — сообщила дикторша. — Александр работает в мехколонне, Екатерина трудится поваром в совхозной столовой. Подрастают дети — Павлик и Наташа. По заявке дружной семьи Кондратьевых прозвучит песня Мурадели на стихи Иодковского „Едем мы, друзья!“. Новых вам трудовых успехов, товарищи!..»

Помидоры почему-то назывались «бурые». В действительности цветом они более всего напоминали чагатайский нефрит. Но на ощупь ничего каменного в них не было: как мокрые тряпки, только скользкие. Морщась, Вера стригла их восьмушками, вырезая, где попадались, черные пятна.

*Едем мы, друзья,
В дальние края!
Станем новоселами
И ты, и я! — гремел хор припев.*

Она выловила картофелинку. Если положить кислое, не разварится. Впрочем, картошка была почти готова. «Встретят нас ветра, стужа и жара...» — подпевала Вера, постукивая ложкой по краю кастрюли. Вода сильно бурлила. Она все мечтала раздобыть где-нибудь подходящий кусок жести, небольшой такой, квадратненький, — класть на плитку, когда не нужно сильного жара... а на него кастрюлю... все не находилась такой. Даже Гошу просила.

*Пусть несетя весть —
Будут степи цвель!..*

Эти полкуплета она поддержала только невнятным мычанием, потому что как раз взялась осторожно сливать с доски в кастрюлю лужицу помидорного сока и в силу тонкости процесса была вынуждена, сама того не замечая, помогать себе языком: упершись в нижнюю губу, его кончик повторял все движения рук. Но вот Вера смахнула в кастрюлю сами помидоры и подхватила напоследок: «Партия велела — комсомол ответил: есть!..»

Скоро варево снова закипело, и поджаренный лук (а еще тонкая соломка последней морковочки) клокотали напоследок вместе с картошкой и помидорами. Под самый конец Вера бросила три лавровых листка, щепотку красного перца, досолила, с удовольствием потянула носом, выдержала шнур из розетки и накрыла кастрюлю крышкой.

6

Она стояла у окна, опершись локтями о подоконник, смотрела на улицу и размышляла насчет приправы.

Гоша любил посыпать суп мелко нарезанной зеленью — лучше, конечно, укропом.

В Ингичках-то Вера, как приехали, нашла лоскут подходящей земли невдалеке от дома, вскопала, посеяла кое-какую мелочишку. Неказистое, да свое, только поливать не ленись. Потом и редиска пошла. А тыква только цвести надумала, и пришлось все бросить — сюда двинулись, на рудник. Рассчитывала и здесь земледельничать. Не тут-то было: камни да дресва. Карагачи кое-как держатся, но глядят невесело — им тоже без воды грустно. А то еще ветер налетит из степи — будто горячую духовку открыли. Да еще с песком. Какой уж там укроп, когда даже у акации листочки сворачиваются...

Поразмышляв подобным образом, Вера заключила, что нужно наведасться к Нине Самоходовой, хозяйственной и самостоятельной женщине. Конечно, Нине тоже негде было разжитьсь зеленью, и рассчитывать на это не стоило. Однако зимой Вера привезла из Хуррамабада большой кулек сушеного укропа. И Нине не пожалела, отсыпала несколько стаканов — в

качестве подарка. Свой-то они давно съели, а у Самоходовых, может быть, остался... хотя бы щепотка-другая.

Вздыхнув, она уже хотела было набросить платье, чтобы сбегать на другой конец поселка к Нине, — когда заметила грузовик, выруливший из-за дальних кибиток и вперевалку пробирающийся теперь по неровной дороге вдоль обрыва.

Машина была похожа на Гошину — на ту то есть, что в геологической партии: такой же кургузый «ГАЗ-63» с брезентовым верхом.

Возможно, это была машина Рудоуправления, просто Вера не примечала ее прежде — все другие машины Рудоуправления были «будками» с железными верхами кузовов.

Между тем грузовик миновал «инженерный» и ненадолго скрылся за соседними домами. Дорога там расходилась на две. Левая вела вниз, к руднику и фабрике. Грузовик показался на правой — значит, ехал сюда, к Рудоуправлению и восточной части поселка.

Он был уже совсем близко, но лобовое стекло блестело на солнце, и толком разглядеть ничего не удавалось. Тем не менее Вере почудилось, что она узнала лысую голову Петровича. Но откуда было взяться Петровичу в этой машине? Петрович с Гошей в Зирабулаке... и приедут они поздним вечером, а сейчас только третий час.

Грузовик свернул, и стекло перестало блестеть.

Точно, Петрович за рулем! А рядом Гоша... или не Гоша?.. Человек был похож на Гошу... но почему-то сидел свесив голову и студенисто мотался вправо-влево всем телом, когда грузовик переваливал ухабы.

Ойкнув, Вера стряхнула оторопь, изо всей силы хлопнула по локтю ладонью — хлоп, гад такой, уже успел выбраться из щели подоконника! — стерла кровь и застучала по лестнице, на бегу оправляя подол.

— Ну, Веруся, ёшкин кот, — сказал Петрович. — Принимай.

Он уже стоял у правой дверцы, помогая Гоше выбраться из машины.

— Господи! — шепотом сказала Вера и прижала кулак ко рту. — Что с ним?!

— Ну, тихо, тихо, — сказал Петрович, ставя Гошу на ноги. — Торопиться нету...

Гоша попытался схватиться за кронштейн зеркала, но промахнулся. Едва не повалившись, он все же кое-как выправился и теперь виртуозно стоял, чуть только покачиваясь и переступая.

— Фр-р-р-р... вый да куку... ум...

Молвив это, Гоша оставил застенчивые попытки свести на лице жены косые, как у эпилептика, глаза, наотмашь поймал-таки ускользящий кронштейн, обвис на нем и пригорюнился.

— Что? — ошеломленно переспросила Вера. Она шагнула, схватила его за рубашку и стала трясти: — Ты что? Ты что?!

Гоша облизывался и моргал.

— Вагон-то с сортировки не подали, ёшкин кот, — вступился Петрович с таким выражением, будто это именно он был виноват, что не подали с сортировки вагон. — А как раз Кудряшов и заедь... Ему-то как слону дробина, а этих маленько того... — Он развел руками и добавил урезонивающе: — Ну жара же!..

— А Лобачев? — взвизгнула Вера.

— Лобачева я Таньке евонной сдал...

Петрович крикнул, подтянул штаны под пузо, волосатым арбузом прущее из расстегнутой рубахи, и полез поскорей от греха подальше в кабину.

— Ты ему потом кисленького чего, — сочувственно сказал он, когда Вера отцепила Гошу от кронштейна. — Айранчику, бывает, хорошо...

— Айра-а-анчику! — кричала Вера вслед, мелкими тумачами поддерживая мужа в вертикальном положении. — Дрына вам всем двухметрового! Айранчику! Да стой же ты, калоша!..

Плакать? — ну никак, ну просто никак нельзя было плакать!

Она быстро шагала, не разбирая дороги, не замечая, что подол платья весело закидывается, косточки на сжатых кулаках побелели, а закушенная губа готова объявить любому встречному о Вериных горестях точно так же, как и тщетно сдерживаемые слезы.

Солнце давно перевалило зенит, жгло землю и плавало воздух, и куда ни взгляни все слоилось и текло в зыбком мареве: горячие камни, убитая зноем трава, ветви карагачей и акаций; эти, казалось, поджимали листву, как поджимает пальцы и отдергивает руку человек, тронувший пламя. Горло першило от зноя, и заунывное, с плавным переливом дребезжание цикад было тусклым, угнетающим фоном, на котором погромохивание и скрежет хозяйственной жизни, доносившийся от рудника, казался механическим отражением бесполезных человеческих усилий.

Вера дернула дверь и, сбросив на крыльце шлепанцы, вбежала в библиотеку.

Должно быть, Надежда Васильевна только что протерла полы — доски кое-где темнели влагой, и мокрая тряпка лежала у порога. Окно было занавешено большим лоскутом хлопкового равендука. Сумрак библиотечной комнаты казался довольно прохладным.

— Надежда Васильевна! — звенящим голосом сказала Вера.

Надежда Васильевна подняла голову от толстой тетради, в которой что-то писала, и посмотрела на нее поверх очков.

— Пусть Крупеннов меня в Зирабулак отправит! — выпалила Вера и хлопнула о стол прочитанной книгой — это был второй том «Войны и мира».

— Господи! — сказала Надежда Васильевна. — Что случилось?

— Мне в Зирабулак! — снова пальнула Вера. — В райком комсомола! Путевку на целину! Я на целину уезжаю! Попросите Крупеннова... то есть Петра Васильича... пускай, как машина пойдет, меня захватят!

— А с Гошей-то почему ты не поедешь? — недоуменно спросила Надежда Васильевна. — Он же часто в Зирабулаке бывает.

С Гошей!

Вера уже раскрыла рот, чтобы растолковать Надежде Васильевне, что с Гошей у нее теперь ничего общего нет и не будет и что именно поэтому она хочет получить комсомольскую путевку на целину — чтобы уехать навсегда и никогда с ним не видеться. Она хотела сказать все, как было: что Гоша напился пьяным, что она еле втащила его в комнату, что он два раза падал на лестнице, а потом наискось рухнул на раскладушку, отчего та завывала всеми пружинами, и захрапел, свесив голову, как дохлая курица. Хотела добавить, что они с Лобачевым бросили работу и приехали с полдня домой — потому, видите ли, что с какой-то там сортировки не подали какой-то там несчастный вагон! Вот такие они баре — подать им надо! а не подали, так они фырк — и уехали! А между прочим, очень может быть, что его подали позже — и что толку? Это как же получается? — хотела сказать она. Кто-то тратит рабочее время, подает им вагоны, а они уже пьяные укатили на рудник! А между тем люди в шахтах, в забоях, в марте-нах, на льдинах... у нее просто дух захватывало, как хотелось все это сказать!.. да, на льдинах!.. и на той же целине, куда она скоро уедет!.. под палящим солнцем водят стальных коней! И никто, между прочим, не бросает работы, чтобы нажраться как свинья и валяться куском говядины на раскладушке! И еще она хотела сказать, что на советского человека какие только испытания ни обрушивались — и все равно он шел до победы, трудился до конца; а если он может из-за какого-то несчастного вагона на этой жалкой станции Зирабулак — кто ее вообще знает, эту станцию?! вот целину все знают, а Зирабулак кто?! — если он может напиться на неведомой этой станции и пьянее грязи приехать к беременной жене, то какой

же он после этого советский человек?! Он не советский человек, нет! А если он не советский человек — то она с ним рядом и минуты не проведет: на целину! да, на целину — водить стальных коней! и пусть дадут немедленно путевку!..

Но сказать все это было совершенно невозможно.

Во-первых, сама Вера оказывалась в очень и очень невыгодном положении: выходило, что, вместо того чтобы вовремя раскусить ухажера и догадаться, какая в Гоше гнилая пережиточная сердцевина, она, комсомолка, зачем-то вышла за него замуж, а теперь еще и забеременела. Во-вторых, она сейчас уедет на целину — это уже железно, решено и подписано, и никаких отступлений быть не может, — а Гоша-то останется.. И если через Надежду Васильевну дойдет до Крупеннова (а как не дойти? конечно, дойдет! Надежда Васильевна так и должна ему сказать, и скажет, и будет права — смотри, мол, до чего бедную Веру этот гадкий Гошка Ивачев довел: дообижал, доиздевался над ней, беременной, несчастной молодой женщиной, — аж на целину от него уехала! каково?), то Крупеннов непременно обмолвится об этом начальнику геологической партии Тальянцу. И уж тогда Гоше ой как не поздоровится! От Тальянца вообще добра не жди, он никого не боится, он недавно в ответ на гневный запрос Управления о выполнении квартального плана без колебаний отбил телеграмму: «Какой музык, такой танц. Начальник партии Тальянец». А уж с Гошей и вовсе церемониться не станет: где, спросит, Верочка, твоя несчастная жена? ах, на целине Верочка? ах, стальных коней поехала водить?! вот я тебе покажу коней! И уволит по статье, и все... а куда Гоше, если по статье?.. побираться идти?.. кочегаром в котельную?..

И поэтому она секунду стояла с открытым ртом и смотрела на Надежду Васильевну почерневшими глазами, а потом бросила лицо в ладони и разрыдалась.

8

Ближе к вечеру солнце пряталось за высокие вершины. Сумерки наступали рано, но зато и тянулись долго — выцветшее дневное небо становилось розовым, вечерним, и его красивый и грустный свет до поздней ночи лился на степь и склоны предгорий.

Вера шагала к дому и думала, что как ни крути, а Надежда Васильевна почти во всем права.

Во-первых, действительно с маленьким на целине делать нечего. Какие там условия? Степь — она и есть степь. Летом — еще куда ни шло. А зимой?..

Во-вторых, Гоша и впрямь почти не виноват. Куда ему было деваться? — заехал к ним этот чертов Кудряшов, кусок пьяницы (а хоть и кусок пьяницы, да все же главный инженер), ну и понятно: слово за слово... Эти два глупеньких небось: конечно! конечно!.. Вот вам и «конечно!» — назюзились, как поленья, и все «конечно». А если правда, не дай бог, до Тальянца дойдет? Премии не видать — раз. В старшие геологи не переведет еще полгода — два. Вот и радуйся. Дурачок, одно слово. Нет, ну правда — как маленький.

Но в одном они разошлись просто категорически. Вера с жаром утверждала, что Наташа ни в коем случае не должна была поддаваться на уговоры этого пустого и ничтожного человека — Толика, как Вера его презрительно называла. Надежда Васильевна в свою очередь проводила мысль о том, что любовь — субстанция сложная. «В Наташином возрасте, когда все человеческое существо настроено на то, чтобы любить и быть любимым, — говорила она, — очень трудно удержаться от такого рода соблазнов. Андрей уехал, и Наташа невольно, сама того не осознавая, стала тянуться к другим. Помнишь, как у Александра Сергеевича? — „Пора при-

шла — она влюбилась». От этого не отмахнешься. И потом, Верочка, ну подумай сама, как же ей, юной и неопытной девушке, можно было разобрататься в ухищрениях и уловках такого прожженного, опытного и, главное, бессовестного хлыща, каким являлся Анатолий Курагин, или, говоря твоими словами, Толик?» — «Что же теперь, — горячилась Вера, проливая чай на блюдце. — Если неопытная и молодая — так прямо всем и верить? Только пальцем поманили — и пошла? А как же верность? Мы с Гошей тоже два года не виделись. Так что же, если ко мне приставал Шурка Знобков — тоже, между прочим, тот еще хмырь! — я должна была про все забыть и на шею ему броситься? Так, что ли? Дудки!»

У крыльца стояла Рая и другая соседка — Зина с первого этажа, — и Вера, подходя, с беспокойством подумала, что хорошо бы проскользнуть мимо них так, чтобы не вызвать, не дай бог, какого разговора. Потому что Рая хоть и добрая женщина, а любит поболтать, хлебом не корми. И непременно сунет нос: «Верка, а где это твой сегодня так нализался?» И Вере придется резко и невежливо ответить — не твое, мол, дело. Потому что это и впрямь не ее дело. У нее свой муж есть — вот пусть за ним и следит. А Зоя, конечно, еще что-нибудь добавит. Мол, свинья грязь найдет. И заулыбается так противно... И что торчат весь вечер у дверей? Одна шелуха от них и никакого толку.

Но когда Вера подошла, Рая только спросила:

— Взяла помидоров-то?

— Взяла, — с облегчением ответила Вера, умеряя шаг. — Ага.

— Завтра Кураш говяжий жир обещал завезти, — сказала Зоя, сплевывая шелуху в ладонь.

— Да ну? — обрадовалась Вера. — А у меня как раз кончается. Побегу, а то Гошу надо кормить!

И с легким сердцем взбежала на второй этаж.

— Я вот тут сижу, сижу, — прогудел Гоша, когда она шагнула за порог. — Один сижу и сижу... а тебя все нету и нету.

Действительно, он сидел за столом повесив нос и выглядел очень печальным.

— Вот и поделом. Вот и будешь знать в следующий раз, — озабоченно и наставительно сказала Вера. — Сейчас, подожди. — Она взяла ковшник, чтобы черпнуть воды, и растерянно протянула: — Ой, я же полное принесила...

— Это я выпил, — грустно отозвался Гоша.

— Полведра? — ужаснулась Вера. — Да ты что! Ой, ну сейчас, сейчас... На вот, полей мне.

Она ополоснула руки и нарезала хлеб.

Через десять минут Гоша, мыча и хлюпая, с наслаждением хлебал горячее варево. После каждой ложки он мотал головой и закатывал глаза.

— Ладно тебе придуриваться, — с нарочитым недовольством сказала Вера. Она сидела рядом, подперев голову. — Ничего особенного... только лук нужно хорошенько поджарить. А вот скажи, Гоша...

— Что?

— Вот скажи... вот, например, я куда-нибудь уеду, да?

— Куда это?

Ложка замерла, не достигнув рта.

— А укроп-то, укроп! — всполошилась Вера. — На-ка вот посыпь, я у Нины взяла. Куда, куда... Не важно куда. Куда-нибудь. На целину, например. Ты будешь меня ждать? Или как Наташа Ростова — сразу...

— На какую еще целину, Верусик? Что тебе там делать? — удивился он и снова стал хлебать суп.

— Что делать! Там полно дел. Вон по радио, слышишь? — покоряют люди, работают. Трактора, стальные кони. Солнце палящее. Дела там на всех хватит. Так вот если я уеду, ты...

— А тут что, не палящее? Никуда ты не уедешь.

— Почему это? — рассердилась Вера.

— Потому что тебя здесь любят, — ответил он, добирая остатки.

— Кто это меня здесь любит?

— Я тебя люблю... Это во-первых. Во-вторых — потому что у тебя скоро будет ребенок.

— У нас, — внимательно поправила Вера.

— У нас, — согласился он.

— Да ну тебя, — вздохнула Вера. — Ладно, доедай да пойдем в степь гулять. Уже прохладно. Ой, а сегодня Клавка-то Кормилицина, представляешь... — Она запнулась и спросила: — Еще хочешь?

— Угу, — смущенно кивнул Гоша, облизывая ложку.

И пока Вера наливала добавку, смеялась и рассказывала про Клавку Кормилицину, он преданно смотрел, кивал и вообще всячески старался показать, что ничего более вкусного никогда в жизни не ел.

Может быть, так оно и было.



СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ



КОРОБОЧКИ С ПЕПЛОМ

* *
*

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

Paul Celan.

О всесожженье в Освенциме
Фильм-обвиненье
 прерывается врезкой рекламной
О новейшей косметике
 из коллекции дамы экранной
В зону смерти
 вторгается светская блажь

Что же в коллекции?
 Одеколоны для шеи
Хна для волос Лорелеи,
 пудра для щек Маргариты
И флакончики с лаком,
 и коробочки с пеплом посмертным
Пеплом костей Суламифи

* *
*

Бомбой разборчивой
Убивающей всех чернозадых, а с белыми
Обходящейся ласково:
 их невредимыми, целыми
Жить оставляя
 вместе с имуществом их
Всем потрафляя:
 и живущим в коттеджах зашторенных
И бездомным в ночлежках
 где койко-места чернозадых
Сразу станут свободными...

Детская война

На детскую войну окончился призыв
 Ушли родители поплавав и забыв
 Ложимся спать отбой
 А завтра в пять утра
 Подъем — и на войну
 В далекую страну
 в детей других стрелять

Что делать? Взрослые устали воевать

* *
 *

Вот аттракцион «Убей Дантеса»
 В многолюдном парке царскосельском
 И стреляют в обаятельного беса
 В манекен в мундире офицерском

Будет нам аттракцион «Убей чучмека»
 В день воскресный в парке самом лучшем
 Будем целиться в муляжного абрека
 И детей своих пулять научим

* *
 *

Пляж погибших внезапно
 когда океанский язык
 Все слизал в один миг:
 не осталось ни пестрых палаток
 Ни самих отдыхающих. Краток
 Был их отдых
 и смерть оказалась — врасплох

А на пляже соседнем
 отдых не так уж и плох
 Оказался. Его миновало несчастье
 Здесь дымят шашлыки
 и гитара звенит под луной
 Мы приехали в отпуск
 не лезьте с бедой и виной
 Жаркий кайф не студите

* *
 *

Коридор бесконечный
 в коммунальной квартире заоблачной
 Стены желтые горькие
 и голые лампочки робкие
 Освещая мертвяще,
 а из сотен открытых дверей
 Смотрят страшные люди

Концепт

Шар земной — в тару старую
 В упаковку непрочную
 в ветхий контейнер картонный
 В сверхкартину лубочную
 в рай намалеванный грубо
 Или в ад черноугольный
 упакует планету послушную
 Ушлых художников цех

Лес

1

Лес привокзальный затравленный
 примыкающий к Леноблхозу
 Лес захламленный шинами,
 ржавым железом, стеклом
 Но прикормленный солнцем
 он все-таки рай для обдолбанных
 Местных подростков,
 рай и для нас ненадолго

2

Лес пресмыкаясь к каким-то
 Корпусам отдаленным
 (должно быть объектам военным)
 Тишиной одаряет
 и воздух грибной охраняет
 И бруснику лелеет
 у высохших пней, у корней
 Держится он, не болеет,
 старый Горыныч униженный

* *

*

«Бог тебя не оставит в горе
 Он избавил тебя от кори
 Он следит как ты учишься в школе»
 Так внушает ребенку хор
 Воспитателей знающих...
 Но разве не Он, Бог Играющий,
 Изобрел эту корь?



О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

БОРИС ЕКИМОВ

*

ЧЕТВЕРТАЯ СИЛА

В ноябре 2002 года, как и положено (цыплят по осени считают), с трибун высоких, правительственных было немало сказано о том, что наконец-то преодолен кризис в сельском хозяйстве страны. Состоялось заседание правительства. Как сообщала газета «Сельская жизнь», более четырех часов обсуждались сельские дела.

«После заседания... премьер-министр Михаил Касьянов говорил о том, что фраза о черной дыре отечественного агрокомплекса может быть похоронена... За три последних года... удалось преодолеть кризис в этой сфере экономики».

Из доклада Министерства сельского хозяйства России: «С 1999 года сельское хозяйство вышло на положительную динамику роста валовой продукции... Начала укрепляться экономика сельскохозяйственных предприятий. Значительно сократилось число убыточных хозяйств...»

Г. Кулик, глава Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы: «Правительством сделано многое и обеспечен перелом ситуации в селе... перелом наступил... большее число хозяйств работает рентабельно».

А вот свидетельства иные:

«Наш трудовой коллектив обращается с просьбой разобраться... Заработная плата так и осталась невыплаченной... Люди добросовестно трудились, вырастили урожай, но убирать его нечем, нет ГСМ. Труд людей пропал даром. Приходится существовать на пенсии родителей и на доходы с личного подсобного хозяйства. Неужели не в вашей власти помочь нам?»

«...пишет вам письмо житель села Левчуковой, простой тракторист, проработавший на тракторе „МТЗ-80“ почти сорок лет в животноводстве, с пятнадцати лет на тракторах и впоследствии остался без работы и без трактора. Наше хозяйство — банкрот. Трактор забрали, а ты, говорят, ищи другую работу, а где ее искать, и вот моя семья осталась без зарплаты... как жить дальше и кормить семью, я ума не приложу... В 2002 году у меня хотели забрать трактор „МТЗ-80“, гос. номер 23-10, но я не отдал, с кулаками, но отстоял своего кормильца, думал, выкуплю его себе... Трактору моему шестнадцать лет, сколько труда, сколько запчастей я в него вложил за свои деньги и за магарыч. Но его так оценили дорого, что я не в состоянии его купить... Я не хочу воровать, я хочу добросовестно работать и кормить свою семью».

«Был когда-то совхоз, а потом исчез без звука, и остались мы ни с чем, муж в пятьдесят лет (из них 37 стажу тракторист), когда стали забирать трактор и комбайн, сошел с ума...»

Но... Как говорится, «письма пишут разные». Выводы руководителей страны о том, что кризис в сельском хозяйстве России остался позади, основан, конечно, не на письмах, а на конкретной экономике сегодняшнего дня деревни.

Волгоградская область — это Россия, область, которая нынче собрала 3 млн. тонн зерна, Калачевский район — далеко не последний. Давайте поглядим, какой тут перелом свершился, какое произошло преодоление кризиса.

Нынче конец октября. День ясный, солнечный. День похорон великого «Волго-Дона», лучшего совхоза СССР, а потом России. Об этом хозяйстве писал я не раз в «Новом мире» и в газете областной, где статья называлась прямолинейно: «Осторожнее, „Волго-Дон“». Еще десять лет назад это хозяйство имело 8 тысяч голов крупного рогатого скота, огромное молочное стадо со среднегодовым надоем 5000 литров, урожайность зерновых — 40 центнеров, овощей — 500 центнеров с гектара. Хозяйство производило каждый месяц 800 тонн молока, 100 тонн мяса. За год — 10 000 тонн томатов, 20 000 тонн капусты и прочее. Здесь были не «буренушки» и не «соха-матушка», а высокие технологии, с которыми уважительно знакомились зарубежные гости.

В 1993 году в очерке «Поживем — увидим» писал я: «По прикидкам, год 1993-й совхоз закончит с прибылью в три четверти миллиарда. Но эти деньги опять будут липовыми. А липовыми деньгами не выдашь зарплату, на них не купишь технику... Зарплату людям не платишь, а значит, сквозь пальцы смотри, как они растаскивают совхозные корма по своим подворьям. И если так дело пойдет, то уже через год-другой скотина хозяйская съест скотину совхозную. И совхоз рухнет».

В 1994 году в очерке «Последний рубеж» писал я: «...„Волго-Дон“ из своих доходов примерно треть тратит на социальные нужды... „Волго-Дон“ ежедневно поставяет продукцию, а значит, платит немалый НДС и налог на прибыль и отчисления в Пенсионный фонд... Ему должны 790 миллионов — покупатели, 550 миллионов — государство, 570 миллионов — переработчики... Как жить „Волго-Дону“, который уже в сентябре имел 2 или 3 миллиарда долгов? Хотя по бумажным расчетам он вроде бы процветает».

Тогда же писал я: «Большой рушится с большим грохотом».

И вот он рухнул. В нынешнем году «Волго-Дон» не получил никакого урожая овощей, хотя и сажал их. Не посеяли ни одного гектара озимых культур. Не вспахали ни одного гектара зяби. Последняя тысяча голов скота будет продана, уже объявлены торги. И слава богу, хоть от голода мучиться не будут.

Все. Конец. Сегодня, 30 октября, в «Волго-Дон» приедут начальники областные, районные, чтобы раздать землю успешливым фермерам, «инвесторам» ли, словом, тем, кто захочет. Но это будет горький дележ на пепелище. Собираться нужно было, чтобы думать и решать, хотя бы пять лет назад.

Но еще в прошлом да в позапрошлом году твердили и твердили областные власти:

Вице-губернатор области: «У нас есть специалисты высокого класса и большого опыта, такие, как Булюсин (руководитель „Волго-Дона“. — Б. Е.)».

Еще один вице-губернатор: «Надо опираться на Булюсина...»

Вот и «доопирались». Десять лет под носом у областных руководителей разваливался лучший совхоз страны. Кто виноват? Конечно же не областные руководители.

В том, что «Волго-Дон» десять лет разваливался, а теперь рухнул, объективных причин пруд пруди: новая экономика, политика правительства, импорт, господь бог с дождями и засухами — все порознь и вместе. Но скажите, почему в соседнем коллективном хозяйстве, отделенном от «Волго-Дона» лишь узкой полосой судоходного канала, — «Луч» Городищенского района, — почему там коровы дают столько же молока, сколько и десять лет назад, и пшеница там зреет, и лук с помидорами растут, и зарплату работники получают. Может быть, молятся больше?

Новый вице-губернатор П. П. Чумаков сказал нынешним летом, что 99 процентов вины за гибель «Волго-Дона» лежит на его руководителе А. И. Булюсине. Думаю, что на руководителях областных и районных вины столько же, если не больше.

Но что проку, если и найдем виноватых. «Волго-Дон» ведь не хутор Кумовка, не Ярки-Рубежные, где у каждого есть огороды, картофельники, а у всех вместе — выпасы для скота и какие-нибудь покосы. Тоже без колхозной работы несладко, но можно прожить. В поселках «Волго-Дона» — многоэтаж-

ные дома, балконы, квартирная плата выше городской. Более 2000 работников остались без дела: овощеводы, скотники, доярки, телятницы, механизаторы. И без зарплаты, даже той, которую выдавали капустой ли, луком, огурцами. Где другую работу найти? Вокруг — степь да степь на десятки верст. Это уже великая людская беда, которой никто не поможет.

Горькая череда разорений: коллективные хозяйства «Дон», «Калачевское» исчезли. Таких и названий уже нет. Теперь — «Волго-Дон», за ним — «Крепль»... Но люди-то остаются. Живые люди.

Статья в районной газете. Ее автор руководит ныне сельским хозяйством района. «В сельхозпредприятиях района создалось тревожное положение, — пишет он. — Нельзя допустить повторения судьбы „Волго-Дона“».

Какой же выход видит он из сложившегося положения, когда урожай неплохой, но цены на зерно низкие, а стоимость горючего и запасных частей растет.

Во-первых, «при сложившейся низкой цене реализации зерна у коллективных хозяйств есть реальная возможность увеличить ее, „пропустив“ зерно через производство молока и мяса».

Думаю, что этот «выход» придумал не районный руководитель. Такой же совет селянам еще летом, сразу после уборки урожая, давал губернатор области: «пропустим» фуражное зерно через коров и свиней, получим молоко и мясо.

И министр А. Гордеев такие же речи говорил.

Но вот где взять этих самых свиней, чтобы через них «пропускать», если их не осталось? Все поголовье нашей области — это практически единственный свинокомплекс «Краснодонский». Когда калачевские фермеры Колесниченко, Олейников, Кузьменко решили заняться свиноводством, то главная трудность была — купить поросят, свиноматок. Два года пришлось колесить по всему югу России. То же самое — с крупным рогатым скотом, с коровами. Через кого «пропускать», если только за этот год поголовье скота в колхозах уменьшилось на 18 процентов, а коров — на 24 процента. (На четверть — всего лишь за год!!) 68 тысяч голов осталось от 300 тысяч. Уничтожены молочно-товарные фермы, животноводческие комплексы, на восстановление которых потребуются десятки лет и десятки миллиардов рублей, которых неоткуда взять. Так что все эти рассуждения о том, чтобы излишки фуражного зерна «пропустить» и получить молоко и мясо, — пустые словеса. Тем более, что, если бы нашелся волшебник, превративший фураж в мясо и молоко, тут же — новая проблема: куда девать мясо и молоко? Уже сейчас наши мясокомбинаты (Калачевский, волгоградские) работают на импортном дешевом сырье. Мясо местных производителей в цене падает. По 22 рубля за 1 кг живого веса берут. С молоком та же беда. Молочные заводы принимают его по 3 — 4 рубля за литр при жирности 3,6 процента, продают от 10 до 20 рублей при жирности 2,5 процента. Потому и коров режут на мясо стадами. В Михайловский район, в «Рассвет», ездили уговаривать колхозников из областного центра: «Оставьте молочное стадо. Нельзя целую отрасль уничтожить». В Клетском районе, в «Пролеткультуре», та же песня: «Общее собрание постановило: „Оставить десяток-другой коров для внутривоспроизводственных нужд. Остальное стадо — под нож“». Замечу: самое крупное стадо в районе. А резон единственный: «Мы — в коровьем дерьме, а переработчики молока — в „мерседесах“. Не будем на них батрачить».

Одни не хотят «батрачить» и режут коров, другие не хотят сеять, потому что «зерно невыгодное». А куда деваться, чем жить?

Никто не знает, куда идти и что делать. Но если ты начальник — большой ли, малый, — обязан что-то говорить.

Цитата из районной газеты:

«Специалисты районного сельхозуправления для более эффективной организации производства в коллективных сельхозпредприятиях разработали ряд рекомендаций, которые были опубликованы в районной газете еще до начала уборочной страды. Одна из них, и, я считаю, важнейшая, — проводить общие собрания коллектива два раза в год: в марте и в августе. Что это даст? Ту са-

мую прозрачность в управлении коллективным хозяйством, которая по известным причинам не приветствуется большинством руководителей».

Об этом проекте спасения коллективных хозяйств автор его — новый районный руководитель, ведающий делами села, — рассказывал мне как о модели выживания.

Все просчитано: 200 работников, 5000 гектаров земли, 300 коров, 1700 гектаров пара, столько же — озимых культур, а еще: кукуруза, однолетние, многолетние травы. Урожайность, надои, расходы — все просчитано. Заработная плата: 1,7 млн. рублей на 200 человек, получается 710 рублей в месяц. Спрашиваю: «Как может прожить человек на 710 рублей в месяц, да еще с семьей?» — «Иначе не получается, — мне в ответ. — Электроэнергия, запчасти, горючее, налоги...» — «Даже при зарплате в 710 рублей — это модель умирания. Где средства на развитие, обновление техники?» — «Не до жиру...» — вздыхает автор проекта.

А еще в проекте: еженедельная отчетность руководителя по финансам, два собрания в год, «прозрачность» управления и прочая уже не экономика, а «философия»: чтобы «коллектив» контролировал, управлял.

На мой взгляд, хоть трижды в день проводи собрания, проку не будет. Колхоз, он и останется колхозом.

Красноречивый жизненный факт, которому мы все свидетели: в начале 90-х годов многие новоиспеченные фермеры начинали хозяйствовать не в одиночку, а на два-три хозяина, объединяясь по принципу родства ли, товарищества. Все эти «микрোকолхозы» развалились после первой же уборки урожая. Что-то не поделили, где-то не поладили. Так начинали Гришины, Парчак, Штепо — называю лишь самых известных, которые и поныне успешно хозяйствуют. Примеров много. Исключение сейчас на памяти лишь одно: Колесниченко — Олейников.

Меня уже в течение десяти лет время от времени упрекают в том, что я из тех, кто «разваливает колхозы». А по мнению главного редактора одного из солидных литературных журналов, я их даже «расстреливаю».

Это — великая неправда. Идея общего человеческого труда привлекает меня. Она мне дорога, может быть, более, чем любому радетелю колхозов. Толстовские коммун, израильские кибуцы — моя зависть и печаль. Да и только ли моя. Вся мудрость человечества повторяет за веком век слова о любви и братстве.

Но слаб человек... И потому наши колхозы, лишённые былой и мощной идеологической и экономической поддержки, обречены на умирание. Что и происходит.

Волгоградская область, Калачевский район. Одиннадцать коллективных хозяйств, за десять лет неоднократно «реформированных-перереформированных». «Волго-Дон» закончил свой путь. «Крепь» — банкрот, находится под внешним управлением. Говорят, что его забирает инвестор, связанный с нефтяным бизнесом. «Голубинское» дышит, но, как говорится, «через раз». При новом, молодом руководителе что-то сеют и пашут. Но вечно в долгах как в шелках. Осенью уже думали, что не вылезут. «Чего ждуть! — ругался районный начальник. — Завтра отключат электричество, и тогда — конец... Федеральные не отдаст, ему — в петлю... Продфонду должен...» Но понемногу выкрутились. Встретил я на днях голубинского руководителя, он говорит: «Вроде рассчитались. Но... — вздыхает тяжело, — сидим на нуле. Надо на коленки падать, просить. Иначе...»

А перед кем падать? На что надеяться?

«Нива» — в таком же положении. «Рассвет», бывший «Маяк», — та же песня. Про «Пятиизбянский», «Волжанин» говорить нечего. Там и земли с гулькин нос осталось, про остальное не говорю. «Варваровское» — у богатого дяди по имени «керамический завод». Будут дышать, пока у «керамистов» есть деньги.

«Мир» и «Тихий Дон» — два хозяйства, которые нынче считаются самыми крепкими. Они зяби вспахали больше, чем десять других хозяйств района. Но эта «крепость», конечно, мнимая. Те же беды, те же перспективы.

Вот в районной газете отчитывается и размышляет о будущем председатель правления СПК «Мир» В. И. Татарин: «...коллектив СПК „Мир“ потруился в этом году очень хорошо. Урожайность озимой пшеницы на наших полях была выше среднерайонной... средняя цена реализации была в этом году 1300 рублей. Нам удалось продать его по такой цене, потому что мы раньше других приступили к уборке. А те, кто затянул с уборкой, продали зерно уже по 850 рублей. Наши доярки надоили больше всех в районе — по 2681 килограмму на фуражную корову... Кормов мы в этом году заготовили достаточно: 1131 тонну сена, 900 тонн соломы... 450 тонн фуража».

Словом, все хорошо, как и положено, в «одном из лучших хозяйств района». Но «...удалось взять 700 тысяч рублей кредита в Сбербанке под 26 процентов годовых. Благодаря этому мы приобрели ГСМ и выплатили часть заработной платы... есть задумка... весной взять еще один, без него мы не обойдемся. ...За сентябрь задолжали зарплату и налогов 200 тысяч рублей. А тут еще энергетики за текущую задолженность всего в 15 тысяч рублей отключают электроэнергию... Развитие хозяйства, как известно, немыслимо без обновления техники, которая давно изнашивается и каждый день выходит из строя».

Вот тебе и лучшее хозяйство района. И это — осенью, после уборки урожая. Какой же выход? Решили учредить ООО (общество с ограниченной ответственностью). В числе учредителей три физических лица: председатель, главный бухгалтер, главный агроном — и одно юридическое — СПК «Мир». Объяснение руководителя: «Мы таким образом сохраняем коллективную форму собственности, выигрывая при этом в оперативности принятия решений». «Форму»-то сохраняем, а что под «формой»?

Вопросов много. Такой, например: в ООО «Мир», в отличие от СПК «Мир», по словам самого руководителя, чтобы «взять кредит или заключить договор на крупную сумму... потребуется согласие лишь четверых учредителей», то есть главбуха, главного агронома и председателя, который, видимо, будет выступать уже в двух лицах: учредитель и руководитель одного из учредителей. Проголосуют. Возьмут кредит. Но случись грех: нечем отдавать (а такие ситуации сейчас сплошь и рядом), отвечать придется, расплачиваться финансами, имуществом СПК «Мир», оцененным в 6 млн. рублей, тогда как финансовая ответственность председателя, главбуха и агронома всего лишь 10 тысяч рублей их взноса.

И еще: «...мы хотим выкупить у пайщиков их имущество...» «Мы объяснили нашим рабочим и пенсионерам... почему имущественные паи уменьшились...» К тому же выход из ООО будет гораздо труднее для рядового члена. Много, много вопросов. И столько вокруг горьких примеров. Но уверен я, на общем собрании, как и прежде, проголосуют «за», не столько поверив в необходимость новых преобразований, сколько оттого, что «угovorщики» — председатель, главбух, попробуй поспорь с ними, завтра соломы не допросишься.

О переходе в новую форму организации говорят и в «Тихом Дону», тоже одном из лучших хозяйств. Наверное, хотят как лучше? Для кого? Еще одна цитата: «Сегодня в каждом хозяйстве есть своя коммерческая тайна, все карты никто не раскрывает».

Руководитель района ратует за «прозрачность», а руководитель хозяйства — за «тайну».

Районные руководители, мне кажется, толком еще не поняли: хорошо все это или плохо. «Мы людям разъясняем... Мы пытаемся тормозить...» — говорит один. А другой жмет плечами: «Может, и хорошо: собственность будет в одних руках. Значит, скорее придет инвестор».

Вот и все коллективные хозяйства района, не самого худшего в области, как принято говорить, «средняка». На что-то надеяться в будущем им, конечно, нельзя. Но люди, по привычке и здравому смыслу дня сегодняшнего, держатся за колхоз, в котором любыми путями можно зерна добыть, соломы, сена, а значит, обеспечить свою скотину и живность кормами. А коли есть на

подворье скотина и птица, значит, проживем. Если рухнет колхоз, тогда пой матушку репку. Чем жить? Писать слезные письма?

«Представителю Президента в Южном Федеральном округе...»

«Губернатору Волгоградской области...»

«Уважаемый главный редактор...»

«В редакцию газеты...»

И целая сотня подписей. А положение и вправду бедственное: жили, работали, а теперь — разорение и банкротство, последние два трактора отбирают. Чем работать и как жить?

Лет десять назад, в одном из первых своих сельских очерков под названием «В дороге», писал я, сравнивая наше село с развороченным муравейником: «Не ведали и люди, земляки мои, что проводится реорганизация сельскохозяйственного производства да и жизни прежней. Им казалось — света конец. И слепо пытались куда-то брести, тащить, спасаясь и спасая...»

1992... 1993... И вот уже 2002 год. Заявляет глава нашего правительства, что сельское хозяйство России наконец-то вышло из десятилетнего кризиса. Вторит ему и министр сельского хозяйства: мол, все в порядке, зерна собрали столько, что девать некуда: 80 ли, 90 млн. тонн.

«Страшно далеки они от народа», — не про них ли сказано? А от простой арифметики тоже далеки?

Сто раз подсчитано и подтверждено экономистами всех направлений и мастей: для нормального прожитья страна должна производить 1000 кг зерна на душу населения. На худой конец, 900 кг или 800 — не меньше! Это — закон. Значит, нам нужно около 150 млн. тонн (перепись точную цифру покажет). Никакого «перепроизводства» у нас и в помине нет. А вот очень низкий покупательный спрос, который порожден бедностью, даже нищетой населения, — налицо. Зайдите в магазин — красивые витрины, разноцветье продуктов, пустые залы. Хоть аукайся. «Волгоградские колбасы», «Смак».

Но вернемся к письмам.

Вернее, к одному из писем, под которым целая сотня подписей. Считаю — колхоз. Все в нем правда, в этом письме: «...рабочие потеряли веру... обрекает наше предприятие на развал... создается опасность исчезновения населенного пункта...» Писано осенью 2002 года. На двух страницах. Но обо всем все равно не расскажешь. Жизнь сложна. Вот строчка: «Ранее наш коллектив работал в ТОО совхоз „Память Ленина“, который был признан банкротом... вся техника была передана в СПК „Вертячинский“...»

А ведь все эти «переходы», реорганизации: из совхоза «Память Ленина» — в ТОО совхоз «Память Ленина», а потом в СПК «Вертячинский» и затем в МУП «Агрофирма „Дон“» — совсем не от скуки. Меняя «вывески», переходя из одной формы коллективного хозяйства к другой, колхоз уходил от немалых долгов, оставляя их фиктивным наследникам. Отказывались платить налоги, пенсионные платежи, кредиты, начиная хозяйственную жизнь как бы с чистого листа. Но через год-другой тонули в тех же долгах. А ведь что существенно: все решения об этих переменах форм и «вывесок» принимались не в Москве, не в Волгограде, а на общем собрании коллектива. Голосовали и даже писали заявление. Не чей-то грозный оклик да пистолет (такие времена прошли), а своя воля. И если в начале 90-х годов можно было понять колхозницу Елену Федотьевну и ее резоны: «Велят писать. Я послушалась. Подпис дала...» — то потом были годы и годы... Да еще какие.

Понятно, что большинство наших селян — «детский сад», поманить и обмануть их ваучерами да «земельным паем» не трудно. Но все же, все же...

Даже слепому было видно, что Россия круто повернула в иное политическое и экономическое пространство, которое попросту можно назвать капитализмом. Частные магазины, частные предприятия — все было налицо.

А на селе руководители очень долго призывали: «Держаться! Крепитесь! Перетерпеть до весны! Москва без хлеба не проживет! Вот догрызут остатнее — и опомнятся! Должны повернуться к деревне!..» И еще одно: «Наши придут!»

Какие «наши» и куда придут — не больно понятно. Коммунисты? Они ведь пришли. Пресловутый «красный пояс» опоясал Россию. Кондратенко, Максютя, Черногоров, Стародубцев и другие. Руководили и руководят долгие годы. Но разве что-то изменилось на селе? Письма, которые держу я в руках, тому подтверждение. Строки этих писем — крик отчаяния, боль. Но ведь пишут не маленькие дети, а люди взрослые, которые десять лет видели, куда идет колхоз, в какую яму катится! И оставались в этой разбитой телеге, дружно голосуя: «Будем работать вместе...» Строки из письма: «...администрация района незаконно... требует передать другой организации два трактора „К-700“...»

Мне думается, что это — неправда. Ведь в начале 2002 года члены колхоза собственноручно писали заявления такого примерно содержания: «Главе администрации района... Прошу принять мой имущественный пай в размере ... рублей в муниципальную собственность безвозмездно» — и подпись. Имущественный пай — это коровы, посев, животноводческие помещения, мехтока, мастерские и, конечно, тракторы, комбайны, автомобили, прицепной инвентарь. Все имущество люди передали в муниципальную, то есть государственную, собственность, потеряв право распоряжаться ею. Ведь даже руководителя хозяйства в МУСПе не выбирают, он назначается администрацией района.

Понятно, что это преобразование — не что иное, как способ в очередной раз отказать от долгов. Но, избежав одной мышеловки, бывшие колхозники попали в другую.

На одном из собраний в таком же колхозе раздосадованный представитель кредиторов бросил в зал: «Что вы орете?! Вы — никто. Вы давно уже — не хозяева. Все имущество давно не ваше. Думать нужно было раньше. И выбирать себе руководителей, а не баранов». Грубо? Но ведь точно.

В нашей области 500 — 600 коллективных хозяйств. И лишь десяток-другой работают с настоящей, а не надуманной прибылью. Все остальные давно уже (и не единожды!) банкроты. Каждый год они, словно голодные птенцы, просят горючего, запасных частей в долг, обязуясь расплатиться с урожая. Приходит осень — история одна и та же из года в год: планерки, «штабы» по выколачиванию долгов. Но проку?..

Лопнул «Агробанк», сгорела «Агрокорпорация», «Областной продовольственный фонд» практически обанкротился, сумев собрать на сентябрь 2002 года лишь 25 процентов из розданных кредитов. Не один ли из нынешних областных руководителей, тогда еще председатель колхоза, произнес на «крестинах» «Продфонда»: «Та же Маша, лишь платок другой?»

Сейчас, в октябре 2002 года, оптимисты из областного руководства надеются на подсолнух, который еще не собрали и который «спасет».

Но спасения быть не может. Ведь не только плохой урожай, но даже великий, рекордный нам не в помощь. Нынче, в 2002 году, отчего все беды: «Урожай слишком велик! Зерна много!» Куда ни кинь, все — клин?

Приходится повторять много раз сказанное: надеяться надо только на себя. На свою голову, на свои руки. Головой, разумом ясно понять, что прежняя жизнь кончилась и не вернется. Колхозы, как их ни именуй и ни перекрашивай, — день прошедший. Глеть да чадить они могут долго. Но кормиться возле все трудней.

Говорю об этом не в первый раз. И не словоохотливость тому виной. А хоть малое, но понимание. Еще лет десять назад, в начале перемен, тогдашнему губернатору И. П. Шабунину советовал я послать наших областных телевизионщиков в Германию, Англию, Францию, Израиль, Италию с одним заданием: записать короткие обращения тамошних крестьян к их русским собратьям. Пусть покажут свои мозолистые руки и свои труды. И короткие слова о том, что и без колхоза прожить можно. Такие обращения, говорил я, надо показывать каждый день, вечерами, перед бразильскими сериалами. Увидят, подумают. Кого-то, но проймают.

Тогда мои пожелания, губернатором вроде бы одобренные, реализованы не были.

А нынче уже и ехать никуда не надо. В каждом хуторе, в каждом селе есть люди, живущие своим умом и своим трудом, на колхоз не оглядываясь.

Говорю я вовсе не о наших знаменитых фермерах, у которых сегодня тысячи гектаров земли в обработке, десятки единиц техники, хотя каждый из них начинал, как говорится, с нуля. А разве богатый американский дядя помог А. П. Вьюнникову, семье Пушкиных, В. В. Крючкову? Все ведь были «голь перекатная». А ныне — уже хозяева.

Но речь сейчас даже не о них. Каждый субботний и воскресный день на базаре в Калаче-на-Дону продает мясо знакомая уже многим супружеская чета из Голубинской станицы. Они скот не выращивают, а лишь покупают в округе, забивают, разделывают и продают. Такая профессия на Руси была издавна, называлась «прасолы», потом ее забыли. Теперь вспомнили. Работают, живут, милостыню не просят.

Три раза в неделю круглый год приезжает в наш городской двор невеликий фургон из Иловли. Тоже супружеская пара. Продают молоко, сметану, творог.

Знаю сельского человека, который по дешевке купил старый разбитый молоковоз, привел его в божеский вид, а теперь в своей округе собирает молоко, расплачиваясь сразу же наличными деньгами. Молоко везет он людям, которые на своем подворье делают сыр. Получается, что у всех работа: и у тех, кто коров держит, кто молоко возит, кто сыр делает. У всех пусть не великие, но — деньги, достаточные для жизни.

Недавно на бурьяном заросших полях когда-то знаменитого «Волго-Дона» «спецы» с высшим образованием, кто гневно, а кто горестно, вопрошали: «Как жить?.. Зарплата — капустой... И та не уродилась. За квартиру платить, детей кормить...» Их собрат, тоже один из бывших специалистов «Волго-Дона», ныне — успешливый фермер, до сих пор помнит, как начинал он, экономя копейку даже на еде. Случай был: мальчишка, его сын, собрал на улице пустые бутылки, пошел в магазин и попросил продавца дать ему не жвачки, не пепси, а «кусочек колбаски», который тут же съел. Об этом рассказали жене начинающего фермера, конечно, с упреком. Помнят и сейчас. «Я пришел, она прямо не плачет, а рыдает. И не могу остановить. Наконец рассказала — и снова плачет. Господи... Мне самому впору плакать, слезы у горла. Но я сдержался. Я сказал: „Поверь мне... Я клянусь тебе... Я буду работать днем и ночью. Я все сделаю... Будет у нас и хлеб, и эта проклятая колбаса. Но давайте перетерпим. Вначале ведь всегда тяжело. Я все сделаю, клянусь тебе... Поверь...”»

Так чаще всего начинается новая жизнь и новое дело. И этот фермер, бывший совхозный «спец», пошел в новую жизнь не от желания стать миллионером, а потому, что увидел: совхозу не сегодня, так завтра придет конец. Он не кричал на собраниях и митингах, никого не упрекал, но сделал твердый мужской выбор, надеясь лишь на себя. А некоторые его коллеги и теперь вопрошают: «Как жить? Капусту съел червяк... Огурцы посохли...» Уже десять лет вопрошают.

За десять лет (для одних — долгих и тягостных, а для других — пролетевших летом: «Некогда и выпить, ей-богу!...») — смеется знакомец мой, теперь уже хозяин с десятилетним стажем), после десяти лет, трудных для народа и государства, в толчее и неразберихе перемен, на земле, на селе сегодня четко обозначились три пусть не богатыря, но работника.

Первый — коллективные хозяйства, неразделимо сросшиеся с личными хозяйствами крестьян-колхозников. Из них выживут лишь те очень редкие колхозы, во главе которых умные, энергичные руководители. Это — большая редкость. И думается мне, что в конце концов многие из таких хозяйств перейдут в единоличное владение под вывеской какого-нибудь АО. У подавляющего большинства коллективных хозяйств завтрашнего дня нет: сплошное «реформирование» и «перереформирование», уход от долгов и новые займы, кредиты, которые не могут, не хотят возвращать по старой уже привычке. В 2001 году собрали хороший урожай зерновых, и цены были высокими. Но даже в такой год, взяв у «ЛУКОЙЛа» топлива в кредит на 700 млн. рублей, к

январю 2002 года отдали лишь малую часть и остались должны 514,8 млн. рублей, несмотря на усилия областных и районных властей.

Новый год, 2002-й, а песня старая. Осень, пора возвращать долги «Продфонду», «Агроснабу». Цитирую местные газеты: «Во все районы разъедутся группы по выбиванию долгов...», «Губернатор в категорической форме потребовал...» Каждый год «требуется».

На заседаниях в областном центре шум и гром: «Вы над кем смеетесь? Кому лапшу на уши вешаете?! чтобы как из пушки...», «Запустить механизм взысканий через арбитражный суд... арестовывать зерно на элеваторах... а потом будем разбираться...»

Но народ нынче битый. Слышали и не такое.

«Районам, которые не возвратят долги, с сегодняшнего дня прекращаются всяческие дотации... Врачи и учителя, когда им не будут платить зарплату, пусть знают: это не губернатор виноват, а руководители хозяйств, которые не рассчитались по долгам...»

Получается, что невозвращенные кредиты должны «выбивать» из колхозов учителя да врачи.

А они ведь никому ничего не давали и не ведали, что их нищая зарплата — гарантия возврата кредита. А теперь с голых по нитке — «ЛУКОЙЛу» новый кафтан? Да и «ЛУКОЙЛ» ни при чем. Это коммерческая частная структура. А вот те областные руководители, которые брали и раздавали, порою побарски, те «при чем».

«Я помню, — говорит лукойловский начальник, — помню, как один из бывших вице-губернаторов делил топливо: этому, указывал, дай 5 тонн, а этому — 25».

В райцентре руководитель РАО жалуется: «Я бы этому хозяйству и копейки не дал. Они сроду не отдадут. Но ведь через мою голову им давали, миллионы. А теперь я виноват, долги не собираю».

Когда создавали областной «Продовольственный фонд» (структура, по идее, нужная и полезная!), когда ее лишь создали, спросил я у ее руководителя: «Ты будешь решать, кому давать деньги, кредиты, заказы, а кому не давать? Или — чохом да по указке?» Он лишь вздохнул в ответ и отвел глаза.

А ведь эти люди (и в райцентре, и в Волгограде) уже имели горький опыт работы в «Агрокорпорации». Была бы их воля, направо и налево они бы деньги не раздавали. Но они — по строгому счету — лишь пешки, а теперь «вышибалы», заложники.

6 млрд. 481 млн. рублей — суммарная задолженность сельхозпредприятий области.

Скажите, о каком завтрашнем дне коллективных хозяйств может идти разговор?

И ведь ничего нового.

Неделю назад был я свидетелем такой сцены. Женщина, главный бухгалтер колхоза, привезла в райцентр отчет о предполагаемых итогах 2002 года. Поглядели отчет, сказали ей: «Ты с ума сошла? Зачем в итоге убытки? Кто тебе под такой баланс кредиты даст? Соображать надо». Сообразила. Забрала бумаги и на следующий день привезла другие, теперь уже с «прибылью».

Почти в тот же день встретил знакомого руководителя хозяйства. Послушал ныне привычное: «Денег нет, горячего нет...» А потом с усмешкой сказал ему наугад: «Чего жалуешься? Я твой баланс видел. С прибылью работаешь...» — «А как же... — ответил он. — Рисовать умеем. Такое время».

Красноречивый факт колхозного «благоденствия»: 85 — 90 процентов всех тракторов и комбайнов коллективных хозяйств приобретено до 1992 года. Летом 2002 года появилась возможность продать селу по лизингу, с рассрочкою на 3 года 265 тракторов «ДТ». Прошло полгода. Хозяйства огромной области взяли лишь 38 машин. Ежегодная убыль техники в результате старения — 1500 — 2000 тракторов, 500 — 700 комбайнов. А значит, нет будущего. Потому что без трактора землю не вспашешь. 1,8 млн. гектаров пашни в области по-

прежнему не используется. Из общей площади 5,6 млн. гектаров. Показатель определяющий: колхозы не в состоянии обрабатывать свою землю. Нынешней осенью вспахали и посеяли мало. Что будет весной да летом? На проведение полевых работ, по прикидкам специалистов, лишь горючего понадобится на 2 млрд. рублей. Где их брать? Опять будут школы да больницы крайними.

И если в нынешнем году площадь заброшенной пашни уменьшится, то причина лишь в том, что на село пришла новая сила — инвесторы, то есть структуры, имеющие средства и решившие вложить их в сельскохозяйственное производство. «Агрокоммерз», «Випойл-Агро», «Сельхозпродукт», «Альфа», «Магма», «Холдинг-бизнес» — названия разные; а есть и просто «физические лица»: Иванов ли, Петров, но главное — вложенные миллионы, у кого сколько. «Инвесторы» — явление сравнительно молодое. Еще вчера власти относились к ним подозрительно, именуя «московскими бандитами». Но теперь, видимо поняв, что инвестор лучше, чем бурьян в поле, их даже заманивают, возят на смотрины в разоренные колхозы.

На сегодняшний день в нашей области уже работает 67 новых структур, они обрабатывают 750 тыс. гектаров пашни, похоронив 135 разоренных колхозов и вложив в производство в 2002 году 1,3 млрд. рублей. Их интересы теперь — это не только пахотная земля, но птицефабрики, свинокомплексы, элеваторы, перерабатывающие предприятия, словом, производство, бизнес. С одной стороны, это хорошо: запущенная земля стала обрабатываться, налоги платятся, работники-селяне получают зарплату (до 40 тыс. рублей в месяц зарабатывали нынче комбайнеры из «Агро-Елани»). С другой стороны — это потеря привычной работы, привычного лада жизни для сотен тысяч людей.

Сельский капитализм теперь уже в обыденной жизни, а не в учебнике да на экране телевизора, не только в нашей области, но и по всей стране. Цитирую газету «Труд»: «Весной этого года наш колхоз имени В. И. Ленина был взят в аренду московской фирмой „Продимэкс-Черноземье“. На общем собрании... эти господа убеждали нас... сулили золотые горы... А что получилось в итоге? Без объяснения стали сокращать людей... Вывезли всех свиней в неизвестном направлении... порезали на мясо весь рогатый скот. Когда работники стали роптать, новые руководители ответили им коротко и ясно: „Не выгодно“... Зерна выдали лишь по три центнера на земельный пай, а на заработанный рубль вообще ничего не дали... нас фактически всего лишили. Оказалось, что новым хозяевам нужен был лишь наш чернозем...» Бывает и так. «Инвесторы» пришли в село, чтобы зарабатывать деньги, а не решать «социальные проблемы».

Это — капитализм. Сегодня частный капитал — это мощная молодая растущая сила в российском сельскохозяйственном производстве. С оглядкой на Запад наш вице-премьер и министр сельского хозяйства А. Гордеев уже заявил, что крупные финансовые структуры в сельском хозяйстве — наше будущее, а фермерство — это отставание на целых сто лет. Заявление для нашего фермерства не очень приятное и, думаю, не очень выверенное. Недаром страны Европейского Союза собираются провести реформу, цель которой — отказ от преимущественной системы субсидирования крупных хозяйств, с переориентацией на крестьянские хозяйства небольших размеров, которые производят более здоровую пищу.

Так что не стоит пугать многочисленную армию российских фермеров, которые за десять лет доказали свою жизнеспособность. У них не было легкой жизни. Нет ее и сейчас. Те же проблемы со сбытом продукции. За десять лет так и не решенные проблемы с землей. «А вот захочу — и не дам! А вот захочу — и отберу!» — такие речи и нынче не редкость.

Нынешних речей А. Гордеева они не испугаются.

Главное то, что, в отличие от колхозных пашен, фермерские посевы год от года растут. Именно туда, к Мельникову, Колесниченко, привозят высоких гостей, чтобы показать лучшие образцы земледелия.

А еще — и это очень важно! — с кем бы из опытных фермеров ни заговорил, от них не услышишь стонов да охов. Беседую с Н. Н. Олейниковым о несовершенстве земельного законодательства; десять лет, а все порядка нет: чуть не всякий день этим нужно заниматься. Но финал для меня неожиданный: Николай Николаевич смеется и говорит: «Помаленьку все образуется, проживем...» С А. П. Вьюнниковым осенью говорим о ценах на зерно: он часть урожая продал, а часть не успел. «Ладно, — машет он рукой. — Все продадим, и все теперь будет нормально». Еще один разговор с фермером из Суровикинского района. Про нынешние цены на горючее, на зерно. «Все это — просто жизнь, экономика, — говорит он. — Там прогадаем, там выгадаем. Будем наперед умней. Вот когда начинали, помню, кредит взял в банке на два миллиона, так мы с женою ночами не спали: такие деньги, мы их прежде и во сне не видали. Теперь ко всему привычные. Все будет нормально. Работать надо. И башкой варить».

Нынешнее волгоградское фермерство — это более 12 тысяч настоящих хозяйств, у которых 1 млн. 200 тыс. гектаров земли. 1000 фермеров имеют средний надел земли 760 гектаров. 20 процентов всего урожая зерновых — это фермеры. Фермерству всего лишь десять лет. Причем десять лет постоянного роста: земельных наделов, крепких хозяйств, результатов труда. Укоренились. Никаким ветром не сдуешь, даже холодным «московским», так у нас порой северный ветер зовут.

Итак, год 2002-й, конец ноября. Кое-где еще пашут. Подсолнух не весь убрали. Крепко на него надеялись. А цены нет. Подсолнечное масло на оптовом рынке идет по 16 рублей за литр. Надеялись, что будет по 20 рублей. В Ростове прошла торги на зерновой бирже так называемая «правительственная интервенция», у нас, во всяком случае, она не повысила цены на зерно.

Конец ноября. Теперь будем ждать весны.

Пока на земле зимнее затишье; обманчивое, потому что даже в суровую стужу, под снегом, земля дышит, сохраняя в дремлющих злаках и травах теплую земную кровь в ожиданье весны.

И в жизни людской, деревенской зимняя дрема, она — лишь для глаза стороннего. Просто — иная пора. А кто и впрямь уснет, того и весна не разбудит.

Время — вот четвертая и, может быть, самая могучая сила нынешних времен.

Волгоградская область.



ТАБУ И АНТИТАБУ В КУЛЬТУРЕ И ПРАВАХ

Все последнее время означенная тема усиленно дискутируется в прессе, электронных СМИ и даже во властных структурах. При этом с неизбежностью затрагиваются не только сиюминутные, но и эпохальные ее грани.

Мы публикуем три свободных размышления на сей счет, принадлежащие очень разным (однако не оппонировавшим друг другу) авторам. Участники нашего мини-форума:

Елисеев Николай Львович — литературный критик, эссеист, историк;

Анкудинов Кирилл Николаевич — литературный критик, кандидат филологических наук, преподаватель основ журналистики в Адыгейском государственном университете;

Гостев Алексей Олегович — протоиерей (принял священнический сан в 1990 году), церковный публицист; выпускник филологического факультета Московского университета.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



ЭРОТИССИМО

Похвальное слово Федору Павловичу, или Ура Карамазову! Всю жизнь мечтал сыграть старшего Карамазова. В разные времена разные нравились герои и героини: то Грушенька («злые мы, мать»), то Смердяков («Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно»), то Дмитрий («с Езопом тоже был жесток»), то Иван («Богу билет свой почтительнейше возвращаю»), то Алеша («„Это — бунт“, — тихо и потупившись проговорил Алеша»... никто, по-моему, не заметил, что то ли Достоевский, то ли Алеша с готовностью подкидывают вариант ответа Ивану из истории Франции: «Это — бунт!» — «Нет, Ваше Величество. Это — революция», — но Иван не воспользовался подсказкой), — да, все эти персонажи по-разному и разным мне нравились, но сыграть мне хотелось только Федора Павловича.

Как говорят артисты — самоигральная роль. С первых же слов, которые произносит в романе Федор Павлович, даже физическое его состояние передано с ошеломляющей точностью.

Не то с похмела, не то вполпьяна старший Карамазов объясняет своему младшенькому, собравшемуся в монастырь, про «тот свет» цитатами из бурлескной поэмы братьев Перро «Падение Трои, или Рождение бурлеска»: «J'ai vu l'ombre d'un cocher, qui avec l'ombre d'une brosse frottait l'ombre d'une sautoise» («Я видел тень кучера, которая тенью щетки чистила тень кареты»). А потрясающий скандал в монастыре? Станиславский учил: «Если хочешь сыграть плохого, ищи, где он — хороший». А тут и искать не надо! К старцу поехали, чтобы он помирил отца с сыном, чтобы по-ветхозаветному шикнул на буяна и хулигана: «Нишкни! Дети да повинуются родителям своим, и тот, кто не наказывает своего сына, тот его не любит», — а он что учудил? Принялся новозаветные парадоксы вспоминать насчет родителей, которые не должны раздражать детей своих.

Нет-нет — без шуток, если бы я играл Федора Павловича, я бы изо всех сил ему адвокатствовал. Я бы его играл знающим все то, что было после него.

Допустим, я бы выкрикивал монахам в ответ на «Христос не за такую любовь простил!» — от всей души, сердца, горла и легких, чтоб стекла задрожали: «Нет, за такую!», и чтоб по-настоящему пафосно, патетично вышло, не шутовской бы скандал вспомнил, а хорошие стихи, ну там: «Бросающая вызов женщина! Я — поле твоего сраженья...» — или: «О, где бы я теперь была, Учитель мой и мой Спаситель, когда б ночами у стола меня бы вечность не ждала, как новый, в сети ремесла мной завлеченный посетитель». Вот как надо играть скандал в монастыре, чтобы вспомнились стихи Пастернака или в крайнем случае — слова Василия Розанова.

Тогда и противники, то бишь враги Федора Павловича, приобретут иной масштаб. Врагов надо уметь выбирать. Одно дело твой враг — шут гороховый и совсем другое — титан. Федора Павловича как-то все шпыняли и унижали, вот он униженный и оскорбленный, побитый одним сыном, убитый другим, и вышел в незамеченные учителя. Весь «мовизм» Валентина Катаева не из «моветона» и не из «мовежанра» вышагнул, а — право же — из замечательного рассуждения Федора Павловича, из его «мовешек» и «вьельфилек»: «Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило!.. По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно уметь находить...»

Забавно, что здесь никак не отитанить Федора Павловича — не получится. Как ни старайся, а все одно — старческое, сладострастное, слюнявое бормотание. Ведь ничего плохого, паскудного он не говорит — наоборот! Здесь — французистость, рыцарственность, кавалерство, канальство — черт возьми! А вот поди ж ты — интонация подводит.

По делам (спешу заметить! — по делам, а не для удовольствия) занесло меня на выставку французского эротического фотографа Эрве Леви «Уроки соблазна». Бродя среди черно-белых застывших мгновений «вечно женственного», я (бывает же!) напоролся на... Карамазова-старшего, то бишь прочел высказывание фотографа: «Каждая женщина даже не подозревает, как она прекрасна, — вот девиз моей работы!» — и Федор Палыч вспомнился с ходу — тот самый, с «мовешками» и «вьельфильками» и любовью к Франции и...

Но отчего же и почему же (подумал я) то, что во французской традиции звучит так рыцарственно и галантно, в России дребезжит таким старческим тремоло? Бррр... Повторюсь — не представляю, как даже адвокатствующий Федор Палычу артист сыграл бы означенный монолог про «мовешек»? Скандал в монастыре — можно сделать так, чтобы зритель почувствовал симпатию к Федору Палычу, а вот его реверанс по адресу «эвиге вайблихкайт» — нипочем.

Заклятие Набокова, или Дон Жуан на иезуитской сцене. Кажется, лучше всех эту ситуацию понял и объяснил Набоков в «Постскриптуме к русскому изданию» «Лолиты»: мол, все «мужицкое, грубое, сочно-похабное выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски», но «все относящееся... к противоестественным страстям становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма». Я бы даже рискнул расширить и уточнить набоковский индекс: «сочно-похабное», то есть — назовем чудовище его собственным именем — порнографическое, по-русски срабатывает, а «интимно-неприличное», эротическое — ни под каким видом. Генри Миллера все переводы — хороши, а Лоренса, как ни старайся, — все одно получается такая гадость, что поневоле задумываешься: а может, и по-английски тоже... не фонтан?

«Лука Мудищев» гениален во всех его проявлениях, а любое описание страстной физической любви всерьез у русских писателей, если без умолчаний, — или гинекологический кабинет, или мистическая чушь. «Моя девушка работала как помпа» — хорошо ведь, правда? А мистические искры из глаз и переполненность электричеством в области паха как-то не убеждают. Сдается, что об *этом* по-русски можно писать только шутя. В том же «Постскрипту-

ме...» есть у Набокова удивительная мистическая — ей-ей! — мистическая об-молвка? проговорка? а может, заклятие это у него такое? — словом, одно все-го предложение, одна всего фраза есть у Набокова в том «Постскриптуме...», имеющая отношение к русской традиции эротического, порнографического, неприличного: «Мне трудно представить себе режим, либеральный ли или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы „Лолиту“».

Речь стало быть, не о режиме, а о некой мощной традиции, соблюдаемой что при либерализме, что при тоталитаризме. Мне всегда казалось, что здесь насмешливый агностик (недаром все ж таки со всем своим юмором взявший зловещий псевдоним птицы рока) оставил за текстом настоящее заклятие: перевожу «Лолиту» в расчете на такую ломку национального менталитета, рядом с которой Октябрьский переворот — просто невинная детская игра... в крысу. И ведь издали! И ведь ломается!

А все одно — порнуха у нас получается лучше, чем ироничная нежная эротика. Любой намек на эротизм у нас убивает всякую мягкость, всякую нежность, всякий человеческий юмор. Джон Донн, обращающийся к отдающейся ему женщине: «Я — твой Колумб, Америка моя», — вот тамошний эротический юмор. У нас — эротический юмор связан не с Великими географическими открытиями, а с дракой, насилием, боем. Недаром Иван Барков был автором «Оды кулачному бойцу»; недаром русская порнографическая поэма «Лука Мудищев» описывает половой акт как смешное убийство; сексуальное в этой поэме оказывается смертоносным. Василий Розанов потому и срывался на неубедительную истерику в письмах и статьях: «Вся нежность — из ...» (фаллоса), что такая тут нежность, коли уже написан «Лука», где «Лука воспрянул левом свирепым и длинным ———, словно цепом, Матрену по башке хватил».

Кажется, только мрачный Буньюэль смог (по-видимому, и не подозревая об этом) дать кинематографический эквивалент славной русской поэме — «Дневная красавица», разумеется. Все узнаваемо в этом фильме — и «несчастный муж моей купчихи, парень безответный, тихий», и Лука, и прежде всего сама купчиха — в убедительном исполнении Катрин Денёв.

Конечно, хочется вслед за упоминаемым уже Василием Васильевичем (дважды царем прозы — новой, русской) порассуждать на ту тему, что не один тут язык, не одна тут русская национальная традиция — в эротическом видеть смертоносную угрозу или объект для гогота. В свое время меня поразил некий факт из истории театра. Факт этот похож на притчу. И притча эта не впрямую, не в лоб, но очень славно, побочно, окольно объясняет, почему скандал, учиненный в монастыре Федор Палычем, можно сыграть на хорошо, искреннем пафосе, а его признание в любви всем женщинам мира — нет.

Вот этот факт-притча. В иезуитских колледжах в XVII веке были театры. Выпускной вечер курса — спектакль. Солдаты ордена должны быть вооружены всем, в том числе и артистическим искусством. Чаше всего ставили «Дон Жуана». Врага надо знать в лицо, а уж такого врага, как Дон Жуан, — искать. Обаятельный, красивый, веселый, остроумный, просто — умный, отважный, циничный — «все угоды в нем». Одна только закавыка: женщины. Переодеваться в женское платье и изображать женщину — скандал, пригласить из соседней... самостоятельности — соблазн. Можно, конечно, так изменить пьесу, чтобы об амурных победах только говорили, а самих баб на сцене бы не было. Но даже на такую гениальную уловку не пошли. Пьесу изменили кардинальнее.

Иезуитский Дон Жуан не был женолюбом, не был эротоманом. Конечно, он был эпикурейцем. Жил в свое удовольствие, выпивал, обильно закусывал, охотился, еще какие-то вполне невинные развлечения, за которые странно тащить в ад, и посему в пьесе был усилен богоборческий, интеллектуальный элемент. Дон Жуан стал только циничным, умным богоборцем. Он стал проповедником неверия, веселым и обаятельным. Вот это-то меня и зацепило: на

монастырской сцене можно играть обаятельного атеиста, но женщине играть или женщину играть — ни-ни...

Две истины-наготы. Чаще всего истина связывается с наготой. На фрон-тисписе знаменитого издания «Энциклопедии» французских просветителей изображена красивая женщина, с которой сдергивается покрывало. Метафора — опасна, как всякая метафора. Метафора волит продолжения. Кто сказал, что истина только под одеждой, а не под кожей? Сдергивание кожи и пыточная камера в этом случае — такой же образ истины, как и сдергивание одежды, то бишь стриптиз. Христиане лучше других поняли, что истина и в одежде, поскольку кожа — тоже одежда.

Две истории могли бы обрамлять это рассуждение о коже, истине и одежде. Одна — история Фрины, афинской гетеры, обвиненной в шпионаже. Защитник, вместо того чтобы долго говорить, просто сорвал одежды с Фрины — и судьи, потрясенные красотой, немедля оправдали подозреваемую. Другая — история Христа и Пилата, даже и не история, а один всего эпизод, изложенный одним только евангелистом. Глядя на избитого, окровавленного человека в лохмотьях, римский вельможа спрашивает у него: «Что есть истина?» — и не получает ответа.

То есть он получает ответ, удивительным образом схожий с защитой Фрины: «Истина стоит перед тобой. Если ты ее не видишь, то чего ж тебе рассказывать?» — но не понимает и не принимает его. Между оправданием Фрины и вопросом Пилата вколочена вся амплитуда эротики/боли; наготы/истины.

Афинские судьи вовсе не были убеждены в невинности Фрины, но уж больно она была хороша. Пилат вовсе не был убежден в государственной опасности этого проповедника, но уж очень он был... изуродован и измучен. «А что вообще такое истина?» — пожимает плечами старый скептик, задавая риторический вопрос в пространство.

Всякий, кто хоть раз побывал на нудистских пляжах, помнит собственное желание задать вопрос Пилата... насчет истины и понимает, что здесь Фрину бы не оправдали. Нагота — тоже профессия. Наготу надо уметь носить, как одежду.

В букинистическом магазине я как-то умудрился купить немецкую книжку «Geist und Schönheit» («Дух и красота»). Никаким Geist'ом там не пахло и не веяло, одно сплошное Fleisch. Я помнил что-то об официально разрешенном нудизме в ГДР, но колючий готический шрифт, но... желтая бумага, но рассуждения о rassenbedingten (расово обусловленной) красоте: дескать, у негритянской расы представление о женской красоте связано с большой грудью, а мы-де, арийцы, ценим... я еще раз пролистал книжечку и решил, что больше всего арийцы ценят — ноги и зад. (Вот бы порадовался Василий Васильевич Розанов, писавший, что более всего любит женщину «около плеча», своему негритянскому происхождению!) Дата была — 1940. Книжка для солдат, понятное дело. Вот кто вас ждет.

Еще говорят, что все тоталитаризмы похожи, — да у нас ни в жисть, ни за что, ни за какие коврижки такое бы не напечатали. Сейчас, правда, печатают и не такое, но это ведь и есть та самая — непредставимая даже Набоковым — ситуация ломки национального менталитета.

Переулоч Джамбула, или Этюд о мини-юбках. В годы моего детства этот переулоч упорно называли Лештуков. Переименован он был в 1944-м, тогда же, когда Невский стал снова Невским, а Садовая — Садовой. Ну а Лештуков зато стал имени Джамбула. Именно там, в Лештуковом переулке, я впервые увидел девушку в мини-юбке. Это был январь 1967 года. Стоял лютый, искрящийся какой-то мороз. Сияло солнце, снег сверкал и скрипел, челюсти ломило от воздуха, как от слишком холодной воды. Я топал в булочную, что на углу Лештукова и Загородного, а навстречу мне по направлению к Большому драматическому театру двигалась длинно- и белоногая красавица. Мне было восемь лет, и ростом я был как раз с голую ногу моей визави. Ноги были белее снега и пышнее хлеба.

Потрясенный увиденным, я посмотрел вверх — и потрясся еще больше, потому что я увидел лицо. Гойя! Где была твоя тень! «Какое мужество» — вот что хотелось подписать под этой картиной. Глаза красавицы были распахнуты на пол-лица. В них застыли боль, удивление и надежда. «За что я терплю такие муки. Еще сто метров — и я сворачиваю греть озябшие коленки в парадной о пыльный радиатор» — вот что было написано в этих глазах, прекрасных и синих. В восемь лет я так дословно не перевел прочитанное, но запомнил для позднейшего понимания.

Если бы я был груб и циничен, я бы всенепременно процитировал из любимой книжки: «Глаза выпучены, как у кота, который гадит на соломенную сечку», — но я не настолько груб и циничен. Я просто запомнил эту потрясающую картину, просто в сознании-подсознании моем так и слились: «годы приоткрытия Вселенной»; синие глаза, распахнутые на пол-лица; женские голые ноги и жгучий сверкающий мороз, для таких ног не предназначенный. Между тем как раз мода на мини-юбки застряла в России надолго. Там, откуда пришла эта мода, были уже и миди, и макси, а у нас — стойко держались мини...

Эта мода задержалась на столько же, на сколько задержалась мода на короткую хемингуэвскую фразу. Дело не в экономии материала. Производители и духовных, и материальных благ в нашей стране тогда были не особенно заинтересованы в подобной экономии. Причины тому психологические или — если угодно — метафизические. Телеграфный хемингуэвский стиль, равно как и мини-юбка, при всем внешнем бесстыдстве на редкость целомудрен. Он (стиль) и она (мини-юбка) не раскрепощают, а в известном смысле — сковывают крепче корсета. Так просто не наклонишься, не повернешься, не сядешь как хочешь. Каждое свое движение будешь контролировать.

Такое подходит для России. Для нас хороша не цензура, а самоцензура. У нас свобода — сильна, когда за нее расплачиваешься. Мороз, не Гавана, чай, а она знай себе чапает в униформе не для этих широт. Вот это и есть та самая свобода, которая, по уверению поэта, приходит нагая. Нет, не нагая, ни в коем случае, — в мини-юбке, но... в январе.

Еще одно воспоминанье, или Кое-что о самоцензуре. С цензурой, самоцензурой и преодолением запрета мне довелось как-то столкнуться лоб в холст, на уровне видеоряда. Дело было где-то в начале восьмидесятых, и что меня занесло в эту неофициальную мастерскую, не помню, но одну картину я запомнил очень хорошо, поскольку «с ученым видом знатока» сказал: «А! Даная! Только почему не золотые монеты, а луч света? И зачем здесь птица?» — «Это — голубь», — объяснил художник. И мне (даже тогда) стало не по себе от эдакой трактовочки.

«Эту картину, — спокойно объяснял художник, — я посвятил святому Фоме Аквинскому. Он разрешил сложнейшую теолого-гинекологическую проблему. XIII век был значительно более материалистичен, чем мы это себе представляем. Теологов волновал вопрос сохранения материального свидетельства девства, девственной плевы. Поначалу, до Фомы, полагали, что семя Бога попало в лоно Марии через ухо, поэтому, кстати, Гаргантюа рождается из уха — наоборотно Христу. Но гениальный Фома соединил античный сюжет с оптическими законами, и вышло великолепно! Грандиозно! Гений как раз и состоит в умелом соединении несоединимого, чтобы не жуткая химера получилась, а прекрасный кентавр, правда? Аквинат писал, что Святой Дух проник в лоно Девы, не разрушая девственной плевы, как луч света проникает в комнату через окно, не разбив стекла». — «Здорово, — согласился я, — но словами — это одно, а когда видишь — другое. Того — кошунственно...» — «Ерунда, — убежденно сказал художник, — кошунство в воспринимающем, а не в творящем. Я — всегда чист, а вот воспринимать меня могут грязно, порнографически. У меня не было грязных намерений. Доказать это, сами понимаете, невозможно. Я и так свою душу выложил, что же мне, ее еще раз выкладывать?» Я почесал в затылке. Возразить было нечего.

Рассуждение под занавес о недавно переведенной с норвежского книжке Юстейна Гордера «*Vita brevis*» про блаженного Августина и его любимую женщину. Какая печальная доля — так долго и мучительно жить, так строго и страстно думать, чувствовать, ошибаться, грешить; обратиться, со всеми своими грехами, ошибками, страстями, мыслями, со всей своей жизнью, к Богу и получить... в качестве Бога любого, кто прочтет «Исповедь», то бишь «*Confessiones*». Любой становится если не Богом, то по крайней мере священником по отношению к Августину Аврелию, коль скоро он возьмется за труд и прочитает его книгу. Обратиться к Богу, а быть выслушанным Юстейном Гордером или Никитой Елисеевым — в этом есть какой-то главный и очень сильный парадокс «Исповеди».

Любой, будь то норвежский писатель или российский критик, может истолковать признания Гиппонского епископа как угодно, домыслить любой сюжет в связи с этими признаниями, и границы домысливанию или интерпретации положат только собственные такт, чувство меры, приличие, образованность, вера или неверие. Получается, что каждому доверена тайна исповеди и каждый может поступать с ней как заблагорассудится. Это — сильно.

На самом деле лучшей рекламы в нынешнее постмодернистское время, чем та, которую сделали Августину и его «Исповеди» Юстейн Гордер, переводчица Людмила Брауде и питерское издательство «Амфора», и не придумаешь. Не нужно воротить нос: мол, такого рода книги в рекламе не нуждаются. Как раз такие-то и нуждаются. Скольким студенткам я помогал найти в каталоге книжку этого... «Японского епископа» («Гиппонского...» — «Ааа, все равно!») — и какой тоской искажались прекрасные девичьи лица. Все-таки... есть, нашелся — и придется эту тоску зеленую читать и конспектировать.

Между тем Юстейн Гордер с гениальной преподавательской точностью (недаром сын замечательных гимназических учителей и сам прославился в качестве автора популярного для юношества изложения истории философии) выделил в «Исповеди» те точки, какие заинтересуют современного читателя и (в особенности) современную читательницу. Его книга — очень грамотный, очень профессиональный, изложенный в мелодраматической, остросюжетной форме дайджест «Исповеди» блаженного Августина.

Дайджест «Исповеди» — это жест, верно? Очень своевременная книга. Далекая, как Карфаген и Медиолан, история благодаря Гордеру становится ну если не близкой, то по крайней мере современной, как Тунис или Милан. Гордер приспособил «Исповедь» Августина для современных студенток. Чем плохо?

Вся социально-психологическая сторона драмы пересказана для зрительниц и зрителей телесериалов — в точку. Мама, Моника, которая так любит своего сына, что заставляет своего любимца, Аврелия Августина, расстаться с любимой им женщиной, его (по ее мнению) недостойной; невеста, которую взамен любимой подыскивает Моника для Августина, — а невеста вот возьми и умри; наконец, главная слезогонка — Адеодат, сын Августина, которого забирают от его матери; внук, в котором Моника души не чает, — так и он умирает спустя некоторое время после смерти бабушки. И все это — в письме женщины, потерявшей возлюбленного, Аврелия Августина, и сына, Адеодата.

Кажется, в западных лицеях и гимназиях были такие задания: «Что мог бы написать Софокл, побывав на представлении трагедии Расина?» (подобное задание выполняет за свою любимую Альбертину Марсель в предпоследней части прустовской эпопеи) или «Какое письмо могла бы написать Августину Аврелию его любимая женщина, мать его умершего ребенка, та, которую он покинул под влиянием своей матери, Моника?». А вот это задание как раз и выполняет с завидным умением Юстейн Гордер. Что — удивляет.

Достаточно взглянуть на фотографию автора, помещенную на «спинке» обложки (солист группы «АВВА» — один к одному), и прочитать отрывок из его интервью, помещенного в послесловии («Прежде всего — я муж и отец. Потом — часть Европы и природы», хочется добавить — «и не лучшая»), чтобы понять:

двух более разных людей, чем гедонист Юстейн Гордер и аскет Августин, не найдешь. Может, поэтому так хорошо получилась у Гордера эта книжка?

В послесловии сказано, что это, мол, «эротическая трагедия». Ну уж нет — для трагедии слишком много фрейдистских прямолинейных ходов. Де это он не Бога любил так сильно, что отказался от женщины, которая такие письма писала. Это он к маме своей, Монике, пылал страстью, в которой не смел самому себе признаться. Единственный по-настоящему сильный эротический ход в этой книге — это описание того, как к автору попала рукопись — письмо, посланное брошенной любимой Августина по прочтении его «Исповеди». В букинистической лавке в Буэнос-Айресе автор обнаруживает эту рукопись, хочет ее купить. Торгуется с владельцем, который узнает популярного писателя, но называет цену 15 000 песо. Сбивает цену до 12 000 песо, а после, протянув кредитную карточку VISA, слышит от букиниста: «Я сам даже не прочитал эту рукопись. Через несколько дней цена бы ее либо во много раз увеличилась, либо я швырнул бы коробку вон в ту корзину...» На ценнике, торчавшем из корзины, значилось: «2 песо».

Головой-то я понимаю, что здесь для настоящих гедонистов и заключается настоящий эротизм — то ли купить что-то, стоящее 2 песо, за 12 000 песо, то ли продать что-то, стоящее... 1 млн. долларов, за те же 12 000 песо. Понимать — понимаю, но сердце у меня не сжимается от радости или от сочувствия — не гулять мне по буэнос-айресским букинистическим магазинам, помахивая кредитной карточкой VISA. Но зато буэнос-айресский след, латиноамериканское происхождение письма любимой Аврелия Августина такое «дежавю» во мне разбредили. Читаю — и не могу вспомнить, что же мне вся эта история о всепобеждающей силе любви напоминает?

Ну, пишет образованная прекрасная женщина фанатику, мол, Бог создал нас для плотской любви, для человеческой нежности, а ты от всего этого отвернулся, бросил Божье творение ради самого Бога — полно, да для Бога ли? Ну, выдает такую... розановщину... мне на радость. Ну, намекает автор, Юстейн Гордер, что как раз в диалоге с брошенной женщиной, отвергнутой, отринутой, замалчиваемой, даже по имени не названной, и вырабатывается у Августина то земное, то человеческое, что не позволяет ему стать совсем уж фанатиком, совсем уж изувером. Ну, позволяет себе не слишком приятные, хотя и шуточные намеки (понимать надо — художественное же произведение!) на то, что католическая Церковь скрывала от мировой общественности письмо Флории Эмилии не только потому, что уж очень неприглядный образ отца Церкви в нем дан, но и для того, чтобы полными пригоршнями из этого письма черпать мудрые мысли. Ну, густо уснащает свой текст латинскими цитатами...

Вот эти-то цитаты да еще имя, Флория Эмилиа, которое дал Гордер любимой Августина, меня особенно «дежавюировали». Книга так издана: на одной странице текст, а другая сторона листа чистая, для комментариев. Комментарии как раз и состоят из латинских фраз. Получается женское лопотание о Боге и любви, прослоенное латинскими фразами. Где-то я с этим сталкивался, только там были не латинские фразы, а кулинарные рецепты... Не: «*Ubi mens plumbum, ibi minima fortuna*» — «Где больше разума, там меньше везения», но рецепт жареных бананов или подобного латиноамериканского блюда.

Я чуть по голове себя не хватил! Ну конечно! Жоржи Амаду! «Дона Флор и два ее мужа». Отсюда и имя такое у вымышленной корреспондентки блаженного Августина. Но гедонизм Амаду был как-то симпатичнее. Какой-то во всех его кошунствах был юмор, что ли? (А у Гордера — все всерьез.) И никто не думал называть историю про владелицу кулинарного училища и двух ее мужей, одного — помершего на карнавале от пьянства, но воскресшего, и другого — живущего доходами от аптеки, — называть «эротической трагедией», а между тем...

КИРИЛЛ АНКУДИНОВ



СТЕПЕНЬ РАЗРЕШЕНИЯ

Вообще-то я не охотник до бесед «о всеобщем повреждении нравов»... Ничто не дается так легко, как досужее морализирование. Стоит только войти в соответствующую колею, стоит произнести магическую формулировку «в наше время, когда...». И пошло-поехало.

Это — игра такая. Называется — «В наше время, когда...». Самая необременительная игра из «игр, в которые играют люди».

А ведь мораль-то — для тех, кто способен осознавать вещи в их полном масштабе, — минное поле. Она дается кровью. Напомню три имени. Ницше. Лев Толстой. Достоевский...

Я обратил внимание: расхожей моралистике почему-то сопутствует нежелание и неумение вникать в подробности. Сколько в последнее время мы слышали монологов на тему «современная литература — сосуд греха»? И сколько конкретных имен современных литераторов содержалось в этих монологах? Дай бог, если были названы Сорокин с Пелевиным. Морализирование отучает людей думать. О, эти стереотипы!.. Хотелось бы знать, кто первый решил, что российской культуре всерьез угрожает проза Марининой: желаю поглядеть в глаза этому человеку.

Ну и, конечно, все то, что безнравственно по-настоящему, оказывается вне поля зрения «поборников чистоты» — это как пить дать. Они друженько осудили Феллини-Пазолини, Лимонова-Харитоновна, Сенчина-Шаргунова, Маринину-Акунина и сели слушать развеселую песенку про «малолеточку», снятую за «таблеточку». Здравствуй, нравственность секунд хэнд!..

Есть еще один нюанс. В России всегда все литературные скандалы, связанные с «нарушением общественной морали», несли в себе политическую подоплеку. Взять хотя бы арцыбашевского «Санина», сей эталон «литературной порнографии». Дело не в том, что в тексте «Санина» есть эротические сцены, которые вполне невинны *даже* для нормативов начала XX века (а по нынешним меркам «Санин» мягче самого мягкого «женского романа»). Дело в том, что Арцыбашев (во многом не осознавая этого) раздел и отхлестал «левую интеллигенцию», выставил на всеобщий позор ее глупость, бездарность и ханжество. Кто же он, как не порнограф, после этого? Даже академичнейшие «Вехи», насколько мне помнится, не избежали обвинений в «порнографии» — по той же самой причине.

А вот знаменитые статьи Максима Горького — «О „карамазовщине”» и «Еще о „карамазовщине”», эти дайджесты литературно-нравственных парадигм XX и XXI веков. «Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии — к демократии, к народу, к общественности и науке» («Еще о „карамазовщине”»). Боже мой! Кто это говорит? Советский цензор? Современный «демократ» (из шестидесятников)? «Идущий вместе»?

...Для российского самосознания эрос никогда не стоял на главенствующем месте (в отличие, скажем, от самосознания французского). И «эротика» в российской культуре не оставила сколько-нибудь заметного следа (в отличие от той же французской культуры). Российское самосознание опьянено совершенно иным эросом — эросом установления-изменения общественных (и межличностных) иерархий, эросом «социальной справедливости». Посмотрите-ка, чем заканчиваются в наших сериалах чуть ли не все сцены «про это». Или явится милиционер и всех арестует, или ворвется гневная соседка со ско-

вородкой, или сами партнеры рассорятся, выясняя, кто кому чем обязан и как с кем *положено* обращаться.

Короче, беседы «о морали» или «об эротике» у нас переливаются в разглагольствования о политике. Если людей зазывать поглядеть на «наше отечественное эротическое кино» — два часа на экране будут демонстрировать Ленина, Пуришкевича или Новодворскую. А пускай даже и перси с ланитами, все равно я буду понимать, что режиссер, запечатлевая перси, думал в этот момент про Ленина с Новодворской.

И все бы хорошо... Но суть в том, что я *не желаю* участвовать во всех этих играх. Я добиваюсь, чтобы в моем сознании все занимало бы присущую ему полочку: Ленин — свою, Новодворская — свою, мораль — свою, эротика — свою. Если кому охота мешать божий дар с яичницей — пускай их. Я обойдусь. Я могу тратить свою жизнь на разные вещи, но полностью потратить жизнь на российские иерархические разборки — все равно, что выбросить ее на свалку. Простите, это мне не подходит.

И я мог бы — получив предложение высказать свою позицию по части допустимого-недопустимого в искусстве (по части порнографии, эротики и т. д.) — ответить словами Сигизмунда Кржижановского. «Не хожу ни в дом терпимости, ни в дом нетерпимости» — вот моя позиция. И на этом закончить разговор.

Если бы не одно *реальное* обстоятельство...

Всякий грех приводит — рано или поздно — к скверным последствиям. За право нарушать нравственные законы общество расплачивается грядущими катастрофами — генетическими, демографическими, экономическими, геополитическими, военными. Это очевидно не только для любого верующего (хоть для христианина, хоть для мусульманина, хоть для язычника), это очевидно даже для атеиста, придерживающегося сколько-нибудь детерминистических воззрений. Это в новость только тому, кто воспринимает мир как скопище ничем не связанных случайностей. Жизненная потребность социума в сохранении этических норм, увы, неотделима от репрессивности — человечество не столь добродетельно, чтоб жить без *кнута*. Всякое нормальное общество в той или иной степени репрессивно; абсолютно нерепрессивны только вырождающиеся общества. Гедонистические социумы обычно проигрывают репрессивным — хотя бы в демографическом плане. Мы являемся свидетелями этого проигрыша: выходцы из исламских государств постепенно вытесняют коренное население многих европейских стран. Что неудивительно: европейская модель социума очень гедонистична, а исламская — крайне репрессивна. Иногда случается так, что в особо опасные моменты включаются «автоматические механизмы» спасения общества — такое происходит «у последней черты», когда общество стоит на грани нравственного вырождения и саморазрушения. Как правило, это явление сопровождается крайней репрессивностью — и дай бог, чтобы допустимый «минимум зла» не перешел бы нынче за отведенные ему пределы.

Но не менее верно и то, что мельницы Господни мелют медленно. Последствия греха, как правило, не проявляются сразу же после совершения греха. Они отсрочиваются, и часто — на многие столетия. Человек может грешить без остановки — и ничего... Конечно же, расплата придет все равно. Но она может прийти к его потомкам в пятом или в десятом поколении. Древний Рим рухнул не в один момент. Но он рухнул — это известно всем.

Всякий запрет — конкретное действие. И в этом качестве — в качестве действия — он всегда обратит на себя внимание. Запрет — это реальное зло. Иногда — зло во благо. Иногда — не во благо. Отсутствие же запретов — не действие. Оно — не событие *реального* зла, но оно может нести в себе *зло*. Потенциальное, никем не замечаемое. Как быть, если потенциальное зло, следующее из отсутствия запрета, на десять порядков превосходит зло запрета? В этом случае понятие «свободы» может завести нас в опасную ловушку. По тому, насколько общество способно видеть эту ловушку, можно определить степень зрелости данного общества.

Нынешняя «литературная общественность» — в этом отношении — младенчески незрела и слаба. Некоторые ее реакции страшат меня...

Я в ужасе от восторгов по поводу «Голой пионерки» Михаила Кононова. Спору нет, автор — не Владимир Сорокин. Его нигилизм не носит тотального характера. Он, этот нигилизм, соответствует *евростандартам*. М. Кононов очень тщательно выбирает объекты эксперимента. Он, в отличие от Сорокина, не посягнет на Ахматову и Бродского. Он, не в пример Дмитрию Быкову, не станет искренне деконструировать основные концепты демократической идеологии. Он выберет для циничных опытов то, чего «хранителям общественного мнения» как будто бы не жалко. И в такой прихотливости отбора мне чудится *замысел*. Слово бы осуществляется некая проверка. И вправду — не жалко? Или все-таки жалко?

Господа хорошие, вы что — совсем с катушек съехали? Концепт Великой Отечественной войны — единственная несущая конструкция, которая пока еще удерживает на себе систему нравственных ценностей. Рухнет эта конструкция — рухнет все. Великая Отечественная война — единственная *подлинная* святыня, оставшаяся от советского периода. Она — аксиома, по поводу которой пока почти ни у кого нет сомнений. Единство постсоветского общества достигается осознанием простого факта: *тогда* наше дело было правым и правоту нашего дела — не дано оспорить никому! Зная все это — упиваться повествованием о малолетних шлюхах-партизанках! Ребята, вы чего? Зачем вы дискредитируете советских антифашистов? Вам не терпится подыграть скинам?

А вот — противоположный пример... Маленькая повесть молодого прозаика Сергея Шаргунова «Ура!» («Новый мир», 2002, № 6) вызвала шквал негодования (пока — только в Интернете, но подозреваю, что этот шквал выплеснется и в печатные СМИ). Бесспорно, Шаргунов пишет сыро, злоупотребляет метафорикой, довольно комично подражает стилистике Лимонова (это при таком-то несоответствии биографий). Из Шаргунова может выйти отличный писатель — все задатки для этого у него есть, — а может и ничего не выйти. Но волна возмущения шаргуновской повестью связана, разумеется, не с ее литературно-вкусовыми недоработками. Просто Шаргунов предложил своему читателю *собраться*. Караул! Покушение на свободу!

Может быть, напомнить уважаемым критикам — Андрею Немзеру, Сергею Костырко и проч., — с *какой* радости герой Шаргунова (к слову, наделенный именем и фамилией автора) стал пропагандировать «здоровый образ жизни»? И что происходило с ним до того...

«Помню рассвет на лестничной площадке. Приятель Стас мне руку затягивает ремнем... И сразу я стремительно улетаю вниз, и в сумеречном сознании отражается последняя картина: густые капли крови. Под ногами капли моей крови. И я падаю в эту кровь...

— Хорошие, хорошие вены, — шептал Макар, — выпуклые. — И белизна заходила в вену, растворяясь в Шаргунове Сергее».

Наверное, если бы герой повести отдал концы от передоза, прижимая к груди томик Владимира Сорокина, — вот это было бы хорошо. Вот тогда — ничья свобода не пострадала бы.

Кстати о Сорокине... «Идущие вместе», конечно, — дураки и карьеристы. Но если истина глаголет устами младенца, почему бы ей не воспользоваться и устами глупца? Говоря другими словами, существуют такие общепонятные, но неформулируемые социальные тенденции, которые обычно озвучиваются тупыми политиками. Эти тенденции — то, о чем думают все, а говорят — худшие из всех. Неприязнь (мягко выражаясь) к прозе Сорокина людей, сохранивших веру в нравственные ценности, — из данного ряда. «Идущие вместе» поймали то, что витает в воздухе, и продемонстрировали это — к вящей славе своих политических проектов. Попутно сделав множество глупостей. Путаница, происшедшая после того, проистекла из неверного толкования понятия «свобода» (я говорил о «ловушке свободы»; «казус Сорокина» — пример появления этой ловушки). К настоящему моменту неразбериха с Сорокиным при-

нимает уже совершенно фарсовые оттенки: Владимир Бондаренко щеголяет стилистикой правозащитников, читатель «Независимой газеты» М. А. Шалаев (17 октября 2002 года) напоминает всем о Гулаге ввиду «дела Сорокина». Он же говорит о том, что «Владимир Сорокин мне в высшей степени „социально близок“ не в Марксовом, а в теодор-адорновском, благородном смысле этого термина, так как буквально на этой неделе я видел Сорокина на концерте в Рахманиновском зале консерватории, где исполняли квинтеты Шнитке и Шостаковича». И так далее...

На все это можно было бы не обращать внимания, если бы не фатально выявившаяся неспособность общества внятно сформулировать свои претензии к Сорокину и адекватно наказать его (по мне, идеальное наказание Сорокина будет осуществлено в том разе, когда люди перестанут его читать. Сорокин-порнограф?.. Три ха-ха! Порнография, как известно, — то, что предназначено для сексуального возбуждения читателей или зрителей). «Идущих вместе» возбудила проза Сорокина? Или они эдаким словом ругаются на все безобразное (как прапор в казарме — «почему портянки на тумбочке, немедленно убрать эту порнографию...»)? Понимают ли «Идущие вместе», что тексты Сорокина — хуже порнографии? Печенью понимают, а словами выразить — не могут. Такое чудовищное безъязычие!..

Я очень боюсь ситуации безъязычия. Всякая мысль должна быть правильно воспроизведена. И тем более — мысль этическая. Если же у нравственности нет языка, на котором она смогла бы выразить себя, то это — вообще кошмар. Это — классический предфашистский синдром. Элита разговоры разговаривает, урловатая контрэлита мычит что-то свое далеко внизу. Ее никто не слушает. Нечего, мол, ее слушать, она не умеет говорить на нашем языке. А ведь чваниться своим языком — ничуть не лучше, чем чваниться деньгами. Всякое чванство наказуемо. Собака, быть может, знает то, чего не знает человек. Но выразить это *что-то* она может только одним способом — тяпнув человека за ногу. А если мораль — низведена до положения собаки? Она — тяпнет (а то и разорвет) всю культуру. И будет права. Виноватыми в этом станем мы. Носители культуры. И потому, что не поделились с контрэлитой своим языком, хотя были в силах поделиться. И не только потому...

Сделаю отступление от темы. Почти лирическое.

Я очень люблю читать детективы. Я считаю, что современная реалистическая проза препоручила часть своих обязанностей детективу. К примеру, писатель-детективщик обязан быть наблюдательным и точным, а просто писателю это нынче ни к чему. Для него главнее самовыразиться. Но детектив детективу рознь. Есть такие детективы, которые являются высокой литературой — на уровне Набокова и Томаса Манна.

Один из моих самых любимых писателей — американец Росс Макдональд. На мой взгляд, он лучше Хемингуэя (они стилистически близки друг другу). Однажды я стал читать Хемингуэя *после* Макдональда. И Хемингуэй («Острова в океане») не пошел, показался мне декоративным и поверхностным.

В романе Росса Макдональда «Так они погибают» (в другом переводе — «Смерть на выбор») есть второстепенный персонаж — рыбак Марио, единственный нормальный человек на весь роман. Все прочие герои — уроды разных сортов: распадающиеся наркоманы, свихнувшиеся от амбиций гангстеры, добропорядочные лицемеры и прочие пакостные экземпляры.

Марио — не ангел. Он — обычный мужик. Его умственные способности не превышают норму. Марио зауряден. Он — такой, как все мы. И он, казалось бы, прочно вписан в этот жестокий мир и вполне защищен от его опасностей. У него пудовые кулаки. В случае чего он кастетом отоварит обидчика. Марио сумеет постоять за себя. На чужое он не падок, но и свое, кровное, не упустит. У разных боссов наверху — их разборки. Марио не до этих разборок. Он занят делом. Его принцип: знай свое место, работай — и все получится.

И при первом же появлении этого персонажа, когда еще, собственно, ничего не произошло, — я вдруг понял, что он непременно погибнет, что он обречен. Как обречен живой, теплокровный человек, очутившийся в мире чудовищ и вурдалаков.

Все прочие — желают *казаться*. А Марио — живет на самом деле. Он любит свою работу. Он имеет маленькую мечту — выкупить портовую кафешку. Он вынес от своих предков систему традиционных ценностей. В этой системе намешано много всего, в ней — и смехотворные предрассудки, и действительно серьезные вещи. Марио (в отличие от всех прочих) верит в нечто высшее — в дружбу, в честь, в родственные отношения. Он боготворит мать, он предан брату — *отличнику*, блестящему малому, надежде семьи (сам-то Марио — из троечников, из тугодумов, из тех, кто не подает особых надежд).

Короче, все вышло так: брат Марио «стал человеком» — занял средний пост в мафиозной структуре, женился на *цивилизованной* американке, из Джузеппе пробился в Джозефы. Он — тоже обречен. Всех его способностей хватило на то, чтобы извратиться всего на порядок. Он так и не понял, что рядом с ним те, кто извращен на десять порядков. Его цивилизованная жена присвоила наркотики, принадлежащие всей мафии, свалила все на мужа, убила его и спрятала труп (разумеется, она — дочь весьма уважаемых людей, какого-то сенатора и леди-моралистки). Бедняга Марио стал искать брата, пришел к его жене и получил от нее всю пистолетную обойму — восемь пуль в упор. Грязный итальяшка-де напал на беззащитную женщину. И не подвернись вовремя частный детектив Лу Арчер (главный сыщик в прозе Макдональда), быть бы Марио похороненному как собаке.

Когда я читал роман Макдональда, я был готов заплакать, так мне было жаль Марио (его блестящего братца я не жалел, он получил свое). Вот — думал я — символ: единственному носителю человеческих норм и представлений место на помойке — как последнему бандиту. Он издохнет — все скажут: «Туда ему и дорога!» Если бы Марио был главным персонажем, в замысле автора проявилась бы пафосная натянутость. Но Марио — второстепенный персонаж. О нем упоминается между делом. Жизнь, мол, господа, продолжается...

Да, чертовски жаль Марио и таких, как он. Жаль русского крестьянина, который живет себе где-нибудь в Сибири, работает, никому не мешает — а ему вечно ругают жизнь: то *сицилизмом*, то дефолтом, то еще чем-нибудь. Жаль всякого человека, который своим хребтом создает материальные ценности; его судьба — непрекращающаяся трагедия, а в России — особенно. И без того все его труды раз за разом обращаются в ноль, оттого что на небосклоне неведомые астральные вензеля сменились, доу-джонсы попадали. А тут еще и «милые шалости элиты»...

...В печатном тексте — не место мату, потому что печатный текст — все равно что белый пиджак, который надевают по праздникам. Девушке лучше блюсти себя и не «гулять» до свадьбы. Ребенку нельзя показывать эротические картинки... Вот — этический кодекс миллионов российских граждан. И если нам достанет сил вдуматься в него, мы увидим, что каждый пункт этого кодекса — правилен.

Не о сорокиных надо заботиться, не о прочих *распаденцах*, а о нормальных людях.

Собственно говоря, культура не должна заниматься «пропагандой нравственности» — это не входит в ее задачи. Тому есть тьма подтверждений: нравоучительное искусство, с профессиональной точки зрения, как правило, беспомощно. По своей природе культура эстетична, а не этична. Она демонстрирует нравственные примеры не напрямую. Можно даже сказать, что основная цель культуры противоположна «пропаганде нравственности».

Мораль, не просветленная гармонией, — истерична и тоталитарна. Ей подавай весь мир. Для боярина допетровской эпохи «безнравственно» позволять незамужней дочери выходить из терема на улицу. Для талиба «безнравствен-

ны» буддийские изваяния, фотоаппараты и магнитофоны. Для некоторых тоталитарных сект «безнравственны» даже родительские отношения. Безумная нравственность загоняет человека в крепость, осажденную фантомами свихнувшегося рассудка. Задача искусства — вывести человека из этой крепости, избавить его от неадекватных страхов.

Подобно мудрому психоаналитику, искусство исцеляет запуганных аутистов, показывая им всю сложность и красоту окружающего мира. Оно снимает с их глаз серую пелену — и все страхи рассыпаются, исчезают сами собой. Свободный человек входит в преображенный мир.

Но искусство может существовать только *в рамках*, созданных нравственными законами. Иногда оно *раздвигает* эти рамки. Селин, Генри Миллер, Венедикт Ерофеев, Евгений Харитонов, Набоков с «Лолитой» — все эти авторы работали на опасных участках, их выручил огромный талант. Он позволил преобразовать в чистое золото искусства то, что у других, недостаточно талантливых, писателей так и осталось бы — грязью и мусором. Однако горе тому искусству, которое силится *разрушить* отведенные ему этические рамки. Оно погибнет. В образовавшиеся бреши хлынут полчища злобных фанатиков, ободренных фактом моральной неполноценности искусства. Все культурное поле будет вытоптано ими до полной непригодности.

Я вывел соответствие — назову его «соответствием Владимира Сорокина». Оно выглядит так: чем больше элита читает Владимира Сорокина, тем в большей степени не-элита (контрэлита) будет обращаться к Григорию Климову. Засилье *распаденцев* в культуре приводит к тому, что верхние этажи культуры обрушиваются вследствие воздействия распаденой термитной работы. После чего в силу вступают мифы докультурного происхождения. Очень моралистические и очень жестокие мифы.

Наше время крайне неблагоприятно для существования искусства. Искусство вообще до ужаса хрупко. Оно может жить на чрезвычайно узком участке ценностной шкалы. Оно — исчезающий вид человеческой деятельности. Искусство надо заносить в Красную книгу. В самом ближайшем будущем оно может вымереть — как птица дронт.

Человечество — все в большей и большей степени — превращается в арену войны между гедонистической «цивилизацией» и взбесившейся из-за пороков «цивилизации» моралью. Обе эти стороны способны слышать исключительно друг друга. «Цивилизация» всецело занята всежигающими протуберанцами «талибской» морали, а мораль — циничными вызовами «цивилизации». До искусства никому нет дела; оно пребывает на линии огня между противоборствующими сторонами и непрестанно уничтожается — то залпами с одной стороны, то ударами — с другой.

Мне доводилось смотреть в микроскоп (в школе, на уроке биологии). Помню: заглянешь в объектив, а там — ничего не видеть. Значит, надо подкрутить немножко. Крутишь, крутишь винтик — все без толку, одна серая муть перед глазами. Но вот на какой-нибудь пятнадцатой вертке — появляется четкая картина. Вся цитопlasма-протоплазма как на ладони. Значит, обнаружена искомая степень разрешения. Перекрутил винтик на одну лишнюю вертку — снова серая муть. Перебор, значит. Надо крутить назад. Так и с искусством. Оно тоже зависит от *степени разрешения*. Если социум разрешает себе слишком мало, искусства *еще* нет. Если же он, социум, разрешает себе слишком много, искусства *уже* нет. Малейший толчок маятника в одну сторону — и злобные талибы жгут книги на площадях. Качок в другую — избалованные дети на очередном «празднике непослушания» обжираются даровым мороженым. Пойдет вниз правая чаша аптекарских весов — перед нами брызжащий слюной фанатик нравственности. Опустится левая — увидим развлекающегося «нового русского». Ни фанатику, ни «новому русскому» — не до искусства. Искусство выживает только в условиях равновесия. Неустойчивого равновесия. Нарушится равновесие в одном направлении — и блоковская Прекрасная Дама превратится в «телку»; в другом направлении — и она станет безмолвной

рабыней. Шаг в сторону — и вместо искусства мы получим нудную преснятину, какой-нибудь «ленинский университет миллионов». Шаг в другую — и все затопит порнуха. Малюсенький перебор — и весь мир предстанет для нас развеселым борделем; ничтожный недобор — и он, мир, окажется... все правильно, тоже борделем, но только — мрачным и до предела иерархизированным.

Иногда я думаю: если что и спасет мир, так это — *чувство меры*. Умение соразмерно выстроить систему ценностей, чтобы было ни вправо, ни влево, а так, как надо, — самое оно. Мир, господа, уберезет хороший вкус.

Недавно в газете «Литература» (приложение к «Первому сентября», 2002, № 31, 16 — 22 августа) были опубликованы статьи публициста и критика XIX века, соредатора одноименного журнала «Маяк современного просвещения и образованности». Имя этого автора — Степан Бурачок. Все мои знания о Бурачке ограничивались хрестоматийным: «...помогает дурачок по прозванию Бурачок». Соответственно я и относился к нему как к анекдотической личности. Статьи Бурачка несколько изменили мое отношение к нему. Я продолжаю считать его довольно глупым автором. Но глупость этого автора — не та глупость, которая видна с первого взгляда; эта глупость — не глупость мысли, а глупость *способа* мысли.

«Итак, поэт, вам не о чем писать? Вы говорите это не шутя, настойчиво, повторяете не раз. Итак, вы делали ваши поиски в мрачной стране Я и за пределами этого мрака ничего более не видите? Ежели это так, то я согласен, что вам не о чем писать: вы точно ничего не видите, потому именно, что сидите упорно в потемках Я; это ужасное Я и вам не чета людей слепило. Но кто же вам дал право думать, что если вы не видите, то уже ничего и нет. За страной мрака есть страна света — зачем вы туда нейдете? Там, во свете и при свете, вы увидите чудные тайны мироздания, устроенного по чертежу добра, истины и красоты. Проникнутые светом и любовью, вы не поспеете пером за быстротой потока поэзии чистой, небесной, который каскадом ринется из глубины сердца. Там царство поэзии, там ее ищите. В мрачной стране Я нет поэзии, там может быть лишь художественность блестящая, но мертвая, безжизненная» («О стихотворениях М. Ю. Лермонтова»).

Старая песня. Бурачок — из тех проповедников, которые вечно обещают всем райские сады — в обмен на отказ от Я. Однако никакие сады никому не являются; итог работы бурачков и их учеников всегда поразительно небогат — он сводится к однообразным поучениям и запретам. Впору ответить по-ключевски: «И облетел ваш сад узорный, ручьи отравой потекли».

Пришла мне на ум такая фантазия: открываю я дверь, а на пороге — торжествующий Бурачок.

— Сами видите!.. Я был прав. А вы мне не верили...

— В отношении *чего* вы были правы, милостивый государь?

— Не *чего*, а *кого*. В отношении Лермонтова.

— Как же вы правы? Лермонтов — классик русской литературы. Его все знают...

(Позже я сообразил, что почти повторил довод одного московского поэта — «подавляющая часть человечества — христиане, и в этом смысле Христос воскрес».)

— Я не об этом, — отмахнулся Бурачок.

— А о чем же?

— О Сорокине. Вот послушайте... «Нынешние книжники и поэтоучители везде находят поэзию — на бойне быков, в битве собак фурманщиками, в драке пьяных мужиков, в разрушении, уничтожении, истреблении, истязании — это ложь, убедитесь! Здесь отрицание поэзии». Так я говорил в те времена, когда Сорокина и в страшном сне никто не помыслил бы. Как я правильно предсказал путь, по которому пошла ваша литература!

— Помилуйте, я не люблю Сорокина в такой же мере, в какой его не любите вы... Но при чем здесь Лермонтов?..

— Именно — Лермонтов! Все дело в Лермонтове! Я помню, был один фильм. Назывался — «Сталкер»...

(Откуда Бурачку известен этот фильм? — удивился я. Впрочем, если он знает про Сорокина, отчего бы ему не ведать и про Андрея Тарковского?)

— Так вот, — продолжил Бурачок, — в этом фильме была комната, которая исполняла *подлинные* желания людей. Захотел человек, положим, осласлать человека... А втайне при этом — мечтает о мешке золота. Комната ему дает мешок золота. Получи, мол... Могу сказать, что *ваши* подлинные желания — исполнились сполна. Вы хвалились Лермонтовым, но *хотели* вы — Сорокина. Вот и получайте своего Сорокина.

— Как это?

— Согласитесь, что в Лермонтове вас привлекал «дух отрицанья, дух сомненья». Но этот же «дух отрицанья» с наибольшей полнотой выражен в текстах Сорокина. Лермонтов не мог писать в духе Сорокина, в мое время ему никто не позволил бы сделать это. Да и сам Лермонтов был неопытен... как и все общество. Он стремился к бездне, но думал, что идет к высокой звезде. И вы, хвалители Лермонтова, — шли за ним, в бездну. Вы упивались амурными похождениями Печорина. Точно так же сейчас вы упиваетесь порнографией. Вы и тогда — на деле — хотели порнографии, но не могли изъявить свое желание открыто. Сорокин — последнее звено цепочки, которая началась с Лермонтова.

Я немного растерялся, потому что вдруг понял: *отчасти* мой оппонент прав. И ответил:

— Есть два подхода к человеческим грехам. Религия искореняет грехи. А искусство — изучает их. Но чтобы изучить грех, надо понять, что это такое. То есть — опытно познать его. (Хотя бы мысленно...) Для религии нетерпим всякий грех. Для искусства — нетерпим только грех, который превышает некую установленную степень. Да и для общества — тоже.

— Ага! — возликовал Бурачок. — Грешите, братцы, но в меру... Помнится, вы жалели «простецов», жалели Марио и таких, как он...

— Да. Я хотел, чтобы Марио и такие, как он, научились бы языку искусства, языку культуры...

— Для чего? Для того, чтобы они потянулись к Сорокину? Горе тому, кто соблазнит малых сих.

Неуместное употребление евангельской цитаты возмутило меня настолько, что я наконец-то обрел уверенность и воскликнул:

— Лермонтов — не Сорокин, потому что Лермонтов — гений, а Сорокин — пакостник! Следует быть точным в определении меры вещей. Нельзя бороться с «грехами» вообще — так можно добороться до полного самоуничтожения. Всякие побуждения имеют свои причины и объемы, в том числе и те побуждения, которые вы изволите называть «греховными». Культура не может висеть в пустоте. Она должна опираться на твердый фундамент — на понимание реальности во всех ее противоречиях и сложностях. Поэтому культура *обязана* быть — отчасти — «греховной», иначе она перестанет быть культурой. Вы желаете выбить из-под нее фундамент. Этим вы ее уничтожите. Вспомните стихотворение Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Оно вопиюще неканонично. Но оно — прекрасно. А ответ Филарета — «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана» — соответствует всем канонам, но не имеет никакого отношения к Поэзии. Дай вам волю — не останется Пушкина, будет повсеместный Филарет. Культура держится на золотой пропорции. Нарушится пропорция — и культура исчезнет, превратившись в прописи или в пакости.

— А кто будет вымерять вашу «золотую пропорцию»? Кто станет устанавливать, до какой черты грехи — «культура», а после какой они же — «пакость»?

— Человек, конечно же.

На этой реплике мой визави окончательно потерял терпение, буркнул из нелюбимого им Пушкина: «В разврате каменейте смело» — и исчез.

Хочется думать, что в нашем споре я все-таки был ближе к правде.

СВЯЩЕННИК АЛЕКСЕЙ ГОСТЕВ



ТРИНАДЦАТЬ ТЕЗИСОВ О «ПОРЧЕ ПРАВОВ»

1. Понятие границ, допустимого — недопустимого вне религиозного контекста становится относительным и условным. Общественная мораль есть некая экстериоризация нравственности, всегда имеющей религиозные корни. Эту проблему чувствовал Достоевский, формулируя ее с предельной остротой: если нет Бога и вечной жизни, то все позволено.

2. В язычестве, очевидно, имело место торжество плоти. Однако это не означает вседозволенности. Действовала строгая система запретов — табу, регламентирующая бытие личное и общественное, не говоря о различных формах мироотрицающей аскезы для избранных. Даже Ветхий Завет, провозглашающий нравственные заповеди, целиком оказывается во власти ритуальных предписаний — запретов, имеющих скорее сакральный, чем моральный характер.

3. Принципиальная новизна христианства — в абсолютизации нравственных императивов. При этом в «царстве не от мира сего» исключены методы насилия и принуждения для контроля за их исполнением. Попытка построения христианской цивилизации, предпринятая в Средние века, при всех своих достижениях обернулась неудачей не в последнюю очередь из-за абсолютизации конкретных форм христианского присутствия и насильственного характера системы реализации и воспроизведения этих форм.

4. Ошибочным было бы предполагать, что с христианской точки зрения человечество несколько столетий назад было более нравственным, чем сегодня. Другое дело, что присутствовало четкое структурирование культуры и общественной морали. Границы и рамки допустимого в «дневной» культуре были, бесспорно, более жесткими и непререкаемыми. При этом «на полях», в прямом смысле маргинально, существовала так называемая карнавальная культура, в терминологии Бахтина — «культура телесного низа», сохранявшая элементы языческой оргиастичности, весьма условно воцерковленные и обезвреженные (например, ограничение карнавалов неделей перед постом и, таким образом, приурочивание их к пасхальному циклу; показательным также является изображение бесов, чудовищ и фривольных сцен на полях церковных манускриптов и в деталях внешнего декора романских и готических соборов — в общей икономии мироздания есть место и всему этому, но место вполне определенное, «кромешное», «с краю»).

5. С эпохи Возрождения начинается отнюдь не отказ от христианства как такового, как полагают некоторые мыслители (например, Лосев в своей известной книге «Эстетика Возрождения»), но от его средневековых форм. Набирает силу процесс секуляризации, то есть высвобождения всех сфер человеческой жизни и деятельности от моделей, сложившихся на протяжении Средневековья. Далеко не сразу и не во всех случаях это приводит к полному отрыву от христианских корней. И поныне так называемые общечеловеческие, секулярные, ценности имеют своими прообразами десять заповедей («закон, написанный в сердцах»). Крещение, совершенное единожды, ложится «несмываемой печатью» на культуру нашего ареала, формирует сам образ человека, архетипы его сознания и поведения. При этом нельзя не констатировать, однако, что на этапе Новейшего времени мы имеем дело уже с настоящей дехристианизацией некогда «крещеного мира» и вступаем в эпоху постхристианскую,

которая, как ни парадоксально (если вспомнить некую оппозицию христианства и секулярного гуманизма), оказывается вместе с тем эпохой «пост»- и даже «анти»-гуманистической.

6. Не менее парадоксально, что именно христианство в определенном смысле сделало возможным столь далеко идущий процесс секуляризации. Культуры, регламентируемые системами ритуальных запретов, не способны к подобного рода диалектическому самоотрицанию. Тут не важно, во что верить и какими принципами руководствоваться в поступках, главное — неприкосновенность общепризнанных религиозных или, что то же самое, общественных регуляторов.

Римские авгуры могли сколько угодно смеяться над религиозно практикующими простецами, однако государственный культ отправлялся ими с должным тщанием. Император мог быть скептиком и атеистом, при этом *ex cathedra* оставаясь живым божеством. Верования различных народов, входивших в Римскую империю, были терпимы и даже перенимались в рамках эллинистического синкретизма постольку, поскольку они не входили в противоречие с системой. С другой стороны, преступником для древнегреческого полиса оказался Сократ, так как он в своем искании истины покусился на сам принцип ритуального регулирования, а значит, и социальной стабильности. По той же причине в Римской империи гонениям подвергались христиане, принципиально отказывавшиеся от участия в главном ритуале системного культа — жертвоприношении перед статуей императора.

7. Христианство вместе с абсолютностью нравственных императивов впервые привнесло подлинную свободу и от языческого ритуализма, и от ветхозаветного законничества, в своем роде не менее ритуалистичного. Несмотря на то что в процессе интеграции в историю христианство по мере сил вооружилось как первым, так и вторым, оно по своей природе не может быть ограничено ни одной из форм своего исторического воплощения, что как раз и обеспечивает неизменность изначальных принципов. Эту проблематику гениально запечатлел в Поэме о Великом инквизиторе опять-таки Достоевский.

8. Свобода, как ее ни перетолковывай, неизбежно чревата возможностью отступления от этих принципов и не терпит насильственного оформления, пускай даже столь возвышенного и впечатляющего, как очертания Софии Константинопольской или уносящихся ввысь сводов пламенеющей готики. Прививка свободы и опыт Истины Личного Триединого Абсолюта, являющегося источником любых императивов, в том числе и нравственных, сделали хрупкой статику средневековых построений. И вина не христианства, но христиан в том, что свобода стала использоваться человечеством не во благо, а опыт Истины привел к отрицанию неизмеримо более глубокому и трагическому, чем вопрошания Понтия Пилата. Опасность содержится в самой величии дара.

9. Именно христианская закваска придала «крещеному» европейскому человечеству открытость и динамизм, универсализм и творческий потенциал. Нагорная проповедь задала нравственную высоту, недостижимую ни в одной традиции и культуре. Но в то же время и по той же причине опасность отпадения и катастрофичность путей несравнимы с судьбой каких бы то ни было других цивилизаций. Невозможно представить Апокалипсис в Индии или Китае, со всей их мудростью и прозрениями, пребывающими в статике (такого рода цивилизации переживают свои взлеты и падения, но прекращают свое существование разве что в результате стихийных бедствий и глобальных катастроф).

10. Идеал целомудрия как совершенной чистоты и цельности богоподобия в перспективе Царствия Божия противопоставлен в Новом Завете и языческой оргиастичности, и спиритуалистическому аскетизму, и ветхозаветной идее

продолжения рода, воспринимавшегося как религиозный долг ввиду первоначального отсутствия учения о вечной жизни. Притом в Новом Завете воздержание от брака, девство, не предлагается как единственный путь («могущий вместить да вместит»). Брак тоже может быть выражением целомудрия. Первое чудо Христос совершает на брачном пире в Кане Галилейской, превратив воду в вино. Человеческий брак есть символ богочеловеческого союза — брачного пира Бога и Нового Израиля (что подчеркивается, например, исторической связью таинства брака с Евхаристией — таинством Царства Божия, самым главным таинством Церкви), откуда проистекает и новозаветный запрет развода. Деторождение является, таким образом, Богом благословенным последствием брака, но отнюдь не его целью и оправданием. Когда Царство Божие наступит в полноте после возвращения Спасителя «во славе», потребность и возможность физического общения полов отпадет. Но брак этим не отменяется, а преобразуется, и полнота единения друг с другом и с Богом, а через Него и со всем спасенным человечеством станет совершенной и абсолютной.

Этот новозаветный идеал раннехристианского периода исторически не был реализован в полной мере. В Западной Церкви утвердилось вслед за бл. Августином представление: пол — греховен, через плотскую близость передается первородный грех, — отсюда целибат для всего духовенства и, позднее, догмат о непорочном зачатии не только Иисуса, но и Девы Марии.

На Востоке не дошли до подобных крайностей, однако во всем христианском мире преобладающим оказывается предпочтение воздержания, отношение к браку как терпимому несовершенству, имеющему оправдание лишь в деторождении. У православных постепенно появляется безбрачный, монашеский епископат и возникает практика монашеского пострига на склоне лет или на смертном одре.

Средние века сформировали нормы, не вполне соответствующие Евангелию: грех преследовался законодательно, положение женщины также не отвечало евангельскому идеалу. Кодекс чести рыцарства и так называемую куртуазную любовь тоже нельзя считать подлинно христианскими. Возрождение открыло возможность для появления христианского гуманизма, но обернулось в итоге возрождением язычества. Наиболее стойким средневековым наследием оказалось в сфере нравов. Заповедь, превращенная в закон, постепенно вырождается в буржуазное ханжество, далее набирает силу волна противодействия, выливающаяся во всеобщее раскрепощение.

11. XX век несет с собой переворот: завершается секуляризация как тотальное отступление от христианских норм в том виде, в котором они сформировались в Средние века: «все позволено», «заголимся и обнажимся». Неоязыческое торжество гедонизма стирает рамки допустимого; все, что присутствовало в карнавальной культуре, выходит на поверхность, отменяется всякая иерархичность как в области ценностей, так и в сфере морали; отменяется само понятие греха.

В области нравов совершается шаг назад, в дохристианскую языческую древность: стихия пола, теряя не только личные, но даже различительные половые признаки, ведет к дегуманизации, развоплощению человека. Человек постиндустриального общества становится безличным, одиноким и манипулируемым, он гонится за удовольствием, позволительным в любом виде. Главное — не противоречить системе (производство — потребление — политкорректность) и зарабатывать деньги для удовлетворения потребностей, этой же системой формируемых. Соответственно неотъемлемым элементом обслуживающей постхристианское человечество культуры с неизбежностью становится порнография.

12. Новый виток дегуманизации и развоплощения — виртуализация человеческого существования, что вполне объяснимо с точки зрения христианской: бесы, силясь стереть само представление о богоподобии человека и о

поражающем его грехе, пытаются, по мысли Клайва Льюиса, механизировать и уничтожить даже то, что еще остается от «удовольствия».

13. Христианство открыло человечеству перспективу Царствия Божия, но именно оно сделало возможным и Апокалипсис. «Смотрите не ужасайтесь, надлежит бо всем сим быти». Мы, христиане, должны мужественно принимать мир, констатируя деградацию норм общественной морали и черные дыры небытия, стремящиеся охватить и поглотить культуру, тем более что во многих отношениях мы прямо или косвенно несем за это ответственность.

Евангельский реализм должен быть гарантией от тотального отрицания и самоустранения. Мир лежал и лежит «во зле», но Христос пришел, чтобы не судить, а спасать. Мечты о Царстве Божием на земле окончательно рассеялись, и пора, воздавая должное Средневековью за подлинные его достижения, изжить иллюзии и пересмотреть модели христианского присутствия в мире в соответствии с евангельским благовестием.

Отрицая и разоблачая зло и ложь, необходимо уметь усмотреть подлинные ценности и тогда, когда те, кто их созидает, не отдают себе отчета в Истине и даже противятся ей. Добро во всех его проявлениях, творчество, красота и стремление к совершенству онтологически не могут быть не от Бога, то есть имеют ценность богочеловеческую. Христианский универсализм должен двигать на то, чтобы ценить и целить, очищать и преображать, «невзирая на лица» и не пугаясь новых форм. И при этом не извне, но изнутри пребывая в гуще жизни, в гуще культуры.

Десять заповедей были и остаются для христиан нравственным основанием. В то же время нельзя подменять их викторианской добропорядочностью, призывая на помощь для ее поддержания закон и его блюстителей. Времена полиции нравов безвозвратно ушли. Фарисейство в конечном итоге дискредитирует изначально благие принципы. Гедонизм и вседозволенность во многом являются реакцией на засилье буржуазной морали, не менее, по своей сути, далекой от Евангелия (мораль друзей Иова и законников, призывавших побить камнями блудницу). Грех не может быть оправдан не только когда он объявлен обществом нормой, но и когда просто терпим как таковой ради социальной стабильности. Однако признаки образа Божия мы должны различать и в последнем грешнике и всегда быть готовы его принять. В явлениях культуры мы не должны пугаться адских глубин, куда подчас она пытается нас низвести. Мы не должны бросать заблудших в этих глубинах, но уметь вывести из них на свет. Другое дело — сознательное служение злу и растление «малых сих». Здесь нужна непримиримость. О таких сказано, что «лучше бы им повесить себе на шею мельничный жернов» и утопиться. Анафемствовать иногда столь же неизбежно, как быть всепонимающими и видеть малейшую возможность света в камере обскура современности.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

*

ТЕЛЕНОВОСТИ

В традиционной культуре новость — событие надолго. Прочное событие, памятное годами и даже столетиями — как в летописях (а ведь тоже хроникеры работали — лишь в газетную эру понятие хроники смодулировало из летописного масштаба в репортажный). Ныне информационные поводы освещаются в электронной и печатной прессе с такой плотной дробностью, что превращаются в мелочь, которой СМИ рассчитываются с публикой за ожидаемые рейтинги. В старинных хрониках о мелочах не упоминалось. Теперь все, что упоминается, фатально мельчает.

Впрочем, иногда масштаба заведомо нет. На телеэкране события уравниваются в качестве единиц хронометража, поэтому пустые позиции можно заполнить всякой всячиной. Тут и бизнес, и политики поспевают. Что угодно и кто бы ни был, хоть пара слов от потерявшего влияние олигарха, хоть странноватая Партия жизни: попал в новости — получил вес. Мелькание утяжеляет. Пиар, статус, рост числа продаж. Если большое в ряду прочих новостей разменивается, то малое растет в цене. Получается взвесь из примерно одинаковых информационных частиц, текущая в (или скорее сквозь) наше сознание.

Мелкими единицами времени сыплется поток новостей. Компьютер включен, телевизор работает. Можно не вчитываться и не всматриваться — шуршание фраз и мелькание картинок все равно задевает. Время информатировано — форматировано информацией. А информация, хотя и принято жаловаться на ее переизбыток, на сайтах Сети и в телепрограммах повторяется, словно случаемого не хватает на многоканальное время, которое необходимо заполнить.

Впрочем, подчас хватает, еще как. Одно событие (катастрофа подлодки «Курск», теракт 11 сентября, катастрофа башкирского самолета в небе над Германией, захват заложников на Дубровке) поглощает все информационное время. Оно предстает сверхкрупным, как исторические вехи в летописях. Правда, крупность на современном телевидении достигается особым, «мелким» способом: в течение суток, двух суток и более повторяются одни и те же микросюжеты с места событий, разбавляемые беседами в студии, приглашенные участники которых жаждут пиаровски засветиться на фоне масштабного горя. В сущности, так называемые эксперты, в роли которых выступают чаще люди, профессионально к проблеме никак не причастные, оттягивают на себя информационный повод и сами становятся новостями внутри большого трагического известия. Которое тем самым и растет по времени непрерывной трансляции и дробится-разжигается внутри себя.

Так или иначе, фактом остается то, что новостей парадоксально *мало* — иногда даже просто одна — на *множество* выпусков новостных программ. Когда грандиозных неприятностей нет, записанный на пленку компактный набор новостей просто повторяется (как в появившихся в текущем сезоне ежечасных пятиминутках «Сегодня» на НТВ, как в более редких федеральных «Вестях», как в программе «Вести-Москва», как в чередовании новостных пе-

редач разных телеканалов). А «Евроњьюс» катают на протяжении всего эфира один и тот же информационный блок, и просто удивительно, для чего им три-четыре часа трансляции. Создается впечатление скудости жизни, в которой, несмотря на планетарную глобальность, случается всего-то не более пяти достойных внимания событий в день.

От трех до пяти. В дневных пятнадцатиминутных теленовостях проходит до 8 — 10 сюжетов, в получасовых вечерних — до 12 — 14. Однако крупным планом — хронометражем свыше двух минут — и в утренних, и в вечерних выпусках дается в среднем по пять новостей. Эти же пять новостей фигурируют в ежечасных пятиминутках НТВ. Различие состоит лишь в объеме времени, потраченном на те или иные из них разными каналами утром (когда новостные программы в целом короче) или вечером. При этом крупноформатные темы на всех каналах во всех выпусках новостей в течение дня в основном совпадают.

Вот перечень информационных поводов, поданных первым планом за 4 июля 2002 года (сейчас не будем останавливаться ни на комментаторской подаче, ни на последовательности тем в программах разных телеканалов): крушение башкирского самолета над Германией; наводнение на юге России; безработица среди чеченских переселенцев; чрезвычайные происшествия во время празднования Дня независимости в США; проявления беспокойства в Афганистане. Два из пяти информационных поводов здесь вообще не являются новостными в точном смысле слова: безработица среди переселенцев из Чечни и беспокойство в Афганистане постоянны. Так что, строго говоря, весь день на всех частотах высвечивалось даже не пять, а только три события.

События повторяются не только в течение дня, но и изо дня в день. Новых событий иногда бывает не более трех. В доказательство — перечень главных новостных сюжетов за 6 июля: башкирский самолет; наводнение на юге России; ураган на западе России; беспокойство в Афганистане; предположительное нападение на израильский самолет над Украиной (на следующий день сообщали, что, возможно, в него попали не ракеты, а природное явление — шаровая молния, а еще днем позже, так и не прояснив ситуацию, совсем забыли про событие). В сравнении со списком информационных поводов за 4 июля — только два новых. Или 7 июля: башкирский самолет; пожар на шахте в Донецке; самоубийство дезертира в Сибири; последствия наводнения на юге России; угроза срыва навигационного сезона в порту Мурманска: три новых темы в сравнении с перечнями за предыдущие дни.

Монотонию новостей начала июля можно частично извинить двумя обстоятельствами. Во-первых, массовая гибель детей (в катастрофе башкирского авиалайнера) — несчастье, с которым приходится медленно сживаться. Отсюда — ежедневное возвращение к событиям в небе над Германией. Во-вторых, в кои-то веки русские оказались невиновными в аварии, а преступно схлтурили хваленые западные службы; с этим не могли смириться адепты привычных самообвинений, и публика напряженно следила за перетягиваниями политического каната. И этот фактор заставил изо дня в день говорить об одном и том же.

Но и в периоды, не отмеченные масштабными катастрофами, новости остаются монотонными. Отмена результатов выборов в Красноярске, возня вокруг выборов в Нижнем Новгороде, банда гелаевцев в Ингушетии, запрет третьего срока губернатору Яковлеву, события вокруг похищения С. Кукуры, США готовят планы нападения на Ирак — стандартный набор крупноформатных информационных поводов на всех каналах на протяжении первой недели октября 2002 года.

Впрочем, летняя статистика отличается от статистики активного сезона. Летом почти нет политических событий — встреч лидеров с галстуками и без, заседаний Думы и прочей протокольной информации, которая забивает эфир сравнительно нейтральной динамикой. Летом новости относительно свободны

от политических телодвижений и потому прозрачней в отношении своего доминантного смыслового лейтмотива. А он сводится к хаотизации жизни: самолеты падают, наводнение смывает дома, бизнесменов похищают, бомбы падают или вот-вот упадут. Под покровом политики скрывается хаос — вот как можно прочесть совокупное новостное послание...

Вернемся к дублированию новостей на разных каналах. Выше шла речь о крупноформатных темах, одних и тех же в разных информационных блоках. Но сюжеты секундного формата на разных телеканалах тоже в основном совпадают. Вот ведь странность: пишут и снимают словно в эпоху единственного центрального телевидения — по одним и тем же поводам. Как будто во всем мире не случилось других событий и как будто, несмотря на конкуренцию, многоголосым СМИ необходимо солидаризироваться в выборе сюжетов.

Например, в дни, когда освещались события вокруг катастрофы башкирского авиалайнера, в той же Башкирии произошла аналогичная трагедия — в аварии погибли дети, ехавшие в автобусе. Но об этих детях и их семьях СМИ ничего не рассказывали. Лишь через несколько недель, когда в республике стали принудительно вычитать из зарплат бюджетников помощь семьям погибших в авиакатастрофе и родители детей, погибших в автобусе, возмутились, информация о событии проникла в один (всего лишь) из выпусков новостей.

Время, артикулированное повторяемыми событиями, пересыпается из одной информационной емкости (например, Первый канал и новости в полдень) в другую (НТВ и новости в 16 часов): песочно-информационные часы. Время заполнено сообщениями, но при этом монотонно. Монотония — отсутствие событий. Или — их несущественность.

Трясина несущественного. Скудость крупноформатных новостных тем — один полюс статистики. Другой — избытие небывальщины. Она проникает и в новости (в виде, например, сообщений о грядущем падении астероида на Землю, никем из астрономов не подтвержденных) и разбавляет информационный ряд в целом. В соседстве с реальными событиями она получает онтологический статус. Это как циркониевый браслет в рекламе с популярным актером Л. Куравлевым. Актер, да еще снятый «в жизни», вроде как на собственном дачном участке, достоверен, лечебные свойства браслета — отнюдь, но, будучи прицеплены к Куравлеву, не допускают в себя не верить.

Любая паранаука обретает ранг академической, если соответствующее сообщение поместить рядом с проверенными сведениями. И вот на телеэкране показывают, как некие британские энтузиасты ищут нефть магическим способом — вертя рамочку и принохиваясь к «энергетике». Речь идет о неадекватных маргиналах, но идет без комментария и столь же почтительно, как в рассказах о нормальной науке. В другой передаче между прочим затрагивается биоизлучение камней, — выходит, оно существует. А уж в Сети невесть откуда взявшиеся сведения чуть ли не преобладают.

В современном информационном поле якобы существующее — паритетно с существующим на самом деле. И даже более весомо. Так, оказавшаяся мнимой сенсация об обнаружении неохраняемого ружейного арсенала в Чеховском районе под Москвой неоднократно передавалась 30 августа 2002 года всеми телеканалами. А когда дошло до опровержения дутого факта, то лишь два канала вскользь оповестили публику об ошибке.

Благодаря разветвленности информканалов псевдоморфозы бытия обретают вязкую густоту. Из-за невозможности отделить существующее от несуществующего восприятие тонет во всеобщей несущественности, так что никакой астероид не страшен, а вместе с ним и обвал на биржах, и глобальное потепление, не говоря уже о годах отключенном отоплении в жилых домах в Иркутской области.

Почему попадает в информационные потоки небывальщина, вполне понятно хотя бы из примера с циркониевым браслетом: коммерция. Коровье бе-

шенство, как с экрана в тех же новостях уверяли отечественные инфекционисты, человеку вряд ли передается, но на рынке говядины обострилась конкуренция, и потому новости твердили об опасности чуть не месяц. Коммерция требует еще и нового-удивительного — отсюда поиски нефти при помощи магической рамочки или неохраемые танки и противоракетные снаряды. Что же касается итогового осадка тотальной несущественности, то легко думать, что он — просто незапланированный результат рыночных манипуляций, случайный отход производства. Но можно предположить, что он зачем-то тоже культивируется — так же, как монотонное переживание времени.

Монотония несущественности анестезирует, притупляет восприятие. Уж не на невозмутимость ли, не на холодность сознания работают масс-медиа? Стоило бы выразить им за это признательность — при безотрадности ежедневных новостей психологическая защита необходима. Но новости-то делают сами СМИ. Сами калечат — и сами же лечат: замкнутый производственный цикл.

Кошмар и курьез. «Новости — наша профессия» — рекламировало себя НТВ, хотя ровно то же самое могли сказать про себя и другие телекомпании. Если ключевая телепрофессия — новости, то ключевой компонент в изготовлении новостей — отбор событий. Отбор естествен, ведь все, что происходит, в 15 — 30 минут не уложишь. Сходным образом отбирают события историки, описывая давние или близкие к нам эпохи или же саму современность. В физике факты не отбрасывают, в биологии тоже, даже мораль учитывает все варианты человеческого поведения. Селекция материала — удел исторического сознания, в котором преимущественным значением наделяются те события, что укладываются в схемы исторического движения (эти схемы представляют собой способ связать факты в единую картину — историю, тогда как единство процесса — дань привычкам рациональности: процессы должны осмысляться как непрерывные, в причинно-следственных категориях).

Но там, где есть отбор, имеются и критерии, и тенденции отбора. В новостях они прямо-таки вопиюще имеются.

Возьмем 9 июля 2002 года. Перечислим темы утренних, дневных и вечерних новостей шести центральных телеканалов общим списком. (Совпадающие в разных выпусках и на разных телеканалах темы, которым отведено две и более минут и которые даны в начальной части выпусков, выделены жирным шрифтом; совпадающие темы, данные хронометражем менее двух минут и ближе к концу выпусков, выделены курсивом, не повторяющиеся на разных телеканалах темы, находящиеся, как правило, в самом конце программ и данные мелким форматом, никак не выделены.) Итак: **последствия наводнения на юге России; катастрофа с башкирским самолетом в небе над Германией; пожар на украинской шахте; ЧП на выставке вооружений в Нижнем Тагиле; драка торговцев и милиции во Владивостоке; голодовка врачей в Иркутской области; решение Конституционного суда о возможности избирать губернаторов на третий срок; суд над террористами в Пятигорске; делегация РФ в Тбилиси и переговоры по поводу боевиков в ущелье; скандалы с бизнесменами-мошенниками в США; США планируют военную операцию против Ирака; наводнение в Афинах; суд над Лимонным; драка в Красноармейске; драка в Новосибирске; издевательства над детьми в республике Коми; намерение Украины вступить в НАТО; король Иордании в Москве; холера на Алтае; предупреждение страховых компаний о мошенниках, устраивающих автомобильные аварии; тяжбы вокруг бюджета федерального центра и субъектов федерации; фатальная медицинская ошибка, совершенная британскими врачами; ЧП в Испании; Газпром купил акции НТВ, оставшиеся у Гусинского (догадайтесь, на каком канале об этом оповестили); конкурс красоты среди собак в Голландии; заплыв на Каспийском море ветеранов ГРУ; новый жираф в Московском зоопарке.**

Тревожных новостей (включая неприятные россиянам намерения Украины вступить в НАТО или переговоры в Грузии) в этом списке 23 из 26, причем среди крупноформатных тем угрожающих 6 и лишь 1 новость нейтрально-протокольная.

В другие дни пропорция примерно та же. Если не наводнение на юге России, то хотя бы ураган в Калининградской области или проливной дождь, в результате которого в нескольких микрорайонах Красноярска отключили свет; если не столкновение самолетов над Германией, то авиакатастрофа на Кипре или падение самолета в Африке; если не голодовка медиков, то злоупотребления на приемных экзаменах в вузы...

Симптоматично, что в сетке вещания рядом с блоком общих новостей, под отдельной программной «шапкой» («Криминал» на НТВ, «Состав преступления» на ТВС, «Дежурная часть. Вести» на РТР) располагаются новости криминальные. Тем самым негативная информация разрастается: к 15 — 30 минутам пожара на шахте и холеры на Алтае в течение дня добавляется по 20 — 30 минут краж и разбойных нападений.

В итоге получается, что в мире происходит главным образом хаотизация всего — от общества до погоды. Если же встречается обнадеживающее событие, то оно дается существенно меньшим хронометражем, чем события угнетающие. Пример: «Сегодня», НТВ, 8 июля 2002 года, 12.00: объемом по 2 минуты в среднем показаны похороны погибших в крушении башкирского самолета над Германией, пожар на украинской шахте, драка в Подмоскowie, затопление дренажной системы в Калининграде, даже пожары в далекой Канаде; зато факт, способный вызвать положительные эмоции, — поездка В. Путина по Волге (а Путин внушает надежду значительной массе зрителей) — уместился в 20 секунд. Еще один пример: в пятнадцатиминутных новостях НТВ от 5 июля 2002 года, 16.00, 14 минут отводились на разбившийся башкирский самолет, жестокости чеченских бандитов, инцидент с взрывом в небе над Украиной, попытку самоубийства в приемной Президента, конфликт Русской Православной Церкви с католическими миссионерами, скандал в Государственном академическом симфоническом оркестре, и только 1 минута пришлось на нейтральный материал — о том, как СПС и «Яблоко» пытаются договориться о едином кандидате на выборах (впрочем, в комментарии акцентировалось, что попытка осталась безрезультатной, — и тут не слава Богу).

Инерция новостей продолжается в сетке вещания в целом. Сразу после только что описанного залпа неприятностей — после новостей в 16.00 на НТВ 5 июля 2002 года — последовал такой анонс вечерних фильмов и передач: «Грязная работа», «Криминальная хроника», «След оборотня», «Уличные шалопаи», «Кнопка мертвеца», «Кома».

Хаотизирующие события — главное блюдо в меню новостей. Но предусмотрен и десерт. Десерт тоже специфичен. Новости должны быть малоприятными. Поэтому чуть ли не чаще, чем репортажи о премьере в театре или о юбилее известного артиста, на сладенькое нередко предлагается что-нибудь неаппетитно-аномальное или уродливо-курьезное — хорошо, если сообщения о конкурсах на выпекание самого большого блина, на количество выпитого пива или о полетах энтузиастов на воздушных шарах, а то ведь угощают и известием о конкурсе на скоростное поедание тараканов, состоявшемся где-то в американской глубинке, о небывалом нашествии аллигаторов во Флориде, о рождении двухгодовалого младенца в Индии или об обнаружении кота с семью пальцами на каждой лапе. Нередко десертные лакомства сдобрены ароматизаторами, напоминающими об основных блюдах новостного меню. Например, в полдень 8 июля новости на НТВ начались с похорон жертв авиакатастрофы, а закончились репортажем о доме отдыха для заключенных, организованном прямо в колонии. Вроде дом отдыха — хорошо, но ведь не где-нибудь, а в колонии... А в ноябре в качестве хорошей новости фигурировала собака, которая нашла на окраине Владивостока новорожденного младенца, брошенного матерью в снег. С одной стороны, собака младенца, слава Богу, нашла, но с другой стороны, что за ужас — бросить новорожденного в снег!

Хорошо хоть, что после подобного десерта следует безотказно-позитивный «кофе» — спорт и погода. Впрочем, от спортивного блока в текущем сезоне многие каналы отказались, а у погоды в последнее время свои катастрофизмы:

засуха, пожары, смог, наводнения, необычайные морозы, слишком высокое атмосферное давление; соответственно метеонОВОСТИ перемещаются в зону крупноформатных (читай: неприятных) информационных поводов.

В старых хрониках тоже хватает наводнений, пожаров, нашествий. Это естественно: чрезвычайные события подолгу помнятся и потому ложатся в схему истории в качестве памятных вех для группировки других дат. Но формообразующую роль в летописях играли также княжения, посольства, кодексы законов, события конфессиональной жизни. Что же до мора, глада, смут, то они распределялись по векам, а не теснились в сутках. К тому же летописи мало кто читал, они не тиражировались на массовую аудиторию многожды в день — практически непрерывно. Поэтому на коллективное сознание не наваливался перманентный хаос, расцвеченный мелкими «как ни в чем не бывало» — известиями о дне рождения собачки, отпразднованном столичной тусовкой в одном из модных клубов, или об изобретателе-самоучке, приспособившем двигатель от бензопилы к табуретке на колесиках и собирающемся подарить новый вид транспорта президенту Путину, и прочая, и прочая.

Акцент на хаотизации и теперь не повсеместен. Достаточно с отечественными новостями сравнить программы «ЕвроНьюс». Разумеется, и там не обходится без терактов или обвалов биржевых котировок, но плохие новости не выделяются крупными форматами — проглатываются двумя-тремя фразами. К тому же тон закадрового дикторского текста благожелательно-невозмутим; такая интонация без слов свидетельствует, что здесь-то, откуда мы вещаем, благополучие преобладает. Нет в европейских новостях и ориентации на тошнотворный десерт: преуспевающих граждан не касаются аномалии, в том числе безобидно-мазохистские курьезы. Новости завершаются длинейшими репортажами о спорте (как ни включу «ЕвроНьюс», все попадаю на гольф или ралли) и монотонной справкой о погоде — размером не меньше, чем, скажем, блок экономических известий. И самое симптоматичное: тревожное в новостях «ЕвроНьюс» размещено не столько в Европе, сколько за ее пределами — изредка в США, в основном в странах третьего мира, а также в России. Например, 25 июля 2002 года из российских событий в «ЕвроНьюс» вошли лишь горящие в Якутии и Подмосковье леса, причем о мерах, принимаемых для минимизации пожаров, сообщено не было.

Отбор новостных поводов на «ЕвроНьюс» очевидно целенаправлен. Катастрофами и скандалами отнюдь не брезгуют, но при этом выполняют задачу: показать Европу бастионом прочно налаженной жизни, где проблемы уверенно преодолеваются, в отличие от окружающего нестабильного мира.

У наших новостей задача кажется совершенно противоположной. Россия в них предстает мировым эпицентром сплошного и нескончаемого неблагополучия. При этом тревожные новости из остальных регионов планеты оказываются своеобразным способом информационной интеграции России в глобальную современность.

Глобальность и районность. Однако как телевидение не сводится к мировым, европейским или федеральным российским каналам, так и новостные поводы не сводятся к хаосу. Чем локальнее телевидение, тем благополучнее информация. Верх оптимистической выдержанности представляет районное телевидение, например, московская телекомпания «Столичный север» или подольская «Кварц». Здесь происходит следующее: управа района «Аэропорт» проверила состояние дворов и приняла меры к их благоустройству; в подольском училище состоялся конкурс юных слесарей; открылся социальный магазин для пенсионеров; проведена школьная спартакиада...

Но и региональное телевидение стремится к эмоциональному благополучию. Полезно сравнить «Новости столицы» (городской канал) с программой «События. Время московское» (ТВЦ — московский, но федеральный канал). Там, где в первом пойдет речь о развитии городского спорта или готовности призывников такого-то района к армейской службе, во втором говорится об

угрозах отключения воды в подмосковных городах, задолжавших Мосводоканалу, или о проблемах в связи со сносом рынков, угнездившихся на стадионах. Впрочем, стоит также сравнить новости ТВЦ с аналогами на телеканале «Россия», не говоря уже об НТВ или ТВС. Там, где последние разворачивают апокалиптические картины сноса чеченских лагерей в Ингушетии (и приводят суждения ОБСЕ о преступном нарушении прав человека — о том, как вообще плохо в России), первый дает интервью с вице-мэром Шанцевым о росте тарифов на коммунальные услуги (и Шанцев уверяет, что совсем плохо не будет).

Итак, есть различие между «большим» и «малым» информационным вещанием. Чем больше охват вещанием территории, тем дела обстоят хуже; чем меньше аудитория, тем меньше апелляций к шоку и кошмару. Между прочим, это перевертыш ходячего представления о «центре», о центральной власти. Обычно говорят: федеральная власть хочет как лучше, но все портят чиновники на местах. А тут получается, что на местном уровне жизнь идет лучше, чем на федеральном. Глобальное — хаос. Местное — норма.

Между тем региональные и районные телеканалы существенно беднее федеральных и тем более мировых. Получается, что информационное благополучие как-то связано с бедностью. Или так: чтобы быть богатым, надо выдавать преимущественно плохие новости.

Рентабельность хаотизации. Мы показываем то, что есть, и рассказываем о том, что есть, и нас не в чем упрекнуть, говорят журналисты. А что на самом деле есть? Хаотизирующие явления и разного рода аномалии, как пугающие, так и нестрашно-курьезные, конечно, случаются. Очевидно, однако, что происходят не только они, иначе действительность, и прежде всего отечественная, уже расплзлась бы под ногами и провалилась в небытие.

Выходит, статусом новостей — событий, достойных широкого публичного внимания, — у нас выборочно наделяются главным образом деструктивные факты. И напротив, за события не принимаются факты конструктивные, связанные с налаживанием и поддержанием порядка жизни — например, с трудом. Ведь если тема работы в новостях затрагивается, то только в связи с годовыми медиков или с захватом предприятий новыми акционерами... Жизнь без эксцессов и вообще всякая стабильность лишаются интереса и ценности. Они словно бы отсутствуют в нашей текущей истории.

Очевидно, в российской прессе действует стойкий предрассудок, что достойны общественного внимания преимущественно те события, которые свидетельствуют о разладе реальности. Все прочее общества не касается и как бы даже не существует. Нерелевантную аксиому нестроения можно объяснить парадоксами «четвертой власти».

Фундаментальное условие четвертой власти: необходимость позиционирования независимости масс-медиа. У нас независимость, после десятилетий монолитно-жизнеутверждающей пропаганды, отождествляется с критическим, разоблачительным пафосом, а ему нечем питаться, кроме сбоев налаженной жизни.

Но независимости как таковой (то есть прежде всего финансовой) у подавляющей части СМИ нет. Потому их конкуренция определяется линиями противостояния владеющих печатью бизнес-групп. Деструктивные новости во всем мире так или иначе задевают рыночную конъюнктуру, иногда столь эффективно задевают, что новость не грех и выдумать (так было с компьютерной проблемой-2000, под которую заинтересованным фирмам удалось отхватить громадные средства), а уж раздуть — так за милую душу. Кто знает, какие будут новости, тот владеет опережающей информацией о состоянии рынка. У нас новости также участвуют в олигархических и политических атаках, инициаторы которых стремятся задействовать ресурс государства — прокуратуры, например. И, конечно, всевозможные разоблачения оказываются в такой ситуации ходким товаром.

Есть и чисто корпоративные причины, ведущие к преобладанию в наших СМИ новостного негатива. Тревожные факты, в отличие от нейтральных или

тем более позитивных, сюжетогенны, к ним можно возвращаться вновь и вновь, прослеживая событие от первых известий о ЧП до похорон и, если угодно, далее — 9 дней, 40 дней, годовщина со дня похорон... Мрачные новости сберегают финансовые ресурсы. Не надо искать новые темы, переезжать на новые места съемки — экономия средств. Можно в течение недели интервьюировать одних и тех же участников событий. И рейтинг тут как тут. Ведь крупная плохая новость гарантирует длительные зрительские переживания — телевизор будут смотреть.

Кроме того, плохое порождает споры — тоже способ продержат зрителей у экранов крепче и подольше. Заодно в спорах можно дать высказаться комментаторам, политологам, политикам различных взглядов и тем самым раскрутить их рейтинг, а на это у нас, где многие политические антрепризы носят сугубо коммерческий характер (как, например, предприятие В. Жириновского), всегда есть платежеспособный спрос.

И о специальной психологической причине тяги к деструкции. У нас в обществе доступ к доходам дает главным образом власть. Потому журналистика любит предъявлять себя обществу как четвертая власть (отсюда такое множество аналитических программ, в которых люди власти становятся шоу-персонами, а телеведущие причащаются власти). Четвертая власть: амбиции серьезные. Но в ходоном исчислении она не только *четвертая*, а и *вторая* — в ряду древнейших профессий. Речь идет о такой власти, которой не слишком доверяют, априори приписывая ей лживость и продажность. И она за это мстит, описывая лживость и продажность первых трех властей, а уж заодно и нестроения в обществе и природе, как бы вытекающие исключительно из неэффективности правящих структур. Также и поэтому факты отбираются помрачнее.

И снова есть выгода: укрепление влияния СМИ. Пусть бы даже писалось и снималось не о коррупции в прокуратуре, а исключительно о природных катаклизмах, — к силе, вносящей в повседневность постоянное ощущение опасности, первые три власти легкомысленно относиться не будут.

Но сплошные взрывы, пожары, побеги вооруженных дезертиров, экономические срывы и политические скандалы, уплотненные на экране, неизбежно притупляют восприятие. Смотреть новости массовую публику заставляет не столько острое чувство включенности в общественность, сколько потребность в сторонних пересудах — практически такая же, какая удовлетворяется чтением неполитической желтой прессы. Диспозиция такова. Вот аудитория; она живет своей частной ролевой жизнью. И вот общественная жизнь; она если и не фантом, то сценическая площадка, на которую можно празднично поглядывать, когда нет других дел. Но пристально не вглядываются — на сцене однообразно разыгрывают одни и те же сюжеты, к тому же коробящие восприятие.

Под агрессивной анестезией новостей люди перепоручают собственную общественную жизнь ньюсмейкерам. Так задним числом самоучреждается (и самоутверждается) четвертая власть.

Странности четвертой власти. Вообще говоря, мы живем в пору кризиса легитимности. Даже государство под вопросом. Как оно узаконено нынче — при преобладании ненаследственного, избираемого правления, кризисе идей гражданства, попытках аннексии национальных суверенитетов международными организациями, ползучем пересмотре границ? Но уж власть средств массовой информации не легитимирована вовсе никак.

Право на свободу слова не предполагает власти. Да к тому же оно не замыкается на СМИ, которые — в виде субъектов рынка — его присвоили и поделили. Особенно сомнительна легитимность власти СМИ у нас в стране, пережившей парадоксы приватизации. Ведь, например, дорогостоящая собственность большинства телеканалов ранее принадлежала государству и содержалась на средства населения. И вдруг оказалась частной (как дареный эфир НТВ, отнятый у ликвидированного тем самым телеканала «Российские университеты»), нередко оппозиционной государству, да еще и приносящей кор-

поративным сотрудникам доходы, о которых большая часть населения и мечтать не смеет. Свободой слова такой вираж обосновать невозможно.

И все же власть. Четвертая: «внесистемная» и тем самым общезнаменательная. «Внесистемная» — потому, что привычная «система» — это Троица, триада, «на троих». Система также — государство. Власть прессы в государство не интегрирована. Она не входит в ряд системных единиц, значит, либо является их основанием, либо надстраивается над ними.

В этом качестве она чуть ли не автономна от трех остальных. Автономия может выражаться в противоречии их духу. И такое противоречие действительно есть.

Современная странность четвертой власти: чем она богаче, тем меньше гармонирует с остальными тремя властями цивилизованного мира. Речь — об идеологии, выстроенной под или над официальной доктриной свободного общества.

В самом деле: хаос как сквозная тема новостей составляет экономическую органику современных демократических СМИ. Между тем в глобальной идеологии либерализма, риторику которого исповедуют цивилизованные СМИ, катастрофам места нет. Действуют безошибочная рука рынка и мировое правительство, принимающее исключительно правовые, законные решения. С точки зрения глобального либерализма мир движется к тотальной благоустроенности. Историческая и геополитическая перспектива ясна, как летнее небо, и нет в ней никаких смут-нестроений. А самолеты падают каждый день, и притом еще их падения размножаются информационными сетями, а ракеты не взлетают и теряют спутники ценой по полмиллиарда, что тоже мультиплицируется новостными каналами, а террористы взрывают очередную дискотеку, и взорванная дискотека горит во множестве информосвещений, — жертвы растут, мир проваливается в тартарары.

Скорее событийный репертуар больших информационных каналов гармонирует с историческим сознанием агрессивных маргиналов, с фундаментализмом-коммунизмом в условиях враждебного окружения. Мир разваливается — туда ему и дорога; надо разрушить до основания, кто был ничем... и так далее, песня хорошо известна.

Нескладно получается. Под риторику одной идеологии подкладывается картинка из совсем другой исторической схемы.

А вообще-то есть четыре исторических схемы, руководящие в журналистике отбором событий.

Журналистика и историческое сознание. Журналистика появилась вместе с историческим сознанием (конец XVII — начало XVIII века). С тех пор она только и делала, что разрасталась — как и само историческое сознание. Оно стало массовым — вместе с ней. В журналистике историческое сознание диктует комментарий — оценку фактов. Комментарий может прикрепляться к любым событиям, в том числе и не имеющим собственно исторического значения.

Вот пример из новостей 16 июля 2002 года. Речь шла о скульптурной выставке, представившей на лондонских улицах изображения коров. О состоявшихся ранее аналогичных выставках в Америке симпатичным образом ничего не сообщалось. Дело в том, что в Англии не так давно гремел скандал с коровьим бешенством. Его и вспомнили телеведущие. Возник следующий ряд: «коровий» художественный проект — что было предметом скандала, стало предметом праздника — последствия мясного кризиса побеждены — да здравствуют демократические, цивилизованные страны.

Кроме комментария историческое сознание определяет селекцию фактов. Критерии, по которым выбираются факты, так или иначе являются оценочными — оценивается прежде всего историческая значительность. А что исторически значительно? То, что укладывается в исторические тенденции. А что такое тенденции? То, что кажется плодотворным/тупиковым для сегодняшнего развития. А это уже оценка эпохи.

Современность оценивается с двух противоположных позиций: или из лучшего прошлого, или из лучшего будущего. И лучшее прошлое, и лучшее будущее могут иметь различные датировки. Эти условия и дают четыре исторических схемы.

Если за лучшее принимается далекое (в том числе праисторическое) прошлое, то картина истории уподобляется пути от золотого века к железному. Примет деградации в любой эпохе сыщется много. Поэтому единственное, что можно противопоставить внутренне стройной концепции постоянного регресса: он неправдоподобно долог. Столь длительный — тысячелетиями длящийся — спуск на историческую реальность спроецировать трудно (тем более, что не только архаически-легендарные времена зовут золотым веком, но и совсем недавние, например, пушкинские), потому описанный строй осмысления современности больше применим в метафизике и историософии, чем в журналистике.

Впрочем, геокультурная и конфессиональная ангажированность вызывают приложение схемы сплошного регресса к «вражеским» цивилизациям. В исламской фундаменталистской прессе или в наших аналитических программах, когда в них приглашают активистов евразийского движения или исламской партии, зоной неуклонной деградации оказываются США (и плюс к ним — мировое правительство, мировая закулиса). А на ваххабитских сайтах, открытых пропагандистами чеченских боевиков, в роли деградирующих США выступает Россия...

Если лучшим считается недавнее прошлое, еще не размытое в памяти, не превратившееся в легенду, то, как в современной газетной коммунистическо-патриотической критике, возникает комбинация прогресса и обвала, последовавшего из-за непоправимых ошибок или же преступлений правителей. Эта схема истории отмечена логической неувязкой. Ее части категориально неравноправны: прогресс был вроде как исторически закономерен, обвал же случился вследствие злой воли зарубежных супостатов и их отечественных пособников.

Когда за лучшее берут далекое будущее, то историю строят из фактов, которые можно интерпретировать в качестве цепи примет-предвестников искомого будущего. Остальные данные при этом либо игнорируются, либо списываются на реликты прошлого (варварства, дикости, стадияльно низшей цивилизации), либо описываются в терминах движущих противоречий, как это излагалось в «Коммунистическом манифесте». Просветительно-утопической схеме подчинялась советская пресса, только движущие противоречия чем дальше, тем больше заменялись безобидными «отдельными недостатками». Таким образом, в советских СМИ имелась промежуточная картина истории — между той, которая задает идеал далекого будущего, и той, которая признает идеал почти осуществленным, лишь довершаемым ближайшим будущим.

Когда за идеал принимается ближайшее будущее, которое вот-вот наступит (как это делалось в то советское время, когда коммунизм обещали через двадцать лет; сегодня оптимистическим предвосхищением близкого будущего отличается глобалистский неолиберализм), то на самом деле речь идет о реалиях настоящего и недавнего прошлого, которые требуется сохранить и укрепить. История выглядит как прогресс, утыкающийся в настоящее, а будущее требуется только ради «дальнейшего совершенствования», если пользоваться памятным выражением советских партийных вождей. Под совершенствованием понимается, во-первых, преодоление «отдельных недостатков» (в их роли выступают, например, коррупция и терроризм), а во-вторых, распространение идеального стандарта общества и экономики на все цивилизационные территории.

Разумеется, конкретный журналист, газета, телеканал могут вовсе и не думать о прогрессе или регрессе, а попросту обрабатывать определенные инвестиции. Но историческое сознание задает словарь для продвижения групповых интересов в общественное мнение. Идеологические традиции тем самым экономически и политически приватизируются. Таким образом, идеи прогресса,

возникшие в эпоху Просвещения, стали собственностью нынешних мировых монополий, управляющих глобальным рынком.

Теперь уже не отделишь схемы исторического сознания от текущей геополитики. Получается, что она — через журналистику — не просто ими пользуется, но постоянно вдыхает в них новую историческую жизнь — чувствительно, а подчас даже болезненно их актуализирует. И журналистике хорошо: благодаря упаковке в высокие идеологические схемы ее деловые интересы обретают мировоззренческую высоту.

«Все у нас получится»/«ничего у нас не получается». Уточним: утопия ближайшего будущего не предполагает радикальной критики *«своей»* современности («чужую», «еще не достигшую» закрепляемых стандартов, критиковать можно и нужно). Между тем в наших либеральных масс-медиа наблюдается постоянная критика нашей же современности (да и истории). Не потому ли, что в подсознании нашей четвертой власти Россия предстает в функции «враждебного окружения»? Ну да, за свободу слова как бы все время приходится воевать с прочими тремя властями (а воюют ведь с врагом). Даже теракт на Дубровке стал поводом к ламентациям и саркастическим комментариям об ограничениях свободы слова — и это несмотря на вполне убийственную свободу показа передвизжий спецподразделения накануне штурма...

Сосредоточенные на 6-й и 4-й кнопках, а также на дилетантском информационном вещании подмосковного 3-го канала архивные подрывники, которые все пускают под откос поезда, хотя война давно закончилась, любят проехаться по политике ОРТ и РТР: дескать, и раболепствуют перед властью, и в эфир не допускают оппозиционных политиков, и цензуре подчиняются. На самом деле новости всюду одинаковы (см. выше), только расставлены по-разному, да легкие комментаторские акценты несколько меняют оптику. А раз факты приводятся всюду одни и те же, значит, телекартинка мира идентична. Все выбирают что похуже, все кормятся хаосом. Но одни при этом все-таки предпочитают позиционировать себя в ситуации «среди своих», тогда как другие — «среди чужих».

Свое/чужое — оператор приспособления исторического сознания к конъюнктуре, которая равно важна и для тех, и для других. Конъюнктура разная — она зависит от того, кто платит или помогает коммерчески существовать своим влиянием: государство или частные политические агенты, которые могут находиться и за рубежом. Внеконъюнктурна только позиция национально ангажированного здравого смысла, не случайно редкая в наших новостных и аналитических программах. Ее в официальный вагон почему-то не пускают, и она едет на подножке, как «Однако» после программы «Время». В оппозиционный же транспорт ее не пускают тем более, поскольку там отождествляют естественный скепсис по поводу импортного бесплатного сыра (и продающих его отечественных идеологических лоточников) с патриотически-апокалиптическим способом национальной самоидентификации.

«Среди своих» — значит, интонационный сигнал «Все у нас получится!» при лубках, в том числе и печальных, новостях. «Среди чужих» — интонационный сигнал «Ничего у нас не получается», в том числе и при вполне добрых известиях. Есть и медиатор этой оппозиции — интонация «среди своих, но во враждебном окружении». Имеется в виду угрожающе обидчивая самоидентификация за родину=против власти, которая окрашивает тон программ «Русский дом» на подмосковном 3-м канале и «Момент истины» на ТВЦ.

Формула аналитики «Русского дома» такова: «Все бы у нас получилось, если бы не бесовская власть и дьявольские козни заграницы». То есть «мы» — это все, кто благочестивым образом далек от власти. А власть — это уже «не мы», и ее порочной чужеродностью объясняются все трудности и беды российского развития.

Логически сходное разделение действует в «Моменте истины», только акцент на конфессиональной чуждости заменен акцентом на коррупции. Под-

разделяются же на «своих» и «чужих» уже не народ и власть, а тоньше: одни чиновники (которые вместе с народом) против других чиновников (которые воруют) — страшно удобная вещь для борьбы элит и отдельных их представителей. Ввиду того, что о коррупции говорят во всех программах, так или иначе соприкасающихся с новостями, «Момент истины» можно было бы и не ставить в один ряд с «Русским домом». Но стенающие интонации ведущего! Но его трагико-риторические вопросы типа «как же могло случиться?!»! А пафосный драматизм музыкального оформления (причем музыка включается в паузах между говорящими головами громкостным уровнем выше, чем речи этих голов)! Усиленно давить на мозоль: только такая сверхзадача может объяснить эти стилистические константы.

Но вернемся от медиатора к полюсам «своего» — «чужого».

Похоже, «своему» трудно найти тон. Подчеркнутый патриотизм для лидеров общественного сознания (каковыми должны по определению быть наследник советского Центрального телевидения и нынешний государственный телеканал) вроде как недопустим. Общественность ведь если и не состоит, то должна, как говорят нам люди из Правительства и Думы, состоять из среднего класса, а этому гипотетически преобладающему классу по всем резонам должны быть неприятны сочетания сталинизма и православия в духе газеты «Завтра» и иже с ней. Другого же патриотизма журналистская среда в массе своей не может вообразить.

Вместе с тем идентификация со «своим» народом названным телеканалам необходима, без нее и Первый — не первый, и телеканал «Россия» — не Россия. Притом еще нужно быть «цивилизованными» и «независимыми», следовательно, показывать то, что показывают каналы неофициальные, негосударственные, а показывают они то пожары, то наводнения, то бегство солдат из военной части, то падения армейских вертолетов. Отсюда, например, летний рекорд ОРТ: 20 минут подряд в тридцатиминутной программе «Время» — о катастрофе башкирского самолета в небе над Германией.

Общим знаменателем (вернее, аннигилятором) требований «цивилизованности» и «патриотизма» становится невозмутимая корректность-нейтральность тона, комментарий и облика дикторов. Чтобы никого не задеть, надо быть никаким. Отсюда принципиальная неяркость, смазанность личных черт в облике и речи ведущих новостей. Если же экранная функция исполняется с неразстворимым осадком индивидуальности, как Е. Андреевой на Первом канале и Е. Ревенко на Втором, то осадок этот, в свою очередь, предельно корректен. И та и другой заставляют вспомнить о школе 50 — 70-х. Е. Андреева подчеркнута скромна, даже прическа у нее традиционно (как у учительницы в 50-х годах) школьная, без крутых парикмахерских наворотов — гладкие волосы с пробором, убранные на затылок. А мимически подчеркнутая (легкие перемены ракурса, поднятые брови) артикуляция текста заставляют вспомнить об ученически старательной декламации. Впрочем, и о своенравии, и об уверенности в себе, характерных для первой ученицы. Что же до Е. Ревенко, то его миниатюрность в сочетании с невинно-честным взглядом и всегдашним незаметно-строгим галстуком воспринимается как юношеская неиспорченность серьезного и ответственного отличника.

Наряду с нейтральной корректностью тона и комментариев «патриотичность» и «цивилизованность» совмещаются посредством пропорционирования и расстановки информации. Например, горящие леса по хронометражу не должны превышать интервью прокурора, возбудившего дела о виновниках пожаров, и притом вначале должно идти интервью прокурора, а уж затем картинка пожаров (на каналах НТВ и ТВС делают как раз наоборот).

И еще: специальный способ предъявить корректность так, чтобы она встраивалась в нашу традицию — количество протокольных кадров. Когда-то это был чуть ли не самый ужасающий признак советского телевидения, теперь это «хорошо», поскольку с советским временем у массы зрителей ассоциируется более благополучная жизнь. Поэтому показы Президента, заседаний каби-

нета министров, Думы, Совета Федерации, а также близких Кремлю политиков на Первом и Втором каналах более развернуты, чем на прочих.

Переход к этим прочим опосредует аналитическая программа «Времена». От «Итогов» или «Намедни» она отличается отсутствием солиста-комментатора. В. Познер не столько комментирует, сколько задает вопросы многочисленным экспертам. Вопросы так построены, что представляются живой реакцией на сказанное собеседником. Ведущий думает на экране. Парадокс: не будучи солистом-комментатором, В. Познер становится главным героем программы, функция которого — обдумывать проблемы, разбираться в запутанных вопросах, делать их ясными для себя и для зрителя. «Мы» тут тождественно интеллектуальному «я». Правда, заключительный рефрен ведущего — мол, настанут другие времена, сейчас у нас не лучшие времена и т. п., — не просто работает на бренд — обыгрывает название программы, но еще указывает на дистанцию от текущего времени, а значит, и от текущего «мы». Да и несколько дурновкусная нравоучительность этих резюме отодвигает ведущего от «своих», ставит его в пафосную позицию Учителя. Следовательно, «я» тут перевешивает. Этим, собственно, подтверждается статус авторской программы. Но на нашей шкале от данной позиции остается лишь два шага до представления об аудитории и стране как о «чужой».

И первый из этих шагов делает (делало) «Намедни» Л. Парфенова. Тут ведущий солирует безоглядно. И не только как отборщик и комментатор событий, но и как персону, достойную эстетского внимания и любящуюся самой собой. Не зря Л. Парфенов встает в полный рост и подходит к экранам, с которых вещают репортеры, — взгляд зрителя фокусируется не столько на репортере и репортаже, сколько на перемещающейся фигуре ведущего. И не зря он вертит в руках разнообразные наглядные пособия (для тупоумных, что ли?) на тему репортажей — этим опять-таки привлекается добавочное внимание к ведущему. Персоналистской эстетике соответствует нейтрально-разнообразный отбор информации. Обязательные события, освещаемые во всех аналитических программах, дополняются рубриками «Ударник капиталистического труда» или «Масяня», которые, строго говоря, не вписываются в жанр новостей и потому представляются сугубо личной инициативой ведущего. О «мы» в подобной стилистике речь уже не идет — главенствует уникальное «я», которое принципиально не идентифицируется с «мы».

Потому отсюда уже просматривается позиция «вокруг — чужие», исповедуемая новостями и «Итогами» на ТВС и, в менее выраженном качестве, новостями НТВ. Новости на НТВ, казалось бы, столь же нейтральны по тону, как аналоги на канале «Россия» или Первом канале. Но события иначе расставляются. Если Первый или Второй канал начинают с обсуждения бюджета в Думе, а потом уже говорят об убийстве главного патологоанатома Приморья, то НТВ начинает с убийства, продолжает другими неприятностями, а обсуждение бюджета — новость хотя бы отчасти консолидирующую и по меньшей мере не катастрофичную — задвигает куда-то на пятую позицию. А поскольку новостям первой строкой должно уделяться больше эфирного времени, то получается, что негативные события в информации НТВ превалируют. Впрочем, нововведение этого сезона — ежечасные пятиминутки новостей — заставляет думать больше о нейтральности, чем о тенденциозности. За пять минут события можно лишь назвать; возможность манипулирования хронометражем не предусмотрено.

ТВС уделяет информационным поводам, ассоциируемым с непрочностью власти (например, выступлениям в Киеве против президента Кучмы, которого вроде как поддерживает Россия), и первые места, и привилегированный хронометраж. Но у ТВС есть и еще два способа продемонстрировать свое отношение к автохтонному окружению. Во-первых, отдать эфирное время изобильным и пространственным телестоякам с демократическим изгоем Б. Березовским (то же делают на 3-м подмосковном канале информационные новобран-

цы из программы «Главная тема»), а также информации о финансируемой им партии. Во-вторых, действуют сами лица канала.

На ТВС не получается нейтральности тона. Как бы ни выверяли интонацию ведущие информационных программ, сам их облик заставляет вспоминать об информационных войнах, в которых персонажи ТВС активно участвовали. В памяти застыло изображение «звезд» бывшего НТВ, со своими портретами — иконами самих себя — в руках переходящих дорогу от основного здания телецентра к техническому корпусу. И теперь ведущие ТВС являются на экране словно бы в двух экземплярах: они сами и их помнящиеся скандальные иконы. Первым среди равных идет Е. Киселев. Как бы длинны и скучноваты ни были его «Итоги» (а скучноватость ведь сродни пресной лояльности), память о его тенденциозности не отпускает. Да ведущий, похоже, и не слишком заботится о перемене валютно-конвертируемого стиля. Маска объективного аналитика все равно не удержится на деятеле, начинающем в студии обсуждение катастрофы башкирского самолета с обвинения российским пилотам, невиновность которых признали все зарубежные инстанции.

Да и контекст влияет. Ежедневные компьютерные куклы Хрюна и Степана, еженедельные «Бесплатный сыр» (бывшее «Итого») и «Кремлевский концерт» (бывшие «Куклы») жестко ведут линию на осмеивающее отрицание всего, что делает власть. Так что даже если Киселев похвалит Пугина, в иронико-политическом угаре ТВС эти похвалы будут звучать как наветы.

Дурной сарказм. Есть еще позиция «что свои, что чужие — наплевать». Ее выражает «Главная тема» — вечерние новости 3-го подмосковного телеканала. Собственно, это не столько чистые новости, сколько ежедневные аналитические программы. Отсутствие широкой корреспондентской сети не позволяет снять должное количество сюжетов, и на экране преобладают говорящие головы. Простым называнием событий время не заполнишь, потому головы больше комментируют, чем информируют. Вынужденная аналитичность поделена между тремя ведущими, среди которых лидерствует прежде единственный ведущий «Главной темы» Г. Пьяных. Попытки хлесткого комментария тщатся напомнить о бывлом НТВ — ТВ-6. А оценки тяготеют скорее к официальному позициям, доводимым до публики Первым каналом и РТР. Но есть отдельная краска, отсутствующая на прочих телеканалах. Это — словно приклеенная саркастичная полуулыбочка на лице главного ведущего. (Почти такая же не сходит с губ Ст. Кучера на ТВЦ.) С задором вполне комсомольским, оговариваясь и перевирая имена и даты, мимоходом пиная мертвых (так по поводу отсутствия обнадеживающих новостей о пропавшей при сходе ледника съемочной группе С. Бодрова-младшего ведущий позволил себе, иронически улыбаясь, проницательно предвидеть ситуацию: дескать, уже сегодня к вечеру заявят, что С. Бодров был героем нашего времени), Г. Пьяных демонстрирует тщеславный критицизм, направленный якобы и на наших, и на ваших. На самом деле никуда он не направлен, а является безвкусной позой, которую, скобочившись, принял лозунг о независимости СМИ.

В текущем сезоне, до начала иракской войны, новостей становилось все меньше. Сократились объемы времени, отводимые под новостные программы (тенденция противостоит ТВС, на котором новости выпускаются чаще и длиннее, чем на других каналах; но кажется, что ТВС противостоит не столько тенденции уменьшения новостных объемов, сколько вообще противостоит). Словно продюсеры решили, что публика устала от серьезной информации. Именно в этом духе высказывался на экране проницательный идеолог Первого канала К. Эрнст.

Между тем скорее следует думать, что зрители устали от того информационного стандарта, который утвердился на телевидении и который описан в настоящих заметках. А новый стандарт еще искать и искать. Так что сейчас лучше подождать и перенести акцент с информации на неполитические ток-шоу.

Неполитические — связанные с изменами жен-мужей, с эксцессами сексуального поведения, с коллекционированием, похуданием, стиркой и с чем угодно, лишь бы не всерьез. То есть уступить темам желтой прессы да и ее стилю. То есть описанным выше схемам истории предпочесть *аспективную утопию* (см. о ней в статье «Праздничность» из этого же цикла — «Новый мир», № 11 за 2002 год).

Можно сделать вывод: новости заметно девальвировались. И утрату информационными программами судьбоносности вряд ли приостановят грядущие выборы в Думу или президентские выборы — слишком мелкотравчаты имеющиеся на сегодня оппозиционеры. Таким образом, на телевидении возникает зияние. Новости лишаются интереса, опустошая то место, на котором должны находиться умные программы. Если последние — в новостном или не в новостном жанре — не появятся, телеканалам грозит оказаться эфирными маргиналами вроде печатного «СПИД-инфо». И тогда информационный поток загремит, разухабисто и уныло, совсем уж бросовой мелочью.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

О ЖЕРТВЕ И МИЛОСТИ

Елена Чигова. Лавра. Роман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 7, 8, 9.

Русская литература советского периода избегала героев гамлетовского типа. Озабоченные поиском «настоящего человека» (солдат-фронтовик, ударник труда, инженер-новатор, борец с «пережитками» или, на худой конец, искатель-романтик), писатели стороной обходили темы, связанные с подлинным бытийным драматизмом. Герой сомневающийся и вопрошающий, герой-индивидуалист или герой-одиночка, охваченный чувством тоски или отчаянья, был внутренне чужд жизнеутверждающей идеологии, раз и навсегда определившей, как нужно страдать и мыслить. Проклятые и последние вопросы отметались с порога — ответ на них был изначально известен. Человек в советской литературе имел пределы для своих падений и взлетов. Он мог оступиться, но не мог рухнуть в бездну; мог усомниться, но не мог извергнуться. Черно-белая картина мира (в сущности, религиозная: Добро и Зло) предполагала определенную дихотомию праведного и грешного, обязательную для тружеников пера. При любых допустимых отклонениях и вольностях герой должен был уместиться в предписанную схему. Иного же попросту не позволялось.

Инженеры душ человеческих стремились на самом деле запечатлеть не столько «душу», сколько «объективную реальность» — мир вовне. И это, надо сказать, вполне удавалось. Какой только прозой мы не зачитывались в минувшие десятилетия: военной и производственной, деревенской и городской, любовной и мемуарной... Революция и война, драматические судьбы и противоречивые характеры, коллизии и конфликты общественной и личной жизни, ужасающий и унижительный советский быт — все это преломилось так или иначе в нашей литературе. Не было недостатка в фантастике, приключениях, юморе. Кое-кто в последние десятилетия пытался — в подражание западным образцам — культивировать «бессмысленное», «поток сознания». Еще позже, в бесцензурную эпоху, всеми цветами, в том числе и махровым, расцвела постмодернистская и прочая эротика. Недоставало, однако, и по-прежнему недостает одного и, возможно, главного: *инобытия* — того внутреннего пространства, где действуют иные, чем на поверхности, законы.

О том, что отдельная человеческая душа, захваченная исканиями и терзаемая страстями, может стать полем битвы не менее величественной и грандиозной, чем Сталинградская, — об этом советские люди вспоминали, пожалуй, лишь обращаясь на досуге к романам Достоевского. Пробиваться к глубинному подземному руслу, в котором клокочет, не вырываясь наружу, раскаленная духовная лава, живописать религиозные и прочие «подпольные» устремления — все это в течение долгих десятилетий оставалось в литературе заповедной зоной.

Тем временем, примерно в семидесятые годы, сформировалось поколение, которое стало по-новому осваивать для себя забытые области культуры, философии и духовной жизни. Общественный климат в стране менялся: наступила эпоха отъездов и диссидентства. Доморощенный самиздат, «антисоветчина», хлынувшая через все возможные щели, вражеские голоса, наконец, «контакты», которые — сколь бы ни усердствовали спецслужбы — невозможно было искоренить или ограничить, подмывали идейные твердыни социализма. Начавшись в шестидесятые годы, идейное брожение семидесятых во многом подготовило события середины восьмидесятых. Политической перестройке предшествовала, как известно, перестройка в умах и душах.

В ту пору (собственно, еще ранее — на волне хрущевской оттепели) интеллигентная часть нашего общества устремила свой взор в сторону Русской православной церкви, пережившей эпоху жесточайших гонений, но вынужденной в конце концов примириться с властью. Началась эпоха церковного возрождения — в московской жизни шестидесятых — семидесятых годов эти веяния были достаточно

ощутимыми. Подогреваемая «из-за бугра» религиозной и философской литературой (от Владимира Соловьева, через Бердяева, Булгакова и Шестова, до архиепископа Иоанна Сан-Францисского), интеллигенция вспомнила о своей конфессиональной принадлежности: многие принимали святое крещение, крестили детей, часами стояли на литургии, слушали воскресные проповеди модных священников, молились и причащались. Дорога к храму, заросшая бурьяном и чертополохом, была, казалось, снова протоптана.

К поколению семидесятников принадлежит и героиня романа. Поглощая книги, которые привозит из заграничных поездок ее муж — преподаватель, позднее — протодьякон Ленинградской Духовной академии (расположенной на территории Александро-Невской лавры), слушая записанные на пленку песни Галича и увлекаясь поэзией Бродского, она насыщена, подобно многим ее современникам, потаенной культурой застойного времени.

Любой российский читатель старше тридцати лет без труда обнаружит в «Лавре» полузабытые приметы той далекой поры. Однако не это захватывает читателя. Отображая катастрофические события, пережитые нашей страной, роман в основном своем русле протекает в иной — метафизической — сфере. Героиня не просто рассказывает — она переживает, угадывает, провидит. Ее сознание озарено как будто мистическим светом, позволяющим смотреть вглубь и видеть за обыденным необычное, за случайным — существенное. Повествование глубоко драматично; это — роман-трагедия. Развертываясь в узком кругу (основных персонажей — всего четыре), оно представляет собой череду событий, каждое из которых по-своему страдано героиней и тем самым поднято на высоту ее духовного опыта.

Одна из коллизий (и, собственно, главная в «Лавре») — противостояние личности и церкви. «Нас было трое, собравшихся во имя Его в одном окраинном доме...» — с этой эпической фразы, как будто переносящей нас в новозаветное катакомбное время, начинается роман. Трое — это сама героиня, ее муж и общий их приятель, о. Глеб, священник. Все они с точки зрения церкви являются неопитами, ибо пришли к ней — каждый своим путем — из атеистического советского мира. Возможно, именно этим объясняется та страстность, с которой они переживают слияние с церковью. Отношения, соединяющие этих людей, могут показаться странными. Ежевечерние бдения в квартире на ленинградской окраине выливаются в те бесконечные возбужденные «русские» споры, в которых открытость переходит в откровенность, доверительность — в исповедь.

Проблема взаимоотношений мыслящих русских людей с православной церковью возникла не в семидесятые годы. Дореволюционные религиозно-философские общества, собрания и кружки — свидетельство того, что этот раскол воспринимался болезненно: церковь и общество пытались идти навстречу друг другу. Но те времена давно уже стали историей. После 1917 года Русская православная церковь прошла за несколько десятилетий страшный мученический путь: гонения, надругательства, процессы и расстрелы, разрушение храмов, изъятие церковных ценностей, «обновленчество», раскол, антицерковные предписания и законы... Перечень испытаний, выпавших на долю Русской православной церкви, воистину бесконечен. Однако существенный сдвиг в сталинской национальной политике, ярко обозначившийся в послевоенные годы, изменил положение церкви: в условиях пропаганды «русского патриотизма» и всего «истинно русского» она оказалась важным идеологическим подспорьем. В безбожном государстве началось — поначалу, исподволь — сближение православной церкви с государственной властью. Церковная и государственная структуры, формально разъединенные в СССР, существовали на первый взгляд каждая по своим законам. На деле же, как выяснится позднее, церковь была связана с боготорческой властью множеством невидимых нитей.

Страдальческое прошлое русской страны и русской церкви — исторический фон «Лавры». Он присутствует всюду, определяя, явно или подспудно, размышления героини, ее тяжелые сны и апокалиптические видения, напоминающие порой едва ли не пророчества Иезекииля. «Я видела потоки крови, похожие на полноводные реки. Они двигались под землей, время от времени выбиваясь на поверхность, как взбухшие вены... По берегам, уронив руки в колени, сидели измученные люди, с рождения лишенные отцов». Воспоминания о временах гонений то и дело окрашивают повествование. Приехав с мужем в Почаевскую лавру (на Волыни), героиня

ня слышит рассказ местного жителя об одной из попыток властей — уже при Хрущеве, ужесточившем, как известно, преследование церкви, — закрыть монастырь. Чтобы разогнать толпу верующих, собравшихся у стен Лавры для ее защиты, местные власти пускают в ход... ассенизационные машины, и те поливают людей омерзительной вонючей жижей. Но закрыть монастырь все равно не удается: униженная и поруганная, Лавра продолжает жить своей жизнью.

Какой же предстает Русская православная церковь сознанию героини, которая, подчиняясь духу шестидесятых — семидесятых годов, добровольно, уже в зрелом возрасте, обратилась к ее покровительству? Чем ближе соприкасается она с церковным миром, тем более убеждается: русское православие обезображено советским уродством. Церковь — та же иерархия, проникнутая властным и обличительным духом. В качестве платы за «спасение», которое церковь дарует человеку, она требует от него отказа от самого себя, от своей индивидуальности. Церковь силится удержаться свободную душу в своем лоне подобно тому, как тоталитарная власть насильственно удерживала людей в советском застенке. Конечно, в отличие от государства, церковь не имеет рычагов, позволяющих подвергнуть «ослушника» прямым репрессиям. Однако за многие десятилетия и столетия церковь, и не только православная, разработала эффективную систему, позволяющую влиять на сознание людей, добровольно пришедших под ее опеку. Церковь авторитарна; ее приверженность традиции и канону влечет за собой нетерпимость, в лучшем случае подозрительность ко всему чужому и новому. Она может быть безжалостной по отношению к человеку, уличенному в яркой индивидуальности. Церковь и государство, как бы далеко они ни расходились друг с другом, имеют общую иерархическую структуру. Церковь призвана миловать, но она и карает: не только за грех — за свободомыслие. Карающая любовь и карающая ненависть — две стороны одной советско-российской медали. Церковь подавляет свободу личности — таков вывод, к которому склоняется героиня («...в рабской стране абсолютное подчинение церкви — не спасение»).

Справедлив ли этот взгляд на русскую церковь? Ведь Церковь есть тайна; она покоится, по преданию, на Его крови и Священном Предании, и свет ее всегда будет притягивать к себе души страждущих (героиня романа глубоко чувствует эту вечную правду христианства). Но церковь, с другой стороны, — это клир, сообщество живых людей, несущих на себе печать страстей и предрассудков своего времени. Далеко не все пастыри способны врачевать души, особенно в нашей стране, где пролиты потоки крови и утрачен самый смысл врачевания. В коридорах церковной, как и политической, власти идет своего рода игра — противоборство мнений, позиций и честолюбий (взгляд «изнутри» помогает героине видеть эту закулисную жизнь, обычно сокрытую от глаз рядового прихожанина). Церковная жизнь политизирована, как и светская. Интересно в этой связи, что среди служителей Русской православной церкви были (и есть, конечно) свои «еретики», духовно одаренные и мужественные люди, пытающиеся обновить многовековой уклад. Речь не только о тех, кто обвинялся в «антисоветской пропаганде» (о. Дмитрий Дудко, о. Глеб Якунин и другие), но об епископате — архиереях, назначенных Собором и Патриархом по согласованию с некогда всевластным Советом по делам религий при Совете Министров СССР. Один из них присутствует в «Лавре». Это Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский, захваченный в семидесятые годы «диссидентским» духом экуменизма и западничества и пытавшийся — через «железный занавес» — протянуть руку ватиканскому престолу. Но — безуспешно. Его скоропостижная смерть в 1978 году надолго отодвинула подлинное и давно назревшее обновление русской церкви. «Церковь и интеллигенция, — читаем в „Лавре“, — словно стоявшие бок о бок на развилке одной дороги, пошли каждая своим путем, чтобы через несколько лет уже не помнить о том коротком — не более десятилетия — времени, в течение которого — редкий случай в российской истории — Церковный Бог и Гражданская Свобода глянули друг другу в глаза».

Конечно, рядовому прихожанину, переступающему порог храма, совсем не обязательно знать и остро переживать все частные перипетии церковной «кухни». Люди приходят в церковь для того, чтобы найти в ней успокоение, отдохнуть от тягот повседневной жизни, унять душевную боль. Будь героиня обычным человеком, она, возможно, и обрела бы покой, которого ищут в церкви тысячи «нор-

мально верующих». Будь и она «нормальной», она стала бы, наверное, одной из матушек, обсуждающих качество испеченных к Пасхе куличей. Но все дело в том, что она — человек особого склада. Особость таится в ее мировосприятии, не принимающем тоталитарного духа и тяготеющем к «иным мирам». Она — *инакомыслящая*. Церковь чувствует таких людей и точно так же, как и государственная машина, безошибочно их распознает. В финале романа, беседуя с владыкой Николаем, героиня окончательно убеждается в том, что церковная иерархия сродни государственной власти. Ее отчаяние достигает крайней степени. Теряя последнюю жизненную опору, она покушается на самоубийство. Но уйти из жизни не удастся: скорбный путь еще не окончен.

В европейской литературе бывал некогда популярный жанр — «роман воспитания», в котором отображался процесс нравственного становления человеческой личности, стремящейся осознать свое место в мире, ее путь сквозь неминуемые опасности и соблазны. Мотив духовного испытания и поиска окрашивает в той или иной степени — от Гёте до Гессе — классическую прозу новейшего времени. Роман «Лавра» — своеобразная российская вариация на эту вечную тему: одиссея бунтующей, беспокойной души, тяжкий путь духовного познания мира. Мятежная и мятущаяся личность, очутившаяся в двойном плену, церковном и государственном, ее порывания к чистому, «монастырскому» пространству, по сравнению с которым жизнь в СССР видится грязной и грешной, — вот о чем написана «Лавра».

Любая интеллектуальная проза, требующая от читателя соучастия и смысла, — трудна. И подчас — тягостна. Такова и проза Елены Чижовой. Противоречия, терзающие героиню, мучительны еще и потому, что извечны и неразрешимы: «святость» брака и «грех» прелюбодеяния, навязанный от рождения атеизм и теплящаяся в душе вера в Господа. Высокоразвитый интеллект героини усугубляет ее сомнения — она страдает, не в силах их разрешить. Не все ее суждения и поступки представляются мотивированными с точки зрения обыденного сознания. Тем более, что у героини есть странный дар — умение слышать звуки, исходящие свыше и способные облекаться в слова. (Вспоминается еретичка Жанна д'Арк, которая слышала голоса, говорившие о ее призвании.) Конечно, в иное время церковь сочла бы ее «бесноватой» и отправила бы на костер. Но и в наши дни она кажется «больной» или «ненормальной»; муж с отцом Глебом пытаются ее *отчитать* — изгнать одолевающих ее бесов, исцелить от болезненных наваждений. Насыщенная отчаянием, страхом и болью, эта сцена в «Лавре» — одна из самых мучительных.

Повествуя о событиях своей необычной жизни, героиня как будто многого недоговаривает — слишком невнятные, должно быть, те далекие «голоса» и «видения» и слишком хаотичен окружающий мир, который она не в силах охватить мысленно, соединить его начала и концы. Недосказанность и незавершенность, блестяще воплощенные в языке и стиле, придают произведению Елены Чижовой неповторимый литературный облик: напряженный, нервный, мерцающий.

«Милости хочу, а не жертвы», — взывает героиня словами Евангелия. Эти слова Христа — эпитафия к последней части (сколь многие из нас вспоминали эти слова в октябрьские дни минувшего года!). Но прозорливый Молох не может быть милостив, властные иерархические структуры, государство и церковь, не способны на милость к обреченным и падшим. При этом, требуя все новых жертв, тоталитарная власть утверждает, что они — не напрасны, потому что оправданы высшими целями (в свое время это говорили и о жертвах Гулага). Государство готово жертвовать живыми жизнями, церковь — живыми душами. Христианин, уклоняющийся от Евхаристии, может оказаться таким же отступником, как и диссидент, восстающий против государственного произвола.

С одним из таких диссидентов мы встречаемся в «Лавре». Дмитрий — высокообразованный талантливый филолог, к которому в страстном порыве бросается героиня, не найдя удовлетворения ни в семье, ни в церкви. Но и чувство к Дмитрию, задышающемуся в атмосфере «застоя», не приносит ей душевного исцеления. Возлюбленный одержим лишь одним желанием — уехать из ненавистой страны. Уехать в то время — мы хорошо это помним — было не простым делом; мытарства, на которые власть обрекала «избравших свободу», оборачивались порой неодолимыми препятствиями. Они возникают и на пути Дмитрия.

Напряженное духовное пространство романа проникнуто живой и пылающей ненавистью. Ненависть излучают размышления Дмитрия о России, ненавистью пышет и страстная, но все же измышенная любовь героини, когда даже высшее наслаждение достигается лишь в пароксизме ненависти. Ненавистью (к инакомыслию) равно насыщены и КГБ, и РПЦ. Ненависть заполняет собой даже те сферы жизни, которые призваны источать любовь. Такая страна неизбежно гибнет духовно: люди, которые могли бы в ней жить, утрачивают человеческий облик. Все, даже замкнутая монастырская сфера, пропитано миазмами советской жизни.

В этом мире победившей ненависти, где милость даруется только властью, ждатель спасения неоткуда. Что же делать тому, кто не нашел прибежища ни в церкви, ни в семье, ни в любовной стихии, не говоря уже о социалистической родине? Остается одно: отказ, добровольная жертва. И вот, не видя иного решения, героиня приходит в храм, чтобы принести свою жертву. Она просит Господа освободить Дмитрия (сделать так, чтобы он мог уехать *на Запад* — такие молитвы отчаянно возносились в то время и в православных церквях, и в костелах, и в кирках, и в синагогах); ради его спасения она готова на крайнее самоотречение — обет повиновения и молчания. Как андерсеновская русалочка, отдающая морской ведьме свой волшебный голос, она жертвует даром Слова — последней надеждой, которая еще теплилась в ней, соединяя ее с Богом. «Я слышу звуки, собравшиеся в слова, в которых соединяются земля и небо. Только это одно есть у меня, и это я отдаю Тебе, чтобы *они* отпустили Митю». Она способна пожертвовать своей душой во имя другого (такая жертва, как учит Евангелие, — наивысшая: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»).

Услышал ли Тот, кого зовут Всемиловитый, ее молитву? Должно быть, услышал. Желавшие вырваться из ненавистного государства в конце концов оказывались за его пределами; это, следует думать, произошло и с Дмитрием. Но, вняв ее страстной молитве, Господь отвергает самопожертвование. Появление романа «Лавра», написанного *после* этих событий, само по себе подразумевает, что Бог сохранил в ней внутренний слух и творческую силу. И, значит, в мире не все потеряно для того, чья вера не гибнет под давящими сводами Лавры, кто способен в страшную минуту жизни воззвать к Творцу, уповая на Его бесконечное милосердие.

Впрочем, это — скорее читательский домысел. Финал романа куда безрадостней и безысходней для героини. Мы расстаемся с ней в тот самый момент, когда, распростершись крестом на каменном полу храма (так послушники принимают обет монашества), она произносит последние слова, прощаясь со всем, что ей дорого, — словно возвращает билет Создателю (еще не зная, что Он не примет жертву). Больше у нее нет ничего. Она остается одна, неприкаянная, охваченная беспредельным отчаяньем. Вокруг — безжизненный однообразный пейзаж: пространство, сотканное из страха и ненависти. Утробное урчание говновозок, поливающих из шлангов небо и землю, и обеспамятевшая больная страна, которую покинул Ангел.

Константин АЗАДОВСКИЙ.

С.-Петербург.

ОГЛАШЕННАЯ В ЛАВРЕ

Оглашенный (церк. стар.) — оглашенный в храме идолопоклонник, принимающий христианство.

Толковый словарь Вл. Даля.

Оглашенный (простореч. неодобрит.) — ведущий себя бессмысленно, бестолково, шумно.

Толковый словарь Д. Н. Ушакова.

Читатель уже догадался, что сейчас последует «другое мнение». На самом деле не другое, а *третье*. Если первый из моих эпиграфов сколько-то подходит к отзыву К. Азадовского: дескать, ушла героиня-богоискательница из совкового

язычества в христианскую церковь, а потом... — то второй вполне сгодился бы для попавшегося мне на глаза библиографического отклика Евгении Щегловой (петербуржанки тож): «нескончаемый текст... очень-очень *красивый*»... «метания полуошалевшей дурочки»... «очевидная безвкусица» и «безмерное самообожание»... «апология самовлюбленности» и «мощное самоутверждение» («Континент», № 114).

То, что написала Щеглова о Чижовой (за парность фамилий ответственна сама жизнь), — увы, правда. Но такая правда, про которую Аглая заметила князю Мышкину: правда, а *значит* — несправедливо.

Читая этот действительно нескончаемый текст, я испытываю не только эстетические преткновения от промахов и бестактностей даровитой все-таки повествовательницы, но и тяготу, тяжесть особого рода: когда тебя, как теперь выражается молодежь, *грузят* — грузят посторонним твоей душе, а деваться некуда, ибо чужой опыт внедряется в тебя с неподдельной экзистенциальной энергией. Опыт этот — и интересен, как бы ни была насильственна процедура его впрыскивания.

Мимо этого доподлинного опыта прошла не только ироничная обозревательница, но, мне кажется, и безусловный апологет романа К. Азадовский, который в своей до крайности политкорректной («не оскорбляющей чувств верующих») рецензии свел его содержание к горстке интеллигентских трюизмов: свободная творческая личность («особого склада») не может вписаться в авторитарную иерархическую организацию, будь то государство или церковь, и... да это, впрочем, и все¹. Несмотря на то, что рецензент захвачен пейзажем души героини и ее визионерскими дарами, сравнивает ее с Жанной д'Арк и пророком Иезекиилем, он представляет нам «Лавру» как заранее просчитываемый *идеологический роман*.

Каковым «Лавра», впрочем, и является — в верхнем, отчетливо осознаваемом рассказчицей срезе. «Самая молодая и красивая» героиня окружена тремя влюбленными в нее или вожделяющими к ней мужчинами, назначенными знаменовать три течения в интеллигентных кругах семидесятых годов. Муж — фарисействующий неофит, сочетающий карьерные желания с елейным умилением по поводу новой церковной пристани (и вдобавок утаивающий от церковного начальства свое двоеженство); он ни разу не назван по имени, что подчеркнуто и имеет свой смысл, — эдакий муж, объелся груш. Далее, любовник — диссидентствующий западник, мечтающий любой ценой вырваться из «этой страны» (притом, будучи филологом, работающий в суперзакрытом НИИ — чего не бывает? — и даже проводящий там «политчасы»). Наконец, друг семьи и исповедник четы, отец Глеб, молодой священник из «университетских»; он особо жесток со своей духовной дочерью, которая в свою очередь дразнит его смутительными речами, слетающими с облазнительных уст.

Нетрудно посмеяться над самолюбованием несомненно автобиографической героини. И чему посмеяться — найдется в избытке. Женской половины рода человеческого просто не существует в одной с нею плоскости; она кругом себя взирает: ей нет соперниц, нет подруг. Там, внизу, копошатся «невзрачные» (ее слово) матушки и поповны, безвкусно понадевавшие на пасхальное торжество свои кружавчики и наколки (меж тем как она сияет в забугорном платье с вырезом, «строго очерчивающим ключицы»), в той же коллекции — и однокашница Лилька, распутная, хитрая, лживая, и недалекая послушная Верочка, прилепившаяся к церкви в надежде выйти замуж за семинариста; да еще мелькают две фантомные безумицы, в которых героиня, кажется, угадывает символические предвестья собственного состояния. Отец Глеб — женатый священник, но он днюет и даже ночует в доме своих друзей в холостом одиночестве, видимо, чтобы венчанное с ним чадо праха не мешало умным разговорам.

¹ Любопытны, конечно, у Азадовского и частности, например: «Люди приходят в церковь для того, чтобы найти в ней успокоение, отдохнуть от тягот повседневной жизни, унять душевную боль...» Не правда ли, похоже на разговоры (чего нынче не услышишь!), что под куполом храма «скапливается мощная положительная энергетика». Или — трактовка событий с «Норд-Остом»: лучше было бы сдать страну бандитам, тогда восторжествовал бы принцип «милости», а не «жертвы». Для всего такого Салтыков-Щедрин придумал словечко «благоглупости».

В этой диспозиции, сколь бы она ни была саморазоблачительна, есть, однако, свой идеологический выигрыш. Чтобы судить обо всем и обо всех, всех и вся, необходимо пьедестал ослепительной юной женственности и «беззащитной и страстной искренности», — и по праву рассказчицы героиня себе его обеспечивает.

А судит, провидит и вещает она о судьбе родной страны и Русской Церкви. Тут у ее интерпретатора, по-моему, промашка в том, что касается иерархичности и авторитарности, отвергаемых мятежной душой. Как раз эта, организационная, сторона церковной жизни для нее, недавно «покрестившейся» (бытовое слово выбрано удачно), интересна и увлекательна. Она от нее многого ждет — прежде всего противостояния «большевицкой» власти, в духе гражданственности почти сакрализованного Галича, — но еще и чего-то для себя. Среди «владык» в клобуках и митрах она ищет ровню себе, не находя таковую среди фигур, расположившихся у ее подножия. И — находит: в лице ректора Духовной академии Николая (за этим именем едва скрыт известнейший ныне иерарх, можно сказать, публичный политик от РПЦ) и в особенности — митрополита Никодима. Эти — ее поля ягоды (так и сказано), с ними, с избранными, ей, отмеченной свыше, нашлось бы, о чем поговорить, хотя это не всегда получается по техническим причинам. С ними же связаны ее надежды на сближение «Церковного Бога и Гражданской Свободы», надежды, которым после — патетически описанной — скоропостижной кончины Никодима не суждено, по ее мнению, сбыться. «Не надейтесь на князи на сыны человеческия, в нихже несть спасения»².

Не будучи после крещения ни воцерковлена, ни причащена (избегала участия в Евхаристии, сколько могла, — наш рецензент отчего-то уверен, что это не чревато отступничеством), не удостаиваемая, находясь в храме, даже покрыть голову (пустые обычаи, а что их неисполнение смущает рядом стоящих — так ведь то «толпа»), путающая мясопустную седмицу с сыропустной, а орден с сектой (это как раз не такая уж беда, это я — к слову), — она между тем авторитетно рассуждает о «доверчивости» и свободолюбии обновленцев, о том, что Никодим проводит экуменическую линию «сыровато», и т. п. Такая вот занимательная область жизни, текущая параллельно неудачному замужеству и институтской рутине, дающая относительно безопасный выход политическому темпераменту, закупоренному в брежневские годы.

И как восхищает ее во время службы пышное явление любимых «владык» в блистающих ризах, их величие, их взоры, — все то, что о. Сергей Булгаков со смущением и грустью называл «архиереослужением» вместо богослужения. У этого восторга есть свой генезис. Кто читал первый роман Е. Чижовой «Крошки Цахес», тот помнит, что объектом того же поклонения той же героини (безусловно, она одна в обоих романах) там была учительница Ф., наделенная в глазах ученицы сверхчеловеческими качествами. Н. Елисеев назвал эти отношения «апологией рабства». Но с тем же успехом можно сказать: школа высокомерия. Ибо «прирожденный восточный владыка» (такова Ф.) кого подымает *почти* до себя, того ставит над всеми прочими.

Разочарование тут, что называется, при дверях. Радикальное антисоветское учреждение (Церковь в упованиях нашей неофитки) оказалось недостаточно радикальным, оппортунистическим, пошедшим на сговор со своими властью имущими гонителями (последнее, кстати, чистая правда), и в *этой стране* повинование Церкви неотделимо от позорного повинования властям. Тут-то банальный идеологический сюжет мог бы и завершиться, так сказать, высвобождением из пут — в меру драматично, но, по сути, благополучно. Однако под ним, под сюжетом этим, текут иные воды, и некие аномалии отклоняют его в сторону...

...О чем свидетельствует еще один пласт романа — символично-аллегорический, что ли. На него-то и припала львиная доля насмешек над «благоуханными», как

² Кстати, чтобы избежать *крайних* (с обоих концов) суждений об этом историческом лице, стоит познакомиться с рассказом о нем архиепископа Василия (Кривошеина) — в его кн.: «Воспоминания». Нижний Новгород, 1998, стр. 263 — 341. Из этих авторитетных мемуаров следует, в частности, что «романа» между интеллигенцией и владыкой не было и к «гражданской свободе» он был весьма равнодушен.

пишут зоилы, затейливостями текста. В самом деле, легко ли читать такое: «Перед моим ошеломленным сердцем мир разрывался с шумом, как будто молния, ударившая в огромное дерево, разорвала его надвое, на два ствола, растущих из одного корня. Корни болели, словно были моими ногами, ушибленными одним ударом. Мир, разорванный на живых и мертвых, пугал меня, приводил в ужас, разрывал губы. Закушенными в кровь, я бормотала бессвязные слова о призраке мертвого дома, который, раз увиденный, никуда не девается, остается, уходит в глубину»; «На иссохших ветвях, так и не пустившихся *своими* словами, лопались привитые почки — страшные и чужие. Два безжалостных мира, *низ* и *земля*, погрязшие в ненависти, прорастали во мне — из одного ствола. Сучковатый, вживленный отросток изгибался, припадая к коре, и выбрасывал зеленоватые корни, вьдававшиеся в мою сердцевину» (отрывки взяты из начала и из конца романа, а можно бы и из середины). Не запрещается, конечно, квалифицировать это как *барокко* — или, для пушей учености, как *эффуизм*, — припомнив Шекспира, декламировать которого учила героиню в школьные годы богоравная Ф. Можно вызвать из меньшего отдаления серебряный век вкупе с «Серебряным голубем» и «Мелким бесом»; но проще воспользоваться полузабытым немодным словом «декадентство».

А все-таки не одна же тут инкриминируемая автору «безвкусица»? Отчего-то ведь исторгаются такие протуберанцы, почти самопроизвольно?

Разгадка, по-моему, в том, что героиня-повествовательница не приемлет в Церкви не властную иерархию (с умными людьми и поговорить любопытно), а мистическую жизнь. Не вовлекаясь, не вливаясь в таинственный церковный организм, но, будучи одарена тягой к чудесному, она ищет *своей* мистики, своего магизма и пифизма. Истерика и экстатическое перенапряжение — спутники ее души, отвергшей *трезвение* как условие приятия преподаваемых Церковью таинств. И отсюда же — литературность. Не как изъясн стилиа, эстетическая неряшливость. А как следствие неумения видеть себя в истинном свете, как нарядная подмена самопознания.

Впрочем, истоки своего метода героиня адресует Томасу Манну, давая понять, что это чтение пришлось у нее как раз на годы церковно-любовной психодрамы. Она хотела бы, чтобы и у нее «каждая предыдущая история» оказывалась «развернутым определением следующей», «каждое слово, родившееся по случаю, не исчезло даже тогда, когда исчезал сам случай». Руководясь этим открытием, она начинает вязкую консистенцию своего текста знаменами-лейтмотивами, и настойчивость, с какой это делается, заслуживает уважения, как всякий кропотливый труд. Скажем, если она видит на улице треногу для асфальтового котла, то потом этот преисподний кипящий котел будет являться ее физическому и мысленному взору в нужное время в нужном месте. Если ее поразит половое возбуждение дебила в доме скорби рядом с Почаевской лаврой, куда она ненароком попала, то потом ту же неприглядную картину продемонстрирует ей «ночной гость», то бишь нечистая сила.

(Кстати, сцена с «гостем», предлагающим нашей протагонистке душевный покой в обмен на согласие забыть о грузе исторической вины России XX века, — сцена эта написана весьма искусно и изобретательно. Памятуя об известных предшественниках, автор старается их не повторять. И однако же — после Достоевского и Томаса Манна? Боливар не вынесет троих.)

Среди вновь и вновь нагнетаемых озаменованных одно занимает в мыслях рассказчицы особое место. Это поминальные просфоры и частицы, которые вынимает из них за поименно поминаемых священник, с тем чтобы по окончании общего причастия (а не раньше — как можно понять из текста романа) опустить их в евхаристическую Чашу и «потребить» вместе с оставшимися Св. Дарами.

Узнав об этом, героиня потрясена: ведь старухи (почему-то именно старухи), стоящие в храме, в своих записках поминают и убиенных, и их убийц, обе категории, на которые делится «этот народ»³, «народ-шизофреник». Значит, во чреве, в теле предстоятеля убитые и убийцы накапливаются вынутыми за них частицами и

³ Выражение «этот народ» нетрудно найти в Евангелии от Иоанна — исходит оно из уст фарисеев: «Этот народ, невежда в законе, проклят он» (7: 49).

смешиваются, образуя как бы мистическую основу для служения (арх)иерея сразу двум господам: Богу и безбожной власти. Такая вот эзотерика. На человека, не приемлющего того, что Церковь молится за всех, не в последнюю очередь — за сугубых грешников, что заповедано даже молиться за своих врагов, эта надрывная мистика может произвести известное впечатление. Мне же она видится эффектной спекуляцией на реальной политической трагедии России и Русской Церкви.

Символический пласт романа — рельефный лепной декорум плоского идеологического сюжета. Он, если извинить его назойливость, придает рассказу некое музыкальное и визионерское измерение. Обманчивое. (Даже заключительная сцена, где героиня распростирается крестом перед иконой, исполнена все того же мистического позерства.) Обманчивое — но не всегда и не во всем. Внутридушевные метафоры, вскипающие до истерического градуса, способны иногда поведать о подлинно *страшном*, о том неведуманном *опыте*, что был упомянут мною вначале.

Как бы подойти к этой тягостной и деликатной теме? Вот один из мотивов, выбивающийся в бок из обличительного «историсофского» цикла. Это тема материнства. Героиня (в те годы) бездетна, и наставники «с волевым упорством» уговаривают ее завести ребенка, чтобы исправить ее очевидный для них душевный вывих. Но в такой перспективе материнство представляется ей формой рабского послушания и самоубийственной неволи («глаза, повернутые вглубь, видели череду заживо истлевающих женщин, склоненных над колыбелями»). Между тем ей ведома другая «темная мысль о материнстве», другое чревоношение: «Я думала о себе как о будущей матери, способной дать жизнь новому — книжному — младенцу, причем сделать это безо всякого мужского участия». Не заключайте, что здесь простая и всем знакомая метафора творчества. Намек на травестию бессеменного зачатия достаточно явен. Чуть позже она в припадке наития лепит из цементного раствора человечков-терафимов и бормочет: «Нет, нет детей, нет и не будет...» — «с наслаждением, словно зачиная новую жизнь». А в тяжелой сцене экзорцизма (о которой пишет и Азадовский) явственен имеющий совершиться акт духовного аборта: «Через теменное отверстие, осторожно раздвинув затылочные кости, они извлекали что-то, похожее на глиняную фигурку» (далее следуют физиологические подробности).

На ум приходит мысль о мистическом сектантстве: хлыстовская богородица — и не только. В *idée fixe* этой женщины взять на себя «чужую вину» за превратности российской истории, церковной и светской, подъять и искупить «второе грехопадение» сквозит еще одна воображаемая инкарнация, посягательство еще более радикальное. Такое уже не тянет отнести к области литературных измышлений, — и, отслеживая, отслаивая непритворное от притворного, рвешься понять, что же произошло с этой душой *на самом деле*.

А вот что: «неудачное крещение» (как она сама его называет) оказалось не опрометчивым шагом внутрь чужой среды, ложным шагом, который можно исправить, уйдя по-английски. Печать крещения несмываема, и принявшие его все вовсе не в нейтральной зоне обнаруживают себя. Как-то мне рассказывали о священнике, который предостерегал оглашаемых от необдуманной готовности креститься, ссылаясь при этом на Евангелие: «...кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Дабы, когда положит основание и не сможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним» (Лк. 4: 28 — 29). Помнится, в душе я тогда осудила пастыря за его экзаменаторскую строгость: разве Господь не желает «всем спаситься и в разум истины прийти»? Прочитав этот роман, я, спустя много лет, поняла, что священник был прав.

Героиня «Лавры» решает креститься (хотела написать: «прыгнуть в купель», но вспомнила, что она — «обливанка», как и я, как и большинство из нас, тайно крещенных в 60 — 70-е годы), потому что так удобно ее мужу, преподавателю ЛДА; потому что к этому ее толкают поиски альтернативы советчине; потому наконец, что она поэтически суеверна и слышала, что крещением смываются все грехи и в душу нисходит нечто. (О Христе она не вспоминает ни в момент таинства, ни после. В ее внутренней речи ни разу не звучит «Имя, превыше всякого имени», это

бьет загадкой в глаза, и я не знаю, величайшее ли это благоговение, как в случае с неименуемой учительницей Ф., или крайнее отторжение, подобно тому как с принципиальным упорством ни разу не назван по имени муж рассказчицы.)

И отсюда начинается путь расплаты за напрасное вторжение на чуждую сакральную территорию.

Сначала — разочарование: в душе те же грехи, никуда не девшиеся, а она-то думала, искупавшись в сказочном корыте и ударившись оземь, обернуться царевной. Потом — похоть обличительства, заподозривание в лицемерии и корыстной слепоте даже тех и тогда, кто и когда не дает для этого оснований, как в случае с о. Петром, чье любящее око глядит *сквозь* врожденное уродство мальчика-сына (соскребание позолоты с золотых слитков, по Г. Честertonу). И наконец — одержание, обуянность. Признаки нарастания духовной болезни переданы тем добросовестней, чем бессознательней. Она не выносит невещественного света («пустые сияющие глаза отца Петра, заливающие ровным светом мою жалкую, ничтожную жизнь»; «лучезарные, инквизиторские глаза отца Глеба»). Ее сердце «подернуто пеплом» и «загорается багровым» — ср. «пурпурово-серый круг» над блоковской музой-демоницей (П. Флоренский в свое время объяснил источник этого свечения). «Страх и отвращение», «холодная ярость», «воскресающая из мертвых ненависть» — эти и подобные речения пронизывают весь текст, сигнализируя о духовном габитусе повествовательницы.

На этом пути есть свои жутковатые пароксизмы, придумать которые было бы трудно (в отличие от ночного посещения беса в образе скверной рептилии). В Церкви героиня не приемлет ее основания, положенного Основателем, — искупительной Жертвы, предполагающей готовность к некоему приношению и у приобщенных; для нее это насилие, жестокость, властная агрессия. И она, чтобы скинуть *легкое бремя*, прибегает, как бы наугад, по темному вдохновению, к «антипричастию», размачивая хлебные ломти в водке и глотая их; засим ею едва не совершается убийство. Следующий выплеск — в Почаевской лавре, где, обличенная прозорливым старцем (я сама норовлю обходить таких старцев стороной) в прелюбодеевании и ведьмовстве, она с оскорбленными воплями и «качанием прав» добивается срочного венчания с мужем, оказавшегося на поверку кощунством двоебрачия и запутавшего ее в новый силос... И вот та самая сцена «изгнания беса» — из нее, уже откровенно невменяемой, — когда засевшее в ней истязуемое отчитыванием страшилище («Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю Тебя, не мучь меня!» — «Пришел Ты сюда прежде времени *мучить* нас») заставляет ее забаррикадироваться и взвыть из-за двери баритоном... песню Галича. Развязка этой сцены подернута туманом, расфокусирована, как и многое другое, где невольные свидетельства преломляются сквозь призму самооправдания и самоутверждения. Но вскоре следует попытка суицида...

Предлагается верить в финальное возвращение героини в Церковь — пусть и вынужденное: потому что идти больше не к кому и просить больше не у кого. Но что-то (помимо оттенка позерства) поверить мешает. Смятенной душе сильно не повезло. Она оказалась волею обстоятельств в коловороте подводных течений и интриг церковного управления, в каковом, конечно, были и есть свои агнцы и козлища, но каковое Церкви не тождественно. Церковь, в своем зримом бытии, — верующий народ, то есть те, кто на страницах «Лавры» неизменно именуется «толпой», «множеством тел», лишенным духа, анахроническим старозаветным сборищем. Вхождение в *эту* Церковь далеко не всегда сулит одну радость, но оно ставит лицом к лицу с реальностью, рядом с которой слухи о синодальных карьерах отдают чем-то призрачным.

Отлично понимаю, что нарисовавшийся у меня «диагноз» способен отбросить тень бесцеремонности на самого диагноста. Тем более, что в поле зрения — не совсем *fiction*. Но что поделаешь? В противовес неочевидным достоинствам и слишком очевидным провалам текста мне нельзя было не извлечь из его смутной подосновы то, что вправе претендовать на *серьезность события*. Пусть простит меня автор, возможно, уже избавившийся от многих бед после проведенного в романе курса аутотерапии.



ТАИНСТВЕННОСТЬ БУДНИЧНОЙ ЖИЗНИ

Галина Корнилова. Кикимора. Рассказы и пьеса. М., Издательство Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского, 2002, 463 стр.

Предисловием к сборнику рассказов Галины Корниловой взят старый, сорокалетней давности, и довольно беглый отзыв Паустовского, привычно перечисляющий советские литературные добродетели — «понимание наших простых людей», «любовь... к своим героям, на первый взгляд заурядным и незатейливым», и завершающий все общими фразами: «Человек делается писателем, если на него широко дохнула жизнь с ее трудом, радостью, страданием и любовью. Это случилось с Корниловой».

О книгах Корниловой писали не так уж много, но есть вполне дельные и точные статьи (Натальи Ивановой, Аллы Марченко). Но Галине Корниловой тем не менее дорог невнятный отзыв Паустовского. Я вижу здесь негромкий и неявный, но отчетливый вызов времени. Галина Корнилова, ученица Паустовского, верна его памяти вопреки моде и конъюнктуре. Вопреки моде и конъюнктуре, кажется, пишет она и свои рассказы, избобилующие тщательными, дотошными описаниями городских улиц, потемневших домов, лестниц, комнат, стен, человеческих лиц, городских парков, цветов, полей, лесов, зверей. «Очертания странного холма прояснились окончательно, и я, обмирая, разглядела лобастую вытанутую морду животного с желтым прочерком клыка, крутую линию спины, мощный, топорщащийся шерстью загривок... Мерно вздымались и опадали его шерстистые бока, твердо упирались в землю короткие сильные ноги». Это — дикий кабан, вепрь, литовский шарняс, встреченный в лесу героиней, которой удалось не только рассмотреть зверя, но, преодолев начальный испуг, даже поговорить с ним. И тот, вопреки своему свирепому нраву, разрешил себя погладить («Шарняс»)! В такие фразы надо вчитываться, не пропуская эпитетов; текст, состоящий из них, надо читать медленно, подаваясь настроению автора. А если по современной привычке пролистать бегло страницы (о чем, мол, рассказ?), получится ерунда какая-то: героиня пошла в лес и встретила кабана. И это так длинно описывать?

Галине Корниловой интересно то, что некогда считалось признаком писательского мастерства, — неожиданные сравнения, яркие детали. Она может услышать в звуке медленно раскрывающихся дверей «старческое кряхтенье пересохшего дерева» или увидеть, как из глубины корзины, которую тащит крестьянка на рынок, торчит «скорбная гусиная голова».

Корнилова любит метафоры, которым мог бы позавидовать сам Юрий Олеша. Она может сравнить россыпь черно-белой семечной шелухи с северным сиянием, бледно-голубые головки таинственных цветов на невидимых ножках с крошечными НЛЮ, клубящиеся заросли вереска с пеной прибора. Она может написать: «В пустом небе низко над дорогой висело красное, без лучей солнце, похожее на запрещающий знак гигантского семафора». Или: «Фасад деревянного дома... напоминал лицо ребенка, переболевшего скарлатиной: полуоблепившаяся, высохшая краска струпьями висела на стенах». Подобную метафору, кстати, вряд ли способен оценить нынешний молодой читатель. В век прививок против скарлатины увидеть детское лицо в засохших струпьях много проблематичнее, чем облупившийся фасад. Но Галина Корнилова и не думает угождать читателю.

В уже цитированном отзыве Паустовского есть одна лишь фраза, которая кажется сейчас провидческой: мэтр пообещал своей ученице «нелегкую, но прямую и чистую творческую жизнь». Тут он угадал. То несуетное достоинство, с которым держится Галина Корнилова, не предполагает штурма литературных крепостей и впечатляющих побед. Но прямая и чистая линия литературного пути не ведет и к поражениям.

За годы работы Галина Корнилова выработала свой, узнаваемый почерк. В ее рассказах много таинственного и необыкновенного. Но необычное чаще всего растворено в будничном. Живет себе ничем не примечательная машинистка, робкая, тихая, исполнительная и безотказная — все самые грязные и трудные рукописи в издательстве, вся сложная и срочная работа достаются ей. Одинокая неудачница —

ни образования, ни мужа, ни детей, ни подруг. Даже малые попытки скрасить свою скудную жизнь не удаются: забавный щенок погибает от чумки, симпатичный попугайчик — улетает, цветы, которые она пытается развести, чахнут. Однажды машинистка исчезает, озадачив коллег, которые не помнят, чтобы ее стул когда-либо пустовал. Что могло случиться? Уборщица тетя Нюра говорит, что от такой жизни и руки на себя можно наложить. Никто этому не верит.

А наша машинистка, оказывается, шагнула с балкона, но не рухнула вниз на бетон, а, отпихнувшись от шершавой стены дома, взмыла вверх и полетела над крышами домов, полями, деревьями, лесами и перелесками, упиваясь свободным ощущением полета и лишь слегка недоумевая: как такое могло произойти? «А вдруг она умерла и не заметила этого. Могла же она свалиться со своего балкона, а теперь только одна ее душа совершает этот счастливый полет» («Машинистка в полете».) Если кто вспомнил намазавшуюся волшебным кремом Маргариту и решил, что машинистка вылетела из романа Булгакова, то скажу, что общего немного. Это не буйный разрыв страстной страдавшей женщины со своим прошлым. И нечистая сила не принимает в полете никакого участия. Вместо булгаковской сатиры — легкая горьковатая ирония. А вот машинистка ли летит над полями или ее душа прощально парит — писательница лукаво не поясняет. Пояснением, впрочем, может служить другой рассказ — «Звонящее море». Молодая женщина, решившая искупаться в небольшой шторм, подхваченная морской волной, внезапно испытывает чувство пронзительного счастья и, «задыхаясь, ликуя, боясь отстать», рвется к новой волне. На берегу переполох — человек утонул, спасатели, милиция, зеваки, поиски. А она, переждав суету и оттолкнувшись от песчаного дна, с криком радости уносится в открытое море.

Смерть в рассказах Корниловой — это и освобождение от косного мира, и естественное природное явление, лишненное трагизма. Нелишне заметить, что к одному из героев она приходит не в традиционном своем саване и с косой в руке, а в виде неказистой тетки в потертом, лоснящемся пальто из допотопного бостона, с истрепанной хозяйственной сумкой из черного дерматина. С ней и чаёк попить можно, и объяснить, почему человек за свое место в жизни цепляется, и попросить хоть немного да обождать. Незлая тетка, если по душам потолковать — так она и уйдет, работы много («Memento mori»).

Лес, трава, деревья еще и потому милы сердцу автора, что они естественны — в отличие от городских домов. «И вот еще что вспомните: после смерти мы не впадем в толщу каменных глазастых глыб вокруг нас, не превратимся в троллейбусную дугу или эбонитовый кран на кухне, но станем частью живой земли, что лежит под нашими ногами, и потом уже прорастем живым зеленым листом» («Шарняс»). Женщина, унесенная морской волной, правда, становится не частью земли, но «легкой водяной пылью, пепельным туманом, влажным пахучим ветром» — тем, чем манит ее «звонящее на просторе море». Все равно — часть природы.

Повторю — в рассказах Корниловой много странного и таинственного, но нет ничего зловещего, мрачного, дьявольского. Могущественные силы зла не вмешиваются в дела людей. Разве что мелкая нечисть вроде кикиморы взглянет своими пустыми белесыми глазами, сулящими беду. Впрочем, сильно напакостить кикимора не может — ей под силу устроить лишь что-нибудь вроде кражи в Петербургском ботаническом саду мраморной статуи бога Морфея («Кикимора»).

Зато таинственные силы добра обнаруживают свое присутствие более явно. То странный синеглазый гражданин на московском бульваре улыбается всем такой необъяснимой улыбкой, что даже в оледенелых и жестоких сердцах что-то пробуждается («Гость издалека»). То объявится в дачном поселке никому не известный человек, встреча с которым заставляет людей встревоженно задуматься о своей жизни, «отыскивая в ней общее направление и смысл», пройдет от дома к дому и уйдет куда-то к станции. А когда его попытаются догнать, то выяснится, что он каким-то образом перешел, не разуваясь, глубокую реку в том месте, где никакого моста не было («Никому не известный человек»). То героиня встретит в деревне добродушного незнакомца с круглым розовым лицом, который даст непрощеный, но, как окажется, очень важный совет, а потом между делом и жизнь спасет, порекомендовав поменять привычный лыжный маршрут за несколько секунд до того,

как огромное дерево рухнет на лыжню как раз там, где она могла бы оказаться, не задержи ее словоохотливый маленький весельчак. Неужто так прозаически может выглядеть ангел-хранитель? («Времена года»).

Один из лучших, на мой взгляд, рассказов Галины Корниловой — «Дорога без конца». Городской житель Андрей Андреевич, вместо того чтобы провести отпуск на юге, внезапно, по совету друзей, отправляется в маленькую деревушку. Он не разочарован. Приветливые улыбчивые лица, березовые рощи вокруг деревни и текущие мимо них к горизонту поля цветущего льна, лесное озеро с прозрачной водой, овраг, заросший малиной, — все ему по душе, во всем светлый покой, тишина и мягкость. «Райский уголок». Одно вот только начинает тревожить его под конец отпуска — не может он выяснить, куда ведет дорога через лес. Он прогуливается по ней, но ни разу ему не удалось дойти до конца. Однако дорога вовсе не кажется заброшенной, не поросла травой (кто-то же ее чистит)? Но сельчане по ней не ходят и Андрею Андреевичу не советуют — никуда она, дескать, не ведет. И лес этот бесконечен: «Хоть год по нему иди, хоть два, а не выберешься...»

«Но лес же должен где-то кончаться, — горячится Андрей Андреевич — и наталкивается на стену непонимания. Конечно, Андрей Андреевич уверен, что на его стороне наука и прогресс, а предрассудки сельчан ничего не стоит опровергнуть. Вон и географическая карта области подтверждает его правоту: зеленые пятна лесов тут совсем невелики. Стоит проехать по дороге на велосипеде, а еще лучше на автомобиле — и он быстро докажет, что лес не может быть бесконечным, а дорога — идти неизвестно куда. Лето следующего года Андрей Андреевич посвящает попыткам доехать до конца дороги. Надо ли говорить, что тщетным? Что его отчаянные усилия кончаются, как и ожидали сельчане, смертью. «Все они не отрываясь смотрели на неподвижно лежащего в телеге Андрея Андреевича, и на их лицах можно было прочесть выражение жалости и испуга».

В рассказе «Кикимора» Галина Корнилова упоминает рассказ Герберта Уэллса «Калитка в стене» — его влиянию приписывает она собственную тягу ко всякого рода чужим калиткам, обещающим встречу с чудом. Калитки, дверцы, дороги, туннели, ведущие в чужие миры, в параллельное пространство, в преисподнюю (куда там еще?), с тех пор стали привычным антуражем фантастики. Но у Корниловой таинственная калитка, ведущая из душного многолюдного города в прекрасный безлюдный парк, оказалась просто запасным входом в Ботанический сад, закрытый по случаю выходного дня (а калитку запереть забыли). Чудо имеет самое прозаическое, рациональное объяснение. Дорога в лесу — это тоже калитка в стене. На сей раз чудо рационального объяснения не имеет. В жизни остается иррациональный остаток. Им не следует пренебрегать.

Иррациональный остаток остается и в рассказах Галины Корниловой, лучшие из которых не сводятся к смысловой однозначности. (О пьесе, более уместной на писательском капустнике лет тридцать назад, чем в сборнике рассказов, мне говорить не очень хочется.) В них нет бьющих по нервам эффектов, нет желания поразить, удивить, схватить за горло читателя. Но в них есть спокойная точность фразы, свое представление о мире, окрашенное сдержанной иронией, свой почерк, в них проступает личность художника, достойно идущего своей собственной дорогой.

Алла ЛАТЫКИНА.

*

ХРЕСТОМАТИЯ НОВОГО БАРОККО

Дмитрий Полищук. Гиппогриф и сборно/изборно все предыдущие, последующие и сопутствующие химеры. М., ИД «Грааль», 2002, 88 стр.

О говорюсь сразу: считать слоги и обсуждать силлабическую (или нет?) природу стихов Полищука я не стану. Не оттого, чтобы «в послании к другу не знал числить силлабы», но, во-первых, об этом писано уже много и людьми, уверен, более сведущими, а во-вторых — время, когда Полищук спор о силлабике прово-

цировал, на мой взгляд, уже позади. Не в том смысле, что вопрос решен и исчерпан, просто принципиальная постановка его пришлась на вторую книгу стихов Полищука, где опыт восстановления силлабики в правах просто-таки декларативно обозначен уже в самом названии (которое тут необходимо привести полностью: «Страннику городскому. Семисложники. Четырнадцать страниц из дневника путешественника по странному нашему городу да пять песенок старинными семисложными стихами с прибавлением книжицы из трех стихотворений, сочиненных на том пути иными силлабическими же размерами»). Тогда уже стало очевидно, что, так сказать, «старые словесы» для Полищука — не кафтан с чужого плеча, не имитация стиля, но речь, органически свойственная этому поэту, его речь. Другое дело, что индивидуальная манера не перевернет — во всяком случае, пока еще не перевернула — всего строя русского стихосложения, чего, смею предположить, Дмитрию Полищуку (почему бы нет) и хотелось...

«Гиппогриф» — книга уже третья, и пафос ее — как и литературно-теоретическая подоплека, которая в книге все-таки есть, — видится теперь не в доказывании неисчерпанности силлабических возможностей русского стихосложения, но в другом, наверное, сейчас для Дмитрия Полищука более важном. И проявляющемся практически сразу, с эпиграфа...

Если бы вдруг живописец связал с головой человечесьей
Конский затылок и в пестрые вырядил перья отсюда
Сборные члены; не то заключил бы уродливо-черной
Рыбой сверху прекрасное женское тело...

К. Гораций Флакк, «К Пизонам» (1 — 4)

Этот эпиграф, предстоящий *всей* книге (есть в ней и другие эпиграфы, к разделам), одновременно, похоже, и ключ к «ларчику». Дело не в «конском затылке» и «пестрых перьях», которыми ловко было бы предварить появление своего пернатого коня, Гиппогрифа. Нет, эпиграф появляется не «красоты толико ради». Он отчетливо задает совершенно определенный угол зрения на книгу как целое, принимая на себя весьма серьезную смысловую нагрузку. И смысл этот — в заявляемой, на мой взгляд, таким образом полемике с (как минимум) классицизмом — с позиции, очевидно, барокко. То, что для Горация и его «искусства поэзии» есть пример дикости и нарушения гармонии, образец того, как нельзя, — для Полищука есть и сама гармония, и соответственно принцип того, как надо. Гиппогриф — тоже конь крылатый, но, похоже, противопоставленный Полищуком классицистическому Пегасу, и «сборные члены», классически уравновешенному римлянину Квинту Горацию Флакку представляющиеся варварской нелепицей и неладностью, становятся у москвича Полищука его ладом, по которому лепятся все *сборно/изборные* химеры, каковые, надо сказать, тоже принципиальны. После настолько очевидно заданной конфликтности самого заглавия книги с ее эпиграфом, после такого резко резонансного их сопоставления, даже сталкивания, уже в зачине, — вся книга неизбежно воспринимается как своеобразное «арс поэтика» Дмитрия Полищука, его послание к своим Пизонам, выстраиваемое от Горациева как от противного, вопреки ему и наоборот. А важная, по-видимому, для автора именно «московскость» этой поэтики подчеркнута первым же стихом, вынесенным Полищуком за пределы четырех разделов книги и стоящим перед этими разделами наподобие арки, организующей и открывающей за собой площадь: «О, да Москве».

Ежли мне поущено еще наперед
хоть полслова вышептать наоборот —
смертью чтоб довременной не оплошать,
город мой, мне б сызнава научиться дышать!

Безусловный добавочный смысл приобретает это «*наоборот*», во взятом отдельно стихе звучавшее бы только эвфемизмом речи поэтической, «наоборотисто» противопоставляемой речи просто и вообще, — но в контексте книги оно следует сразу за отсылкой к Горациевым правилам «хорошего тона» и коррелирует с ними, опрокидывает их: *наоборот!*

И я вдыхаю левой ноздрей синеву,
и мороз, и солнце, январь-Москву,
купола и башни с крестом, да звездой,
да зарей левой вдыхаю ноздрей.

И в себе задерживаю — не дышу —
эту снежную на проводах лапшу,
и поземку, и подземку битком да с гудком,
да с ветерком сколь могу удерживаю животом.

И выдуваю правой — как из трубы! —
автомобилей взбешенные клубы,
и прохожих гирлянды, и небес голубей —
из глубей — вихри сизые голубей.

Брутальность, плотскость, утробность этого восприятия Москвы, гиперболическая огромность вдыхания левой и выдувания правой ноздрей, по сути, всего видимого мира — не конские ли это округлые, нервные ноздри? — жадность и безудержность варварской поступи по клубящейся и взвихренной «натуре»...

Чтоб опять и сызнава, любя и губя,
через себя протискивать, нанизывать на Тебя.
И трубить во славу дымную иль
кукарекать, взмыв на эфирный шпиль.

Гиппогриф прошел по Москве конской поступью и, взмыв куда-то в эфирное уже пространство, протрубил-прокукарекал над «целым мирозданьем» — но о чем? Не попытка ли это сразу же заявить о существовании или по крайней мере формировании Полищуком некоего нового стиля, восход которого приветствует это варварское «кукареку»? Во всяком случае, заданное с самого начала ожидание того, что в книге будет (по мере сил последовательно и внятно) развернуто свое «арс поэтика», и очевидная барочность как самой «заглавной» химеры-гиппогрифа, так и первого же стихотворения в книге заставляют вспомнить публикацию стихов из тогда еще только готовившейся Полищуком книги «Гиппогриф» в приложении к «Независимой газете» («Кулиса-НГ», 2001, № 9 (68), 1 июня). Стихи предвараля статья самого Дмитрия Полищука, называвшаяся «О, да новому барокко». «Пока героические авангардисты, — писал в ней Полищук, — вели „бои за постмодернизм“ (по выражению аутентичного критика, за „место под солнцем“), новая генерация занималась выработкой собственного поэтического языка <...> который по многим приметам может быть назван „новым барокко“. На дящемся историческом переломе, среди культурных руин, хаоса образования новых структур и свалки смыслов барочные установки соединения разнородного, далековатого или несовместимого, поэтика контрастов и изобретательности стали не средством иронии или игры, но элементарной необходимостью построения связного <...> высказывания. Для „нового барокко“ формы и структуры, культуры и тропы, мифы и реальности, языки и словечки, архаизмы и варваризмы, приемы и ужимки, нормативы и ошибки не только сеть, но и сам улов».

Что ж, в контексте этого высказывания Дмитрия Полищука в некотором смысле манифестарный характер «Гиппогрифа» становится еще более очевиден. Хотя тут же следует оговориться: характер характером, но это еще (и слава Богу) не манифест. Точнее всего сказать, что есть весьма серьезно продуманная и основательно выстроенная книга стихов с подспудной, подчиняющей себе и выполненной — поскольку прочитываемой — сверхзадачей, которая на самом деле этой книги и шире, потому что касается проблемы «улавливания» и утверждения уже не индивидуального стиля автора (что было в первых двух книгах Полищука: «Петушка» и «Страннику городскому»), но стиля ни много ни мало всей «новой генерации». В этом смысле и повторение в «Гиппогрифе» нескольких стихотворений из предыдущих книг выглядит вполне оправданным: подчиненные принципиально новой задаче в ряду новых стихов, они как будто приобретают оттенок и нового, отсутствовавшего прежде значения.

Так, например, широко известный «Плач по деревянам», перекочевав (как, надо сказать, и «Романс-баллада») из предыдущей книги, встал последним стихом

в триптихе «Три оды духовные», которые в свою очередь оказались в «Гиппогрифе» «стакнуты» с... циклом «Ямбы 5». Чтобы дать возможность вполне прочувствовать стилистическую контрастность такого сочетания двух разных, но стоящих рядом групп стихов, привожу наглядно:

Из времен в трудном слове днесь явленный, о, не
остави мя в темени, отче Симеоне!
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешного! — бо аз есмь хороший,
аз есмь телок заблудший, в бездумье стоящий
ста дорог на стеченье, о кнуте молящий.
Дай же путеводного беспутному слова —
опричь слова нет в свете ничего иного.

(«Моление о слове», «Три оды духовные»)

Звезда катилась по небу так долго,
что я приметку вспомнил: загадать
мне нужно что-то... и успел. Желанье
ожгло тоскою прежней — пусть придет
еще стихотворенье. Так сбьлось.

(«Еще желанье», «Ямбы 5»)

«Члены» гиппогрифа и впрямь «сборные», сочетание, казалось бы, не сочетаемых, какофонически не согласующихся элементов напоминает о «лошадиных перьях», но ведь именно так и есть, собственно, так и должно быть, нам и была обещана «птицелошадь». Следующие за «Ямбами 5» «Сонэчки» (неологизм, возникший из сращения «нэчке» и «сонета»!) только подтверждают, что в книге Дмитрия Полищука дан опыт реализации авторской установки на соединение несоединимого как стилистической, если не стилеобразующей идеи «нового барокко», практикум его... И, приняв буйство форм — а метрическое разнообразие, лексическая щедрость и строфическое богатство, если не сказать виртуозность, в поэзии Полищука отмечались критикой давно и не единожды, — приняв их не только как данность и индивидуальное свойство поэта, но именно как заданность, уже не станешь удивляться сочетанию в книге од с романсами и даже «Цыганочкой», строгих октав, сапфической строфы — с верлибром, соседству кн. Шаликова и Т. С. Элиота в эпиграфе к «Последним полетам, или Гиппогрифу», загадочному определению, видимо, жанра: «складень архетипа» («Змей и битва») или такому чтению Платона («Отрывок»):

Лежали в постели, обнявшись, читали Платона;
«Пир», разумеется, «Пир», — что же еще нагишом
можно без усталы вслух? —

с последующим превращением двух в одно андрогинное целое, говорящее о себе уже и в мужском, и в женском роде одновременно:

...мне, — дважды блаженной/блаженному, счастья дана
сила такая была, что и смерти б уж не расщеж, но
небу, шуткая, — уж! — угрожал я перстом,
о муках творенья уже я страдала беспечно...

Кстати, такое смещение в одном стихотворении источника речи, а соответственно и точки видения, похоже, характерно для манеры Полищука, оно встречается, помимо «Отрывка», и в упоминавшемся уже «Плаче по деревлянам», на самом деле структурно построенном как диалогическая система: хор деревлян — отвечающий ему лирический герой, хотя диалог этот сознательно недовыявлен, что придает ему характер как бы внутреннего звучания; и в завершающем цикл «Змей и битва» стихотворении «Битва», где сначала речь ведется от лица витязя-змееборца, затем от внеличного повествователя, потом от лица змея и, наконец, от имени девы, что синтаксически не проявлено никак или, точнее, все это сознательно слито в единый поток общей, нерасчлененной речи витязе-змее-девы, к каковому чуду приращивается еще и авторское «я».

Был враг мой стозевен и лалял,
а девы — безмолвны мольбы.
Но скоро коня оседлал я.
Взлетая, конь встал на дыбы.
.....

И витязь чрез бездну пустую
зарницей стремится с высот.
Он белу красу молодую
от гадкого чуда спасет.
.....

Он бьет точно в яблочко, в завязь,
где — смерти иглою прижат —
убогим червем извиваюсь
аз — недоразгаданный гад.

Вот всадник над битвою, гневен,
застыл, потрясая копьем...
Был изверг озорен, стозевен,
и жертвой была я при нем.
.....

И точно так же, как в приведенных примерах в пространстве одного стиха разные персонажи-лица соединяются в синкретичное целое единой авторской речи, внешне разнотильные, пестрые части книги образуют странное, химерическое, но законное единство «Гиппогрифа» в пространстве авторской идеи о поэтике контрастов, представляя *urbi et orbi* книгу-свод разнообразных, едва ли не всевозможных форм (отчасти тем самым продуцируемого) некоего стиля, собрание его поэтических образцов и канонов — в созданной московским поэтом Дмитрием Полищуком хрестоматии нового барокко.

Павел БЕЛИЦКИЙ.



ЧУДЕСНАЯ НЕСВОБОДА

Станислав Лем. Библиотека XXI века. Перевод с польского. М., ООО «Издательство АСТ», 2002, 603 стр. («Philosophy»).

Книга состоит из шести разделов: «Абсолютная пустота» (1971¹) — рецензии на несуществующие книги, «Мнимая величина» (1973) — предисловия к несуществующим книгам, «Голем XIV» (1981) — собрание материалов, посвященных попыткам контакта с суперкомпьютером (надо ли говорить, что такой компьютер никогда не был создан), «Провокация» (1984), «Библиотека XXI века» (1986) — рецензии на книги, которые не существуют либо только будут написаны в конце XXI столетия. Последний раздел — «Записки всемогущего» (1963) — текст, написанный от лица самодостаточного искусственного разума. Это произведение может трактоваться как вполне традиционная фантастика, но по проблематике примыкает к другим разделам книги, и включение его в издание составителем К. Душенко кажется вполне оправданным.

Проблема контакта с иным сознанием занимала Лема на протяжении всего его творческого пути. Он строил модели сознания и поверял их жестким анализом. Моделями могли быть и инопланетный разум, и мыслящие машины, и Создатель, и человек. При всем разнообразии форм внешнего разума познающий оставался одним и тем же. Варьируя образы иного разума, рассматривая его с разных сторон в разных его проявлениях, Лем фактически снова и снова исследует разум собственный, который является испытательным полигоном контакта. И потому во многом проблема Станислава Лема — это проблема самопознания человека.

¹ В скобках приведен год издания на языке оригинала.

Человек вступает в контакт: с сотворенным им самим в собственном сознании виртуальным миром («Робинзонады»), с «говорящими» и даже предсказывающими будущее бактериями («Реджинальд Гулливер, „Эрунтика“»), с собственным творением — компьютером, прошедшим «порог разумного», — мыслящим Големом XIV. Компьютер исследует своего создателя («Не буду служить») и строит непротиворечивые гипотезы сотворения себя самого и того мира, который он познает, — и это уже модель отношения человека и Творца. Компьютер моделирует человеческое сознание и даже творчество («История бит-литературы в пяти томах») и пишет роман Псевдо-Достоевского «Девочка». Лем исследует и отношение Всемогушего с самим собой («Записки всемогушего»). При всем необыкновенном разнообразии приемник и передатчик информации однозначно указаны и сообщение отчетливо артикулировано.

Если мы очень кратко припомним романы Лема, посвященные контакту с инопланетным — внешним человеку пространственно — разумом, то сразу можем заметить поразительную общую черту: все эти контакты заканчиваются полной неудачей. Последний роман Лема о контакте, последняя написанная им в жанре научной фантастики книга называется «Фиаско» (1986).

«Эдем», «Солярис», «Непобедимый», «Глас Господа» — все это попытки предельно реалистически представить контакт, следуя внутренней логике повествования-исследования, и всегда с одним и тем же результатом. Контакт с неантропоморфным разумом невозможен. Почему? Всякий раз причины совершенно различны.

Может быть, исследовать саму форму контакта? Сам процесс коммуникации? Или нам нечего сказать, или мы в самом существе своем ничего не хотим услышать. Или и то и то.

Предметом исследования Лема становится сам способ контакта — то есть способ передачи информации. В частности, текст. Проблема текста вообще, художественного текста в частности и посвящены в основном произведения, собранные в книге «Библиотека XXI века».

Можем ли мы что-то сказать? Или мы обречены на ложь или молчание?

«Абсолютная пустота» — это пустота заполненная. Это — сообщение, которое несет нулевую информацию. Это — кипящий вакуумный конденсат, где возникают, чтобы тут же аннигилировать, мириады виртуальных частиц. Так почему литература стремится к этой абсолютной пустоте? Лем дает свой вариант ответа.

«„Ничто, или Последовательность” — не только первая книга мадам Соланж Маррио, но и первый роман, достигший пределов писательских возможностей. Его не назовешь шедевром искусства; если уж это необходимо, я бы сказал, что он — воплощение честности. А именно потребность в честности — червь, разъедающий всю современную литературу. Поскольку больше всего мучений причиняет ей стыд от невозможности быть одновременно писателем и подлинным человеком, то есть серьезным и честным... стыд и шок писателя — осознание того, что он неизбежно лжет, когда пишет... В прежние времена такого противоречия не существовало, потому что не существовало свободы; литература в эпоху веры не лжет, она только служит...

Что же оставалось литературе после того, как она неотвратимо осознала собственную неблагопристойность? Ничего, кроме шашней с небытием. Ведь тот, кто лжет (а как мы знаем, писатель должен лгать) *о ни чем*, вряд ли может считаться лжецом.

В таком случае нужно было — и именно в этом прелесть последовательности — написать *ничто*. Но имеет ли смысл подобная задача? Написать *ничто* — отнюдь не то же самое, что *ничего* не написать. Следовательно?..

Ролан Барт, автор эссе „Le degré zéro de l'écriture”², даже не подозревал об этом (но он мыслитель скорее блестящий, чем глубокий). Он не понял, стало быть, что литература всегда паразитирует на разуме читателя. Любовь, дерево, парк, вздохи, боль в ухе — читатель понимает это, потому что испытывал сам. С помощью книги можно в голове читателя попереставлять всю мебель при условии, что хоть какая-то мебель до начала чтения в ней находилась.

² «Нулевая степень письма» (франц.).

Ни на чем не паразитирует тот, кто производит реальные действия: техник, доктор, строитель, портной, судомойка. Что по сравнению с ними производит писатель? Видимость. Разве это серьезное занятие?»

У литературы нет выбора. Или служение — то есть трансляция чужих, не ею порожденных смыслов, или молчание, ложь, имитация речи и смысла. Это очень жесткий вывод.

Но что такое литература постмодерна? Это попытка использовать слово в его коммуникативной роли для создания художественного текста, который требует использования творящего слова.

К этому литературу приводит кризис достоверности, недоверие к слову, неведение в то, что слово может иметь какое-то значение, кроме вполне измеримой информации, которую оно передает в сообщении. А то, что нельзя померить, — не существует. Заставить слово выглядеть коммуникативным, будучи, по существу, творящим, порождающим, — рискованная и очень интересная задача. Текст постмодерна — это сообщение, которое может быть принято, если к нему отнестись как к сообщению. Это принципиальное различие не только с модерном, которому противопоставляет себя постмодернизм, но со всей когда-либо существовавшей литературой от самых ее истоков.

Преыдущий перелом происходил в обратном направлении — когда к сообщению отнеслись как к творению. Это прямой переход от сакральных и мифологических текстов, которые, конечно, не что иное, как сообщение, возвешение, — переход к творчеству, то есть к текстам информационно независимым, творимым и безадресным. Но этот первый переход был проще, потому что сакральный текст адресован не имманентному адресату, а трансцендентному — абсолютному. Значит, следовало отнестись к неизвестному читателю как к своего рода Богу на земле и написать ему письмо. В случае постмодерна переход обратный: мы как бы разворачиваем вертикальное (творящее) слово по коммуникативной горизонтали сообщения — мы не к читателю относимся как к Богу на земле, а к Богу как к читателю. Но ведь Богу-то узнавать от нас нечего.

Как можно, разлагая слово на составляющие, то есть подвергая его анализу, прийти к ничто, к пустоте? Чтобы в чем-то усомниться, надо в чем-то быть уверенным. При любом анализе мы обязаны использовать какие-то опорные данные. Но этим самым мы полагаем их несомненными, о чем совершенно верно пишет Витгенштейн. Но если мы хотим все подвергнуть сомнению — возможно ли это? Да, возможно. Алексей Лосев, анализируя именно этот вопрос в предисловии к классическому тексту Секста Эмпирика, пишет, что мы можем влезть на крышу и отбросить лестницу.

На каждом шаге рассуждения мы что-то одно считаем несомненным, но мы можем в следующий момент подвергнуть разлагающему анализу прежде несомненное. Если мы поступим так — то в конце рассуждения что-то последнее останется несомненным. То последнее мы сможем исключить, только если наши рассуждения замкнуты, то есть порождают порочный (или непорочный, это как посмотреть) круг.

В своей эссеистике Лем дает множество способов говорить так, чтобы ничего сказано не было. Это может быть разбухающее до полной неразличимости и бессодержательности автокомментирование («Гигамеш»), когда каждое слово берется со всеми своими контекстами и таким образом пересказывает в пределе все, что только возможно, — весь мир. Это может быть полный отказ от реальности внешнего мира, своего рода инкапсуляция в своем собственном воображении (упомянутые «Робинзонады») или микромире семьи («Идиот»), или выстраивание всего универсума как глобальной тавтологии («Новая космогония» или «Корпорация „Бытие“»), которая рационально перечислима и уже перечислена и добавить просто уже нечего.

Постмодернизм в том виде, в котором он сложился к концу тысячелетия, — это, конечно, идеология усталости. Цель познания потеряна. Мы уже не верим в ее объективную достижимость. Нет, мир познан не будет. Ни завтра, ни послезав-

тра, никогда. Нет таких оснований, на которых мы могли бы строить познание. Нет изначальных самоочевидностей. Как только мы начинаем анализировать то, что казалось неизблемым, — оно рассыпается от пристального взгляда.

Мир — субъективен, но нам он неподконтролен. Мы никогда не сможем заставить его делать то, чего мы хотим. Но мы можем разрушить все, что угодно. Мир размыт и нечеток. Даже такие вещи, как движение планет, которые всегда казались нам неизменными и надежными, оказываются неустойчивыми при достаточно долгих флуктуативных воздействиях. Мы отказываемся смотреть вперед, потому что мы больше ничего не ждем. Человек, по крайней мере такой, каким стал ощущать себя европеец начиная с эпохи Возрождения, — не венец творения. Он довольно слабое и жалкое существо, которого и некому и незачем жалеть. Сверхчеловек не родился и не родится. Мир безосновен.

Кризис рациональности привел к отказу от реализации титанической программы, которая заявлена в Декартовом «Рассуждении о методе...». Она невыполнима. Почему нам так зябко смотреть на мир, который может измениться и просто погибнуть от одного нашего (или не нашего) недоброго взгляда? Почему так трудно принять то, что ненаблюдаемая частица существует только как возможность?

А слово ведет себя так же. Язык стал последним прибежищем человека двадцатого столетия. Но как только мы сделали язык основой своей онтологии, он попросту не выдержал и начал распадаться. Тогда выяснилось, что у нас вообще ничего не осталось. Язык, наверное, — «дом бытия», но у этого дома сорвало крышу.

В том, как долго и мучительно принимали физики квантовую механику, было что-то очень тяжелое. Человек не верит себе, он боится собственной субъективности. Ему нужно, чтобы другой (каждый!) подтвердил его наблюдение. Ему нужно, чтобы материя была твердой и объектной. А она объективна только вместе с человеком. Она с ним одно целое. Так почему же это плохо? Как раз тогда, когда у человека появилась настоящая возможность представить себя не гостем в этом мире, а его неотъемлемой частью, он чего-то испугался. Оказывается, человек никогда не хотел быть творцом — он хотел быть пользователем. Он хотел брать, и только брать, но брать можно лишь у чужого — у себя взять нечего, разве что из левого кармана переложить в правый. Язык необъективен, лучше сказать, необъектен, так же как необъектен весь универсум. Что же здесь плохого? Почему это так страшно?

Блистательная лемовская эссеистика ничего не утратила за те годы, которые прошли с момента (моментов) ее появления. И то, что я подробно остановился только на одной стороне ее — на контакте человека и иного и возможности существования художественного текста, может быть извинительно только по той причине, что для меня это действительно важная из проблем, поднятых Лемом. Но она, конечно, не единственная.

Нельзя не сказать об интеллектуальной новелле «Народодубийство», в которой Лем исследует отношение современной культуры к феномену человеческой смерти и приходит к выводу, что человечество, предельно смягчив контуры, локализовав и укрыв сам феномен, оказалось перед ним бессильно — потому что отгородиться можно от всего, чего угодно, а от смерти все равно деваться некуда. И это привело к «вторичной утилизации смерти» терроризмом, который воспользовался робостью западной культуры и собственной безнаказанностью, чтобы диктовать свои совершенно бесчеловечные (любые) условия.

Лем многообразен. Его сильнейшая черта — рациональное воображение. Воображение, которое свободно в жестких — практически формальных — рамках. Лем оформляет свое совершенно свободное, не знающее никаких ограничений воображение твердыми формулами научного знания. В «Записках всемогущего» все- сильный разум говорит: «Что же такое мудрость? Ограничение всеведения и всемогущества. В чем она проявляется? В зарождении упорядоченности».

Писатель-фантаст всемогущ. Он может придумать все, что угодно. Но его задача состоит в том, чтобы разумно выстроить самоограничения. Лем в своих книгах опирается на научное знание, которое он пытается прогностически и гипотетически продлить в будущее. Он свободен, но законы природы для него нерушимы. Это его язык. Поэтому Лем, может быть, даже более ученый, чем писатель.

Проблема контакта могла решаться и продумываться только на рациональных моделях, подобных тем, что строит Лем. Мы не встретили до сих пор инопланетян, и компьютеры наши далеки от «порога разумного» — то есть от уровня самостоятельного мышления.

Лем демонстрирует с удивительной ненавязчивостью то, что наука, кроме того, что она эффективна, кроме того, что мы многим ей обязаны, — она еще и красива — единственной, только ей присущей экономичной красотой. Именно наука — главный герой и источник вдохновения и воображения Лема.

«Антироману хотелось взять за образец математику: она ведь тоже не создает ничего реального! Верно, но математика не лжет, поскольку делает только то, что должна. Она действует под давлением необходимости, не выдуманной от нечего делать: метод ей задан; поэтому открытия математиков истинны и поэтому столь же истинно их потрясение, когда метод приводит их к противоречиям. Писатель, поскольку его не понуждает такая необходимость — поскольку он так свободен, — всего лишь заключает с читателем свои тайные соглашения; он уговаривает читателя предположить... поверить... принять за чистую монету... но все это игра, а не та чудесная несвобода, в которой произрастает математика. Полная свобода оборачивается полным параличом литературы».

То, что «антироману хотелось», Лему во многом удалось в таком непрестижном и вроде бы неглубоком, развлекательном жанре, как научная фантастика. Но, видимо, этот путь оказался не слишком длинным. Та романтика познания, которая питала лемовскую прозу, постепенно уходит (или уже ушла). То ли познание становится слишком сложным, а результаты его неочевидными и неоднозначными, то ли новым писателям не хватает лемовской глубины и свободы в понимании современной науки, чтобы обыграть их и представить в захватывающем свете воображения. Но скорее всего дело именно в том, что кризис рациональности разрушил саму научную фантастику как жанр и ее сменила игровая рациональность фэнтези — гораздо более простая и нетребовательная.

Воображение, органично сочетающее в себе творческую свободу и рациональное обоснование, — это признак великих ученых и мыслителей. Но у них ударение все-таки придется на рацию. За единственным, может быть, исключением — Станислав Лем. Он — сказочник рационального, математически выверенного пространства. В этом его сила и в этом его мудрость. Мудрость самоограничения.

Его книги остаются с нами, несмотря на тот безжалостный приговор литературе, который он выносит в «Абсолютной пустоте». Литература, которая опровергает литературу, литература, которая отрицает собственное существование и тем не менее остается живым и захватывающим чтением для новых и новых поколений читателей. Это один из тех смешных и горьких лемовских парадоксов, мастером которых он был всегда.

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА

+9

Дмитрий Горчев. Сволочи. Рассказы. СПб., «Амфора», 2002, 250 стр. (Из книг Макса Фрая).

Макс Фрай, на мой вкус, плох, но выбор его хорош. Когда-то алма-атинский, а с некоторых пор петербургский прозаик и художник Дмитрий Горчев, один из самых популярных авторов Русского литературного Интернета, обладает чрезвычайно заразительной литературной манерой. Так и хочется подражать его Чернушным Рассказам, в которых имена собственные почти сплошь пишутся с маленькой буквы, а Высокие и Святые Понятия — с большой; выбор понятий не случаен — Изверги, Дохлая Кошка, Коммунисты, Бандиты, Писатели.

Горчев — Настоящий Писатель, и не только потому, что его весело и интересно читать (а рассказы у него короткие, без напряжения для читателя), но и потому, что он все проговаривает вслух. В том числе и то, о чем многие боятся даже подумать. Поэтому молодежь так любит цитировать горчевские афоризмы. Например: «Проблема в том, что где-то на четырнадцатом расставании навеки вам самому будет крайне сложно поверить в серьезность происходящего». Или: «Если Предмет Любви по легкомыслию пустит влюбленного хотя бы на пять сантиметров внутрь, он тут же там располагается, как маршал Рокоссовский в немецком городе, вводит комендантский час и расстрел на месте, берет под контроль внутреннюю секрецию и месячный цикл. Зато когда влюбленного оттуда прогоняют, он немедленно режет вены и выпрыгивает в окошко. Звонит через два часа в жопу пьяный и посылает на. Через две минуты опять звонит, просит прощения и плачет».

Можно, конечно, при желании увидеть в прозе Горчева один только Цинизм и Мат. Но это — при очень большом желании, посещающем обычно неудовлетворенных и несостоявшихся людей. Люди удовлетворенные и состоявшиеся, то есть способные читать хорошую прозу без зависти, увидят в этих рассказах прежде всего буйство фантазии и праздник изобретательности. Горчев придумал Галлюциногенный Гриб над Москвой — излучения и испарения этого гриба заставляют Москвичей думать, что они живут в элитных хоробах, а на самом деле они спят в канавке или под березкой, подложив под голову торбу. Еще Горчев придумал призраки Советских Писателей, которые до сих пор живут в переделкинском пруду, и Телефонного Робота, который слушает все наши разговоры, потому что больше это никому не интересно. Горчев — добрый сказочник и веселый шутник эпохи раннего Апокалипсиса, которую в своей манере описывает так: «Не прошло и трех тысяч лет, а все уже разваливается, рассыпается и трескается. Картонные самолетики протыкают бумажные зданьица. Кто-то что-то нажал, отвернул, не завернул, закурил, заснул, и вот опять вокруг бегают бессонный Чрезвычайный Министр Шойгу — штопает окружающее пространство».

Кто читает Горчева — освобождается. Плачет и смеется. Умиляется. Весь набор реакций, которых современному человеку уже не даст никакая традиционная литература — а вот такая еще прошибает.

Ксения Букша. Аленка-партизанка. СПб., «Амфора», 2002, 300 стр. (Из книг Макса Фрая).

Еще один удачный выбор Макса Фрая, обещание серьезного литературного ренессанса в ближайшие лет пять. Когда в обществе намечается масштабный катаклизм, серьезное нравственное испытание или просто утомительный застой (который есть, в сущности, скрытая и затянута разновидность катаклизма) — Господь загодя заботится о летописцах. Россия сейчас вступила в очень серьезные времена, и Господь послал нам Букшу, дав ей вдобавок высшее экономическое образование. Ей сейчас двадцать лет. Открыл ее Александр Житинский. Сюжеты ее часто наивны, как в «Аленке-партизанке», но не в них дело. Во-первых, у нее есть собственный стиль — орнаменталистский, с множеством метафор, при этом легкий и самоироничный. Во-вторых, она отлично чувствует время. Кто за последние годы выдавал на-гора что-нибудь точнее и лаконичнее, чем такой, например, пассаж: «По правде говоря, что в ней хорошего, в свободе? И что о ней думать, есть она, нет ее? Так вот и не убергли в очередной раз, никто и не заметил. Тихо-тихо замерзало это море, сначала пленка льда образовалась на воде, потом стала она прочнее, а никто и не замечал, и все думали, что это еще вода, что еще можно из глубины всплыть на поверхность глотнуть воздуха, так был прозрачен этот лед. И только когда потемнело кругом, и сгустилось, и перестали возвращаться те, кто бился об лед головой, пытаясь выбраться, — вот только тогда... А главное, никто опять ничего не знал. Как муж. Как жена».

Вот это «как муж, как жена» — дорогого стоит, да и вообще умение писать полужантастические притчи, короткие и универсальные, — дар редкий, в основном почему-то петербургский. В книге еще две повести, «Вероятность» и «Рулет с черникой», написанные, пожалуй что, и получше первой, — но, конечно, в смысле

масштабности обобщения она им дает хорошую фору. Всего у Букши уже восемь повестей и множество стихов, а ее любимый поэт — Хлебников. Более русского явления, чем эта девушка, я в нашей нынешней литературе не знаю. Главное, что она все понимает и при этом ничего не боится: такие люди и двигают вперед либо историю, либо словесность.

Дарья Асламова. Сладкая жизнь. М., «Эксмо», 2002, 325 стр.

Что хотите со мной делайте, но я люблю читать Дашу Асламову. Задолго до того, как она стала делать карьеру Дрянной Девчонки, мне нравились ее военные репортажи. В литературе она безошибочно нащупала нишу, которой у нас не было: почти вся женская проза в России отчего-то гинекологична, пропитана испарениями быта и запахами очереди в поликлинике, женщины страдают от множества специфических болезней, мужского пьянства и детских соплей — и не было у нас до сих пор победительной самки, авантюристки, дикой кошки, как называет себя сама Асламова. Плевать, что она врет половину, как уверяют завистливые коллеги. Лично я думаю, что не врет. Плевать, что по внешним своим данным она далеко не фотомодель: на вкус и цвет товарищей нет. Важно, что она считает и чувствует себя красавицей, что вся ее жизнь — непрерывное и увлекательное приключение, что отдается она с наслаждением, что война для нее — только предлог для пылкого и кратковременного романа с очередным военным корреспондентом откуда-нибудь из Канады или Хорватии. Я знаю журналистскую среду изнутри, знаю таких девушек и восхищаюсь ими даже тогда, когда они пишут абсолютно бульварным слогом. А слог у Асламовой таки да: «И когда мы лежали, уже сытые, голые, расслабленные любовью и луной, люющей в окна, курили гашиш и вдыхали запахи удовлетворенной и продолжающей жаждать женской плоти и мужского пота, вдруг зазвонил мой мобильный телефон». А?! Вот апофеоз женской и профессиональной востребованности! Но Асламова и не претендует на хороший вкус, очень он ей нужен. Зато Италия, Пакистан и Япония в ее изображении выходят чрезвычайно живыми; кто бывал — подтвердит. И мужчины, о которых она пишет, всегда обаятельны. Счастье и хороший вкус совмещаются редко. Отлично, что у нас есть Хемингуэй в юбке: если уж смотреть на мир чужими глазами, то глазами человека счастливого, быстро соображающего и искренне упоенного собой.

Валентин Берестов. Застенчивый трубач. М., «Вагант», 2002, 480 стр.

Все мы знали Берестова, — кто же его не знал? Все без исключения — по детским стихам и почти все — лично. Однако ничего-то мы о нем не знали, потому что всю правду о человеке понимаешь по той пустоте, которая от него осталась. Вроде и не так часто вспоминаешь о его отсутствии: Берестов и в новом своем состоянии, уже в качестве признанного классика, литературного памятника, — на редкость деликатен и ненавязчив. Но открываешь его посмертную книгу, читаешь последние, в большинстве своем впервые публикуемые стихи — и поражаешься тому, какой он был точный, и свободный, и разный! Вот «Вид из окна палаты»: «На лесах штукатурных шестерка юнцов лезут в окна — хотят посмотреть мертвецов. И несутся от здания морга вопли ужаса и восторга».

Воплей ужаса и восторга в берестовской поэзии не было, но подспудно он понимал и чувствовал все, и иногда кое-что прорывалось: то слезная тоска, то запретное блаженство. «Я поле жизни перешел и отдохнуть присел. Там тихо одуванчик цвел и жаворонок пел. И стало мне так хорошо, и я забыл почти, что поле жизни перешел и дальше нет пути».

Вероятно, Берестов был у нас единственным полноправным наследником Маршака, прежде всего его переводов с английского — ясных, сентиментальных, музыкальных.

В книге впервые опубликованы воспоминания Берестова, в том числе очерк о первой жене, Татьяне Александровой, — «Лучшая из женщин». Это трудное и горькое чтение, но и в страдании, и в отчаянии Берестов все так же деликатен и сдержан, — и нам, кто его знал и любил, надлежит, вероятно, вспоминать о нем

без надрыва. Лучше следовать его уроку — честертонианскому, маршаковскому: можно прожить жизнь, не форсируя голоса, не сердясь, не отчаиваясь, не вставая на котурны. Детство — пускай детство, наивность — пускай наивность: главное — абсолютная чистота. Именно так и выглядят праведники. Кто не поймет, посмотрит высокомерно и пройдет мимо, но кто поймет — отыщет в этой книжке истинное утешение.

С. В и т и ц к и й. Бессильные мира сего. Повесть. В т. 12 Собрания сочинений Аркадия и Бориса Стругацких. Ростов, «Феникс», 2003.

Заслуживал бы отдельной рецензии и сам этот итоговый (пока) том, включающий лучшие статьи о творчестве Стругацких и некоторые рассказы из их архива. Но главное в нем, конечно, — как и в русской фантастике этого года, — новая повесть Бориса Стругацкого, публикующегося теперь под псевдонимом С. (Сергей или Старик) Витицкий.

Многие фантасты и фэны, профессиональные читатели сложных и прихотливых текстов с хитросплетенными фабулами, честно признавались автору этих строк, что ничего в новом сочинении Стругацкого не поняли, хотя и очень его ждали. Надо признаться, что и мне понадобилось не меньше трех прочтений, прежде чем у меня в голове, расправив все свои крылья, пружинки, сдержки и противовесы, установилась наконец сложная, асимметричная, ажурная конструкция этой повести, уложенная Стругацким в двести страниц плотного загадочного текста, как компьютерный файл упаковывается в архив. Ничего особенно непонятного там нет, но прелесть — в деталях, лакунах, умолчаниях, тайных и явных переключках с прочими сочинениями АБС. Конечно, Витицкий — совсем отдельный, новый писатель, невзирая на все эти аллюзии: он пишет в основном о современной России, проза у него мрачная, едкая, жестокая, все и вся он поверяет своим новым, безжалостным взглядом, словно кислотой разъедает. Где была молодая дружба, кружок талантливых единомышленников — нынче по инерции собираются сломленные, раздавленные жизнью люди. Это повесть о том, что делает с человеком жизнь, и о том, что Человеку Воспитанному — высшей ступени человеческой эволюции — нечего делать на свете. А главное — это история о том, что переделывать мир бессмысленно; собственно, об этом — все Стругацкие, начиная с «Попытки к бегству» и кончая трилогией о Каммерере, но никогда еще они не давали прямого ответа на вопрос: почему? Теперь Витицкий ответил. Потому, что, выращивая Дивный Новый Мир, мы в недрах его растим его смерть, а в зерне каждого нашего замысла уже скрывается антизамысел, который все и погубит в конце концов. И даже собирая вокруг себя кружок единомышленников, мы неизбежно растим Иуду — страшно сказать — потому, что без Иуды кружок невозможен.

Но не в морали туг дело, смысл повести в любом случае глубже. Дело еще и в неотразимо обаятельной повествовательной манере, которая никуда не делась; и в умении нагнетать напряжение, и разбрасывать тайны и обманки по обочинам магистрального сюжета, и попросту пугать читателя, когда это нужно. Вам может не понравиться эта книга, и это будет естественно — она не говорит о человечестве ничего особенно утешительного. Но отложить ее, не дочитав, вы не сможете. Один коллега читал ее в реанимации после инфаркта и с трудом вымолил у врача разрешение на один телефонный звонок — спросить меня, как я понял финал. А то он его недопонял. Статьи, выздоровление у него пошло довольно быстро — хорошая проза, сколь бы мрачна она ни была, внушает желание жить и писать.

Пусть Старик Витицкий еще что-нибудь придумает, пожалуйста. А то я уж и забыл, когда так летел сквозь текст.

Виктор Фрадкин. Дело Кольцова. М., «Вагриус», 2002, 350 стр.

Самая страшная книга, читанная мною за последний год. Особенно страшная для журналиста — потому что Кольцов воплощал собою абсолютный, законченный тип журналиста пар экселянс. Одно время его считали чуть ли не сталинским палачом, который заслуженно пострадал от других таких же; сейчас ясно, что он был

попросту отличным организатором газетного дела, замечательным стилистом (не чета нынешним эссеистам) и гениальным репортером с врожденным чутьем на яркую и точную деталь. Когда читаешь его письма времен организации «Чудака» и «За рубежом», перечитываешь «Испанский дневник» и воспоминания его коллег — с завистью ощущаешь азарт веселой артельной работы, радость созидания, сознание нужности стране и читателю; без всех этих прекрасных вещей журналистики не бывает. Что мы сегодня и видим.

И еще Кольцов был евреем, очень евреем — быстрым, сообразительным, часто поверхностным, циничным, высокомерным, любящим власть — и свою, и чужую. Ничего не поделаешь, он и тут законченный представитель своего племени. И жалко его. Понимаешь, что, если б не эта еврейская торопливость, поверхностность и жажда вписаться в иерархию, он мог бы стать большим писателем, русским, настоящим. Таланта и чуткости хватило бы. Так что о евреях в России эта книга говорит больше и точнее, чем «Двести лет вместе», — вероятно, потому, что это свидетельство более объективное. Сам Кольцов рассказывает, а себя он знал.

И еще одна страшная мысль закрадывается в голову к читателю этой книги: а если б не Сталин... если б кто другой стоял у власти и не было бы паранойи, маховика репрессий, бессмысленных арестов, нагнетания ужаса? Ведь какая мощная созидательная сила вырвалась наружу и как много сверходаренных людей дала эта несчастная интеллигенция в первом поколении, которую выбили за десять лет арестов и войны... Может, все могло быть иначе? Может, осуществима была советская утопия, о которой так убедительно и радостно писал Кольцов? Вот она, сила хорошего журналиста, — семьдесят лет спустя читаешь о пятилетке и завидуешь!

Только потом вспоминаешь, что советская история фатальна, а термидор всегда неизбежен. И потому правы те, кто с самого начала ни во что не верит и ничем не увлекается. Тошно мне от этой правоты, глаза бы не глядели на ее самодовольных носителей.

А. Е. Хотчнер. Папа Хемингуэй. М., «Текст», 2002, 320 стр.

Очень хорошая и полезная книга. Мне кажется, сегодня возвращается время Хемингуэя — во всяком случае, сегодня я опять могу его читать, и меня не раздражают ни герои, ни автор. Люди радикального жеста, может быть, и невыносимы в быту, но именно тяга к жесту позволяет им предохранить себя от трусости, слабости, отступлений: кто таких жестов наделал — тому уже нет пути назад. Кто всегда позиционировал себя как сильного и счастливого мужчину — обязан вести себя соответственно в экстремальных ситуациях и перед лицом самой смерти. Это книга о стареющем, потом старом Хемингуэе; он героически отбивает атаки безумия. Что-то общее у них с Асламовой определенно имеется — выпендрож, некоторая вульгарность, любовь к преувеличениям, когда начинаются рассказы о собственных приключениях; и тем не менее в таких людях много настоящего. Прежде всего — жадность к жизни, храбрость, страсть, а этого сейчас очень мало. Как писателей я их, конечно, не сравниваю.

Хотчнер был честным и преданным Эккерманом, он отлично видел мелкое самолюбование папы Хема и легко прощал его за главное. Он чувствовал в Хемингуэе самурая, который непрерывно думает о смерти, и только о ней, — и все больше, все успешней побеждает в себе человеческое, чтобы никакой страх и никакая жалость к себе не мешали ему быть мужчиной в высшем и чистейшем смысле. Самураи часто смешны, но в некоторые моменты незаменимы. Литература Хемингуэя, к сожалению, научила шестидесятников лишь внешней атрибутике его героев — немногословности, суровости, самолюбованию; все это недорого стоит без изобразительной мощи, которой у Хемингуэя не отнять, и ежечасной готовности умереть, что, в принципе, можно выработать упражнениями. Думаю, что сегодняшнему читателю, который глубже понимает тексты и меньше верит гипнозам, пора перечитать «Колокол» или «Острова» именно с этой точки зрения. Кто боится смерти — тот не чувствует жизни, а именно острое до болезненности переживание каждой минуты, благодарность за каждый глоток и составляют львиную долю

хемингуэевского очарования. В общем, писатель как раз для нас, — и книжка Хотчнера отлично дополняет его сочинения, доказывая, что автор был вполне их достоин.

Фрида Вигдорова. Семейное счастье. М., «Слово», 2002, 535 стр. («У камина»).

Еще одно доказательство того, что в литературе ничто не делается просто так и все происходит вовремя: сорок лет не переиздавалась проза Вигдоровой, теперь она вернулась в серии романов для уютного семейного чтения — и оказалось, что более актуального романа нельзя себе представить. Огромное драматическое поле умолчания, напряженное пространство подтекста: литература прямого высказывания сильно проигрывает этой прозе, где все главное загнано за строчки. У Вигдоровой нет прямых упоминаний о репрессиях, о страхе, о всевластии бездарей, — невозможность высказаться прямо заставляет автора работать с деталью, нагружать каждую реплику, и в результате получается настоящая проза. Это не к вопросу о пользе несвободы — скорее к вопросу о художественной мере и такте: никто ведь не мешает нам и сегодня ставить себе такие задачи — писать в расчете на понимающего читателя, искать деталь, создавать подтекст...

Ну и, конечно, почти забытые сегодня добродетели: мужество, жизнерадостность, милосердие. Редкостно обаятельная героиня — медсестра Саша, потерявшая первого мужа, трудно и счастливо живущая со вторым; ее дочери, ее пациенты, разговоры в ординаторской и в очередях, в редакциях и в театре; добротный социальный реализм, неизбежная и трогательная советская сентиментальность — в общем, хорошая проза, какой, оказывается, много тогда было. И благородство, и фирменная вигдоровская черта — почти религиозная благодарная радость, о которой лучше прочих сказал один современный автор: «Так ли к месту я, Господи, со своей беспричинной радостью? И насмешливый голос мне отвечает: так».

Этот счастливый насмешливый голос слышится героям Вигдоровой, слышится и ей. Снег ли она описывает, летнее ли утро, первый ли школьный день — все дышит счастьем, все — подарок; не надо мне говорить только, что тоталитаризм обостряет восприятие. Тут дело в чем-то ином: может быть — в скрытом, таимом даже от себя религиозном чувстве, а может — в спокойном, уверенном ощущении лежащей вокруг большой страны, которую ни автор, ни герои так и не возненавидели, несмотря ни на что.

Леонид Костюков. Великая страна. М., «Иностранка», 2002, 270 стр.

После того, как Костюков похвалил мой роман, я даже не знаю, как хвалить его. Но с другой стороны — это же нормально, что два литератора, преподающие в одном университете, при встречах обмениваются книжками и потом о них пишут. Я не успел прочесть «Великую страну» в журнальной публикации и получил ее уже в виде томика — и думаю, что сбылась наконец моя мечта о новом, постсоветском сатирическом романе. Сатирический роман пишется, когда всех все уже по-настоящему достало — как достал Пелевина всеобщий пиар и разговоры о либеральных ценностях, они же *liberal values*, они же лавэ. «Великая страна» — антология доведенных до абсурда штампов американского кино и американской же прозы, издевательство над политкорректностью, гендерной проблематикой, бродячими сюжетами и неизменными типажам. Тут вам и мудрые домохозяйки, и охреневшие от собственной левизны интеллектуалы, и фригидные садистки — в общем, «Многоэтажная Америка». Главное же — это очень точно и до слез смешно, вот такую прозу и пишут поэты. А Костюков, безусловно, прежде всего поэт — потому-то его все так и достало.

Сюжет пересказывать бессмысленно, потому что дело не в нем. Чем больше тут абсурдистских наворотов, чем меньше логики, тем лучше. Автор, конечно, зол на весь мир, — но в названии его книги, ей-богу, нет иронии. Такой титанически глупой и грандиозно лицемерной может быть только великая страна, да вдобавок там очень много добрых и порядочных людей — таких добрых и порядочных, что иной раз убил бы. Костюков любит Америку. Я бы на месте Буша немедленно написал ему грин-карт.

-1

Владимир Яременко-Толстой. Мой-мой. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 555 стр.

Тоска, тоска... Вроде бы все то же самое, что у Асламовой, — нон-фикшн от первого лица, много секса, много любовных историй и богемных застолий, — но впечатление, прямо скажем, кислое. Мещанский, бульварный, вульгарный, но искренний восторг и авантюризм Асламовой — и старательный разврат русско-австрийского акциониста и инсталлятора, приехавшего в Петербург и завязавшего роман с рыжей толстой финской женщиной. Асламова всегда влюбляется, пусть даже на одну ночь; протагонист-повествователь у Яременко-Толстого не влюбляется никогда, поскольку все для него — разновидность акции, инсталляции или в лучшем случае пиара. Необыкновенно занудная книга с фиксацией малейших перепадов в физическом самочувствии автора; большая и искренняя любовь к себе. Немного похоже на пачкотню Александра Минчина — была у него такая книга «Актриса», как он вернулся на историческую Родину и тут покорил сердца. Ни одного неожиданного слова, ни одной метафоры, ни единой речевой характеристики; да и откуда мы ждали явления героев? Из среды акционистов, аукционистов, галерейщиков и специалистов по актуальному искусству, в которой вращается повествователь? Немецкие клоунессы, австрийские профессора, французские феминистки, финские паспортистки, петербургские алкоголики — и все это протокольным слогом с вкраплениями канцелярита... и ведь герой страдает, страдает, верите ли?! Он впервые открыл для себя, что бывает, оказывается, какая-то любовь, — и открытие это привело его к тому, что он навалял 555 страниц убористым шрифтом, без картинок! «Я наливаю в бокал вина и опускаю туда свой натруженный х..., желая его остудить. Я ощущаю легкие приятные пощипывания головки. Разболтав вино с помощью своего универсального инструмента, я даю ей выпить. Это волшебное вино с неповторимыми запахами моего х..., им освященное и благословленное». Спасибо, пейте сами.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Когда серьезные люди принимаются говорить о серьезных театральных делах, на первый план обыкновенно выдвигается вопрос о судьбе русского репертуарного театра. Могильщиками его в разное время видели то антрепризу, развращающую высокими заработками, то самих режиссеров, которые идут на поводу у невзыскательной публики, то актеров, не желающих более быть привязанными к одному месту. Актеров, которые жить торопятся и чувствовать спешат и которым по молодости нет дела до старых, мешающихся под ногами традиций.

Но имеется по крайней мере еще один сущностный вопрос, касающийся жизни театра. Не формы организации (конечно, тоже имеющей отношения и к его существу), а сценического языка.

Речь — о жанре. В афише уважающего себя театра присутствует сегодня Шекспир. В нынешнем сезоне, например, в Москве вышел «Гамлет» в Драматическом театре имени Станиславского, «Ромео и Джульетта» — в Театре Луны, на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда частная продюсерская компания сыграла премьеру «Отелло», одновременно в другом частном театре, в «LimeLight Theatre», поставили «Двенадцатую ночь». Я намеренно выбираю для примера шекспировские пьесы, поскольку именно они дают чистый жанр, на их примере изучают природу трагического и природу комического, решительность перемены в судьбе героя, неминуемость трагического исхода и, напротив, счастливого разрешения всех бед.

Пример этот показателен: трагедии, которые предлагает сегодняшняя сцена, не травят душу, не вызывают сострадания и слез. Они могут восхищать какой-то эффектной сценой, неожиданным прочтением (тем, например, что в новом «Гамлете» Гертруда *видит* Призрака, который приходит к ее сыну, чтобы напомнить о себе), даже остроумным финалом, но слез, как говорит одна чеховская героиня, — слез нет. В свою очередь, комедии не смешны. Или — смешны, но совсем не теми шутками и смехом, которые заложены в них драматургом (драматургами, если брать в пример не одного Шекспира), а чем-то другим, добавленным, досочиненным режиссерами — поверх сюжета и первоначально задуманных отношений.

Жанр, жанр — что-то происходит с жанрами, их чистота представляется чем-то давним, забытым и несбыточным. Не чистотой ли своей они пугают театр, боящийся определенности (будто бы противоречащей, не совпадающей с неопределенностью нынешнего времени)? Но вот же говорят, что все наконец встало на свои места и в общество пришло успокоение и умиротворение; театр этим увещеваниям, этим уговорам не верит, определенности по-прежнему бежит. Причем чем дальше, тем со все большей ожесточенностью, демонстративностью, каких не было прежде, даже и совсем недавно («Ромео и Джульетту», трагедию, которую Юрий Еремин выпустил со студентами на сцене Пушкинского театра лет восемь-десять назад, доигрывали при хлюпающем-плачущем зале, то же — по части чувств и эмоций — было и на «Короле Лире» Сергея Женовача; «Двенадцатая ночь» Каменьковича, спектакль, которым начиналась «Мастерская Петра Фоменко», был простодушен и по-шекспировски весел).

Найти ответы, докопаться до всех театральных и социальных причин вряд ли получится в одной беглой статье, лишенной должной академической подоплеки. Но важно поставить вопрос, обозначить тему. Причем размывание жанра не хотелось бы ставить в вину или в упрек тому или иному постановщику: отсутствие слез или смеха часто не мешает получить удовольствие от спектакля, счесть его удачей режиссера или артистов (да и премьеры в целом).

Около года над входом в Театр имени Станиславского висело «обещание» «Гамлета». Времени было порядком, чтобы естественное недоверие к режиссерскому дебюту известного художника Д. Крымова отстоялось, и на премьеру многие шли настороженно. Предвзятость тоже была. Ждали каких-то литературных догадок, «местами» — проблесков, но, конечно, не режиссерской удачи: кураж, с которым дебютант замахивался сразу на шекспировского «Гамлета», не мог не вызвать определенного недовольства в профессиональной среде. В «заготовках» уже значилось воспоминание о любительском театре из «Берегись автомобиля».

Предубеждение режиссер и художник спектакля Дмитрий Крымов поборол сразу же. Отсутствием претензии и даже больше — простодушием, доверием к незнакомому слову.

А «слова, слова, слова», — как говорит принц Датский, — были действительно незнакомыми. Для своего режиссерского дебюта Крымов выбрал текст, который не мешал бы ни ему, ни публике обилием прежних интерпретаций, стертостью речей. Он взял перевод, заново сделанный Андреем Черновым, своим старым и добрым приятелем (стоит вспомнить, что в одной из лучших премьер «пушкинского года», в «Карантине» Театра на Покровке, Крымов, ставший соавтором Сергея Арцибашева, обратился к тексту 10-й главы «Евгения Онегина» именно в версии Андрея Чернова). Чернов известен не только как поэт, но еще и как смелый переводчик, приравнявший перевод к интерпретации, поскольку предлагает уже собственную версию давно известного сюжета. Он продвигается вдоль знакомых иноязычных строчек — как вдоль стен с незнакомыми, зашифрованными письменами и рисунками, смысл которых ему первому предстоит прочесть и раскрыть остальным. Прежде так вышло с его переводом «Слова о полку Игореве». Нынче же Чернов предлагает свое прочтение «Гамлета», где нет места без конца рефлектирующему принцу, где вообще — больше определенности, чем «свободного», «пустого» пространства. И где больше от новой интеллектуальной драмы, чем от средневеково-ренессансной трагедии.

Черная сцена кажется даже слишком ожидаемой, — именно такой лапидарности ждешь от художника, который взялся за другое («не свое») дело и потому не хотел, чтобы хоть что-то отвлекало его от театра как такового. Определенность цветового решения созвучна, если угодно, *кратна*, а вернее — *со-цветна* определенности решения театрального. Дело не в одноплановости того или другого героя, что совершенно противоречило бы нашему представлению о шекспировском «Гамлете», где каждый — и такой, и сякой. Речь — о понятности, внятности помыслов и поступков. В конце концов, когда безумная Офелия выходит с уже заметным животом — о какой неопределенности может идти речь?! Безумие Офелии — повод чуть-чуть расцветить спектакль: в ее руках — пучок пожухлой травы, а ноги, перевязанные тряпками, измазаны желто-коричневой глиной... Чуть позже из «могилы» выковыряют желтоватый череп, который Гамлет растопчет ногой. Осколки полетят в зал. В остальном — черный ветер, белый снег. Продуваемое, простреливаемое пространство. Снег — в двух проемах по краям, черная стена выдвигает игровое пространство вперед, оставляя позади себя добрую половину сцены. Первые три ряда — под помостом, публика садится, начиная с четвертого.

Говорят, первоначально Крымову хотелось собрать «эфросовскую команду» (тем более, что Анатолий Васильевич думал о «Гамлете» и мечтал его поставить). Не вышло. Но и получившийся спектакль весьма приблизительно может быть отнесен к здешней сцене. Все первые роли, кроме Офелии (Ирина Гринева), отданы актерам «со стороны», приглашенным звездам: Валерий Гаркалин — свободный художник (хотя, говорит, его трудовая книжка с давних пор лежит в Театре-студии «Человек»); Николай Волков — Клавдий и Призрак — вероятно, актер Театра имени Маяковского; Татьяна Лаврова — Гертруда — из МХАТа имени Чехова; Борис Романов — Полоний — из труппы театра «Эрмитаж»... И сам принцип игры — вроде бы антрепризный, если иметь в виду, что почти всех мы узнаем по их знакомым интонациям, знакомым жестам, другим — знакомым — ролям. Негромкая, естественная манера Волкова; Гринева, напоминая себя же в роли Мнишек, — чувственная, идущая напролом средневековой поступью, с чуть склоненной вперед головой... Хотя о том же лучше сказать иначе: их интонации, жесты, походка оказались кстати, впору замыслу и по-новому звучащим словам.

Волков — царедворец, а ныне — наконец властитель, но к власти относящийся без жадности плебея, поскольку в жилах его — царская кровь. Таков его Клавдий. А Призрак в его исполнении совершенно лишен уверенности в том, что так необходима месть. Скорее сомневается он, а не Гамлет. Если же нет уверенности в мести, нет и не может быть трагедии, строительным камнем которой является неотвратимость. В спектакле Крымова Призрак пронизан жалостью к сыну, на которого взваливает собственные сомнения и от которого требует теперь действий... От трагического — трагедийного зачина и трагедийной развязки — Крымов уходит намеренно. Выбирает прием «театра в театре», с первых слов и минут исключая совершенную, полную серьезность действия и отношения к нему. Актеры выходят в концертных костюмах и платьях и начинают со слов, которые Гамлет адресует бродячей труппе. Играть просто, не размахивать руками... И что там еще? Словами, как будто заимствованными из позднейших указаний Станиславского, актеры настраиваются на игру простую, искреннюю, без раздражающих излишеств. (В «Мышеловке» каждый играет «себя» — поскольку компания небольшая, незачем запутывать происходящее лишними метафорами и обиняками.) Потом они не раз еще соберутся вместе, молча посидят на своих стульях, точно музыканты, которые подстраивают инструменты перед исполнением каждого следующего сочинения. Всё словно для того, чтобы не достичь накала чувств, искомого и желаемого Шекспиром. В этих паузах (или — этими паузами) разряжая скопившуюся энергию. Опять и опять начиная с «эмоционального нуля».

Премьеру «Гамлета» играли в трагические для Москвы дни — когда в театральном центре на Дубровке еще держали заложников и вскоре после оплакивания погибших. В «Гамлете» хотелось расслышать трагедию мести, найти ответы на вопросы, мучившие нас вне театральных стен. В замысле Дмитрия Крымова идея мести — не самая главная. И в спектакль — как тема — она входила «извне», всасывалась из зала.

«Гамлет» написан, конечно, о Гамлете. И спектакли часто получаются только о нем. У Крымова Гаркалина, сыгравшему здесь одну из лучших своих ролей, равны, соразмерны и Николай Волков, и Татьяна Лаврова, и Ирина Гринева. Один обморок Гертруды, будто в беспамятстве выходящей замуж за брата только что умершего супруга, будет еще долго стоять в глазах, не уходить из памяти. И оправдывать ее: она приходит в себя, она начинает видеть то, что в других переводах ей видеть вроде бы не полагается, — своего прежнего мужа она видит так же явственно, как и сын Гамлет...

«Ромео и Джульетта» в Театре Луны — явление совсем иного порядка. Театр, не без труда выбирающийся из подвала (и тому порукой не столько художественные победы труппы, сколько организаторские таланты худрука Сергея Проханова). Странный театр. Но «Ромео и Джульетта», трагедия, которую поставила молодая болгарка Лилия Абаджиева, на другие спектакли «Луны» не похожа. В других традиционно красуются, поворачиваясь то одним, то другим изящным боком, молоденькие актрисы, а в «Ромео и Джульетте» все роли распределены среди шести актеров-мужчин. (До того в театре вышел «женский спектакль», где было занято то ли семь, то ли восемь актрис, и можно предположить, что во время вынужденного простоя руководству пришла в голову мысль позвать постановщицу из Болгарии, чтобы та, в традициях шекспировской сцены, заняла «безработный» мужской состав.)

Другие обходятся «сценографическим минимумом», а в «Ромео и Джульетте» работает специальная поливальная машина, и последние минут пятнадцать актеры играют под проливным дождем, вымокая до нитки. Но, отличаясь от прочих спектаклей собственного театра, эта премьера вполне подходит для нашего разговора.

В программке можно найти некоторые размышления о пьесе: «Любовь равна смерти. Любовь и смерть — самые значительные явления человеческой жизни...» Что ж, так можно вкратце сказать об этой трагедии Шекспира. Спектакль тоже недлинен: вся пьеса, вернее, ее дайджест излагается в течение часа двадцати — часа тридцати, естественно, без антракта. Молодые люди изрядно веселятся, наряжаясь в женские цветастые сарафаны, изображая Джульетту или Кормилицу. Игра идет в открытую: из-под юбок выглядывают волосатые ноги в мужских башмаках. Трагическое не исключено, но — вроде бы в соответствии с Шекспиром — пафос снижается шутками-прибаутками. Однако шутки, приколов, веселых реприз набирается больше, чем может выдержать трагедия (чтобы стать хоть на мгновение таковой). Балагурия, смеясь, купаясь в веселье и в воде, актеры превращают трагедию в баловство. Нет, они не смеются над любовью Ромео или любовью Джульетты, но общая игривость как бы накрывает собою все, не позволяя вырваться из круга шуток, подняться над бытом.

Развеселясь, публика уже не в силах перенастроиться, отнестись всерьез к последним мукам молодых веронских любовников. Хорошо еще, если хватит сосредоточенности, чтобы оценить красоту и эффектность разворачивающейся на сцене водной феерии. На большее же не рассчитывает, кажется, и режиссер. Под струями воды, в прилипших к телу, промокших платьях на сцене остаются Ромео и Джульетта, кто из них жив, а кто мертв — не разобрать, живой пыгается возвратиться к жизни другого. И время от времени, кажется, жизнь и смерть меняются местами. Смех прекращается. Этого эмоционального перелома, согласитесь, вполне достаточно для так разухабисто начавшейся и с такой удалью разыгранной трагедии. Слез и не могло быть: H₂O, написал Бродский, затмевает человеческие слезы.

Корпоративные вечеринки, моду на которые у нас признали веянием времени, ныне стали непринужденно сплетаться с театральными премьерями. Коктейль с таралетками перед началом, небольшой изящный прием по окончании короткого и необременительного спектакля, обмен улыбками, обмен визитками, прощание с приятной хозяйкой салона. О каком чистом жанре может идти речь?!

Упомянутая вначале премьера «Отелло» — событие не только и даже не столько театральное. Во всяком случае, не меньше оснований писать о нем у тех, кто освещает светские вернисажи или модные вечеринки. На премьеру имело мес-

то и представление модных художественных тенденций, и собрание завсегдаев «света». Не люблю, когда театральные премьеры высокопарно называют «проектами», но в случае с «Отелло» как раз такое определение будет кстати: театральное «слагаемое» здесь — не единственное; на равных с актерами следует оценивать и участие художников группы АЕС, авторов сценографической коробки — огромного подвижного куба, железные грани которого слуги просцениума то пеленают белой тканью, то распеленывают; молча и споро превращают боковую и тоже белую занавесь в полог, который в конце концов хоронит под собой всех участников действия. Они же — авторы видеосюжетов: идеально сложенный негр куда-то бежит, бежит, при этом камера надолго задерживается то на его могучей груди, то демонстрирует публике шею, то — фигуру целиком. Художники АЕС (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский), как известно, вошли в историю нашего актуального искусства «Исламским проектом», где в пейзажи европейских и американских столиц «грубо» врываются вклеенные художниками-концептуалистами мечети. А интерес к шекспировской трагедии у них зародился задолго до нынешней премьеры. Года два тому Арина Шарапова решила отметить свой день рождения выставкой актуального искусства. И АЕС тогда представила на суд гостей видеопроjekt «Асфиксеофилия»: на экране лиловый негр затягивал на шею у любимицы телезрителей жемчужное ожерелье. Любимица при этом улыбалась и всем своим видом выражала удовлетворение. Впрочем, в новом спектакле таких «ужасов» нет ни на экране, ни на сцене.

В театральном проекте группы «Практика» и «Vokovfactory» как будто все до самой последней детали свидетельствует о легкомысленности затеи: увидели однажды Григория Сиятвинду, темнокожего артиста из театра «Сатирикон», — тут же вспомнили, что есть в мировом репертуаре трагедия с темнокожим героем, позвали модных радикальных художников, привлекли спонсоров (так что от их имени стало тесно на сцене!) — и вышел в конце концов спектакль. Костюмы для артистов предоставлены знаменитой компанией, еще одна французская косметическая фирма обеспечила актеров пудрой и краской, съемки проходили в модном фитнес-клубе и т. д. Даже знаменитый платок Дездемоны изготовлен не абы кем и не абы где, и желающие имеют возможность купить подобный (за немалые деньги).

Вполне возможно, что первоначально все и складывалось полушутя (хотя сами участники, конечно, такие предположения опровергают), и Сиятвинда, как я слышал, вошел в эту затею не сразу — Отелло сначала репетировал другой актер. Но дальше случилось невероятное. Идея начала увлекать. И все закрутилось всерьез: происходящее на сцене, так сказать, тянется в сторону серьезного отношения к тем как бы незначашим случайностям, что влекут героев к трагической развязке. Этой серьезности радуешься, ее приветствуешь вдвойне, поскольку встречаешь в «неожиданном месте» (неожиданная серьезность в «Отелло» — еще недавно это восприняли бы как вопиющий оксюморон!).

И костюмы, которые актеры меняют чаще, чем того требует сюжет, в какой-то момент перестают мозолить взгляд. Уже не ждешь очередного поворота металлического куба или взлета-падения белого покрывала, увлеченный игрой Сиятвинды. Радуешься тому, что Зельдовичу удалось вытащить из васильевского подвала Александра Анурова, актера, без сомнения, замечательного, но широкой публике незнакомого. Ануров, который играет Яго-комментатора, Яго-наблюдателя, режиссера трагического сюжета, не старается выскочить из привычной манеры чтения, привычной именно в «Школе драматического искусства», где фраза дробится на отдельные слова, а в слове каждый гласный звук становится ударным. Он и этим отделен от остальных — внятностью, ведь он единственный, кто знает координаты и траекторию трагедии. В разъясняющих все и вся пресс-релизах сказано, что в трагедии Шекспира авторы спектакля нашли сюжет про зависть белого к человеку третьего мира. Чтобы оснований для зависти было больше, грузному Яго противопоставлен идеально сложенный видеонегр, который то бежит, то демонстрирует мускулы. «Идеальный» танцовщик, снятый художниками на видео, дополняет героя, добавляет необходимые свойства, недостающие у сценического «прототипа».

И здесь, как и в «Ромео и Джульетте», режиссер Александр Зельдович сделал значительные сокращения в тексте: в итоге из всех действующих лиц остались только две супружеские пары — Отелло с Дездемоной и Яго с Эмилией. И в финале гибнут обе жены. Следы сокращений видны, и их не в силах заполнить красоты художественных нагромождений. Но игра Григория Сиятвинды искупает многие недостатки и упущения. Он вошел в этот проект с мыслью сыграть Отелло, роль, о которой не мог не думать. До трагедии в истинном смысле он, правда, пока не дотягивает, но драма Отелло вызывает сочувствие.

Напоследок приведем еще один пример — комедии. Впрочем, обстановка и общее обрамление премьеры «Двенадцатой ночи» очень напоминают только что описанного «Отелло»: та же атмосфера праздника для избранных, тот же светский трепет и лепет, та же изысканность и дороговизна нарядов и запахов. «Двенадцатую ночь» Нина Чусова поставила в недавно родившемся в Москве «LimeLightTheatre», где играют на английском. На билетах — цена: 2700 рублей за посадочное место, но взгляд по сторонам убеждает в том, что большинство гостей — такие же приглашенные.

В небольшом фойе Центра оперного пения Галины Вишневской на Остоженке, где сегодня можно увидеть этот «уникальный театральный проект», каждый волен почувствовать себя избранным. «Двенадцатая ночь, или Что вам угодно» — четвертый или пятый спектакль, поставленный в Москве Ниной Чусовой. Все роли отданы мужчинам. Как во времена Шекспира, уверяет программка, к которой на настоящем кожаном шнурке привязана настоящая сургучная печать. Времена, как известно, меняются, и мы — вместе с ними, потому мужские торсы в женских нарядах воспринимаешь сегодня менее всего как знак принадлежности к эпохе Великого барда. Что не мешает веселиться, радоваться смешным находкам и тому, что английская версия знаменитой шекспировской комедии в постановке Чусовой укладывается в полтора часа (без антракта).

Имена актеров — мало что и мало кому говорящие (Александр Гришаев, Антон Эльдаров, Сергей Муравьев, Василий Слюсаренко и другие), хотя программка уверяет публику, что продюсеры отбирали лучших из лучших среди молодых. Там, в программке, вообще много всякой забавной и полезной информации — более тысячи часов занятий английским и проч. (хорошая реклама каким-нибудь специализированным курсам).

Декорация получилась смешная — с кранами, которые то приподымают над сценой, то снова возвращают на место (манипуляциями свободных исполнителей) милые облачка, или ворота, или арки, увитые плющом. Живой оркестр, который прячется во время спектакля на балконе, откуда шекспировскую речь «разбавляют» мелодии «Битлз». Сколько всего напридумано! И почти все — «сверх» Шекспира, помимо него. Видно, что сами актеры получают немалое удовольствие от игры и с удовольствием продолжают шоу уже после спектакля, в фойе, где публику встречают крылатые ангелы с большими чашами, наполненными нектаром. И можно долго еще не уходить, радуясь театру, взаимопроникновению языков и, конечно, доброй русской медовухе (в роли небесного напитка). И между прочим, думать о природе смешного. Или — о природе трагического, к которому так равнодушен наш театр. Которого боится? Скажем осторожнее: избегает. Микширует, гримирует...

Историки театра убеждают нас в том, что нового в этом не много. Что так уже было и что примерно так мелодраматическая инъекция изнутри размывала чистоту классицистической трагедии.

Обращение к перипетиям большой истории большого искусства как-то утешает, не позволяет торопиться с выводами о нашей нынешней бесчувственности, о неспособности постичь и всерьез передать муки чувств, бездны страданий и простодушный смех.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ГОЛОЛЕД

Пионеры потребительской цивилизации — мальчики и девочки, окончившие школу в эпоху демократической смуты и начавшие самостоятельную жизнь в стране, вдруг очумевшей от изобилия буржуазных благ; молодые люди, сделавшие успешную карьеру банковских клерков, специалистов по менеджменту, рекламных агентов и глянцевого журналистов; отважные завсегдатаи модных кафе, ночных клубов и дискотек, — им выпало на долю быть первыми!

Первыми, кто свято уверовал, что главным мериллом жизненного успеха является солидная зарплата в у. е., престижный автомобиль и возможность покупать шмотки в Париже и Лондоне, а не где-нибудь в Лужниках. Первыми, кто испытал на собственной шкуре новый изматывающий способ существования с гонкой по кругу между дневным напряжением офиса и ночным героическим прожиганием жизни. Первыми, кому удалось добиться осуществления Великой новорусской мечты.

Сейчас им под тридцать или за тридцать. Они уже подустали и принялись подводить итоги. Теперь они пишут книжки и снимают кино про себя.

В минувшем году появилось сразу несколько таких фильмов о новых богатых, баловнях Фортуны, отличниках потребления.

«Одиночество крови» Р. Прыгунова — невнятный триллер, где замороженно-стильные персонажи, разъезжающие на безумно дорогих иномарках и сосредоточенно выжимающие сок из оранжевых апельсинов на синей кухне, совершают между делом довольно странные вещи: изобретают лекарства, испытывают их на прекрасных девушках-добровольцах, а затем хладнокровно отправляют на тот свет несчастных жертв неудачного эксперимента. Впрочем, этот выморочный сюжет воспринимается тут как не слишком удачный повод для демонстрации каких-нибудь роскошных сапог на шпильке, дизайнерских интерьеров, блестящих серебряных авто и прочих недоступных простому смертному предметов материальной культуры.

Картина «В движении» Ф. Янковского на первый взгляд ближе к реальному времяпрепровождению людей из элитарной тусовки. Жизнь героя — модного журналиста, разрывающегося между клубными вечеринками, случайными связями, семейными скандалами и стремлением к «чистому и высокому», отмечена даже некой тенью «морального беспокойства». Однако при ближайшем рассмотрении «тьень» оказывается позаимствованной из «Сладкой жизни» Ф. Феллини вместе с доброй половиной сюжетных ходов, ситуаций и эпизодов. Так что в данном случае «кино про себя» богатые мальчики делали, воспользовавшись классическими «папиными» лекалами, как бы не смея или подсознательно избегая вытаскивать на экран свой собственный опыт.

«Гололед» М. Брашинского — фильм, возможно, наиболее оригинальный, выстраданный и честный в этом ряду (и потому, вероятно, столь обескураживающе саморазоблачительный). Брашинский — не «сын известных родителей». Он сам — известный кинокритик, человек взрослый и с биографией. Прежде чем стать модным обозревателем журнала «Афиша», Михаил Брашинский, как сказано в пресс-релизе, «служил проводником Октябрьской железной дороги, официантом в турецком ресторане, диджеем на Бурбон-стрит в Нью-Орлеане и профессором нескольких нью-йоркских университетов». Так что место в когорте счастливиц досталось ему не по праву рождения, а в результате упорного труда и личных усилий. И к задаче запечатлеть на экране образ *своего* сумасшедшего времени, *своего* поколения, одержимого лихорадкой успеха, он отнесся со всей серьезностью — как к миссии, делу жизни.

«Гололед» (блестящая работа оператора А. Федорова) снят так, как в России кино еще не снимали (в мире, правда, так снимают уже лет десять): острый, резкий монтаж, напоминающий ранние фильмы Вонга Карвая; визуальная ткань, сшитая из стремительно мелькающих и с трудом фиксируемых сознанием обрывков изображения — ослепительные полосы света, холодные блики, сверхкрупный

план лица, встык смонтированный с вращающимся рисунком автомобильной по-крышки... За всем этим — лихорадочно-рванный ритм восприятия, безумный бред огромного города, отданного на растерзание сомнамбулам-конкистадорам.

По улицам этого города, покинув постель с очередным безликим любовником (его присутствие в фильме обозначено одним крупным планом: мужская рука, застывающая молнию на ширинке), в блистающем черном «ауди» несется Она (В. Толстоганова) — роковая блондинка с жестоким и нежным ртом. Букетик желтых цветов, купленный через окно и трогательно прижатый к губам, беспрестанный писк мобильного телефона — экзамен по дайвингу, настойчивый ухажер, а вот и оно — дело: опасная встреча в сияющей, глянцевой преисподней «Охотного ряда». Некто пожилой в сером, серьезно встревоженный, угрожает, настаивает, требует какую-то кассету, велит прекратить игру... Глупости! Никто и ничто не остановит эту красивую куклу, внутри у которой — моторчик, работающий на чистом адреналине.

Она — совершенно прекрасна. Вот принимает душ: смутный, соблазнительный абрис тела за полупрозрачным стеклом. Вот стремительно движется по белым офисным коридорам. Лакированный черный ноготь на белой клавише выключателя. Короткое замыкание, обугленная пластмасса, неприятный дымок... Темнота... Страшно? Нет, ей не страшно. Ее тело исправно вырабатывает адреналин.

Вот бассейн. Чьи-то руки с профессиональной сноровкой упаковывают ее в костюм для дайвинга, надевают на спину акваланг. Под водой мерное шипение воздуха: вдох — выдох, — в какой-то момент предательски прекращается. Она выныривает с безумными глазами, хватается руками за горло. Паника... Неужели — человек? Живой, смертный? Да нет, куда там! Как ни в чем не бывало наша барышня мчится дальше.

Вот ресторан, деловая встреча с покупателем компромата. Он — прокурор, она — адвокат, продает компромат на своего подзащитного. Зачем? Кто ее знает! Игра идет без правил. Все позволено... В ложечке с мороженым, поднесенной к безупречному рту, она вдруг замечает тонкий осколок стекла. А-а-а! На лице маска ужаса. «Мне нужно привести себя в порядок!» — дрогнувшим голосом бросает она. Выходит. Собеседник, не дождавшись, идет в соседнее помещение и видит, как адвокатша извивается в танце в безумном мелькании лазера. Синевой отливают белые зубы, странно светятся белки глаз...

Ночь. Она едет в машине. Перед глазами сплошные расплывающиеся огни: «Я трезва. Я абсолютно трезва...» Внезапно из-за спины — дальний свет: кто-то преследует, догоняет. Гололед. Невероятным усилием воли она тормозит. Из остановившейся сзади машины появляется бывший муж — он хотел «пошутить»... С далеко идущими намерениями бывший муж провожает красотку домой. Не тут-то было. Она непоколебима. За мужем захлопнута дверь. Так. День кончен. Теперь снять линзы, умыться, вставить линзы обратно... Но едва прозрачный хрусталик касается глаза — дикий, душераздирающий крик... Из флакона со специальным составом для хранения линз, шипя, выливается в раковину кислота. Ей больно. Ей очень больно. Неужто и биороботы способны испытывать боль?

В коридоре ночной поликлиники у кабинета глазного врача она встречает плачущего мужчину (И. Шакунов). Мужчины в кино плачут по разным поводам. К примеру, у испанца П. Альмадовара они чаще всего обливаются слезами от жалости к женщине. Этот — другое дело. Он просто не может снять линзы. История с контактными линзами объединяет героев, между ними, можно сказать, возникает *контакт*. Глубокомысленный разговор: «Надоело выигрывать по чужому сценарию, — говорит он. — Знаете, иногда лучше выйти из игры, чем постоянно выигрывать. По крайней мере это будет *твой* выбор». Барышня призадумывается. Однако, отклонив предложение собеседника проводить ее, в одиночестве несетя домой. Из машины звонит кому-то, говорит, что вернет кассету, готова выйти из игры... Но — поздно. Темень. Скользко. Авария. Сломанная кукла вываливается из разбитого «ауди» на ледяной асфальт.

Дальше идет кино уже про Него. Получив врачебную помощь и освободившись от линз, он возвращается к себе, но теперь не в состоянии жить, как прежде. Ничто ему не мило: ни любовные игры с плаксивым сожителем-геем; ни работа — синхронный перевод с итальянского каких-то важных текстов на кулинарные

темы; ни старательная, с тонкими косичками ученица... Он уходит в запой, прогоняет любовника, путешествует в электричке, его избивают менты — ничего не помогает. Образ роковой блондинки преследует его как наваждение. Бросив все дела, он запирается дома, опускается, ест сырые сосиски из холодильника... Потом вдруг начинает лихорадочно драить квартиру — стены, окна, двери... Затем в чистой квартире ложится на пол и принимается выть — все громче, все «страньше»... Вой переходит в припадок бешенства, и с остервенением он громит свое имущество, нажитое высококвалифицированным переводческим трудом. О! как упоительно пнуть ногой широкоформатный телевизор, принимающий полсотни каналов! Как хороши летящие вдребезги стеклянные столики из «Икеи»! Как сладко свергнуть на пол и растоптать компьютерный монитор!.. К каждому предмету хочется привесить ценник, чтобы зритель до конца осознал размеры снедающей героя тоски в денежном, так сказать, эквиваленте. Разбив все, что можно, герой направляется в ванную и совершает какие-то многозначительные манипуляции: то ли он побриться намерен, то ли наглотаться таблеток, то ль утопиться — в мелькании коротких монтажных фраз логику его действий уловить трудно. Но в финале, свежесбривший и одетый, он сидит в вестибюле той самой поликлиники и говорит, что готов наконец к встрече и будет ждать ее (кого: встречу, смерть, незнакому?) столько, сколько понадобится. На часах половина второго — время, когда той ночью они расстались.

Больше всего в этой истории поражает... отсутствие самой истории. Что тут, собственно, произошло? В чем причина вселенской катастрофы? Двое случайно встретились, и слабый намек, эфемерное подобие контакта с *другим*: у него — с женщиной, у нее — с человеком, который не считает нужным все время «выигрывать», — разворачивает их на сто восемьдесят градусов, полностью вышибает почву из-под ног, заставляет скользить по голому льду прямоком в преисподнюю... Они что, *других* никогда не видели? У них что, контактные линзы исключительно с зеркальным эффектом?

Как же тогда эти люди живут? Чем они вообще занимаются? Так и носятся гурьбой за хорошенькой блондинистой «сучкой», стянувшей из-под носа кусок, то бишь «кассету»? Часами перетирают в гей-клубе «Центральная станция», кто с кем переспал и под каким соусом подавать макароны? У них, при их напряженно-престижном образе жизни, что ли, вообще не случается поводов «быть людьми»?

Брашинский пытался снять фильм об экзистенциальном кризисе поколения, о трагическом скольжении в бездну... Но это соскальзывание происходит на таком ровном месте, что вменяемого зрителя поражает в героях лишь запредельная степень инфантилизма и нарциссизма, граничащая с умственной и нравственной патологией.

О том, что героиня — круглая дура (не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: адвокат, подставивший таким образом своего клиента, должен попроситься с карьерой), не догадывается только она сама (да еще, может быть, режиссер). О том, что герою вместо того, чтобы терроризировать окружающих, следовало бы пойти в аптеку и купить себе таблетки от депрессии, думаешь все время, пока он мается на экране и разбивает дорогостоящий реквизит. Ничтожные проблемы ничтожных людей, безусловно, могут быть интересны — тут все зависит от точки зрения. В фильме «Гололед», к великому сожалению, точка зрения автора полностью совпадает со взглядом каждого из героев на самого себя. Ведь это она — белокурая адвокатша — видит себя такой: неотразимо победительной стервой, безостановочно посылающей в нокаун всех встречных и поперечных мужчин. Это он, дорогой переводчик с невнятной сексуальной ориентацией, воспринимает себя Чайльд Гарольдом, а свои проблемы с потенцией — поводом для неутолимой вселенской тоски. Отсутствие дистанции между самосознанием и экранным имиджем персонажей делает их раздражающе плоскими, похожими на фигурки, вырезанные из глянцевого журнала.

Но тут, видимо, проблема не столько фильма, сколько всей той культуры, которую фильм честно пытается отразить. Эти люди потратили столько сил, здоровья, таланта, энергии на то, чтобы захватить территорию сияющего гламура, что им (не каждому лично, а сообществу, поколению; фильм ведь — о поколении) просто некогда, да и некуда было *по-человечески* расти. Их безупречный имидж «состоявшихся отличников потребления» — главное завоевание бурной молодости,

героической эпохи Sturm und Drang. Чем еще им гордиться? Пионеры, счастливики, удачники, они оказались заложниками блестящей поверхности. Их обманули, они стали жертвой эпохи, радикально, с ног на голову, перевернувшей шкалу «незыблемых ценностей», и лучшие годы потратили на то, чтобы достичь идеальных пропорций манекена в витрине буржуазной цивилизации. Человеку трудно быть манекеном. Все на тебя глазуют, завидуют, а тебе невыносимо тошно, скучно и хочется выть... Хочется, в конце концов, разнести эту вожделенную витрину вдребезги и учинить грандиозный скандал. Там, где состоявшимся считается человек «упакованный», радикальный бунт может выразиться только в героическом разрушении «упаковки». Правда, после такого скандала ты не станешь Сократом или Гёте, но бунтующий манекен — все же симпатичнее своего собрата, лучащегося тупым довольством.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Авторское право и Интернет

В статье «Продажа вина без бутылок. Экономика сознания в глобальной Сети» Джон Перри Барлоу (<http://www.russ.ru/netcult/99-03-26/barlow.htm>) пишет: «С тех пор, как я начал прощупывать киберпространство, в нем неизменно присутствует грандиозная головоломка, которая, как представляется, лежит в основании почти любых правовых, моральных и социальных неурядиц, какие только можно найти в Виртуальном Мире. Я имею в виду проблему оцифрованной собственности. Загадка такова: если вашу собственность можно бесконечно воспроизводить и мгновенно распространять по всей планете бесплатно и не ставя вас в известность об этом и даже не предпринимая усилий для того, чтобы собственность перестала быть вашей, то как мы можем эту собственность защищать? Как мы собираемся получить плату за ту работу, которую мы делаем головой? И если нам не платят, то что же обеспечит непрерывность творчества и распространения его плодов?»

Впервые статья была опубликована под заголовком «The Economy of Ideas» в журнале «Wired» (<http://www.wired.com/wired>) в 1994 году.

По меркам Интернета десять лет — почти вечность. Можно ли сказать, что с той далекой поры решение этой головоломки было найдено? И такое решение, которое устроило бы все три заинтересованные стороны: автора, издателя и публику. А интересы этих сторон не то что не совпадают, в некоторых случаях они попросту противоположны.

Публика хочет получать информацию в максимально большом объеме по минимальной цене. Автор хочет, чтобы его, во-первых, читали — то есть чтобы информация, создаваемая его творческим трудом, достигала адресата, и во-вторых (а может быть, и во-первых, это смотря какие цели преследует автор своим трудом), он заинтересован в получении соответствующего затраченному труду вознаграждения. Издатель-посредник хотел бы поменьше заплатить автору и побольше получить с публики.

На первый взгляд эта проблема возникла не сегодня, и Интернет ничего существенно нового в нее не внес. По крайней мере со времени Гутенберга есть и автор, и публика, и издатель. И взаимоотношения между ними регулируются соответствующим законодательством. Интернет обнажил очень важную проблему: оказалось, что информация и ее носитель — это принципиально разные вещи. Говоря словами Барлоу, есть вино, а есть бутылки. И вообще-то бутылки обычно покупают не ради них самих, а исключительно ради их содержимого.

Пока информация была жестко связана с ее носителем, например с книгой или граммофонной пластинкой, чтобы получить информацию, человек покупал носитель, и, в общем-то, продажа информации ничем особенно не отличалась от продажи сукна, сюртука или автомобиля.

В Интернете ситуация совершенно другая: носитель не является необходимой частью передаваемой информации. Можно обойтись и без него. И оказалось, что

существующее законодательство, регулирующее товарный обмен, в общем случае для информационного обмена просто непригодно.

Барлоу формулирует проблему так. Он спрашивает: «Что именно мы знаем об информации и ее естественном поведении?» И перечисляет главные, с его точки зрения, качества информации, которые принципиально отличают ее от материального товара:

1. Информация есть деятельность.
2. Информация есть форма жизни.
3. Информация есть отношение.

Коротко аргументация Барлоу сводится к следующему:

«Информация есть Глагол, а не Существительное.

Высвобожденная из своих вместилищ, информация с очевидностью не есть вещь. В действительности она есть нечто, что случается в сфере взаимодействия между умами или объектами или другими частями информации.

Грегори Бэйтсон, развивая теорию информации Клода Шеннона, сказал: „Информация есть различие, которое создает различие“. Таким образом, информация реально существует только в изменении и приращении. Создание такого различия есть деятельность внутри отношения.

Информация есть действие, которое занимает время, а не состояние бытия, которое занимает физическое пространство, как в случае материальных предметов. Это подача, а не мяч, танец, а не танцор.

Информацию переживают, а не владеют ею.

Информация должна двигаться. Говорят, что акулы умирают от удушья, если перестают двигаться. Практически то же самое можно сказать об информации. Информация, которая не движется, существует только потенциально. В силу того, что информация существует во времени, она может умереть — то есть потерять всякую ценность. Вчерашние новости теряют статус новостей.

Информация разносится, а не распределяется. Способ, которым распространяется информация, принципиально отличается от распределения материальных товаров. Она движется скорее как нечто природное, а не как нечто сделанное».

Все эти качества информации делают ее независимой от носителя. Единственным необходимым условием получения информации становится наличие канала связи между источником и приемником. Если информации требуется носитель, мы можем сказать: вот такие типографские расходы, хранение, доставка — это реальные затраты. И мы, конечно, имеем полное право их компенсировать. Но вот мы продаем роман как таковой, безо всякого носителя — выкладываем его на странице Интернета. Имеем ли мы право брать за него плату? Но ведь автор работал... Автор-то работал, но наработал ли он хоть на ломаный грош? В «Капитале» Маркс специально оговаривает тот случай, когда произведение не востребовано — оно, с его точки зрения, товаром не является, а значит, его меновая стоимость равна нулю. Но парадокс состоит в том, что по мере того, как этот роман, первоначально стоимости не имеющий, приобретает популярность, его меновая стоимость растет.

Ситуация подвижная, неустойчивая и потому парадоксальная. Барлоу обращает внимание на то, что к информации применимо в точности обратное отношение по сравнению с материальным товаром: «Привычное более ценно, чем редкое». Совершенно уникальная информация очень часто товаром вообще не является, как практически никогда не являются товаром фотографии из семейного альбома.

Барлоу видит решение проблемы в «криптобутировании», то есть в создании криптографических — защищенных шифрами — каналов связи. Когда вы устанавливаете аппаратный декодер для расшифровки закрытых спутниковых или кабельных телеканалов, и вы сами, и фирма, предоставляющая доступ, поступаете, в общем, в согласии со стратегией Барлоу. Вы покупаете не саму информацию, а разрешение на доступ к ней. Но тем самым доступ к информации резко ограничивается. И, конечно, ее потребитель проигрывает. Но проигрывает и производитель — очень многие потенциальные приемники его информации оказываются отрезаны от источника.

Различные движения за полную свободу информационного обмена, которые можно условно объединить под лозунгом «Антикопирайт» (Михаил Вербицкий — <http://imperium.lenin.ru/LENIN/32/C/index.html>), считают любые ограничения на до-

ступ к информации нарушением одного из прав человека — права на информацию и свободу слова.

Положение дел на сегодняшний день в общих чертах таково. Существует два антагонистических направления в области авторских прав.

Первое — это движение за предоставление максимальной свободы обмена информацией: дух веет, где хочет.

Второе — это целостная система с каждым годом ужесточающегося международного законодательства, которое ставит своей целью предельно подробное описание авторского права на интеллектуальную собственность и выработку суровых мер по контролю за его соблюдением. Контролем за выполнением законов призваны заниматься WTO и WIPO (World Trade Organization и World Intellectual Property Organization) (<http://www.wipo.org/ru/about-wipo/overview.html>). И все члены этих международных организаций обязаны привести свои законодательные акты в соответствии с международными законами. Замечу, что «Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 „Об авторском праве и смежных правах”» (с изменениями от 19 июля 1995 года) (<http://www.internet-law.ru/law/avt/avt.htm>) не соответствует этим международным стандартам. В частности, срок авторских прав в российском законе ограничен 50 годами после смерти автора, а по международным правилам этот срок — 70 лет. Но главное различие не в этом (хотя и сам срок показателен, его продолжительность почему-то подозрительно растет, как только подходит окончание авторских прав на Микки Мауса), а в том, что понимается под использованием информации в личных целях, которое разрешено без уведомления автора и выплаты вознаграждения. В американских библиотеках, вообще говоря, нельзя сделать ксерокопию научной статьи просто для того, чтобы с ней как следует разобраться дома. Эта ксерокопия — нарушение авторского права. Статья 25 этого закона — «Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ» — разрешает создание архивных копий и декомпиляцию программ. Пункт 2: «Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия автора или иного обладателя исключительных прав и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ)...» Все это международным законодательством запрещено.

Законодательство ужесточается в довольно неприятном направлении: фактически все, что не разрешено лицензионным соглашением, — запрещено. А иногда явные запрещения совершенно абсурдны. Михаил Вербицкий («Антикопирайт») пишет: «Выпущенная фирмой „Адоб” электронная версия „Алисы в Стране чудес” содержит запрет копировать любые куски текста, распечатывать его, давать его почитать кому-либо и даже зачитывать купленную книгу вслух; нарушение этого запрета являет собой уголовное преступление».

По адресу <http://www.pigdogs.org/art/adobe.jpg> приведена обложка этой книги. Текст «This book cannot be read aloud» — «Эта книга не может быть читаема вслух» (перевод дословный) — сомнений не вызывает. То есть родители, решившиеся почитать книгу ребенку, который еще не научился читать, автоматически становятся уголовными преступниками. Михаил Вербицкий приводит в своей книге очень много примеров доведения законодательства об авторском праве до прямого абсурда.

Если как следует подрегулировать закон об авторском праве, можно довольно легко добиться полного паралича любого творчества.

Когда Юлия Кристева выдвинула тезис, утверждающий, что любой текст есть цитатная мозаика, это была теоретическая установка. Но сегодня этот ее тезис можно в каждом конкретном случае доказать. Если считать цитатой, например, любое сочетание из двух и более слов или однословное предложение, то любой текст можно разбить на цитаты и (вот что было невозможно до Интернета) указать на их источники. А дальше дело только за желанием держателя авторских прав, хотя бы на часть этих цитат, утопить создателя неприятного ему по каким-то причинам текста. Ситуация очень быстро может прийти к тому, что преступники все, но не до всех доходят руки, и на какие-то отступления правообладатели закрывают глаза. Это крайне напоминает наше совсем недавнее прошлое, только идеологическая цензура заменяется коммерческой.

Самое печальное — это то, что всякий пишущий будет чувствовать себя вором и многие просто откажутся от такого неблагоприятного занятия, как писательство или сочинение музыки.

Можно видеть в ужесточении законодательства об авторском праве голую волю корпораций, которые диктуют публике свои условия игры и заставляют ее следовать выгодным только корпорациям установкам. Корпорация — это посредник, который вклинивается между свободным автором и свободным потребителем, посредник, который мешает информации свободно распространяться и в конечном счете парализует творческий процесс, требующий свободного информационного обмена. А корпорации будут еще сто лет продавать Микки Мауса и фильмы с Брюсом Уиллисом — они-то совершенно не заинтересованы в появлении новых продуктов с неопределенной меновой стоимостью. Более того, всякий новый информационный продукт — это опасность: а вдруг он окажется конкурентоспособен? Права на него придется покупать у автора.

Если мы считаем, что во всем виноваты корпорации, тогда выход один: в майке с Че Геварой крушить «Макдоналдс». До «Диснея» или «Microsoft» далеко, а этот форпост глобалистов-мондиалистов как раз за углом.

Но неограниченный и бесплатный обмен информацией — это такой же точно тупик, как и ее неограниченная защита. Создание действительно ценного информационного продукта требует работы профессионала. А труд профессионала должен быть оплачен, и оплачен в соответствии с его квалификацией. И труд издателя должен быть оплачен, чтобы издатель шел на риск и вкладывал деньги в новый информационный проект. Если он не уверен в коммерческом успехе (или уверен в неуспехе, что неизбежно, если информация распространяется бесплатно), издатель скорее всего от своего предприятия откажется.

Ситуация остро противоречивая — и поскольку потребителями и производителями информации становится все большая и большая часть трудоспособного населения, все оказываются либо ворами, либо нищими. Хороша альтернативка.

Но в Интернете постепенно проявляется стратегия, которая видится выходом из тупика.

Обратим внимание на такую область, как свободно распространяемое программное обеспечение. Оно действительно распространяется бесплатно с открытым исходным текстом. Главной областью его распространения является на сегодняшний день приложения операционной системы Linux и сама операционная система. Любой желающий может скачать с сайта открытого доступа и саму операционку, и пакет ее приложений — например, StarOffice (аналог Microsoft Office) — совершенно бесплатно. Очень многие пользователи так и поступают сегодня, и мне уже доводилось видеть в продаже компьютеры с предустановленным Linux'ом.

Linux — полностью работоспособная и очень быстро прогрессирующая среда — главный на сегодняшний день конкурент Microsoft. И, устанавливая ее на своем компьютере, вы не только не чувствуете себя вором, но и участвуете как бы в процессе разработки и тестирования — исходный текст вам также доступен.

Естественно, возникает вопрос: на что же живут разработчики? Главный источник дохода — это сопровождение операционной системы и разработка частных приложений. Если фирма заказывает необходимый ей пакет программ, она платит за него. Ситуация саморегулируется. Программы общего использования раздаются даром, они нужны всем, их все тестируют, и на них же пишутся частные приложения. То есть решение частной задачи стоит денег, а инструменты денег не стоят, но стоят их сопровождение. Но и заказные приложения могут распространяться свободно, если они поддерживают *The GNU (General Public License* — <http://www.gnu.org/licenses/licenses.html>) — лицензию свободного программирования, разработанную энтузиастом и духовным лидером движения *Free Software Foundation* (FSF — <http://www.gnu.org>) Ричардом Столманом (<http://www.stallman.org>). Нужно отметить, что в последние годы крупные корпорации, например IBM, охотно вкладывают деньги в открытые разработки. Они оказались не только общедоступны, но и хороши и надежны. Свобода творчества и здесь важнее вознаграждения.

Чем специализированнее продукт, тем он дороже, чем шире он используется, тем он дешевле. Возникает необходимый и очень естественный баланс — такой же точно, как при материальном производстве товаров.

Вспомним слова Барлоу: информация тем дороже, чем шире она распространена. Это в точности обратно уникальности материального товара. Информация, тиражируясь, растет в цене, но каждый ее экземпляр дешевеет, дешевеет — до нуля.

Здесь появляется еще один источник прибыли: предоставляя очень ценную информацию, востребованную очень многими приемниками, мы делаем наш ресурс крайне привлекательной рекламной площадкой. И нужно сказать, именно на рекламные деньги существуют поисковые порталы, такие, как, например, Яндекс (<http://www.yandex.ru>). Но сам-то портал для любого пользователя — бесплатный.

Михаил Эпштейн в статье «От Интернета к ИнтеЛнету» (http://www.russ.ru/netcult/20000616_epshtein.html) пишет: «Я получил письмо от американского издательства, опубликовавшего в 1995 г. мою книгу „After the Future“: оно хочет перепродать права на распространение ее электронной версии другой компании, netLibrary, причем за каждый экземпляр будет взиматься \$ 55 — такова стоимость этой книги в твердом переплете (в мягкой обложке она стоит в три раза дешевле). Вот пример того, как, рассуждая по-марксистски, форма частной собственности приходит в противоречие с электронным бытием текста, доступного всякому и везде за считанные секунды». Заплатить за книгу Эпштейна \$ 55 я вряд ли смогу, а вот отдать те же деньги за право в течение года иметь неограниченный доступ к электронным ресурсам крупной библиотеки, например Ленинки, я вполне мог бы, и, думаю, таких людей нашлось бы немало. И это еще одна возможность сделать информацию доступной и творческие проекты самокупаемыми: глобальный, дешевый доступ к ресурсу очень большого числа пользователей.

А пока «обаяние Рунета», как сказал Эпштейн, заключается в том, что, в отличие от англоязычных ресурсов, в зоне .ru распространение информации на русском языке предельно свободно и существуют огромные электронные библиотеки. В Рунете можно реально работать с целыми монографиями (библиотека Института философии РАН — <http://www.philosophy.ru/library/catalog.html>), с огромными архивами журналов («Журнальный зал» — <http://magazines.russ.ru/>). Владимир Вернадский в «Философских записках натуралиста», отмечая огромный прогресс англо-американской науки в XIX — первой половине XX века, с грустью замечал, что такой свободы информации и независимости исследователей в России никогда не было. Сегодня ситуация меняется, и если так будет продолжаться, то вложение денег в изучение русского языка для англичанина или немца многократно окупится: он сможет читать своих же авторов в переводе, но бесплатно или очень дешево.

Конечно, такого рода стратегии ограничивают сверхприбыли. Поскольку источником сверхприбылей являются как раз самые информационно ценные, то есть востребованные огромными количествами пользователей, объекты — Микки Маус или Windows. И очень маловероятно, что корпорации так уж легко сдадут свои позиции. Есть проекты «аппаратной защиты копирайта», то есть установки на компьютеры таких жестких дисков и CD, которые на уровне устройств будут отслеживать копирование информации и контролировать выполнение лицензионных соглашений.

Но я все-таки полагаю, что здравый смысл возобладает, и не в последнюю очередь потому, что защита информации может стать крайне дорогим удовольствием, настолько дорогим, что на нее не хватит денег ни у Microsoft, ни у других крупных правообладателей.

Обнадеживает и то, что крупные корпорации вкладывают деньги в свободное программное обеспечение, и остается надеяться, что они не забудут и публичные электронные библиотеки. Информация должна быть свободной и легкодоступной, а то, что автор или правообладатель не заработает миллионы, по-моему, только справедливо: ведь всякое творчество — дело многих людей, и, как говорил Шкловский, в гениальных удачах немногих человечество оплачивает огромный труд безвестных интеллектуальных работников — науки, программирования, литературы.

Copyright 2003 Владимир Губайловский telegal@yandex.ru

Разрешается копирование и распространение этой статьи любым способом без внесения изменений, при условии, что это разрешение сохраняется.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Анатолий Азольский. Диверсант. М., «Грантъ», 2002, 480 стр.

Кроме романа «Диверсант» (первая публикация — «Новый мир», 2002, № 3) в новую книгу известного прозаика вошла повесть «ВМБ» (первая публикация — «Новый мир», 2001, № 6) и короткий рассказ «Высокая литература».

Петр Алешковский. Рудл и Бурдл. Сказка. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 160 стр., 7000 экз.

Одна из первых книг новой, «Детской серии» издательства «НЛО», написанных современными писателями для детей младшего и среднего возраста. В этой же серии вышла повесть-сказка **Марка Харитонов** «Учитель вранья» (2003, 272 стр., 7000 экз.), а также сказка «Девочка с голубыми глазками» **С. Григоровича-Барского** — первое издание книги, написанной в 1921 году русским офицером-эмигрантом для своей внучки; единственный экземпляр книги десятилетиями хранился в семейном архиве.

Белобров-Попов. Красный Бубен. Роман. СПб., ООО «Издательство „Лимбус-Пресс”», 2002, 762 стр., 3000 экз.

Роман-фельетон. Место действия — тамбовская деревня и (в эпизодах) Германия, Мексика, Москва и др. Время действия — наши дни. Персонажи: деревенские мужики и бабы, горожане-дачники, летчики, бизнесмены, агенты ЦРУ и ФБР, рок-музыканты, священники, «азербайджанцы», «татары», музейные работники и проч., а также — в исторических экскурсах — Троцкий, Брежнев и т. д. и т. п. («энциклопедия русской жизни»). Вокруг героев и среди них очень много вурдалаков, оборотней и прочей нечисти. Изображается битва русских мужиков с вселенской и соответственно американской бевсовщиной; помогает Илья Пророк. «Ироническое» в повествовательной интонации романа (точнее, «юморное») строится на игре с современным жаргоном (в основном — с матом), на обыгрывании тем российского пьянства и секса «в полевых условиях», шуточках над антисемитами и евреями, на кавэновском переложении литературных и кинематографических штампов («Мишка расхерачил еще один стол и надел наркобарону на голову цветочный горшок из-под кактуса. Суридес упал и отключился»). Необыкновенная протяженность романа (48 авторских листов) и обилие героев, порой неотличимых друг от друга, а также повторяемость приемов, предсказуемость сюжетных ходов, использование «юмора» исключительно как технического средства относят данное сочинение к жанру «мыльной оперы».

Ричард Бротиган. Ловля форели в Америке. Месть лужайки. Перевод с английского И. Кормильцева, Ш. Валиева. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 376 стр., 5000 экз.

Проза культового в 60 — 70-е годы представителя американской контркультуры — роман, сочетающий сатиру, пастораль и сюрреалистическую образность, а также собрание рассказов тех лет.

Леон де Винтер. Небо Голливуда. Роман. Перевод с нидерландского Е. Асоян. М., «Текст», 2002, 349 стр., 3000 экз.

Впервые на русском языке проза знаменитого нидерландского писателя среднего поколения — повествование о безработных киноактерах, пытающихся переломить судьбу; остроюжетность сочетается с социально-психологической проработкой характеров.

Война и мир — 2001. М., О.Г.И., 2002, 416 стр., 1500 экз.

Сборник прозы и драматургии совсем молодых авторов, составленный по итогам литературной премии «Дебют». Денис Осокин, Аркадий Бабченко, Алексей Лукьянов, Владимир Лорченков, Анастасия Копман, Александр Силаев, Светлана Савина, Сергей Калужанов.

Андрей Дмитриев. Дорога обратно. Роман и повести. М., «Вагриус», 2003, 364 стр.

Издание, осуществленное совместно с Академией Русской Современной Слоvesности (АРС'С), представляет творчество лауреата большой премии имени Аполлона Григорьева. Кроме повести «Дорога обратно» в книгу вошли роман «Закрытая книга» и повести «Поворот реки», «Воскобойников и Елизавета».

Николай Коляда. Кармен жива. Пьесы. Екатеринбург, Уральское издательство, 2002, 372 стр., 3000 экз.

Сборник пьес одного из самых популярных отечественных драматургов: «Амиго», «Селестина», «Букет», «Тутанхамон», «Кармен жива», «Пиявка», «Моцарт и Сальери», «Пишмашка», «Играем в фанты».

Михаил Левитин. Еврейский бог в Париже. М., «Текст», 2002, 238 стр., 2000 экз.

Новая книга прозы Михаила Левитина, известного режиссера, создателя театра «Эрмитаж». В книгу вошли повести «Еврейский бог в Париже», «Дурак дураком» и роман «Стерва». Представляет их Алексей Зверев: «Тем, кто воспринимает прозу как логическое движение сюжета, как цепочку связанных картин, как строгую последовательность действий, лучше не читать эту книгу. Искусство Михаила Левитина не признает геометрически правильных построений. Правдоподобия... оно тоже не признает, как раз случайностями и наслоениями дорожа больше всего». «Речь тут не об эксцентрике и буффонаде... речь о глубоко родственном Левитину особом типе личности, о чудаках, признающих лишь свои внутренние законы... На языке Левитина эти попытки называются „спасение обэриутством“, это больше чем прием, это — позиция перед лицом всех испытаний и катастроф, на которые щедро обиденная жизнь».

Владимир Микушевич. Будущий год. Роман-мозаика. М., «Энигма», 2002, 432 стр., 4000 экз.

Философская проза в жанре мистического детектива, имеющего также черты социально-психологического повествования и антиутопии.

Харри Мулиш. Зигфрид. Черная идиллия. Роман. Перевод с нидерландского С. Князькова. М., «Текст», 2003, 206 стр., 3000 экз.

Роман о писателе, пытающемся на исходе XX столетия разгадать тайну Гитлера и погружающемся одновременно в «физиологию» (сугубо личная жизнь фюрера, взаимоотношения с Евой Браун) и в метафизику (Гитлер как материализация пророчеств Ницше и соответственно сумасшествие и смерть философа как предвестие рождения Гитлера). События романа развиваются параллельно в Вене в 1999 году и весной 1945 года на вилле Гитлера в Бергхофе, а затем — в бункере под рейхсканцелярией (Берлин). «Самое верное определение для Гитлера — это ничто. Все бесчисленные исследования его личности никуда не годятся, ибо они повествуют о чем-то, а не ни о чем. Неверно считать, что он никого к себе не допускал... Дело в том, что не было того, к чему можно быть допущенным. ...Возможно, правильнее считать, что он был вакуумом, всасывающим в себя окружающих и таким образом уничтожающим их». Роман вышел в серии «Впервые на русском языке», автор (род. в 1927) — один из ведущих современных писателей Нидерландов.

Михаил Поздняев. Лазарева суббота. М., «Захаров», 2002, 72 стр., 1000 экз.

Несмотря на уже давнее присутствие творчества Михаила Поздняева в нашей поэзии, это третья, а фактически только вторая его книга — первой был «Белый тополь» (М., «Советский писатель», 1984), а вторая, «За оврагом», подготовленная «Советским писателем» к изданию в 1992 году, не вышла по причине закрытия издательства. Новая книга представляет сегодняшнее творчество поэта, сюжетообразующей для нее стала поэма (автор называет ее повестью) «Кармен», обросшая несколькими стихотворными циклами. Стихи о тяжести любви (жизни), о противостоянии одиночеству («Чудище обло, озорно, огромно, / только и ты, в той же степени ровно, / нищ, и убог, и болящ, и постыл — / в Божьей деснице лягушкой под током, прежде чем Он тебя не отпустил»).

Сергей Стратановский. Рядом с Чечней. Стихотворения и драматическое действо. СПб., «Пушкинский фонд», 2002, 48 стр.

Новая книга стихов известного поэта — «Собаки Грозного, бесхозные и злые, / меж грозненских руин зубами рвут погибших. / Вчерашних королей дворов и дискотек», «...Кто там в Бога поверит? А еще, говорят, не бывает / Атеистов в окопах, и пуля врага ненавистного / Не достигнет тебя, если будешь молиться Аллаху / Или русскому Богу».

Корнель Филипович. День накануне. Рассказы. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2003, 414 стр., 5000 экз.

Избранные рассказы одного из классиков польской литературы Корнеля Филиповича (1913 — 1990), представителя так называемой «краковской школы» второй половины века. Собранные в нескольких циклах («Редкая бабочка», «Как одуванчик», «Совершенный пейзаж» и др.), рассказы обозначили также сюжет судьбы самого писателя, прошедшего войну, оккупацию и плен; сумевшего вопреки идеологическому климату социалистической Польши стать одним из самых тонких, изощренных и глубоких художников в польской литературе. Перевод рассказов для этой книги был осуществлен

группой молодых переводчиков — своеобразного творческого семинара под руководством Ксении Старосельской.

Александр Чернов. Глазомир. Стихотворения и поэма. Киев, Издательский дом Дмитрия Бурого, 2003, 64 стр.

Четвертая книга известного киевского поэта, причисляемого критиками к продолжателям поэтической традиции обэриутов.

Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря. Роман. М., «Вагриус», 2003, 368 стр.

«Очередная интеллектуальная провокация, кошки-мышки с историей, психологический поединок героев-братьев — „революционера” и „праведника”» («Книжное обозрение»). Ранее роман печатался в «Знамени» (2002, № 8, 9).



Белая Россия. Опыт исторической ретроспекции. СПб., М., «Посев», 2002, 176 стр., 700 экз.

Сборник статей, составленный по материалам международной научной конференции, проходившей 1 — 4 октября 2000 года в Севастополе и посвященной истории и идеологии Белого движения. Ответственный редактор А. В. Терешук.

В. А. Бердинских. Уездные историки. Русская провинциальная историография. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 528 стр., 1500 экз.

Новая книга вятского историка, материал для которой автор накапливал в течение почти двадцати лет, посвящена истории краеведения в России. Первый раздел книги посвящен русской историографии второй половины XIX века, во втором разделе представлена деятельность историков Вятки — начиная с выпускника семинарии, учителя Александра Вештомова, занявшегося изучением истории края в 1805 году, и кончая историком Павлом Лупповым (1867 — 1949); в третий раздел вошли статьи по историографии XX века. «Сформировать отношение к комплексу исторических источников, созданных в российской провинции XIX — начала XX века, как к определенной системе знаний — главная цель этой книги» (от автора).

Лари Вульф. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. Перевод с английского И. Федюкина. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 560 стр., 3000 экз.

Книга американского историка и культуролога, считающего, что отделенность Восточной Европы от Центральной Европы является всего лишь идеологической концепцией, возникшей в эпоху Просвещения, «и теперь, после 1989 года, когда советское военное присутствие ушло в прошлое, она вновь оказалась лишь концепцией. Концепция эта, тесно вплетенная в историю двух последних столетий, до сих пор оказывает столь сильное влияние на политические события», что и сегодня нам остаются недоступны ее «интеллектуальные корни», скрытые в дымке истории. Поиском этих корней и занят автор, обратившийся к истории взаимоотношений Центральной Европы с восточными соседями, в частности с Россией, и их осознанию в Центральной Европе XVIII и XIX веков.

К. Г. Левыкин. Деревня Левыкино и ее обитатели. М., «Языки славянской культуры», 2002, 408 стр.

Автор — профессиональный историк, директор Государственного Исторического музея, но книга его — не очередная монография, а органичный сплав мемуаров и исторического описания родной деревни, судеб односельчан, а также истории рода Левыкиных.

Туда, где кончается солнце. Воспоминания, свидетельства, документы. М., «Текст», 2002, 157 стр., 3500 экз.

Главный документ, процитированный в этой книге и определивший ее сюжет, — постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 1937 года «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края». В результате было депортировано около 200 тысяч человек — дальневосточных корейцев как этнических корейцев со своими обычаями не стало. Воспоминания, собранные составителем книги Анатолием Кимом, воссоздают картину этого преступления; в очерках историков Светланы Нам и Михаила Пака анализируется его исторические и политические аспекты. Сам Анатолий Ким представлен в книге эссе «Поезд памяти», описывающим паломничество потомков депортированных корейцев на историческую родину: «Я ехал в этом призрачном поезде — призрак убитого корейца, среди других

таких же призраков, отлично говоривших на русском, и с удовольствием наблюдал за поведением заграничных корейцев, которые не имели права называться господами ПП, Призраками Поезда. Не удостоились такой чести». Акция была приурочена к шестидесятилетней годовщине выселения — во Владивостоке был сформирован небольшой состав из восьми пассажирских вагонов, который должен был пройти до Ташкента, повторив маршрут печального корейского исхода». И «мне почему-то представляется, что тот ПП, который выкатился из Владивостока 11 сентября 1997 года... катится и катится до сих пор. И в нем едем все мы, российские корейцы, призраки поезда, — едем на запад с восточа, едем все дальше и дальше, и назад нам нет пуги».

Мишель Фуко. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Перевод с французского С. Ч. Офертаса. М., «Праксис», 2002, 384 стр.

Знаменитый философ как публицист.

Стейси Шифф. Вера. (Миссис Владимир Набоков). Биография. Перевод с английского Ю. Кириченко. М., Издательство «Независимая газета», 2002, 616 стр., 5000 экз.

Книга о жене Набокова, то есть — о частной жизни Владимира Набокова, в которой именно Вера Евсеевна была главным человеком. История взаимоотношений супругов, стиль общения, характер их совместной работы над рукописями, а также описание быта в разные периоды их жизни, окружения, увлечения Набокова другими женщинами и многое другое — все это дается в книге и как самостоятельный сюжет, и как бытовой подстрочник романов Набокова. Книга получила Пулитцеровскую премию за 2000 год.

Семен Экштут. Тютчев. Тайный советник и камергер. М., «Прогресс-Традиция», 2003, 320 стр., 2000 экз.

Книга о жизни Тютчева, автор которой предупреждает, что будет очень мало говорить «о стихах Тютчева и очень много — о том „core“, из которого они выросли», то есть о детстве и юности, о дипломатической службе, о светской жизни, о личной и о семейной — «собственная жизнь была его главным произведением — и он относился к ней так же легко и беззаботно, как и к текстам своих стихов и их дальнейшей судьбе».

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА

«Алфавит», «Вестник Европы», «Виртуальный сервер Дмитрия Галковского», «Время искать», «Время МН», «Время новостей», «Грани.Ру», «Дело», «Деловой вторник», «День и ночь», «День литературы», «Егупец», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Итоги», «inoСМИ.Ru», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Консерватор», «Критическая масса», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Мужская работа», «Насекомое», «Наука и жизнь», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новое время», «Огонек», «ОМ», «Подъем», «Посев», «Пределы века», «Русский Журнал», «Седмица», «Со-Общение», «Спецназ России», «Столичная вечерняя газета», «Труд», «Что Нового»

Сергей Абашин. Либеральный расизм. — «Независимая газета», 2003, № 17, 31 января <<http://www.ng.ru>>

Полемика с Денисом Драгунским, который — цитирую Абашина — «попрекает правозащитников тем, что они „отрабатывают гранты, полученные от леволиберальных фондов“. В этой связи интересно спросить: в каких фондах получает гранты сам Д. Д., можно ли квалифицировать опубликовавший его доклад Институт Кеннана как „праволиберальный“ <...>?»

А также: «Что может быть общего между либералом-предпринимателем с месячной оплатой в 100 тыс. долл. и стодолларовым либералом-учителем?»

Гузель Агишева. Весенний марафон. О чем еще можно говорить с писательницей Викторией Токаревой? Конечно, о любви и сопутствующих ей материях. — «Деловой вторник», 2003, № 4, 4 февраля <<http://www.vtornik.ru>>

«А вы, Виктория Самойловна, как думаете: сами-то свою книгу с годами пишете лучше или хуже? — В Швейцарии мои издатели считают, что пишу все лучше и лучше. А здесь некоторые говорят, что я пишу все хуже. — Кто? — Тая Толстая. Она мне это с удовольствием всякий раз объясняет».

Василий Аксенов. Американским писателем я так и не стал. Запись беседы С. Силаковой. — «Иностранная литература», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«Широкая [американская] публика не любит иронической интонации».

Виктор Аксючиц. Вавилонское пленение. Русская Православная Церковь в XX веке. — «Пределы века». Всероссийская общественная православная газета. Издается с 2000 года. 2003/7511, № 1 (37), 15 — 31 января, продолжение следует <<http://www.predely.org>>

«В 1917 году в России был установлен режим идеократии — власти партии идеоманов».

Александр Никонов против Александра Минкина. — «Огонек», 2003, № 1, январь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Минкин. То есть Бога нет?

Никонов. Бога нет. Я надеюсь, я не огорчил вас этим известием?

Минкин. Если бы мы начали с этого, разговор был бы гораздо короче.

<...>

Никонов. <...> Если я колюсь наркотиками — это мое дело. Мы живем в мире взрослых людей.

Минкин. Неправда. Мы живем в мире, где есть дети».

Марк Амусин. «Левые». — «Время искать». Журнал общественно-политической мысли, истории и культуры. Главный редактор Марк Амусин. Иерусалим, 2002, № 7, декабрь.

«В творчестве Стругацких присутствуют чуть ли не все элементы и стороны „левого мировоззренческого комплекса“ <...>».

См. также: **Марк Амусин**, «Литература, либерализм, миллениум» — «Время искать», Иерусалим, 2001, № 4.

См. также: **Марк Амусин**, «Макс Фриш: модель утопии» — «Время искать», Иерусалим, 2001, № 5.

Протоиерей Михаил Ардов. Симптомы страшной болезни. — «Огонек», 2003, № 4, январь.

«<...> мораль убывает везде. <...> если бы тридцать лет тому назад принцесса Диана, едучи из кабака со своим любовником, разбилась, то вряд ли бы на ее могилу несли тонны цветов, как это происходит сейчас».

«Вот завтра, без всякого бен Ладена, лопаются в голове маленький сосудик, и мы превращаемся в растение».

Александр Архангельский. На сервере диком стоять одиноко. Андрей Геласимов как фактор литературного роста. — «Известия», 2003, № 14, 28 января <<http://www.izvestia.ru>>

Новая рубрика «Словарь современной русской литературы». «<...> интернетовское количество тоже может переходить в качество — и армия электронных графоманов может изредка делегировать из своих рядов серьезных писателей в серьезную литературу».

См. также о романе Геласимова «Год обмана» (М., О.Г.И.): **Александр Архангельский**, «Это любовь или просто пиар?» — «Известия», 2003, № 26, 13 февраля.

См. также полярные мнения **Марии Ремизовой** и **Дмитрия Быкова** о прозе Геласимова: «Новый мир», 2003, № 1.

За повесть «Жажда» («Октябрь», 2002, № 5) **Андрей Геласимов** получил малую премию имени **Аполлона Григорьева**, учрежденную Академией Русской Современной Словесности (АРС^С) и Росбанком.

Сергей Баймухаметов. Вишневый сад рабочих и крестьян. — «Литературная газета», 2003, № 4, 29 января — 4 февраля <<http://www.lgz.ru>>

«<...> советские рабочие и крестьяне повторили сегодня судьбу чеховских дворян».

См. также: **Юрий Солозобов**, «Сто лет „Вишневого сада“» — «Русский Журнал», 2002, 25 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>

Павел Басинский. Бремя романа. — «Литературная газета», 2003, № 6, 12 — 18 февраля.

«Если верить нашим многочисленным премиальным жюри, царицей прозаических жанров нынче является Повесть. <...> Но „народ“ читает Романы. И правильно делает. Это жанр демократический, „буржуазный“».

Джерри Бергман. Дарвинизм как основа коммунизма. Перевод Натали Коккоз. — «Пределы века», 2003/7511, № 1 (37), 15 — 31 января <<http://www.predely.org>>

«Дарвинизм как мировоззрение стал решающим фактором не только в развитии нацизма, но и в появлении коммунизма и коммунистической катастрофы <...>».

См. также: **Д. В. Владимирский**, «Солидарность и борьба» — «Посев», 2002, № 12 <<http://posev.ru>>

См. также: **Игорь Вошинин**, «Биологический аргумент» — «Посев», 2003, № 1 <<http://posev.ru>>

Владимир Березин. Право на смерть. Шестьдесят лет назад погибла «Молодая гвардия». — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

«<...> нечего глумиться над убитыми <...>».

См. также: **Евгений Пишита**, «Личное дело» — «Москва», 2003, № 2; опыт журналистского расследования истории молодоговардейцев.

Владимир Березин. Литературный итог противостояния. — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля.

Говорит председатель правления общества «Мемориал» историк **Арсений Рогинский**: «Что политические и экономические проекты диссидентов остались утопиями — это факт. И что литература выиграла от появления диссидентства и самиздата — это тоже факт. <...> Впрочем, талант тоже не был разграничивающим признаком: вспомните, сколько „проходных“ литературных текстов наряду с замечательной прозой (и в меньшей степени поэзией) гуляло в самиздате. И сколько выдающихся литературных произведений было опубликовано в 1970-е в „подцензурной“ печати».

Игорь Бестужев-Лада. Четвертая мировая война: кто победит? — «Литературная газета», 2003, № 4, 29 января — 4 февраля.

«Началось — только еще началось! — вырождение и вымирание целых народов, от „белых американцев“ до русских». Автор — президент Международной академии исследований будущего.

См. также: «Белые уже не способны нести бремя белого человека. Они не в силах взять на себя ответственность да и недостойны ее в своем нынешнем расслабленном состоянии. <...> Оптимист допускает, что после сильной встряски, например, войны, христианские ценности воссияют новым светом. Я пессимист: допускаю, что мы проиграем без всякой войны. Произойдет капитуляция, а потом и депопуляция. То есть мы попросту не примем боя», — говорит диакон **Андрей Кураев** в беседе с Дмитрием Быковым («Наша вера — это авантюра» — «Мужская работа», 2003, № 7 <<http://www.menswork.ru>>).

Ср.: «<...> возможен такой сценарий, когда никого из ныне существующих народов в будущем не окажется», — говорит **Сергей Переслегин** в беседе с Андреем Аловым («Настоящая опасность» — «Мужская работа», 2003, № 7 <<http://www.menswork.ru>>).

Полина Бороздина. Тайна жизни. «Мертвые» и «живые» в военной прозе А. Платонова. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 1 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>

«<...> пристальное внимание писателя к вопросам жизни и смерти».

См. также: **Лилия Китаева**, «Платонов, Хемингуэй и смерть» — «Подъем», Воронеж, 2001, № 4.

Максим Брусиловский. Победоносцев над Россией... — «Консерватор», 2003, № 3 (19), 31 января <<http://www.egk.ru>>

Апология.

Гриша Брускин. Тараканы на холсте. — «Московские новости», 2003, № 2 <<http://www.mn.ru>>

«Ахматова картину Альтмана не любила. Портрета Петрова-Водкина не вспоминала. Зато обожала рисунки Тышлера. Тышлер рассказывал, что каждый раз, когда он заканчивал работу, поэтесса брала ластик и убирала горбинку с носа». О *горбинке* см.: **Евгений Рейн**, «Призрак среди руин» — «Новый мир», 2002, № 10.

См. также: Гриша Брускин, «Настоящее продолженное. Из книги „Работа над ошибками“» — «Знамя», 2002, № 2 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

«Бублики» для прокурора. Письмо Якова Ядова А. Я. Вышинскому. — «Егупец». Художественно-публицистический альманах Института иудаики. Киев, 2002, № 10 <<http://judaica.kiev.ua>>

Письмо от 16 апреля 1940 года: автор знаменитой песенки про бублики жалуется на свою жизнь: «Тяжело и больно сознавать, что Литфонд превращается в кормушку для многих бездельников, а мне, старому писателю, отказывают в праве на отдых и лечение. <...> Помогите мне в этом, Андрей Януарович!»

Антон Бубликов. Отмстить ли разумным Хазанам? — «Консерватор», 2003, № 3, 31 января.

Памфлет о Г. В. Хазанове.

Виктор Бузинов. Виктор Соснора. — «Дело», Санкт-Петербург, 2003, № 262, 27 января <<http://www.idelo.ru>>

Рубрика «Современники». Говорит Виктор Соснора: «У меня ни поэтического кредо, ни самоопределения, какой я, — нет. Я не принадлежу ни к одному литературному направлению: ни к прошлым, хорошо известным, ни к модному постмодернизму. От кого пошел я, сказать трудно. Мои предтечи не очевидны».

Василь Быков. «Возвращаются знаки беды». Беседу вел Александр Архангельский. — «Известия», 2003, № 19, 4 февраля.

«Не вижу ничего светлого для Белоруссии в будущем».

«И мне жалко европейской культуры, старенькой, дряхлой, но все-таки хорошей культуры, которая не выдержит натиска глобализации».

См. также отрывок из книги воспоминаний Василя Быкова «Цена достоинства» — «Дружба народов», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>

Дмитрий Быков. Прощай, отчаяние, или По ком звонит дар. — «Огонек», 2003, № 1, январь.

«<...> в 1985 году [Набоков] окончательно нокаутировал Хемингуэя. Мода на бородатого в России кончилась, и началась мода на бритого. Но, по счастью, окончательных нокаутов в литературе не бывает, и сейчас Хемингуэй возвращается. Он возвращается потому, что опять пришло его время. Время победителей, не получающих ничего».

См. также: Лиза Новикова [Книги за неделю] — «Коммерсантъ», 2003, № 24, 12 февраля <<http://www.kommersant.ru>>; о поэтической книге Дмитрия Быкова «Призывник».

Дмитрий Быков. Закон — Божий! — «Огонек», 2003, № 5, февраль.

«Атеисту нужно внимание, ему необходимы любовь и забота, его не порицать надо, а знай себе учесывать за ушами. Подобной тактики придерживалась моя православная жена, пока я еще мучительно преодолевал свой либеральный агностицизм, — и, надо сказать, преуспела».

«Очень может быть, что Бога нет. <...> Но думать, что Бог есть, и действовать, исходя из этого, — лучше для человека. Гуманнее, плодотворнее и эстетичнее. <...> Конечно, из-за религии бывают войны. Но еще чаще они бывают из-за бабла. Так вот, по-моему, лучше погибнуть за Бога, чем за бабло».

Дмитрий Быков. *Back to the USSR?* — «Мужская работа», 2003, № 7, январь — февраль <<http://www.menswork.ru>>

«И не надо повторять, что иначе быть не могло. Могло. И может еще стать иначе. Для этого надо только (всего-то. — А. В.) оттеснить от управления людей, пришедших к власти на волне межнациональных войн».

Дмитрий Быков. Подражание Горчеву. (Быков-quickly: взгляд-51). — «Русский Журнал», 2003, 12 февраля <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Но Гитлер любил Вагнера — и если вы любите Вагнера, вы тоже Гитлер. Чтобы не быть Гитлером, вы должны любить мюзикл „Чикаго“, потому что его Гитлер полюбить не успел».

Дмитрий Быков. Татьяна Толстая. Из бывших. — «Консерватор», 2003, № 5, 14 февраля.

«Не знаю, как коллегам, а мне писательницу прежде всего жалко. Потому что я понимаю, откуда в ней эта странная злоба, все чаще вырывающаяся наружу в последние три-четыре года».

«<...> вся ее тактика подробно и не без любования описана в известном рассказе Шукшина „Срезал“».

«<...> зеленые либеральные ценности <...>».

Яков Бялик. Записки фронтального хирурга. Документальное повествование. — «Подъем», 2003, № 1.

«Война в его записках предстает во всем своем кровавом ужасе» (из предисловия Ивана Евсеенко).

См. также: **Анна Василевская**, «Книга о жизни» — «Новый мир», 2003, № 2, 3; *блокада, медсанбат*.

«**В поисках теории всего**». Беседу вела Катажина Яновская. — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 1 (38).

Говорит физик-космолог, богослов, философ о **Михаил Хеллер**: «<...> в каждом компьютере есть *hardware*, то есть электронное устройство, и *software*, то есть программы. Математика — это *software* Вселенной». Он же: «<...> люди, незнакомые с высшей математикой, имеют ничтожное представление о красоте».

Алексей Варламов. «Я расту из земли». К 130-летию М. М. Пришвина. — «Литературная газета», 2003, № 5, 5 — 11 февраля.

«<...> остается по сей день самым неизвестным и непрочитанным русским автором».

«**Весь мир как окраина России**». Записала Лилия Гущина. — «Новая газета», 2003, № 10, 10 февраля <<http://www.novayagazeta.ru>>

Говорит **Петр Вайль** — в связи с выходом его новой эссеистической книги «Карта родины»: «Семнадцать лет жил в Нью-Йорке, который, разумеется, столица мира, но с точки зрения русской культуры (а это основная моя точка зрения) — экзотическая окраина».

Он же: «Человек должен быть жив, сыт и свободен — но именно в этой последовательности. <...> Многие в России со мной не согласятся».

См. также: **Георгий Осипов**, «Тройка. Шестерка. Туз» — «Новое время», 2003, № 7, 16 февраля <<http://www.newtimes.ru>>

Александр Вознесенский, Евгений Лесин. Чернышевский нашего времени. — «НГ Ex libris», 2003, № 6, 20 февраля.

«Можно ли представить, что ему [Лимонову] уже 60?»

Здесь же: **Сергей Шаргунов**, «Это праздник с кандалами на ногах...»; **Владимир Абель**, «...И острый галльский смысл»; **Лев Пирогов**, «Люди или писатели?»; а также — «„Он не столько политик, сколько пассионарий...” Писатели о Лимонове: писателе, политике и человеке».

См. также: **Алла Латынина**, «Я играю в жизнь» — «Новый мир», 2003, № 4.

Ларри Вульф, Александр Янов. Переписка. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 6 (26) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

«2 декабря 2002. Дорогой *Alex* <...> Несколько лет назад я ужинал с очаровательной датской коллегой, которая сказала мне, что ни русского, ни американца никогда не спутаешь с европейцем — слишком очевидны их отличия. „Как это?” — спросил я. „Ну, во-первых, — сказала она, — американцы и русские не умеют вести себя за столом как европейцы. А во-вторых, — добавила она, глядя мне в глаза, — они не умеют соблазнить женщину”. Этой историей я хочу подчеркнуть, что определение существенно „европейского” может быть очень индивидуальным, субъективным, произвольным и стратегическим. <...> Искренне Ваш Ларри».

Владимир Высоцкий. «Иногда мне кажется, что не хватит сил». Публикацию подготовил Олег Терентьев. — «Известия», 2003, № 13, 25 января.

«„Гамлет” — это бездонная пьеса. <...> Я никогда не расскажу так, как я сыграть». Публикуется к 65-летию со дня рождения Высоцкого.

Здесь же: «Высоцкий — человек с вертикальным вектором <...>. И созвучен таким же, как он, сумасшедшим», — говорит литературовед и критик **Владимир Новиков**, автор биографии Высоцкого (М., 2002), в беседе с Юлией Рахаевой «У него очень большое будущее».

Здесь же: «<...> при жизни Высоцкий более всего жаждал признания как автор, а толпы боготворили его как героя», — пишет **Юрий Богомолов** («Он сотворил из себя миф»).

См. также: **Сергей Кредов**, «Как оспую, болело время нами» — «Русский Журнал», 2003, 28 января <http://www.russ.ru/ist_sovgt>; *тут любопытен неполный перечень «поговорок» от Владимира Высоцкого — фраз из песен, вошедших в живую речь*.

См. также: **Наталья Крымова**, «О Высоцком. К 65-летию поэта и актера» — «Независимая газета», 2003, № 11, 24 января; *последняя статья, написанная для «Независимой газеты» театральным критиком Натальей Крымовой, она умерла в начале января*.

Дмитрий Галковский. Утиная охота. Разумный обзор десяти рецензий сценария «Друг Утят». — «Виртуальный сервер Дмитрия Галковского» <<http://www.samisdat.ru>>

«Для писателя это действительно неправильный тип поведения (хотя бы потому, что ставит его в унизительное положение „самообъяснения“). Однако я не писатель, так что сделаю не просто глупость, а глупость десятикратную <...>. Шарахнув по десяти уткам, замечу, что, конечно, у меня была фора. Зверушки расслабились. На будущее предупреждаю, что отвечать буду регулярно. Так что „кто не спрятался, я не виноват“. Летайте выше».

Рената Гальцева. «Мозговой штурм» октябрьской революции. — «Посев», 2003, № 1 <<http://www.posev.ru>>

Полемическую статью редакция «Посева» снабдила фотографией ведущего телепередачи «Что делать?» со следующей подписью: «Виталий Третьяков во главе адвокатов красных бесов».

Сергей Гандлевский. Размер потери. — «Время новостей», 2003, № 23, 10 февраля <<http://www.vremya.ru>>

«Я совсем не сторонник хрестоматийной „художественности“ <...>. Но хорошо бы давать себе отчет, что, беззаботно „делая ручкой“ художественной интуиции и радостно беря сторону литературы факта, мы празднуем свою же метафизическую уступку, подыгрываем кому угодно, только не себе».

Александр Герасимов. Поэзия первична. — «Независимая газета», 2003, № 23, 7 февраля <<http://www.ng.ru>>

«Для меня как автора женщина гораздо интереснее мужчины», — говорит поэт и драматург **Елена Исаева**, получившая молодежный грант премии «Триумф».

Лидия Гинзбург. Стадии любви. Из записей 1934 года. Предисловие и публикация Дениса Устинова. — «Критическая масса». Главный редактор Глеб Морев. 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>

При свете разума. С примерами и обобщениями. «Ревность психических и физических импотентов особенно зла и разрушительна, потому что их права на человека всегда сомнительны».

Год без Астафьева. — «Посев», 2003, № 1.

«Только беспризорничать в Игарке было тяжело, в Крыму лучше». Одна из встреч Виктора Астафьева с работниками детской библиотеки, юными читателями и их учителями (записал Сергей Кастельский, Красноярск, 14 марта 1995 года).

См. также тексты радиointервью **Виктора Астафьева** 90-х годов (корреспондент Николай Кавин) и письма к Астафьеву от слушателей «Радио России»: «День и ночь», Красноярск, 2002, № 7-8, октябрь — декабрь <<http://www.din.krasline.ru>>

Линор Горалик. Сказки для невращенников. — «Грани.Ру», 2003, 21 января <<http://grani.ru/Society/Neuro/Linor>>

«Эротическое кино умирает как жанр. <...> Расшатывание границ допустимого к просмотру на большом экране мейнстримных кинотеатров сделало само понятие „эротический фильм“ неловким и наивным, как Эммануэль в начале своего культового путешествия по нашим жажущим сексуальной свободы душам. <...> Лучшую порнографию показывают в кинотеатре „Ролан“ с семи до девяти вечера. То же, что считалось порнографией до сих пор, деланные завывания и натужное туда-сюда, начинает вызывать теплое сентиментальное чувство, как нечто давнее, забытое и смешное, когда-то — большое и страшное, сейчас — трогательное и нелепое. Плюшевый тигр».

Ср.: «<...> мое отношение к порнографии крайне положительное. Мне кажется, что это прекрасная вещь, и я не хотел бы встречаться с глупцами, которые считают по-другому. <...> Мало есть вещей в жизни, которые: а) дают человеку такое удовлетворение, б) вызывают настоящие столкновения мнений, что тоже прекрасно, и в) имеют непосредственное отношение к природе кино...» — говорит кинокритик и режиссер **Михаил Брашинский** в беседе с Ольгой Шумяцкой («Время МН», 2003, 5 февраля <<http://www.vremyamn.ru>>).

Ср.: «Порнография <...> представляет собой своего рода пародию на общество потребления. Она проявляет себя не как случайная непристойность, а как индустрия, как способ извлечения прибыли из того, что потреблению противостоит, — из желания. Это — индустрия непотребимого. Или, говоря словами Бодриера, чистый символический обмен вне всякого воображаемого порядка», — пишет **Олег Аронсон** («Истина порнографии» — «Критическая масса», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>).

Вячеслав Гудков. Заметки о лженауках и их сторонниках. — «Наука и жизнь», 2002, № 12 <<http://nauka.relis.ru>>

«<...> о существовании некоторого стандартного набора агрессивных антинаучных высказываний, часть из которого представлена ниже».

См. также: **Владимир Губайловский,** «Строгая проза науки» — «Новый мир», 2002, № 12.

Лев Гурский. А вы — не проект? — «Нева», 2002, № 11.

«<...> газету „Завтра“ можно не читать, на лимонно-ампиловские тусовки не ходить, папу Зю по ящичку не слушать, а их суждения все равно просочатся к вам — со страниц беллетристики».

Олег Дарк. Оставшиеся живыми. — «Русский Журнал», 2003, 28 января <<http://www.russ.ru/krug>>

«Я вдруг заметил, что мои положительные реакции на произведения современной русской литературы вызывают только авторы-евреи, или гомосексуалисты, или женщины...»

«Еврея, гомосексуалиста или женщину объединяет то, что они существуют в чужом, не вполне для них оборудованном мире. <...> Это сознание своей уязвимости благоприятно для занятий современной русской литературой».

«В современной русской литературе как профессии есть что-то настолько стыдное и несерьезное, что занятия ею влиту скрывать. <...> Все это приводит к специфическому комплексу неполноценности у профессионально занимающихся литературой русских мужчин».

Михаил Денисов, Виктор Милитарев. Русскоязычная фантастика как теневой духовный лидер. — «Русский Журнал», 2003, 12 февраля <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> в русскоязычной фантастике сложился некий „средний“ стиль, которым пишут 90 процентов авторов. И это не недостаток, не обезличивание, а скорее достоинство в свете задач фантастики <...>».

«<...> фантастика пришла *не смену* и традиционной, и авангардной прозе».

«<...> фантастика открыто показывает, что является отраслью человеческого духа, в литературной форме трактующей вопросы метафизики и теории познания, философской антропологии и внеконфессиональной теологии, политической и моральной философии».

«<...> последние 15 лет русскоязычными авторами написаны сотни без преувеличения выдающихся произведений <...>».

«**Детектив напоминает нам, что почем.**» Беседа Елены Рабинович и Аркадия Блюмбаума. — «Критическая масса», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/km>>

«**А. Б.** Может быть, в детективе самое фрустрирующее для читателя — это развязка? <...> Развязка превращает страшную тайну в страшную банальность. Я думаю, что идеальный читатель детектива хотел бы, чтобы детективный роман отчасти напоминал „Замок“, когда финальное разрешение все время откладывается, а роман к тому же еще и не закончен».

Е. Р. Если бы так было, именно такие детективы и писались бы».

Александр Дугин. Смерти веселый смех. — «ОМ», 2002, № 68, ноябрь <<http://www.om.ru>>

«[*Терминальная медицина* —] очень странная сфера, где мы ускользаем от одержимости других врачебных зон — починить человеко-механизм во что бы то ни стало. Или симитировать по меньшей мере процесс. <...> Я давно не видел таких интересных взглядов, как у пациентов и сотрудников хосписа. В центре их внимания — именно то, что должно быть в центре нашего общего внимания. Они обслуживают „уход“, „переход“, „терминус“, „границу“...»

Александр Дугин. Да, смерть Наташи Медведевой (типа некролог). — «Русский Журнал», 2003, 5 февраля <<http://www.russ.ru/culture>>

«Во многом ее сделал, конечно, Лимонов. Он обобщил и отчеканил ее собственную пустоту, облек ее в те формы, которые освоил сам. Но и получив форму от Лимонова, она продолжала нестись — ее продолжало нести. <...> Ее жизнь ничего не доказала и никого ничему не научила. Она явно была, но что это значит, едва ли кто-то может сказать...»

Ср.: «Медведева была абсолютным воплощением женского типа, к которому принадлежала, — и расплатилась за все. Впрочем, повезло ей и еще в одном: на пути ей встретился Идеальный Солдат. Которого она закалила до полной уже несгибаемости», — пишет **Дмитрий Быков** («Эдуард и Наталья» — «Консерватор», 2003, № 4, 7 февраля <<http://www.egk.ru>>).

Ср.: «Ей бы впору быть героиней Достоевского, а она всего лишь персонаж книг Лимонова», — пишет Алла Латынина («Я хочу жить свою легенду» — «Время МН», 2003, 12 февраля <<http://www.vremyamn.ru>>).

См. также «предпоследнее» интервью Натальи Медведевой — «Огонек», 2003, № 7, февраль.

Михаил Дунаев. Блуждания перед агонией? Poleмические заметки о русской национальной идее. — «Труд-7», 2003, № 22, 6 февраля <<http://www.trud.ru>>

«<...> почти все высказывания по поводу русской идеи можно свести к отысканию наилучшего и справедливейшего способа устроиться в земной жизни. <...> Мы забываем о вечности, которая только и должна дать нам верную точку зрения на наше бытие». Автор — профессор Московской духовной академии.

Ольга Дунаевская. Место для «Бедной Лизы». — «Московские новости», 2003, № 2.

Говорит **Наталья Иванова:** «А вообще для нас все „чем хуже — тем лучше“: чем меньше круг читателей, тем более интересным и завлекательным должен быть журнал [„Знамя“], тем сложнее его делать».

Борис Екимов. По Дону. Путевые заметки. — «Наш современник», 2003, № 2.

«И как-то однажды, несколько лет назад, про давнюю мечту свою вспоминая, решил я, что надо просто-напросто устроиться на любой буксир из тех, что поднимаются вверх по Дону, и плыть на нем...»

Владимир Емельянов. Тезисы к духовной биографии Владимира Высоцкого. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 310, 9 февраля <<http://www.lebed.com>>

«Это голос сильного, умного и требовательного самца, заставляющего обратить на себя внимание».

«Но зависимость от власти и от жены на корню рушила все планы нового богочеловека».

«Даже погиб он прогрессивно — от наркотиков, как русские люди стали гибнуть только десятилетие спустя».

«Высоцкому очень не повезло, что он родился в России, занимался советскими реалиями и пел на русском языке».

Григорий Заславский. Премияльный год. — «Независимая газета», 2003, № 20, 4 февраля.

«Премии в области литературы и искусства <...> узаконивают само присутствие искусства в нашей жизни. <...> В конце концов кто бы догадался, что есть еще какая-то литература помимо общеупотребимой, если бы не „Аполлоновка“?»

Галина Зверева. «Работа для мужчин»? Чеченская война в массовом кино России. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 6 (26).

«<...> несмотря на широту диапазона оценок и конфронтацию мнений, слово *Чечня* все отчетливее выражает себя в коллективном сознании как совокупный образ *Войны в России*. Здесь же: **Оксана Саркисова**, «Скажи мне, кто твой враг... Чеченская война в российском кино».

О фильме Алексея Балабанова «Война» см. кинообзор **Натальи Сиривли** в июльском номере «Нового мира» за 2002 год.

Земля под градусом. Глобальное потепление коснется каждого. — «Известия», 2003, № 10, 22 января.

Говорит директор Гидрометцентра России **Роман Вильфанд** в беседе с Борисом Пастернаком: «<...> от 10 до 15 процентов [климатических] изменений обусловлено антропогенной деятельностью. Все остальное — естественные факторы. <...> По минимальным оценкам, температура Земли за XXI век вырастет на 1,5 градуса. По экстремальным оценкам — на 6 градусов, что катастрофично. <...> Влиять на погоду, а тем более на климат мы пока не в силах».

Здесь же: «Климат станет теплее вне зависимости от усилий человека», — говорит заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ **Владимир Клименко** в беседе с Сергеем Лесковым.

Михаил Золотоносов. Дамское счастье. — «Московские новости», 2003, № 1.

«Общая безнадежность — сквозной мотив всех 28 рассказов [антологии „Брызги шампанского. Новая женская проза“]. <...> Это деградировавший мужской мир, в котором женщина перестала быть объектом желания, а мужчина перестал быть экономической опорой».

Михаил Золотоносов. Приключения человека-амфибии. — «Московские новости», 2003, № 6.

«<...> [Александр] Беляев воспользовался литературным материалом, который ко времени публикации романа, то есть к 1928 году, уже оказался за гранью активной читательской памяти. Предшественников у него оказалось два. <...> и именно их чтение позволяет понять, что, собственно, сделал внутри „чужой” темы советский фантаст».

Андрей Zubov. «И сгинет красная звезда!» — «Посев», 2003, № 1.

«Ничего антихристианского не было и в звездах на русских офицерских погонах, заимствованных Сталиным для Советской Армии в 1943 году. Но большевицко-коминтерновская красная звезда — совсем иное дело».

Юрий Каграманов. Силе духа противопоставить силу духа. — «Посев», 2002, № 12.

«<...> Запад в глазах мусульман — это не столько христиане, сколько безбожники». См. также: **Юрий Каграманов,** «О двух „изгоях”» — «Посев», 2003, № 1.

Александр Казинцев. Симулякр, или Стекольное царство. Часть первая. Гражданское общество как симулякр. — «Наш современник», 2002, № 11, 12; 2003, № 1, 2, продолжение следует.

«Перед тем, как обругать советский социум „закрытым”, Сорос называет его *органическим*».

Священник Димитрий Каплун. Содомия — путь к катастрофе. — «Консерватор», 2003, № 3 (19), 31 января.

«И наконец, есть грехи особо тяжкие. Их называют „вопиющими на небо об отпущении”. Это „удержание мзды наемника” — то есть невыплата работнику положенной зарплаты; это обида, нанесенная вдовам и сиротам; это изнасилование и, наконец, — „содомия”, гомосексуализм, противостественная плотская связь между людьми одного пола».

Татьяна Касаткина. Копия. [Повесть]. — «Насекомое». Альманах литературно-художественных иллюстрированных маразмов. Основан в 1982-м. Возобновлен в 1996-м. Год издания одиннадцатый. М., Калининград — СПб., 2002.

«Оставить любимого гораздо проще — вы просто вместе умрете, и все. Оставить нелюбимого невозможно — все равно как убить человека и спокойно продолжать жить. И еще быть счастливым».

Франц Кафка. Письма Фелиции Бауэр. 1912 — 1913. Перевод и вступление М. Рудницкого. — «Иностранная литература», 2003, № 2 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«Поразительный этот документ, раскрывающий — скажу сильнее: оголяющий — внутреннюю жизнь писателя беспощадней, полнее (хотя бы просто по физическому объему написанного), исповедальнее, чем даже его дневники <...>» (из предисловия переводчика).

См. также письма **Эриха Марии Ремарка** к Марлен Дитрих — «Вестник Европы», 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

Бахыт Кенжеев. Краткий комментарий к закону. — «Столичная вечерняя газета», 2003, № 3, 12 февраля <<http://www.stog.ru>>

«Законы о государственном языке обычно имеют оборонительную природу...»

См. об этом также: **Сергей Есин,** «Многоуважаемый думный дяк...» — «НГ Ex libris», 2003, № 5, 13 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

Игорь Кириллов. Корабль плывет по течению. — «День литературы», 2003, № 1, январь <<http://www.zavtru.ru>>

«<...> легкая, изысканная (интеллигентная!) русофобия, которая неизменно присутствует во всех ее [Людмила Улицкой] сочинениях. Впрочем, и в таком виде этот идеологический аспект может быть неприятен, но что делать, он не умаляет художественных достоинств Л. Улицкой <...>».

Владимир Князев. Либеральный интим. — «Спецназ России», 2003, № 1 (76), январь <<http://www.specnaz.ru>>

«Издательство „Вагриус” выпустило в пяти томах собрание сочинений А. Вознесенского, где нет поэмы „Лонжюмо”».

Сергей Князев. Владимир Бондаренко как Борис Моисеев. — «Русский Журнал», 2003, 14 февраля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Идеологи гей-комьюнити периодически — то ли придураясь, то ли и вправду — утверждают, что все гении — их люди или по крайней мере бисексуалы. Сходство с

критическим методом Бондаренко несомненно, тот „приватизирует” всех более-менее кондиционных авторов».

Сергей Ковалев. Тайные базы Гитлера в Советской Арктике и Антарктиде. — «Наш современник», 2003, № 1.

Автор — капитан 2-го ранга (Видяево).

Альберт Ковач. Поэтика и смысл. Роман Чингиза Айтматова «Плаха». — «НГ Ex libris», 2003, № 5, 6 <<http://exlibris.ng.ru>>

«Стойкая эпическая конструкция <...>». В двух номерах! Эссе опубликовано в русско-русском еженедельнике «Китеж-Град». *Kitej-Grad*. Новая серия № 8-9 (август — сентябрь 2002 г.).

См. также: **Юрий Васильев**, «Богоматерь остается в снегах. Писатель, философ и дипломат Чингиз Айтматов, посвятивший себя идеалам гуманизма, переживает их кризис перед лицом новой войны» — «Московские новости», 2003, № 6 <<http://www.mn.ru>>; *поборник глобализации*.

Юрий Козлов. Мы будем стремиться к тому, чтобы «Роман-газета» была в каждом киоске. Беседу вел Николай Модестов. — «Литературная Россия», 2003, № 6, 14 февраля <<http://www.litrossia.ru>>

«Мне приходится читать огромное количество рукописей, присылаемых со всех концов России. Так вот, в подавляющем большинстве этих произведений звучат мотивы конца света. <...> То есть на подсознательном уровне люди уверены в том, что мы живем в эпоху торжества злых сил, которые можно победить только нестандартными, скажем так, методами. Мне кажется, это очень серьезно. Народ смотрит на жизнь, на власть сквозь „мистические очки”. История свидетельствует, что это последняя „ступень” перед социальным... не хочется употреблять слово „взрыв”, назовем это поворотом».

Анна Козлова. Мальчик с девочкой дружил. — «Литературная Россия», 2002, № 52, 27 декабря <<http://www.litrossia.ru>>

«Умонастроением повесть Сергея Шаргунова „Ура!” [„Новый мир”, 2002, № 6] донельзя напоминает первичные ощущения выпущенного из клиники нарика».

«<...> потом в мою голову закралось тревожное ощущение, что эту повесть написала моя мама».

«<...> неприятно поразила меня компромиссной нетребовательностью к слову».

«В любом случае, мне было приятно, я не читала ничего лучше со времен „Укуса ангела” <...>».

Сергея Шаргунова защищает **Роман Сенчин**: «Разбор разбора» — «Литературная Россия», 2003, № 4, 31 января.

См. также: **Сергей Шаргунов**, «Прогресс как порез. Мир меняется, но у писателя все еще есть выбор» — «НГ Ex libris», 2003, № 3, 30 января <<http://exlibris.ng.ru>>

Андрей Кокошин. Неопределенный новый мир. — «Независимая газета», 2003, № 5, 17 января.

«Принятие на саммите НАТО в Праге решения о приглашении в состав альянса новых членов из числа бывших республик Советского Союза являются одной из крупнейших исторических ошибок Запада, последствия которой скажутся и на устойчивости всей христианской цивилизации перед лицом грозных опасностей XXI века».

Ричард Косолапов. «В своем времени Сталин переиграл всех...» Известный философ-марксист отвечает на вопросы Владимира Винникова. — «Завтра», 2003, № 3, 14 января.

«<...> Микоян рассказывал о том, что в 1947 году Сталин собрал всю партийную верхушку и выразил пожелание, чтобы каждый из членов Политбюро подобрал себе пять-шесть кандидатов в заместители. Постоянно напоминал об этом, сердился, но с таким саботажем своих ближайших сподвижников ничего сделать не мог. Так ничего из этого и не вышло».

Сергей Костырко. Памяти А. А. Носова, или Об одном незаконченном споре. К годовщине смерти. — «Русский Журнал», 2003, 13 февраля <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«С Александром Алексеевичем Носовым (Сашей — для меня и Шуриком — для жены Тани и нескольких близких) я познакомился в редакции „Нового мира” в 1987 году. Наша небольшая разница в возрасте (пять лет) оказалась принципиальной, как разница двух поколений: я — из семидесятых, Саша — из восьмидесятых...» *Перестройка. Митинги. Август 1991-го. Октябрь 1993-го. Новая жизнь*. «Реальная свобода их пугала: „Господи, ну когда же наступит нормальная-то жизнь?” — жаловались они Саше. „Что вы имеете в виду?” — „Да вот все это — инфляция, забастовки, политиче-

ские скандалы, криминал; все время нужно крутиться, чтобы найти работу, которая кормит, ну и так далее”. — „Хотите, успокою?” — предлагал Саша. „Да”. — „Попробуйте представить, что вот это все и есть *нормальная жизнь*...”»

Ср.: «И читать это тяжело, потому я знаю лично почти всех, о ком там, и Саша Носов был человек очень милый и по-своему замечательный, и Костырко (автор) тоже хороший, пусть давно и не подает мне руки, и на фото тоже я всех знаю, и проч. Дело тут в том, что я по отношению к ним ко всем действительно молодой фашист, который пришел, чтобы идеалы их молодости похоронить <...>», — пишет **Дмитрий Ольшанский** в своем сетевом дневнике от 14 февраля 2003 года <<http://www.livejournal.com/users/olshansky>>

Леонид Костюков. Фандорин против автора. — «Алфавит». Газета для любопытных. 2002, № 50, 12 декабря <<http://www.alphabet.ru>>

Говорит **Борис Акунин**: «По-моему, литературный журнал должен представлять поколенческие, стилевые или пускай даже региональные интересы некой группы литераторов. Не страшно, если он будет жить коротко или новая группа литераторов будет использовать уже раскрученный бренд. Главное, чтобы это был живой организм, ядерный реактор, излучающий креативную энергию. С экономической точки зрения литературный журнал не может существовать автономно. Довольно скоро наши большие прибыльные издательства сообразят, что содержание литературного журнала выгодно со многих точек зрения. Это и лицо издательства, и полигон, где можно обкатывать авторов и проекты».

Михаил Кралин. Воспоминания о Льве Николаевиче Гумилеве. — «Наш современник», 2002, № 12.

«В кулуарах Нина Ивановна [Гаген-Торн] говорила, что <...> Лев Николаевич в этом смысле остался на всю жизнь ушиблен лагерем. Но кажется, он и сам этого никогда не отрицал».

См. также: **Михаил Ардов**, «Жертва акмеизма» — «Время MN», 2002, № 189, 18 октября <<http://www.vremyamn.ru>>; **А. Савченко**, «Семь лет рядом со Львом Гумилевым» — «Новый мир», 1996, № 2; **Эмма Герштейн**, «Лишняя любовь. Сцены из московской жизни» — «Новый мир», 1993, № 11, 12.

Владимир Красильников. Америка готовит удар... по России? — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 308, 26 января <<http://www.lebed.com>>

«Удивительно, но в конце шестидесятых (завершено строительство ракетно-ядерного щита), когда вероятность ядерной войны была уже ничтожной, опасения войны сохранялись у многих людей. А сейчас, когда очевидно, что ядерный щит превратится через шесть — восемь лет в прах, когда налицо стремление Америки к господству над миром, когда доказана ограниченность ресурсов Земли и еще тридцать лет назад подсчитано, на сколько этих ресурсов хватит, возможность агрессии против России большинством россиян считается невозможной вплоть до того, что и обсуждать тут нечего».

См. также: «Окружающий Россию мир настроен по отношению к ней примерно так же, как стая волков — к подраненному, ослабевшему, хотя и все еще сильному медведю. Это касается не только дипломированных международных хищников (то есть стран Запада во главе с Америкой, стремительно приобретающих черты самой что ни на есть настоящей, нешуточной Империи Зла), но и всех остальных стран и государств мира», — пишет **Константин Крылов** («Национальная безопасность» — «Спецназ России», 2003, № 1, январь).

См. также публикацию: «„В-52” над Москвой. Американцы готовятся к вторжению в Россию» — «Завтра», 2003, № 5, 28 января <<http://www.zavtra.ru>>

Константин Крылов. Консерватизм с человеческим лицом. Российская консервативная пресса: частный взгляд. — «Русский Журнал», 2003, 22 января <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> позицию „Нового мира” скорее можно определить как своего рода „центризм” — то есть в качестве пространства, в котором могут сосуществовать не очень упертые консерваторы вкупе с неотмороженными (или хотя бы „оригинально мыслящими”) либералами. Характерно новомировскими могут быть названы, например, размышления Сергея Аверинцева о Трубецком [2003, № 2] — безнадёжно либеральные, но хотя бы не лишенные симпатии к объекту размышлений. Правда, почти рядом — развернутая рецензия на книжку небызвестной Политковской, написанная в крайне уважительном тоне (что консервативно), но при этом не оставляющая от гнусной прочеченской риторики великой правозащитницы камня на камне. Это приятно».

Константин Крылов. Памяти «Колумбии». — «Консерватор», 2003, № 4 (20), 7 февраля.

«Нынешняя американская космическая программа является реликтом предыдущей эпохи. Единственная цель ее существования чисто символическая: зафиксировать веч-

ное превосходство Самой Лучшей В Мире Страны еще и в космосе (где ей когда-то пришлось испытать кое-какие унижения)».

Сергей Кузнецов. Неприсоединившийся. — «Русский Журнал», 2003, 21 января <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Я ценю права человека и „демократические ценности“, но это не мешает мне признавать, что вся европейская культура покоится на тоталитарном фундаменте и попытки построения демократии без следов тоталитаризма оборачиваются малопереносимым кошмаром».

Сергей Кузнецов. Твердыня. — «Русский Журнал», 2003, 31 января <<http://www.russ.ru/culture>>

«[Питер Джексон] сделал из сюжета с гномами, эльфами, драконами и колдунами кино большого голливудского стиля. Признание его фильма Киноакадемией, давшей „Хранителям“ 13 номинаций и 4 статуэтки, означало именно это: к списку легитимных жанров (мелодрама, вестерн, мюзикл, пеплум и т. д.) прибавился еще один: сказочный фантастический фильм для взрослых. Собственно, именно таким и должен был быть фильм по Толкиену, который, как поправит меня любой поклонник Профессора, писал не сказку, а мифопоэтический эпос. <...> Джексон <...> создал именно что мифопоэтический фильм, глядя который вспоминаешь не какие-нибудь „Крепости и драконы“ и даже не классических „Викингов“ или „Конана-Варвара“, а „Нибелунгов“ и „Александра Невского“».

Феликс Кузнецов. Творческая история «Тихого Дона». К спорам об авторстве романа. — «Литературная газета», 2003, № 4, 29 января — 4 февраля.

«Комплексное исследование проблемы — изучение текста рукописи, биографии автора, письменных и устных источников романа, его поэтики и языка — свидетельствует: автор „Донских рассказов“, „Тихого Дона“ и „Поднятой целины“ — один. И это — Михаил Александрович Шолохов». В основу статьи положен доклад на научной сессии отделения историко-филологических наук РАН 17 декабря 2002 года.

См. также: **Владимир Васильев,** «Огни во мраке. Шолохов в сознании интеллигенции „с того берега“». — «Литература», 2003, № 7, 16 — 22 февраля.

Станислав Куняев. Директива Бермана и судьба Гомулки. — «Наш современник», 2003, № 1.

Дополнительная глава к книге «Шляхта и мы». См. темпераментную полемику с Куняевым: **Андрей Новак,** «Унтер-офицерская вдова. Вместо ответа „клеветнику от России“» — «Новая Польша», 2002, № 12 (37).

Диакон Андрей Кураев. «Консерватизм — это крест». Беседовала Ирина Лукьянова. — «Консерватор», 2003, № 4, 7 февраля.

«Меня всегда возмущает словосочетание „Культурное наследие Православия“. Когда я это слышу, я всегда встаю и говорю: *contra dico* — я протестую. Мы таки живы».

«<...> меня печалит отсутствие православного терроризма. Терроризм — это плохо, это зло. Но терроризм — это выплеск черной энергии. Пусть черной — но все-таки энергии. А если тебя бьют в самые болевые места, а ты никак не реагируешь, то одно из двух: или ты свят — или ты мертв. Поскольку у меня нет оснований считать свой народ в его нынешнем состоянии святым, то отсутствие реакции на бесконечный поток оскорблений и провокаций — это скорее очень печальный признак угасания жизни вообще».

«<...> в Церкви в последние годы набирает силу антигосударственническая риторика — протесты против переписи населения, против введения новых паспортов, против присвоения налоговых номеров. Это ведь настоящая революция в церковной истории, только на нее почему-то не обращают внимания. <...> И связано это не с пробуждением либерального мышления, а прежде всего с тем, что государство теряет национальные черты, национальный статус. По мере того как государство превращается все более и более в колониальную администрацию в так называемом новом мировом порядке».

Валентин Курбатов. Господи, это я написал! — «Литературная Россия», 2003, № 6, 14 февраля.

Перечитывая Юрия Казакова: «<...> это не одному его [гончому псу] Арктуру, а самому писателю были слышны тончайшие звуки и запахи, которые вызывали в нем страдание от желанья и невозможности выговорить их все».

Ольга Ларионова. Василий Аксенов: вторая эмиграция. — «Консерватор», 2003, № 5, 14 февраля.

Говорит **Василий Аксенов:** «Понимаете, ведь любить ее все равно придется. Страну. Без этого ничего сделать нельзя».

Алексей Лаушкин. С чего начать? — «Пределы века», 2003/7511, № 1 (37), 15 — 31 января.

«Крепкая семья — сильнейшее оружие против постмодернистского хаоса современного мира».

См. также: «Один из критериев консерватизма в жизни — это стремление к многодетности. К естественным бракам. Естественно, гетеросексуальным, а не гомосексуальным, с детьми, не клонированными и не зачатými в пробирке, без суррогатных матерей», — говорит диакон **Андрей Кураев** («Консерватор», 2003, № 4, 7 февраля).

Олег Лекманов. Принцип не совсем обманутых ожиданий. По рассказу Владимира Набокова «Весна в Фиальте». — «Литература», 2003, № 3, 16 — 22 января <<http://www.1september.ru>>

«Сначала речь пойдет о настойчиво повторяющемся у Набокова мотиве железной дороги; потом — о заглавии набоковского рассказа».

Ярослав Леонтьев. Власть превращается в организацию бандитов. Письмо Ленину от соратника его казненного брата. — «Новая газета», 2003, № 7, 30 января.

«Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину). Уважаемый товарищ! <...> Догма убила социализм. Его обаяние — в полноте раскрытия личности, ее расцвете. Отныне же он навсегда связан с нероновскими методами подавления свободы личности, ее мысли, ее прав примата над государственностью. <...> Мих. Сосновский. Ташкент. Ар<естный> Дом. 4/1 1921».

Виктор Лихоносов. Записи перед сном. — «Наш современник», 2002, № 11, 12.

Дневник 1983 — 2001 годов. «24 февраля [1988] (Пересыпь). Идут люди по поселку, думаю: разроют когда-нибудь холм, найдут ржавое ведро, кофейник, кости — скажут: „Это было 2000 лет назад...“ И все. А был этот вечер, была библиотека со свежими газетами, магазин; в кухне почтальонша разговаривала с матерью, кошка таскала по двору мышонка, играла с ним, на столе лежала бумага... Но кто-то все-таки скажет: „Это было 2000 лет назад“, но жизни нашей представить не сможет...»

Ср. с дневниковыми записями **Игоря Дедкова** 1987 — 1994 годов: «Новый мир», 2003, № 1, 2, 3, 4.

Сергей Маркедонов. Война свободных граждан. — «Русский Журнал», 2003, 10 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> преодолеть изначально ложное противопоставление сильного государства и гражданского общества, государства вообще и свободы. <...> Священные для любого демократа и либерала понятия „свобода“, „собственность“, „законность“ невозможны без и вне государства».

Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Серого помянули, а серый здесь. — «Наш современник», 2002, № 11.

Бжезинский.

Александр Мелихов. Детство моего современника. — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7, декабрь.

«Да, конечно, это было счастье — переворачивать обложку „Юности“ <...>».

Катя Метелица. Горе семьи. — «Независимая газета», 2003, № 28, 13 февраля.

«<...> у великого и, в общем-то, прекрасного западного феминизма наряду со всеми его бесспорными заслугами не получилась одна-единственная вещь. Вот эта самая — показать новую героиню. Не деятеля, не политика, не автора, а именно — художественный образ. Этому есть объяснение: феминизм очень серьезен. Он обличает, учит, доказывает, но он не ироничен. И тем более не самоироничен. Не то дело постфеминизм <...>».

Ср.: «Возвращаясь к [телесериалу] „*Sex and the City*“, надо сказать, что именно здесь идея новой феминистки как существа, полностью осознающего и яростно подчеркивающего, даже эксплуатирующего собственную сексуальность, выражена яснее всего», — пишет **Линор Горалик** («*Sex and the Woman*» — «Грани.Ру», 2003, 12 февраля <<http://grani.ru>>).

Юнна Мориц. «Я рано попала в плохую компанию». О деньгах, свободе и поэзии. Беседу вела Ольга Кучкина. — «Новое время», 2003, № 7, 16 февраля <<http://www.newtimes.ru>>

«Мне была отвратительна власть Ельцина <...>».

Дмитрий Назаров. Цена несбывшейся мечты. — «Мужская работа», 2003, № 7, январь — февраль.

Художник Гитлер. С иллюстрациями.

Николай Наседкин. Плоды пристрастного чтения. Поправки к лекции В. Набокова «Федор Достоевский». — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 12.

«<...> явные фактические ошибки, которые, конечно же, лекции эти никак не украшают». См. также: **Николай Наседкин,** „Литературная ложь“. Поправки к лекции В. Набокова „Федор Достоевский“ — «День литературы», 2002, № 11 <<http://www.zavtra.ru>>

Александр Неклесса. Трансграницы: его ландшафты и обитатели. — «Москва», 2003, № 2.

«<...> Трансграницы, диахронный лимитроф, объединивший канувшую в Лету Атлантиду Модернити с новизной расширяющегося постсовременного космоса».

Владимир Никитаев. Тело террора. К проблеме теории терроризма. — «Русский Журнал», 2003, 11 и 13 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>

«Фиаско социальных наук налицо...»

Священник Сергей Николаев. Тем, кто боится будущего. — «Пределы века», 2003/7511, № 1 (37), 15 — 31 января.

«Смерть причину сыщет».

Е. Нот. «Ам сэгула»: мнения по поводу еврейской избранности. — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 6.

«Может быть, евреи могли бы избежать погромов или по крайней мере какой-то их части, если бы не культивировали в себе презрение к иноверцам, отворачиваясь от слов собственного Бога и пророков? Я ни в коем случае не утверждаю, что только мы повинны в своей судьбе. Но, кажется, к сожалению, и мы тоже». Статья напечатана под псевдонимом.

Ср.: **Лев Утевский,** «В защиту богоизбранности народа Израиля» — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7.

Обращение деятелей науки и культуры ко всем здравомыслящим людям. — «Седмица. Православные новости за неделю». Электронная версия еженедельного приложения «Новости Православного Интернета» к газете «Одигитрия» (Винницкая и Могилев-Подольская епархия Украинской Православной Церкви). 2003, № 71, 26 января <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>

«14 января 2003 года в Музее и Общественном центре им. Андрея Сахарова открылась выставка под названием „Осторожно, религия!“, на которой группа „художников“ выставила свои „работы“, представляющие собою кощунственное глумление над православными христианскими святынями. Куратор выставки — Арутюн Зулумян. Среди участников — скандально известные своими кощунственными богохульными эпатажами А. Тер-Оганьян, О. Кулик, А. Косолапов и другие, всего более сорока „авторов“. <...> Среди „экспонатов“ — большого размера постер с фотографией обнаженной женщины, сфотографированной как бы распятой на кресте. Другие „экспонаты“ — композиция из водочных бутылок, украшенных церковными куполами, кощунственная пародия на икону Божией Матери, стенд с изображениями иконографии Спаса нерукотворного, вместо лика Которого вставлены различные изображения, фотография Животворящего Креста с развешанной на нем гирляндой сосисок; под потолком помещения — развешанные в форме креста непристойные изображения обнаженных людей. На мониторах, расставленных в различных частях зала, одновременно демонстрировались омерзительные видеозаписи, в том числе обнаженных размалеванных людей, совершавших непристойные телодвижения. <...> 18 января <...> группа возмущенных православных верующих пришла в помещение выставки и уничтожила размещенные там кощунственные изображения и экспонаты. Шесть человек задержано милицией. Против них возбуждено уголовное дело по статье 213, ч. 2 УК (групповое хулиганство, срок заключения до 5 лет). <...> А. Сахаров, именем которого назван скандально прославившийся ныне центр, не был религиозным человеком. Однако даже диссиденты времен застоя ставили ему в великую заслугу то, что он, будучи атеистом, отстаивал права преследуемых за религиозные убеждения людей. Сегодня же обществу под видом терпимости к инакомыслию навязывается некая „толерантность“. На деле это оборачивается тем, что маргинальные кощунники и сатанисты публично глумятся в центре Москвы над православными святынями, чувствуя свою полную безнаказанность, а наш народ оказывается фактически лишен возможности защитить от поругания свою веру, свои святыни. Ничего подобного невозможно представить в отношении ислама, буддизма, вообще любой из традиционных религий, не говоря уже об иудаизме. <...> Это событие как бы бьет в набат. Оно должно стать последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. Необходимо мобилизовать все силы, способные оценить, какого масштаба национальная катастрофа происходит на наших глазах». Обращение

подписали Валентин Распутин, Никита Михалков, Игорь Шафаревич, Василий Белов, Николай Бурляев, Илья Глазунов, Вячеслав Клыков, Михаил Назаров, Лина Мкртчян.

См. также письмо Общественного комитета «За нравственное возрождение Отечества» к Президенту РФ: «<...> мы призываем Вас, Господин Президент, принять меры к закрытию Центра и Музея им. Сахарова, тем более что это учреждение утратило свою связь с делом академика Андрея Сахарова. А. Сахаров, будучи атеистом, отстаивал права преследуемых за религиозные убеждения людей, и никогда не имел ничего общего с кощунственными акциями в духе советских антирелигиозных кампаний» («Седмица. Православные новости за неделю», 2003, № 74, 7 февраля <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>).

См. также сайт Музея и Общественного центра имени Андрея Сахарова: <http://www.sakharov-center.ru>

См. также «Заявление для прессы участников и организаторов разгромленной погромщиками в Музее и Общественном центре имени Андрея Сахарова выставки „Осторожно, религия!“» (Москва, 21 января 2003 года): <<http://www.sakharov-center.ru>>

См. там же «Особое мнение директора Музея и Центра имени Андрея Сахарова» Юрия Самодурова: «Как директор и на основе своего опыта работы я думаю, что независимо от намерений участников выставки *неискушенными в искусстве или воспитанными на классическом наследии* (курсив мой. — А. В.) людьми она может быть понята и превратно — как кощунственная или издевательская по отношению к религии...»

См. также: «На протяжении последнего десятилетия или около того „проектов“ этих они реализовали великое множество. Как-то: резали на выставке живого поросенка, рубили топором иконы, распинали себя на кресте, выкладывали из собственных тел на Красной площади неприличное слово, экспонировали и издавали зоофилческие фотографии, публично испражнялись. Портили, гадили, громили, издевались, убивали (пусть только животных). <...> Бедная наша Россия в девяностых была государством ультралиберальным, и защитить нас от прикрывающихся словом „художник“ агрессивных уродцев было некому. Некому, в сущности, и сейчас — и потому, что погромщику икон Авдею Тер-Оганяну удалось безнаказанно улигнуть от правосудия в Чехию, и потому, что власти наши (а с ними и общественность, и, до последнего момента, Церковь) оставались пассивны по отношению к новейшему образцу арт-мерзости — той самой выставке „Осторожно, религия!“, собравшей выдающиеся примеры богохульства и глумления над верой. Что ж, раз власти равнодушны, реакция все равно следует — однако уже в виде стихийного демарша, которого, по сути, можно и нужно было избежать принятием превентивных по времени, но сходных по сути мер „сверху“. Не стоит восторгаться буйством, учиненным пусть и во имя совершенно правильной цели, — однако нужно помнить о том, какой многолетний опыт плевков и пинков выдержала наша культура со стороны тех, для кого и хрущевского бульдозера было бы мало. Замечательный поэт Сергей Гандлевский написал в свое время так: „Пидарасы“, — сказал Хрущев. Был я смолоду не готов / оценить правоту Хрущева. Но, дожив до своих годов, / убедился, честное слово...» — возмущается Дмитрий Ольшанский («Консерватор», 2003, № 2, 24 января <<http://www.egk.ru>>).

Ср.: «Но дело в том, что современное искусство вообще не для того, чтобы нравиться», — считает Марина Колдобская («„Погром“ — слово русское — «Новое время», 2003, № 6, 9 февраля <<http://www.newtimes.ru>>).

См. также: «Для видящего глазами веры, как и для всякого по-настоящему культурного человека, совершенно ясно, что шесть мужчин, справедливым действием ответивших на „новый порядок“ (анархический, экстремистский и антитрадиционный) в нашей культуре, являются истинными христианами и настоящими гражданами своего Отечества», — пишет Капитолина Кокшенёва («Злоумышленное глумление» — «Литературная газета», 2003, № 5, 5 — 11 февраля <<http://www.lgz.ru>>).

См. также: Наталия Осминская, «За что, дяденька?» — «НГ Ex libris», 2003, № 5, 13 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>; *это иронический комментарий к декларации* «Галерея М. Гельмана против мракобесия» («*Guelman.Ru*. Современное искусство в Сети» <<http://www.guelman.ru>>).

См. также: Андрей Мадисон, «Теизм и атеизм в общественном спектакле» — «Консерватор», 2003, № 4 (20), 7 февраля <<http://www.egk.ru>>

См. также: Петр Владов, «Что же скажет прокурор?» — «Правда», 2003, № 11, 30 января <<http://www.gazeta-pravda.ru>>

См. также: Рената Гальцева, «Новое явление Воланда в Москве» — «Литературная газета», 2003, № 7, 19 — 25 февраля <<http://www.lgz.ru>>

Валерий Окулов (г. Иваново). Мы жаждали джаза. Музыка в мирах Стругацких. — «Литературная Россия», 2003, № 4, 31 января.

«Об истинных музыкальных пристрастиях Стругацких мне почти ничего неизвестно».

См. также: Валерий Окулов, «Цитаты всегда лгут. О книгах и чтении в творчестве Стругацких» — «Литературная Россия», 2002, № 34, 23 августа.

См. также: **В. Сербиненко**, «Три века скитаний в мире утопии. Читая братьев Стругацких» — «Новый мир», 1989, № 5.

А. Орлов. В полной Азиопе. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 311, 16 февраля <<http://www.lebed.com>>

«<...> бремя неработающих инокультурных мигрантов для страны непосильно, и на повестке дня стоит не вопрос об их легализации в качестве граждан РФ (при этом они все равно будут прежде всего членами этнической колонии и лишь в десятую очередь — гражданами России), а о максимально гуманной и цивилизованной, но эффективной репатриации, сколько бы это ни стоило сегодня <...>. И не надо считать, что, возвращая приподнявшихся гостей на старое место жительства, Россия что-то у них отнимает. Напротив — Россия попросту спасла этих людей и их семьи от гуманитарной катастрофы, дав им на несколько лет стол и кров не худший, чем собственным гражданам. И потому имеет полное право на ответную благодарность».

См. также сайт Движения против нелегальной иммиграции: <http://www.dpni.org>

Наталья Осминская. Время культивировать разногласия. — «НГ Ex libris», 2003, № 3, 30 января.

Говорит филолог **Глеб Морев**, главный редактор нового ежеквартального журнала «Критическая масса»: «По опыту работы в „Новой Русской Книге“ я знаю, что замечательная, ставшая событием книга часто не находит отклика, потому что нет адекватного ей рецензента. Чем значительнее труд, тем сложнее найти человека, который „на равных“ напишет о нем».

См. также: «<...> к сожалению, не все зависит от нас, и более того, мы скорее зависим от культурного процесса, поскольку обязаны и призваны реагировать на него. Мы формулируем наше отношение к этому процессу, некую аксиологическую решетку, но материал для нас поставляют нынешние в широком смысле писатели, а других писателей, как известно, у нас нет», — говорит **Глеб Морев** в беседе с Егором Отрошенко («Русский Журнал», 2003, 29 января <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также — о первом номере «Критической массы»: «<...> журнал именно того типа, который „нам“ (в самом общем смысле — людям, которые читают книги и о них думают) очень нужен. И вместе с тем <...>. Погоня за „призраком массовости“, сгубившая даже не одно вставшее на ноги издание, не кажется целесообразной в том случае, когда и за внимание людей, которым журнал адресован *напрямую*, пока нужно бороться», — разъясняет **Наталья Самутина** («Комментируя комментарии...» — «Русский Журнал», 2003, 18 февраля <<http://www.russ.ru/krug/period>>)

Анастасия Отрошенко. «Винни-Пух и все-все-все» как зеркало русской литературы. — «Русский Журнал», 2003, 31 января <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«По сути, вся девятая глава „Винни-Пуха“ (в которой Пятачок совершенно окружен водой) — это просто пересказ „Медного всадника“, а Пятачок — это натуральный Евгений».

«И если бы вы стали пересказывать реплики Чацкого своими словами, у вас тоже получился бы монолог Ослика Иа <...>».

Кролик=Штольц. Тигра=Ноздрев. «И взял Милн Максима Максимыча и убрал у него все лишнее, и получилась хорошенькая, умненькая Сова».

Олег Павлов. Вольные рассказы. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 1.

«Эпилогия», «Яблочки от Толстого». См. также: **Виктор Никитин**, «Сквозь зеркало распада. Заметки о повести Олега Павлова „Карагандинские девятины“» — «Подъем», Воронеж, 2002, № 12.

За «Карагандинские девятины» Олег Павлов получил премию «Букер — Открытая Россия».

Глеб Павловский. «Пора учиться делать реакцию». — «Консерватор», 2003, № 1, 17 января.

«Подобно известному русскому политологу Пушкину, требовавшему „контрреволюции к революции Петра“, я рассчитываю на контрреволюцию ельцинской революции, которая в чем-то может казаться реакцией».

«Он [Немцов] юзер демократии, а не ее провайдер».

Глеб Павловский. Американский способ создать доказательства. — «Русский Журнал», 2003, 6 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>

«Война — это наименее разрушительная из форм применения физической силы там, где проблема иначе неразрешима. Война не увеличивает, а экономит насилие в человеческом обществе».

«Россия обязана располагать силой и легитимностью для отпора угрозам, в том числе для нанесения ударов по чужой территории. Для этого Россия должна оконча-

тельно позиционироваться, как „та, кто может бомбить, но не та, которую можно бомбить”».

«Табу на применение ядерного оружия — часть Ялтинской системы, оно рухнуло вместе с ней».

Александр Панарин. Христианский фундаментализм против «рыночного терроризма». — «Наш современник», 2003, № 1, 2.

«<...> необходимо по-человечески реабилитировать всех тех „нищих духом” и неприспособленных, которым рыночные реформаторы отказали в праве на жизнь <...>».

«<...> для сохранения перспектив прогресса необходимо сохранить известные консервативные ценности и установки <...>».

См. также: **Александр Панарин**, «Страхи властвующих как фактор стратегической нестабильности» — «Наш современник», 2002, № 9.

Николай Переяслов. Жизнь журналов. — «День литературы», 2003, № 1, январь.

«Не скрою, что многие ее [поэмы Юрия Кузнецова „Сошествие в ад”] эпизоды подарили мне самое настоящее эстетическое наслаждение <...>. Однако рядом с такой чисто поэтической красотой и стройностью поэма Ю. Кузнецова то и дело срывается в самую откровенную ересь <...>. Стремление к максимальной занимательности изображаемых сцен приводит к тому, что некоторые из эпизодов поэмы начинают смотреться как кадры современных мультфильмов. <...> И вот такие голливудские эпизоды чередуются в поэме с довольно обширным перечнем тех, кого Юрий Кузнецов определил (исключительно своей собственной волей!) в категорию грешников. Среди обреченных им на адские муки находятся и Гоголь, и Белинский, и Герцен, и Тютчев с Денисьевой, и Лев Толстой, и погибший в бою генерал Лавр Корнилов, и расстрелянный красными под Иркутском генерал Колчак, и жестоко убитый кулаками мальчик Павлик Морозов, и далее — на равных с ними — Троцкий, Свердлов, Ленин, академик Сахаров, писатель Солженицын, генсек Горбачев, Ельцин с Чубайсом и вся Чечня целиком. Как будто поэт никогда и не слышал о том, что погибшие в бою — достойны рая (тем более, что генерал Корнилов защищал *богоустановленную* власть в России!), а убитый (в том числе и расстрелянный Колчака) забирают на себя грехи своих жертв, освобождая их от ответа за них перед Богом, не говоря уж о том, что Павлик Морозов принял от своих погубителей *мученическую* смерть, достойную, может быть, его причисления к лику святых...»

Цикл поэм **Юрия Кузнецова** об Иисусе см.: «Наш современник», 2000, № 4, 9; 2001, № 2; 2002, № 12.

Мирон Петровский. Миф о городе и мифологическое городоведение. — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7, декабрь.

«Его [Булгакова] модель мира была киевоцентричной». Отрывок из книги «Мастер и город. Киевские контексты М. Булгакова» (Киев, 2001). См. рецензию на эту книгу: **Ольга Канунникова**, «Художник и окрестности» — «Новый мир», 2002, № 4.

Лев Пирогов. Люди или писатели? — «НГ Ex libris», 2003, № 6, 20 февраля.

«Считается, что пользы в ней [литературе] быть не должно, а легкий вред допускается. Литературная критика превратилась в этакий „легалайз” — движение за легализацию легких наркотиков».

«Исчезает страна, рассеивается народ. А литературные господа назойливо тычут „определяющим развитием актуальной литературы” писателем Геласимовым с его схоластическими опытами в области герменевтики жанра: эва, с чем возродимся!.. Геласимов, допустим, писатель хороший. Непонятно только: зачем? Ведь существование литературы ценности не имеет, ценность имеет только жизнь общества. Мне все равно, будут ли мои дети талантливы, если они больны — были бы живы! Если горит дом — не надо песен. Завтра граммофон не понадобится».

Григорий Померанц. Фронт как вопрос совести. — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7, декабрь.

Среди прочего: «<...> каждая страна вправе сохранять привычный уровень интеллектуальной и сексуальной вольности внутри своих границ; но <...> скорость освобождения от табу в мировом эфире (имеется в виду спутниковое телевидение и проч. — А. В.) не может превышать скорости этого процесса на корабле, наиболее консервативном в своем понимании кощунства».

См. также: **Григорий Померанц**, «Ступени глобализации» — «Вестник Европы», 2002, № 6 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

«Преодоление смерти — писательский спорт». Беседу вела Драгинья Рамаданская. — «НГ Ex libris», 2003, № 5, 13 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

Говорит **Александр Генис**: «Я не любил свою школу и ничего не простил ей. Правда, когда сам стал учителем, я понял, что у нее не было другого выхода. Педагогиче-

ский талант — величайшая редкость. К тому же он сводит с ума. Нельзя безнаказанно провести всю жизнь с неполноценными и бесправными — с детьми».

Александр Проханов. Чудесная звезда Евгения Родионова. — «Завтра», 2003, № 5, 28 января.

«Тихо, в снегах и румяных зорях встает над Россией звезда Евгения Родионова, русского солдата и мученика, святого юноши, сложившего голову за родную страну и народ».

См. также: «Чудо о Евгении» — «Завтра», 2001, № 14, 3 апреля; о мироточении *фотографии* Евгения Родионова, убитого в чеченском плену за отказ отречься от Христа.

См. также: **Леонид Симонович**, «Хоругвь и знамена. Молебен на день убиения Воина Евгения» — «Завтра», 2002, № 23, 4 июня.

Егор Радов. Искусство — это шкаф. — «НГ Ex libris», 2003, № 2, 23 января.

«Главное заключалось не в том, насколько хороший или плохой писатель [Мишель] Уэльбек, а в том, что в процессе чтения [романа „Элементарные частицы“] и после я поймал себя на странном, почти забытом чувстве, что читаю и прочел реальную, настоящую — в классическом понимании — книгу, о которой можно думать, спорить, размышлять. Книгу, которая на самом деле может вызвать восхищение или гнев, которую можно как-то соотносить со своим личным опытом, с окружающей реальностью — помимо чисто эстетических достоинств. Осознавать все это было давно забытым удовольствием».

О романе Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы» («Иностранная литература», 2000, № 10) см. рецензию **Валерия Липневича**: «Новый мир», 2001, № 12.

См. также журнальный вариант нового романа **Мишеля Уэльбека** «Платформа» в переводе Ирины Радченко — «Иностранная литература», 2002, № 11 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

О романе «Платформа» см.: **Михаил Золотоносов**, «Проект „Афродита“» — «Московские новости», 2002, № 49 <<http://www.mn.ru>>; **Виктор Канавин**, «Новый правый» — «Итоги», 2003, № 4 <<http://www.itogi.ru>>; **Кирилл Кугалов**, «Смерть им к лицу. Мишель Уэльбек между 11 сентября и войной с Ираком» — «НГ Ex libris», 2003, № 2, 23 января <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: «Скупая тоннами увлажняющие, укрепляющие, увлажняющие средства, западная цивилизация потеряла последние остатки мужества перед смертью, которое раньше находила в христианстве. <...> „Дети старят“ — вот вам разгадка демографической катастрофы белой расы», — пишет в связи с новым романом Уэльбека **Игорь Порошин** («Трах и трепет» — «Известия», 2003, № 32, 21 февраля <<http://www.izvestia.ru>>).

Михаил Ремизов. Введение в эпистемиологию консерватизма. — «Русский Журнал», 2003, 17 января <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> феноменология консервативных позиций не может быть догматически упорядочена и тем паче — политически унифицирована». Введение к книге «Опыт консервативной критики» (М., «Прагматика культуры»).

См. также: «<...> возможность возникновения в России подобия буржуазного консерватизма. Тотальный, по своему строению, является не чем иным, как либерализмом, предпочитающим (в том числе по тактическим соображениям) обосновывать себя в консервативной манере: в терминах цивилизационной идентичности, оборонной мобилизации и структурной стабильности», — пишет **Михаил Ремизов** («Русские вне себя, или Консерватизм против консерватизма» — «Русский Журнал», 2003, 31 января <<http://www.russ.ru/politics>>).

См. также: «<...> Россия есть страна *прерванной* традиции, а отчасти — и преданной. Но именно поэтому любой консерватизм, который будет ориентировать нас на воспроизводство статус-кво, явится не чем иным, как абсолютизацией *одного из моментов* нашей неровной исторической траектории — причем в данном случае одного из *нисходящих* моментов», — пишет **Михаил Ремизов** («Второе дыхание» — «Русский Журнал», 2003, 14 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>).

Ср.: «На противный вопрос о том, что собирается консервировать консерватор, можно дать простой ответ: себя! Самосохранение — вот фундаментальная ценность, перед которой меркнут все выдуманные ценностные конструкции. <...> Консерватизм как эгоизм *de facto* является базовой ценностью, и теперь уже не нужно быть нищенцем, чтобы это утверждать. Нужно быть всего лишь нормальным человеком, чуждым всякого рода р-р-революционности (включая „консервативную революционность“). Консерватизм, таким образом, это не столько ценность, идеология или политический стиль, сколько состояние души <...>. Я назову реальное имя этого состояния: покой», — считает **Кирилл Якимец** («Апология эгоизма» — «Консерватор», 2003, № 3, 31 января).

Альберто Рохас («*El Mundo*», Испания). Генетические корни греха. Перевод Анны Гонсалес. — *inoСМИ.Ru*, 2003, 22 января <<http://www.inosmi.ru>>

«Сегодня же, через семьсот лет после написания этого шедевра [Данте Алигьери], биолог Джон Медина размышляет в своей книге „Ген и семь смертных грехов“, не являются ли эти самые грехи „на самом деле простыми химическими реакциями, если записанное в генах вообще можно считать виной“».

См. также: **Гуняя Синха**, «О природе любви и химии полевого (так! — А. В.) влечения» — «Что Нового (в науке и технике)», 2002, № 2, ноябрь — декабрь <<http://www.chtonovog.ru>>

Геннадий Русаков. «Я ношу жизни бережно несу». Беседу вел Виктор Широков. — «Литературная газета», 2003, № 2-3, 22 — 28 января.

«<...> из той гипертрофированной роли, которую навязала литературе наша политическая история — роли судьи и пророка, — она сейчас возвращается на свое более скромное место в жизни общества». Здесь же — большая подборка стихотворений Геннадия Русакова.

См. также: **Владимир Цивунин**, «Горькая дерзость Геннадия Русакова» — «Новый мир», 2003, № 3.

Юрий Рябинин. Предводитель восстания декабристов. — «Литературная Россия», 2003, № 5, 7 февраля.

Неужели — сам губернатор Петербурга?! По страницам книги Владимира Брюханова «Заговор графа Милорадовича» (Франкфурт-на-Майне, 2002).

Валерий Савчук. Кто такие культуралы и за что они борются? — «НГ Ex libris», 2003, № 3, 30 января.

«Культурал — фигура, которая формируется на наших глазах. Она вызвана к жизни тем обстоятельством, что современный мыслитель, желающий иметь сцену своего выступления, должен использовать массмедийные стратегии привлечения внимания. <...> В культуралы же „выходит“ тот, кто подписывается под чем угодно, лишь бы вызвать интерес у теле- или аудиоаудитории; его конечная цель — массмедиизация, популярность, обретение власти. Хотя открыто называть себя культуралом никто пока не решается <...>».

Жозе Сарамату. «Империя уже пришла, а трусливый мир рукоплещет ей». Беседу вел Александр Здитовецкий. — «Известия», 2003, № 21, 6 февраля.

Экономическая глобализации — это новая форма тоталитаризма, считает нобелевский лауреат, португальский писатель-антиглобалист **Жозе Сарамату**. Он же: «<...> как можно ожидать, что [европейское] супергосударство решит те проблемы, которые входящие в него государства не смогли или не захотели решить в собственных странах?»

См. также сайт: <http://www.globalaffairs.ru>

Всеволод Сахаров. «Уроки судьбы, или „Один из потерянного поколения“». Беседу вел Евгений Ованесян. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 308, 26 января <<http://www.lebed.com>>

«Слова „Россия гибнет“ можно произнести только один раз».

Сергей Семанов. Идеологические «качели». — «Наш современник», 2002, № 11. «Из всех большевистских руководителей Брежнев менее всего интересовался идеологическими вопросами». Глава из книги «Брежнев».

Михаил Сидур. Время и его художник. Творческая биография Вадима Сидура. — «Егупец», Киев, 2002, № 10 <<http://judaica.kiev.ua>>

«Мы не будем здесь даже пытаться рассказать об особенностях творчества Вадима Сидура и уж тем более дать его анализ. <...> „Егупец“ — не искусствоведческое издание, а, как указано в подзаголовке, „художественно-публицистический альманах“. Будем придерживаться „законов жанра“ и рассмотрим некоторые события чисто „публичной“ стороны жизни художника».

Николай Скатов. Погружение во тьму. — «Литературная газета», 2003, № 7, 19 — 25 февраля <<http://www.lgz.ru>>

Среди прочего: «создается фальсифицированный Пушкин в замену якобы „мифологизированного“...».

Игорь П. Смирнов. «Об эротике, политике и цинизме». Беседу вела Надежда Григорьева. — «Критическая масса», 2002, № 1.

«Дай Бог, чтобы „Идущих вместе“ постигла участь напостовцев!»

Денис Соболев. Либерализм как проблема. — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 6.

Либерализм и демократия как «проекты». Среди прочего: «<...> оба основных политических лагеря Израиля в одинаковой степени далеки от либеральных ценностей и либерального склада мыслей».

Марк Соколянский. Общие корни. Владимир Жаботинский и Исаак Бабель. — «Егупец», Киев, 2002, № 10 <<http://judaica.kiev.ua>> Одесса.

Антон Суслонов. К оружию, граждане! — «Консерватор», 2003, № 1, 17 января <<http://www.egk.ru>>

«Желание иметь собственное оружие для современного человека столь же оправданно и естественно, сколь и желание иметь автомобиль». Автор — член Федерального совета общественной организации «Гражданское оружие» <<http://www.samooborona.ru>>

Здесь же: «Свободное ношение (а заодно и применение) оружия — гибель для России. Ровно так, без преувеличений. Решительные либертарианцы (в просторечии — сторонники безусловной свободы частного человека), отстаивающие принцип людской самозащиты, даже не представляют себе, с каким правовым хаосом нам предстоит столкнуться в случае принятия подобного закона», — возражает **Дмитрий Ольшанский** («Нет стрельбе»).

«Счастье Анатолия Курчаткина». Беседовали Ольга и Александр Николаевы. — «Литературная газета», 2003, № 4, 29 января — 4 февраля.

Говорит прозаик **Анатолий Курчаткин**: «Разумеется, я верю, что эпоха смуты не будет длиться бесконечно, но человек все-таки слаб, а наши дни рождают неуверенность в будущем».

Валерий Тишков. Социально-культурная природа терроризма. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 6 (26).

«<...> начало терроризма не там, где „реальная“ бедность, а там, где создают ощущение бедности, несправедливости и безысходности».

Кэрол Уайт, Джеффри Стейнберг. Лаборатории сатаны: «прекрасный новый мир». Перевод с английского Татьяны Шишовой. — «Москва», 2003, № 1.

Уэллс. Рассел. Хаксли. ЛСД. Грибы. ЦРУ.

Катя Филиппова. Россия — это не страна, а идея. — «Московские новости», 2003, № 6.

Говорит **Андрей Битов**: «Я очень люблю этого человека [Пушкина], даже больше, чем Европу».

Юлий Халфин. Гордые люди. Прощание с кумирами отшумевшей эпохи. — «Литература», 2003, № 6, 8 — 15 февраля.

Горький, Маяковский — антихристиане.

Егор Холмогоров. Сталинград-43. — «Консерватор», 2003, № 3 (19), 31 января.

«Тот город, который восстановили после войны и который называется ныне Волгоградом, тем самым Сталинградом уже не является. Тот Сталинград навсегда остался в 1943-м, разрушенный, окровавленный и торжествующий. Он навсегда остался городом-символом нашей национальной исторической судьбы, встал в русской душе где-то в одном смысловом пространстве с Небесным Иерусалимом и Градом Китежем. Возможно, это единственное основание, чтобы не спускать его опять на землю, в повседневность. <...> Наш Небесный Сталинград».

Егор Холмогоров. Рожденные 11 сентября. — «Консерватор», 2003, № 4 (20), 7 февраля.

«Любят ли они полицию так, как любил ее Розанов, как любим ее мы?»

Сергей Чупринин. «Писатель — профессия по-прежнему массовая». Беседу вел Александр Гаврилов. — «Книжное обозрение», 2003, № 4, 3 февраля <<http://www.knigoboz.ru>>

«<...> современная русская литература ужасно сегментирована».

Сергей Шаповал. Певец обыденности. — «Независимая газета», 2003, № 11, 24 января.

Говорит — почти уже *шестидесятирехлетний* — **Дмитрий Александрович Пригов**: «У каждого человека есть свой ноуменальный возраст. Мне 43 года, до этого возраста я доживал, до сих пор я длюсь в нем».

Сергей Шаповал. Жизнь запрещенных людей. Илья Кормильцев: «Мы обращаемся к жизнеописаниям настоящих Мальчишей-Кибальчишей». — «НГ Ex libris», 2003, № 2, 23 января.

Говорит **Илья Кормильцев**: «Специфика нашего издательства описана его названием — „Ультра. Культура“. Мы будем издавать книги, затрагивающие не те темы культуры, которые находятся в центре внимания общественности, а рискованные, пограничные сферы, легитимность существования которых вызывает много вопросов. Все, что экстремально, маргинально, противоречиво, по нашему мнению, и представляет антропологическую проблему. К примеру, торговля хлебом критической проблемой не является, а торговля героином считается именно таковой. При этом торговля героином имеет гораздо более крупное значение в мировой торговле, чем торговля хлебом».

См. также беседу **Ильи Кормильцева** с Сергеем Шаповалом: «Независимая газета», 2003, № 29, 14 февраля <<http://www.ng.ru>>

См. также: **Илья Кормильцев**, «Быть Другим» — «Завтра», 2002, № 52, 24 декабря <<http://www.zavtra.ru>>

См. также: **Илья Кормильцев**, «25 книг года» — «ОМ.Ru», 2003, 4 февраля <<http://www.om.ru>>

Сергей Шаргунов. Нам — «Дебют», а мы кричали. Надоел бездарный радикализм. — «НГ Ex libris», 2003, № 5, 13 февраля.

«Друг мой Сенчин голосует за Анпилова. У моей подружки Денежкиной любимый лозунг: „White Power.“ Только все это пустое. Знакомьтесь: таков анархизм, метко названный Ильичем, „вывернутой наизнанку буржуазностью“...»

См. здесь же беседу **Ольги Славниковой** с Сергеем Шаргуновым «Развращает ли „Дебют“ малолеток?».

Виктор Шендерович. «Никакого „народа“ нет». Беседу вел Константин Крылов. — «Консерватор», 2003, № 1, 17 января.

«Я вместе с некоторым меньшинством исповедую ценности, отличающиеся от тех ценностей и тех традиций, которые исповедуют все — и Путин, и страна».

«Любой патриотизм опасен и кровав».

«Израиль не нуждается в оправданиях...»

Виктория Шохина. Хорошо врут только честные люди. — «НГ Ex libris», 2002, № 44, 19 декабря.

«Если все, что написано, правда, то [Нина и Александр] Воронели были провокаторами. Или это неправда. Это (и многое другое) — о воспоминаниях **Нины Воронель** «Юлик и Андрей» («Вопросы литературы», 2002, № 5 <<http://magazines.russ.ru/voplit>>; ранее — в израильском журнале «22», № 124). **Андрей** — Синявский, **Юлик** — Даниэль».

См. также: **Александр Воронель**, «Письмо в редакцию НГ» — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля; «Заголовок этот, как и весь текст статьи [Шохиной], призван бросить тень на воспоминания моей жены Нины Воронель (а заодно и на меня) о процессе Синявского и Даниэля в 1966 году...».

См. также: **Виктория Шохина**, «Апокрифы советского времени» — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля; «Не понимаю, кстати, почему отвечает мне не сама Н. Воронель, а ее муж».

См. также: **Игорь Голомшток** (Лондон), «С сокращениями и без» — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля; «Прежде всего хочу засвидетельствовать, что Н. Воронель никогда и ни в какой мере не была близкой приятельницей Синявских, за которую она себя выдает: в их доме я ни разу не встречал эту особу до ареста Синявского».

См. также: **Наталья Рубинштейн** (Лондон), «К вопросу о жанре» — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля; «До понимания и оценки сделанного им [Синявским] еще далеко. И не от Нинель Воронель ожидать исполнения такой задачи — не по ее силам».

См. также: **Виктор Швейцер** (Амхерст, США), «Стенограмма для Белой книги. Из воспоминаний участника» — «НГ Ex libris», 2003, № 4, 6 февраля.

Дмитрий Шушарин. Конституция как средство против энтропии. — «Со-Общение», 2003, № 1, январь <<http://www.soob.ru>>

«<...> кто сказал, что медиакратия тождественна демократии?»

«Бессмысленно спорить о том, является ли цензура благом или нет, раз она конституционно запрещена».

«Может, пора заняться изучением общественной миссии желтой прессы?»

«Впрочем, что низко, что высоко, — все гарантировано одним и тем же Основным Законом».

Михаил Эдельштейн. Королевство глиняных зеркал. — «Русский Журнал», 2003, 13 февраля <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Книга [Станислава] Рассадина [„Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали”] — своего рода памятник „шестидесятнической” мысли, и если воспринимать ее в таком качестве, то она оказывается вполне даже на своем месте».

«В самом деле, странно читать об „истинном поэте” Я. Смелякове, „истинном поэте” М. Исаковском — и потом встречать эту же характеристику, да еще и с некоторыми оговорками, применительно к Маяковскому: „Поэт, что бы там ни было, истинный и мощный”. Кажется, для Исаковского и Маяковского можно было бы придумать и разные определения».

Михаил Юпп. Коля Рубцов — ранние шестидесятые... — «Наш современник», 2003, № 1.

«<...> стихи его подражательные, хотя парень — не без таланта» (Рубцов — о Бродском, в изложении Юппа). Здесь же: **Юрий Кириенко-Малюгин**, «Я бегу от помрачений...» — критический разбор публикаций о Рубцове.

Савва Ямщиков. Каждое его движение значительно. Подготовил Владимир Малышев. — «Литературная газета», 2003, № 4, 29 января — 4 февраля.

«Как это можно сказать, что „В круге первом” — не литературный шедевр?! Да это такое произведение, под которым и сам Лев Николаевич Толстой не задумываясь поставил бы свою подпись!»

См. также: «Войновича после книжки о Солженицыне вообще в дом порядочный пускать нельзя», — пишет **Савва Ямщиков** («День литературы», 2003, № 1, январь).

Максим Ярославский. Дьявол в деталях. Еще один нож в спину России, «которую мы потеряли». — «НГ Ex libris», 2003, № 1, 16 января <<http://exlibris.ng.ru>>

Вышла книга об исторических *ошибках* в фильме Никиты Михалкова: Александр Кибовский, «Сибирский цирюльник. Правда и вымысел киноэпопеи». М., 2002 (Военно-историческая библиотека журнала «Цейхгауз»).

Составитель **Андрей Василевский.**

«Вопросы философии», «Гиперборей», «Зеленая лампа», «Знамя», «Октябрь»

Светлана Аксенова-Штейнград. Кто мы? Диалоги в «Диалоге». — «Октябрь», 2002, № 12 <<http://magazines.russ.ru/October>>

Смелая и, кажется, удавшаяся попытка короткого обзора 3-го и 4-го номеров русско-израильского литературного альманаха «Диалог». Смелая, потому что, как справедливо замечает автор обзора, «даже беглое упоминание обо всех авторах и текстах займет не одну страницу!». Удалось и разнести сюжет на темы, и задать собственную читательскую *диалогичность* прочитанным авторам, например, израильскому стихотворцу Йегуде Амихаю и выдающемуся российскому поэту Семену Липкину.

Лев Аннинский. На краю отечества. — «Зеленая лампа». Литературно-публицистический альманах. Иркутск, 2002.

Это *послесловие* столичного критика к вышедшей в прошлом году в Иркутске переписке Виктора Астафьева и Валентина Курбатова. В виде статьи оно напечатано в издании, пришедшем к читателю, как сказано его составителями, «спустя уже добрый десяток лет после печального, но и закономерного писательского раскола и, пожалуй, с некоторым опозданием». Иными словами, в альманахе, объединившем литераторов, входящих в немногочисленное Иркутское отделение Союза российских писателей (то бишь, пользуясь условным ярлыком, — «*либерального*». — П. К.), коим руководит постоянный автор «Нового мира» — поэт Анатолий Кобенков. Хороший газетный ежесемесничник с одноименным названием, увы, закрыт после трех лет существования. В нынешнем альманахе — 23 автора. Проза, поэзия, публицистика, краеведение, театральная, музыкальная и литературная критика. «Ни в коем случае не предполагая альманах как еще один довод в споре с теми, кто числит нас в своих оппонентах, мы полагаем, что его выход естественным образом расширит, а следовательно, и дополнит ту картину нашей литературной жизни, которая — вплоть до сегодняшнего дня — освещалась одним-единственным изданием Иркутска — журналом „Сибирь”».

Лев Аннинский же размышляет здесь об истории сближения двух русских душ, концептуально «отвлекаясь» на громкие частности вроде «еврейской темы». Этот чита-

тельский *путеводитель* по переписке Астафьева и Курбатова написан с напряженным вниманием к *драматургии взаимного поиска опор*.

См. также: **Дмитрий Шеваров**, «Неостывшие письма» — «Новый мир», 2003, № 6.

Юрий Буйда. ое животное. Роман. — «Октябрь», 2003, № 1.

Опечатки в названии нет.

Кто бы рассказал, откуда писатель Буйда вынимает эти дьявольские кошмары — натуралистичные, *сочиненные*, но такие порой притягательные? Вот из предсмертного, самоубийственного монолога главного героя — восемнадцатилетнего мальчика Даника: «Без меня он будет как раз полный (народ. — П. К.). Я ведь всем что-нибудь напоминать буду. У этого брата убил, у этой — мужа. Им же плевать, что все, кого я убил, все до последнего — животные. Плохие животные. Помните, когда тот вагон разрезали, все еще гадали, что означает надпись „ое животное“? Вот они — злые животные. Вы — хорошее животное. А я — лишнее животное. Ненужное. Да я сам измучаюсь своей ненужностью. И всех измучаю. Буду среди здоровых людей как чумной ходит. С виду — урод как урод: маленький, одноногий, а на самом деле — чумной...»

А. А. Зиновьев. Комплексная логика. — «Вопросы философии», 2003, № 1.

Поздравив философа с прошедшим восьмидесятилетием, редакция опубликовала работу, «играющую особую роль в его философской концепции». Подытоживая выкладки, Зиновьев обобщает себя так: «Свою концепцию я назвал нетрадиционной, нестандартной или комплексной логикой. Последнее название я выбрал не столько с целью подчеркнуть отличие моей концепции от других, сколько с целью обратить внимание на то, что должное решение важнейших проблем логики может быть достигнуто именно на пути их рассмотрения в комплексе, а не по отдельности, не изолированно друг от друга. <...> Короче говоря, три ветви старой философии — формальная логика, гносеология и онтология — должны быть слиты в нечто единое при систематическом построении логики в современных условиях в науке».

О *социологическом романе* Александра Зиновьева «Русская трагедия. Гибель утопии» (М., 2002) см.: **Роман Ганжа**, «Дискурс» — «Русский Журнал», 2003, 3 февраля; **Игорь Янчук**, «Интеллектуальный грех не оправдать раскаянием» — «Русский Журнал», 2003, 3 февраля <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

Глеб Иванов. Поклонник высокого. Миниатюры. — «Зеленая лампа». Литературно-публицистический альманах. Иркутск, 2002.

Прозаический дебют двадцатипятилетнего иркутянина.

Миниатюра называется «Рассказ невесты».

«Мой Сережа очень красив. Эти волнистые волосы, глаза в темном уборе черных ресниц, этот прямой нос, губы, подбородок. Он мне ничего не сказал, как все будет на нашей свадьбе. Ну, я была, конечно, на грани совершенства. Сережа приехал за мной на „мерседесе“. Мы зарегистрировались и поехали на реку. Ну а потом мы гуляли в „Современнике“, где выступают наши звезды, певцы, когда приезжают в Ангарск. Нас снимало телевидение, короче, я была как во сне. Я до сих пор не могу отойти!

А сейчас я должна принять яд, потому что люблю другого».

И еще совсем маленькая, из цикла «Портреты»:

«Таня Крицкая, филфак, III курс, гр. 8312, вызывает дух Бродского и спрашивает у него: „Что Вы хотели сказать тем-то и тем-то?“ Это ей нужно для курсовой».

Иван Корнев. Нет ни элина, ни иудея. США — Россия в рамках Портсмут — Северодвинск. — «Гиперборей», Северодвинск, 2000, № 3.

Очередная отважная бандероль пришла к вашему обозревателю: два последних — по времени выхода — номера провинциального *журнала общественной мысли, литературы и искусства* из Северодвинска. Они, конечно, нужнее бы моему тезке (П. Басинскому), ведущему рубрику «Русское поле» в «Октябре». Но там — одни книжки. А здесь, с благословения Архангельской областной писательской организации, Союза писателей России (опять воспользуюсь условным ярлыком — «консервативного». — П. К.) и, само собой, одноименного ООО, мы имеем набор, состоящий из интервью «профсоюзного лидера» и театральной актрисы, разнообразной прозы и поэзии, первопубликаций из *центра* вроде стихов Роальда Мандельштама, многостраничных философско-филологических трактатов (более уместных в каких-нибудь *ученых записках*), фотографий и фоторепродукций, словом, всего по(не)много. Приведем из «общественного», «вспоминая» вместе с автором визит американцев (тогда почти побратимов) в город, «где производятся самые мощные в мире носители ядерного оружия» (в штатовском Портсмуте, кстати, ремонтируют и строят атомные подлодки). Итак, «в нашем общественном сознании роль и значение США не только гипертрофированы, но приобретают чуть ли не метафизическое измерение».

И — тремя абзацами ниже, после более или менее извинительных объяснений причин российского «антиамериканизма»: «Будущее международной политики (речь

идет о начале XXI века. — П. К.) — за политикой общественных и даже частных отношений. Субъекты будущей мировой политики, ее делатели — общественные организации и частные лица. А проблем здесь — не сосчитать, начиная хотя бы с „окончания истории” в США и переизбытка истории, хлещущей через край, в России. И хочется верить, что когда-нибудь да сбудутся слова пророка из вечной книги: „И перекуют они мечи свои на орала, и копыя свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать”...» Я лишь напомним себе, что перепечатаваю эту цитату из относительно свежего номера провинциального журнала в конце февраля 2003-го, в преддверии некоего «будущего» в виде войны на Ближнем Востоке.

В. А. Кутырев. Апология человеческого. Предпосылки и контуры консервативного философствования. — «Вопросы философии», 2003, № 1.

«Культура сдается на милость технократии почти без боя. Больше того, если Платона, Декарта, Канта, не говоря о „материалистах”, можно оценивать откровенно презентистски, антиисторически, можно даже поносить, то о Фуко, Деррида, Рорти говорить принято с пиететом. Допустимы небольшие сомнения и почтительно вопрошающие замечания, которые бы не портили общего стиля ученического освоения их идей. Критиковать постмодернизм политически некорректно, на это могут решиться одни отъявленные консерваторы и реакционеры. А для стремящихся искренне разобраться в нарочито усложненных терминологических хитросплетениях постмодернистского философствования заготовлена западня: вас обвинят в стремлении к „репрессивной ясности”. Как крысолов, выманив своей дудкой жителей крепости, привел их к врагам, так *постмодернистская философия выманивает людей из жизни и культуры* (выделено мной. — П. К.), оставляя беззащитными перед субстанциальной и концептуальной агрессией искусственной, техногенно-виртуальной среды». Однако «постмодернистская философия не просто игра в бисер на компьютере или продукт чьего-то недоброжелательства. Она имеет объективные причины, главная из которых — саморазвитие техногенной реальности. Но у традиционного биосоциального человека еще больше причин бороться за продолжение собственного бытия и сохранение адекватного ему состояния и образа мира».

У. Макбрайд. Глобализация и межкультурный диалог. Перевод с английского Д. Лахуги. — «Вопросы философии», 2003, № 1.

Профессор американского Университета Пэрдью, член Совета директоров Международной федерации философских обществ мог бы после эпиграфа из Киссинджера («Главный вызов состоит в том, что то, что обычно называют глобализацией, на самом деле просто другое название господствующей роли Соединенных Штатов»; 1999) вообще ничего не писать. Своего президента он именует исключительно «президентом de facto м-ром Бушем», вынуждая переводчика объяснять в сноске, что «автор, очевидно, имеет в виду незавершенность подсчета голосов в штате Флорида во время последних президентских выборов в США, когда Буш победил с перевесом всего в несколько десятков голосов». В общем, только что «сранным ковбоем» не кличет. Очень жесткий, эмоциональный и познавательный текст «с того берега». Вот его финал: «<...> я хотел бы призвать неамериканцев соблюдать критическую дистанцию от всякого рода утверждений о том, что думает или не думает „американский народ” или „американские интеллектуалы”, и особенно призвать их постоянно противопоставлять идеалы свободы, демократии, прав человека и гуманного социального обеспечения текущей американской практике, столь далекой от этих идеалов. Ключевое слово, которое следует из всего этого запомнить, — это, конечно, „лицемерие”. Лишь бросив такой глобальный вызов гегемонической культуре, мы сможем избежать тех кошмарных видений, которые я обрисовал выше, и сохранить надежду на то, что мы сумеем вообще сохранить межкультурный диалог в наступившем третьем тысячелетии Общей Эры».

Афанасий Мамедов, Исаак Милькин. Морские рассказы. — «Октябрь», 2003, № 1.

Два замечательных трогательных (и трагических) рассказа: «Ы.?» и «Баковая трагедия». В *соавторстве*, как хотите. Жаль, Конецкого нет, он бы оценил, особенно второй. Хотя морская тема здесь ни при чем, собственно. Это лишь декорации, хотя и весьма правдоподобные.

Новые имена. — «Октябрь», 2002, № 12.

Как всегда (20 лет уже), двенадцатая книжка журнала отдана молодым. На сей раз двенадцать новых имен «Октябрь» выудил не только из редакционной почты, но и из результативного архива Второго форума молодых писателей, из собрания рукописей на соискание премии «Дебют». Географически выбор авторов тоже весьма разнообразен.

Тем не менее вашему обозревателю так и не удалось ничего отобрать из новой поэзии, где особенно важна самостоятельность интонации. Что же до прозы, то самое пе-

чальное в ней то, что, читая, видишь, как все это писалось. «Мастерство такое, что не видно мастерства» — не про них. Казалось бы, прозаические авторы всегда менее предсказуемы, чем поэтические. Но вот начинаешь читать рассказ **Ольги Беловой** «За голубыми небесами»: «После смерти Валерка Мохов попал в ад...» И — все. Уже понимаешь, что будут ангелы, смятения, пейзажи-картинки, запоздалое раскаяние. Так и есть. **Алексей Радов** («Сказки») давит на меня своим мрачным шокингом, своей «забормотанностью». Пугает, а не страшно. Скучно отчего-то.

Но вот по-петрушевски *страшный* рассказ **Ольги Шевченко** «Звезда», эпизоды из жизни некоего общежития, дзэпэшник и томящаяся дева, беспричинное избивание убогого соседа, темное и светлое, озверелое и жалостливое, — срабатывают. На боль реагируешь. А там она есть, изначально была заложена, когда автор сидел за свой компьютер или машинку.

Больше всех же обрадовала искрящаяся, лихая (и, по-моему, очень хитрая) **Дарья Варденбург**. Как я, оказывается, соскучился по этому повествовательному ритму, схваченному еще когда-то в прозе Виктора Драгунского и Юрия Коваля. Классно.

Обсуждение «Новой философской энциклопедии». (Материалы заочного «круглого стола»). Участвовали: В. А. Лекторский, В. С. Степин, А. П. Огурцов, Е. А. Мамчур, И. С. Добронравова, Л. Ф. Кузнецова, В. Г. Кузнецов, А. В. Кезин, В. К. Финн, Т. А. Алексеева, И. К. Пантин. — «Вопросы философии», 2003, № 1, 2.

Речь идет о фундаментальной энциклопедии в четырех томах, выпущенной московским издательством «Мысль» (2000 — 2001). Мнения копятя по нарастающей, от большой радости к небольшому, но значительным огорчениям. К промелькнувшей было мысли, что этот «круглый стол» хорошо бы издать отдельной брошюрой, горячо присоединяюсь, отличный будет «портрет» наших современных философских мнений в обновляющемся/обветшавшем интерьере.

Итак, движение по кругу начали, как оно и положено, ветераны отечественного философского дела — главный редактор «Вопросов философии», членкор РАН В. А. Лекторский, доктор философских наук А. И. Огурцов и другие. После пространных констатаций того, что многолетнедобросовестный марксистско-ленинский оброк платить более не нужно, участники наконец взяли и критические ноты.

Т. А. Алексеева (доктор философских наук, зав. кафедрой политической теории МГИМО(у) МИД России) основным недостатком НФЭ посчитала «отсутствие целостной картины по крайней мере в такой области философского познания, как философия политики». «Впрочем, — поясняет она, — это не столько вина составителей, сколько отражение состояния в стране философии политики, переживающей все еще „детский период“». Примеры явной «нестыковки» в текстах НФЭ приводил кандидат философских наук из Тульского государственного педуниверситета **А. В. Прокофьев**: «<...> иногда даже в статьях одного и того же автора по единой проблематике присутствуют серьезные различия в понимании фундаментальных для этих статей терминов. Например, в статье „Насилие“ насилие определяется как применение силы, которое отлично от природной агрессивности человека, его воинственных инстинктов и обязательно предполагает дискурсивное обоснование („претендует на законное место в человеческой коммуникации“). В то же время в статье „Ненасилие“ насилие предстает уже как предельно широкое явление, связанное с любым принуждением и причинением вреда».

А. Ф. Зотов (доктор философских наук, член редколлегии журнала «Вопросы философии») ударил по-крупному: «Как это ни странно, но статьи, в которой была бы выражена установка составителей и авторов *этой* энциклопедии, в четырехтомнике нет. На мой взгляд, — добавляет **Зотов**, — неочевиден и явный категориальный каркас *этой философской энциклопедии*; базовые философские понятия часто оказываются рядоположными всем прочим, в том числе и таким, философский статус которых, мягко говоря, отнюдь не очевиден (вроде понятия „инициатива гражданская“»).

Кроме странной рядоположности, естественно, критикуется и, так сказать, «рядонеположенность». Тот же **Зотов**, удивляясь перегруженности НФЭ статьями о марксистских первоисточниках, еще более поражается тому, например, что в издании совершенно не пишется о «*Nomo ludens*» Хейзинги, не нашлось слов для хотя бы одного сочинения Хайека, нет даже статьи о нем (к слову, в этом же номере «ВФ» впервые публикуется нобелевская лекция **Фридриха фон Хайека** «Претензии знания», 1974).

Есть и другие примеры.

Но — прогресс налицо. Уж по части религиоведения точно. Доктор философских наук из Перми **М. Г. Писманик** сочувственно говорит о переменах в определении, например, атеизма: «Итоговый вывод автора (В. Г. Гараджа, статья „Атеизм“): для сознания, уже не придающего серьезное значение отрицанию Бога, „атеизм уступает место а-теизму, то есть религиозному индифферентизму, безрелигиозности“. Безрелигиозное сознание формируется в областях деятельности, автономных по отношению к религии».

Евгения Огаркова. Гиперборея становится ближе. Новое в нашей истории. — «Гиперборей», Северодвинск, 2000, № 3.

Почему статья о «полулегендарной, полусказочной стране, находящейся, по представлениям древних греков, на Крайнем Севере, за Бореем», выходит только в третьем (из четырех вышедших) номере северодвинского журнала, названного по имени жителя этой страны, — Бог весть. В «этимологическом» тексте вспоминается и одноименный журнал 1912 года, объединивший «Цех поэтов», и издательство, и обновленный акмеистами «Новый Гиперборей» (1921), и труды современных ученых (атлантологов, историков и философов), для которых Гиперборея не предание, но великая, канувшая в Вечность цивилизация. Принимая во внимание эти изыскания, автор полагает, что «мы (северяне и, видимо, издатели настоящего журнала. — П. К.) и есть потомки жителей реально существовавшей Гипербореи, ибо живем на удивительной земле — земле, о которой все человечество сохранило память в мифах и фольклоре. И не стоит нам забывать о том, что гиперборей — это северянин. Маг и мудрец, обладатель несметных сокровищ». Знай наших.

Евгения Огаркова. Кого ожидают астрономические гонорары. Книжное обозрение. — «Гиперборей», Северодвинск, 2001, № 4.

Шесть кудрявых мини-рецензий с примечательным выводом-послесловием (цитирую полностью): «Видимо, оттого, что Россия в целом и Архангельская область в частности — страна деревенская, видимо, оттого, что в наших городах в основном живут вчерашние крестьяне и их потомки, пишут наши земляки о деревне. Пишут много, со знанием дела. Пишут с любовью и пониманием. Но в основном мужчины. Некоторые, правда, философствуют, некоторые фотографируют. А дамы — о любви к мужчинам. Очень естественно и правильно. Все это, видимо, и есть современный литературный процесс в одном отдельно взятом регионе. Да все это есть просто-напросто жизнь».

Эту дивную *прозу* я и дарю вам на память о Русском Севере.

Вадим Перельмутер. После бала. — «Октябрь», 2003, № 1.

В прямом смысле *до ужаса* смешное эссеистическое воспоминание-размышление о современной пушкинистике и пушкинском юбилее 1999 года. Абсурд, карнавал, приключение. Сие за три года писалось, в Москве, Петербурге и Мюнхене. Задевает священные имена, напоминает о недавних крупных и мелких мифах. Очень хорошо бы читалось по радио, не переводя дыхания.

«Страшен русский юбилей, бессмысленный и беспощадный...»

Григорий Петров. Короткие истории. — «Октябрь», 2003, № 1.

С «Октябрем» так бывает: бах — и вся проза удачная, во всем номере. И вся читается — не с напряжением, так с интересом. Петровские рассказы — все на грани фола, чудные да юродивые, как один из героев миниатюры «Пришелец». Но в пошлость не срываются — замирают над пропастью, лепятся в сказово-сказочную мозаику, посылающую читателю — своим завораживающим, скоморошечьим свечением — пожелание не любви, так хоть жалости к ближнему. К персонажу хотя бы, соучастнику чтения.

Михаил Попов. Любимец. — «Октябрь», 2002, № 12.

Битва Давида с Голиафом. Не ожидал, что в одной «Периодике» окажутся два писателя с небольшими, в общем, произведениями, написанными словно бы *оттуда* (см. ниже об Алексее Серикове) и с такой любовью — к эпохе, материалу, героям.

Андрей Рудалев. Апология религиозного. Полемика с журналом «Звезда». — «Гиперборей», Северодвинск, 2000/2001, № 3, 4.

Три года назад культуролог и литератор Михаил Эпштейн задал в «Звезде» всем нам задачу: «К концу XX века русская культура оказалась на распутье, которое никак не сводится к политическому выбору, но предполагает радикальную смену ее религиозно-светских ориентаций». Коротко говоря, Эпштейн призывает русскую культуру втиснуться в «какое-то среднее пространство между „идеалом Содомы“ и „идеалом Мадонны“» или, добавлю от себя, окончательно, кажется, обжить известные стихи Блока о России. «Говоря о напряженной полярности, дуализме русской культуры, — пишет оппонент, — автор сам попадает под чарующее обаяние крайних координат». И далее Рудалев просит культуролога не принимать хворь за характеристику, *радикально* переосмыслить понятие «секулярного» как не отстранения от религиозного, а, наоборот, его постепенного вхождения в мир, отбросить гордыню и терпеливо тащить дальше вместе с отечеством свой крест любви к нему. Громко, но зато вполне разумно и честно. С добросовестной кучей цитат и ссылок (71!) на научную и художественную литературу.

Борис Рыжий. Стихи. Публикация Б. П. Рыжего и Ирины Князевой. — «Знамя», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Надеюсь, будущие историки поэзии не забудут о вкладе редактора отдела поэзии «Знамени» — Ольги Ермолаевой — в *проявление* на литературном небосклоне этого имени.

...Ну, ни нелепо ли,
не удалось.
Были и не были.
Радость и злость.
Музыка, музыка.
О, у виска
музыка, музыка.
Ревность, тоска.
Алого пламени
слабый росток.
Вырви из «Знамени»
этот листок.
1999.

Публикация названа по последним двум строчкам этого стихотворения.

Алексей Сериков. Маленький подарок богам. Повесть. — «Зеленая лампа». Литературно-публицистический альманах. Иркутск, 2002.

Талантливая, поэтичная вещь молодого (род. в 1968) иркутского писателя. Эпоха империи, поздняя античность. Изрядная часть сюжета происходит, судя по всему, в IV веке н. э. (я неуклюже попытался, заглянув в античный словарь, определить время по названию монеты, мелькнувшему в тексте, — *солид*). Главный герой повести — легионер и кузнец Ян Кассий Котта. Военный поход и общение с индийским жрецом, пахучие ночи, старые священные змеи, война и работа, отец и сын. Удивляет и радует естественность *обустройства* автора в эпохе, которая для него — живая, неостывшая, чувственная.

Александр Терехов. Бабаев. Воспоминания бывшего студента Московского университета. — «Знамя», 2003, № 1.

Самое захватывающее и «неловкое» мое чтение за последнее время. В этих воспоминаниях два (на самом деле — три, вместе с автором) героя. Оба известны: историк литературы, поэт, специалист по Пушкину и Толстому, собеседник Ахматовой и Н. Мандельштам, замечательный преподаватель Эдуард Бабаев — и писатель, журналист, психолог и педагог Владимир Шахиджанян. Первое нет на свете, второй работает, выпускает новые книги и новых студентов. Замечательная книга воспоминаний Бабаева вышла через несколько лет после его смерти. Оба — по-своему легенды. Терехов близко знал обоих, о них и написал, вглядываясь через них в себя и наоборот.

Я тоже знал обоих, не так близко, но все, о чем идет речь в этой сжатой, отлично написанной прозе, — мне известно. Даже то, что может показаться откровениями. В конце концов, я тоже провожал Бабаева домой, он дарил мне свои книги, я много говорил о нем с Берестовым и с ним о Берестове. Бабаев даже напечатал мои стихи в редактируемом им альманахе. Помню, как Терехова, старшего выпускника и одну из главных надежд Шахиджаняна, приводили на тот же «шаховский» семинар, в котором я учился вслед за ним, Тереховым. Тереховым «Шах» гордился, цитировал его в предисловиях к своим книгам. В доме у Шахиджаняна я тоже бывал. С обоими наговорил много часов. В общем, на этом схожее заканчивается. С «Шахом» я раз в год перезваниваю. О том и другом человеке я много думаю и по сегодня: об их внутренних драмах, об их разнообразных, причудливых талантах. Об усвоенных и преодоленных мифах, связанных с ними. Об их существенной роли в моей личной судьбе.

Но так талантливо-исповедально написать (и вспомнить!) я бы не смог. Самое главное — никогда не стал бы. Хотя бы потому, что один из героев-учителей — жив. Живы его родные. И дело не в высказываниях типа «теперь для меня NN умер». Да и в этом тоже.

Достаточно прочитать книгу Корнея Чуковского «Илья Репин» и дневниковые записи о старшем друге-художнике. Терехов *«всё» рассказал*. Кому стало лучше? Ему? Сомневаюсь. Читателю? Читателю, извините, все равно — живы Ваши герои или нет. Читателю в лучшем случае интересно.

Кстати, любопытно, вспомнили ли редакторы о существовании романа Сергеева-Ценского «Бабаев»? Впрочем, это не важно. Не об этой безвкусице речь.

Лидия Чуковская. «После конца». Из «ахматовского» дневника. Вступление, подготовка текста и примечания Елены Чуковской и Жозефины Хавкиной. — «Знамя», 2003, № 1.

Публикация из *отдельных* тетрадей дневниковых записей, сделанных после смерти Ахматовой и к ней (Ахматовой) относящихся. Включены и отрывки из «Общего дневника».

Почти сорок лет прошло, а все равно ощущение неостывшей лавы. И какой автопортрет самой Лидии Корнеевны проступает через ее дневник!

«8/III 66 утро <...> Оказывается, и у Анны Андреевны был дневник! Аня (Каминская, внучка Н. Н. Пунина. — П. К.) сказала, что там есть записи о последних днях и новые стихи! Да, еще Аня мельком произнесла: — Акума мне говорила, что не следует записывать прямую речь!

(А я-то... Но ее прямая речь была точна, как стихи, и записывалась легко)».

Сергей Чупринин. Нулевые годы: ориентация на местности. — «Знамя», 2003, № 1.

«Все мы — в диапазоне от „Знамени“ до „Нашего современника“ — своего рода *островки небуржуазности* в бушующем рыночном мире. <...> мы живем сегодня в *нулевые* годы. И я, признаться, временами впадаю в бессильное отчаяние. Литература, когда я тридцать лет тому начинал ею заниматься, была одним из главных дел в стране. Нынче же она...» В последних строчках своего эссе главный редактор призывает сам себя и коллег к стоицизму.

Игорь Якушев. Корона Кроноса. Эссе. — «Гиперборей», Северодвинск, 2001, № 4.

Явление дуэли. Культурологический трактат о шестнадцати главах. «Базируется дуэль на подсознательном влечении к родителю соименного пола и является моделью неосознанного, вытесненного гомосексуализма и потенциально суицидального (аутодеструктивного) поведения». К барьеру, кто может.

Составитель Павел Крючков.

●

АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

●

АДРЕСА: Музей Иосифа Бродского: <http://www.brodsky.spb.ru>

●

ДАТЫ: 24 апреля (7 мая) исполняется 100 лет со дня рождения Николая Алексеевича **Заболоцкого** (1903 — 1958); 2 (15) мая исполняется 100 лет со дня рождения критика и переводчика Игоря Александровича **Саца** (1903 — 1980), работавшего в журнале «Новый мир» в 1953 — 1954 и 1965 — 1970 годах; 6 мая исполняется 70 лет со дня рождения литературного критика, литературоведа, публициста Владимира Яковлевича **Лакшина** (1933 — 1993), работавшего в редакции «Нового мира» в 1962 — 1970 годах.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Май

5 лет назад — в № 5 за 1998 год напечатана повесть Виктора Астафьева «Веселый солдат».

70 лет назад — в № 5, 9, 11 за 1933 год напечатана поэма Павла Васильева «Соляной бунт».

75 лет назад — в № 5, 6, 7, 8, 9 за 1928 год печатался роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

Э. БАГРИЦКИЙ

БЕССОННИЦА

Если не по звездам — по сердцебиению
Полночь узнаешь, идущую мимо...
Сосны за окнами в черном опереньи,
Собаки за окнами — ключьями дыма.
Все, что осталось!
Хватит! Довольно!
Кровь моя, что ли, не ходит в теле,
Уши мои, что ли, не слышат вольно,
Пальцы мои, что ли, окостенели...
Видно и слышно: над прорвою медвежьей
Звезды вырастают, в кулак размером.
Буря с Волги, от низких побережий
Черные деревья гонит карьером...
Вот уже по стеклам двинуло дыханье
Ветра и стужи и каторжной погоды...
Вот закачались, зачихали в тумане
Черные травы, как черные воды...
И по этим водам, по злему вою —
Крыльями крыльца раздвигая сосны,
Сруб начинает двигаться в прибое
Круглом и долгом, как гром колесный...
Словно корабельные пылают знаки
Стекла, налитые горячей желчью,
Следом, упираясь, тащатся собаки,
Лязгая цепями, скуля по-волчьи...
Лопнул частокол, разлетаясь пеной...
Двор позади... И на просеку разом
Сруб вылетает. Бревенчатые стены
Ночь озирают горячим глазом.
Прямо по болотам, гоняя уток,
Прямо по лесам, глухарей пугая,
Дом пролетает, разбивая круто
Камни и кочки и пни подгибая...
Это черноморская ночь в уборе
Вологодских звезд — золотых баранок;

Это расступается Черное море
Черных сосен и черного тумана...
Это летит по оврагам и скатам
Крыша с откинутой назад трубою,
Так что дым кнутом языкатым
Хлещет по стволам и по хвойному прибою...
Это стремглав, наудачу, в прорубь,
Это деревянные вздутые ребра, —
В гору вылетая, гремя под гору,
Дом пролетает тропой недоброй...
Хватит! Довольно! Стой!

На разгоне

Трудно удержаться. Еще по краю
Низкого забора ветвей погоня,
Искры от напора еще играют,
Ветер от разбега еще не сгинул,
Звезды еще рвутся в порыве гонок...
Хватит! Довольно! Стой!

На спину

Падает откинутый толчком ребенок...
Только за оконницей проходят росы,
Сосны кивают синим опереньем.
Вот они, сбитые из бревен и теса,
Дом мой и стол мой: мое вдохновенье.
Прочно установлена косая хвоя,
Врыт частокол, и собака стала.
Милая! Где же мы?

Дома, под Москвою;
Десять минут ходьбы от вокзала.

«Новый мир», 1927, № 5.

SUMMARY



This issue publishes a narration by Valery Popov «The Third Breath», a narration by Vasily Golovanov «The Tank» and a story by Andrey Volos «A Mission to Virgin Land (1954)». The poetry section of this issue is made up of the new poems by Yelena Shvarts, Yury Kublanovsky, Vladimir Korobov and Sergey Stratanovsky.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Studies of Our Days contains «The Fourth Force», an essay by Boris Yekimov highlighting contemporary country life in Russia.

Philosophy — History — Politics presents the articles «Erotissimo» by Nikita Yeliseyev, «The Degree of Resolution» by Kiril Ankudinov and «Thirteen Theses on the „Spoiling of Morals”» by the priest Aleksey Gostev. All the materials are associated with the same subject, i.e. that of taboo and anti-taboo existing in culture and morals.

Time and Morals contains an essay «TV News» by Tatyana Cherednichenko.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”».

Сдано в набор 20.11.2002 г. Подписано к печати 26.03.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9700 экз. Зак. 3115. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно), по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ.

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию имени Юрия Казакова» до 1 декабря 2003 года.

Объявление лауреата 2003 года и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года.

Состав жюри и размер премии будут объявлены дополнительно.

Контактный телефон: (095) 209-57-02

E-mail: newworld@newtimes.ru